

10

НОВОБЫИ МИИР

1966

НОВОБЫИ
МИИР

10



1966

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLII

№ 10

Октябрь, 1966 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ — Поэт, стихотворение. Перевела с грузинского Елена Николаевская	3
ВИКТОР ВИТКОВИЧ — Дороги, встречи, рассказы	4
Л. ГРИГОРЯН — О, Муза быта, ты всегда права, стихотворение	119
ТАТЬЯНА ГЛУШКОВА — Два стихотворения	120
А. МАКАРОВ — Накануне прощанья, рассказ	121
ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ — Возвращение, стихотворение	125
Ф. КАМОВ — Я — маленький, рассказ	126
А. ПЕРЕДРЕЕВ — О матери, стихотворение	132

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Л. ПАНТЕЛЕЕВ — О Маршаке	133
--------------------------	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. ШАРОВ — Януш Корчак и наши дети	152
------------------------------------	-----

В МИРЕ ИСКУССТВА

Ю. ПИМЕНОВ — Новые кварталы	180
-----------------------------	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

ЛЕОНИД ВОЛЫНСКИЙ — Охраняется государством	188
--	-----

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

С. ШЕРВИНСКИЙ — В Генуе, в Риме	214
---------------------------------	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>К 800-летию со дня рождения Шота Руставели</i>	
СИМОН ЧИКОВАНИ — Песнь любви, дружбы и доблести. Перевод с грузинского А. Беставашвили	233
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
А. ДЕМЕНТЬЕВ — На Первом съезде писателей. По страницам стенографического отчета	244
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	259
А. Турков. В поисках «юбиляра». — Л. Левицкий. Треть века работы. — В. Кардин. Надо ли просить извинения? — И. Левидова. Карсон Маккаллерс и ее последняя книга.	
<i>Политика и наука</i>	271
А. Монгайт. История и прогресс. — Ф. Новиков. Строит Куба. — Ю. Сулин. Издан впервые.	
КОРОТКО О КНИГАХ — Иван Козлов. Ни время, ни расстояние. — Феликс Дзержинский. Дневник заключенного. — А. Н. Курсков. Живые радары. — Изобретение радио. А. С. Попов. — Багиш Овсепян. Сеятели не вернулись. — И. А. Бернштейн Литература социалистической Чехословакии. — А. Западов. Забытая слава — Вольфрам Граллерт. Путешествие без виз. — Дневник Александра Чичерина. 1812—1813. — Исикава Такубоку. Лирика — Юрий Манн. О гротеске в литературе. — С. Варшавский, Б. Респ. Подвиг Эрмитажа	280
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ

★

ПОЭТ

С грузинского

Жил в Аравии когда-то царь от бога,
царь счастливый...

Шота Руставели. «Витязь в тигровой шкуре».

Гласило: «Жил в Аравии когда-то
Царь...» — нам слова достались эти в дар.
Нет, в Грузии, как подтверждают даты,
Царица всемогущая Тамар.
Был в Грузии поэт. Известно точно:
Средь славных — равных не было ему!
Был в Грузии поэт. А дни закончил
В далекой Палестине. Почему?..

«...В Аравии...» О боже, для чего
Понадобилась эта маскировка?
Как тигра непокорного, его
Кто одолеть решил хитро и ловко?..
Что с ним стряслось: напасть иль благодать?..
Нет в книге слов: «...из Грузии...» — не странно ль?
О, что его заставило сказать,
Скрываясь: «Эта повесть из Ирана...»?

Что на чужбину привело потом?
Кто выступить был волен в роли рока?
О, кто его заклятым стал врагом,
Творившим суд и властно и жестоко?..

Кто правого пред богом и людьми
Отверг?.. Изгнал?.. Неведомо поныне!
Что вынудило?.. Нашу скорбь прими;
Беглец, пропавший в дальней Палестине.

Могучий дар... Непревзойденный дар —
Пред ним столетия склонились свято.
...Гласило: «Жил в Аравии когда-то
Царь...» Царствовала в Грузии Тамар.

Перевела Елена Николаевская.



ВИКТОР ВИТКОВИЧ

★

ДОРОГИ, ВСТРЕЧИ, РАССКАЗЫ

7 апреля 64.

Ташкент.

И вот я и за тридевять земель. И — дома, в Ташкенте. Люблю Среднюю Азию, как люди любят свое детство. Особенно весной. Ночью была зима. Автобус привез меня из Москвы на Внуковский аэродром. Дул ледяной ветер. Я был в летнем пальто — не лететь же было в осеннем — и совершенно продрог.

Среди кучки заснеженных, поднявших воротники москвичей я стоял возле ИЛ-18, на крыльях которого тускло отражался свет фонарей, и, проклиная ветер, ждал, когда подвезут трап. Как назло что-то долго не ладилось. Наконец попал в самолет, сел в кресло. И сказал себе: «Утром — весна!»

Весна! И сами собой возникли в памяти стихи — те самые, что с юности привязывались в первый день каждого путешествия:

О, как сердце пьянит желанье странствий!
Как торопятся ноги в путь веселый!..

Милый Катулл, впервые прочитанный в Ташкенте много лет назад. Перед этими двумя есть и такая строчка: «Мы к азийским летим столицам славным!» Сегодня она как нельзя кстати. Мы действительно летим (как Катулла и не мечталось), и действительно к азийским столицам — для начала в Ташкент.

Второй час ночи. Летим в тучах, за круглым окошечком-иллюминатором — чернота: ни небесных звезд, ни земных. Никак не заснуть. Едва глаза стали слипаться, стюардесса принесла яблочный сок. Ритуал. Пошутили по этому поводу. Снова стал засыпать. Но стюардесса опять разбудила: пора есть.

И то ли потому, что деньги все равно заплачены — не пропадать же добру, — то ли просто спросонья, то ли чтобы не нарушать заведенного порядка, — все, даже спавшие глубоким сном, протерли глаза и принялись за еду. Потом обнесли всех чаем. А там начался и рассвет.

За окном стало голубеть. В пепельно-голубом родилось где-то далеко внизу розовое озеро, совершенно розовое. Оно рассыпалось на розовые полосы, а потом и совсем утонуло в голубом. Голубое светлело, светлело, пока не сделалось белым. Летели в сплошной белизне.

И уже минут за пятнадцать до посадки, совсем недалеко от Ташкента, я увидел несколько крошечных домиков — селение в степи, и тогда только понял, что белое внизу — это снег. Какая поздняя весна! А белое наверху — облака.

Из книги «Длинные письма».

Но вот облака раздернулись, сквозь их дымные края глянула голубизна неба. Снег внизу тоже разлезся на клочья, и зазеленела степь. Мы застегнули ремни.

И когда опять повернулись к окнам, уже от белого — ни следа.

На нас наплывал Ташкент — близкие и далекие цепи деревьев и пестрая суতোлка на оживленных шоссе и подъездных путях железных дорог, а над крышами зданий, сверкавших на солнце, — шлейфы заводских дымов.

Промчался в такси через город. На окраине в садах вишни цветут с такой яростной силой, что кажется: добавь в каждый садик еще две-три цветущие ветки — и под их напором рухнут глинобитные стены.

Зелень деревьев на городских улицах еще робкая, кой-где цветет иудино дерево: густо посаженные, яркие сиреневые цветы, прижатые к самым ветвям, как на японских картинах.

На углах, в корзинах продавцов — огненно-красные тюльпаны. Весна. Запоздавшая на добрые три недели, но все же весна.

И вот Авиационный проезд, тупичок, калитка Козловских. И я обнимаю милых друзей — Алексея и Галю. Знаю, что найду здесь приют при любых невзгодах. И мне становится необычайно хорошо, хорошо, как в детстве.

Мы сидим в саду и не наговоримся. Потом Алексей уходит в консерваторию; у него занятия со студентами. Галя занялась хозяйством.

Фунтик машет пушистым хвостом и сует мокрый нос мне под ладонь, чтобы погладил его. Гоппи, ручной журавль, смешно приседая и кланяясь, танцует для меня свой танец. Танцует он его только перед мужчинами. А женщин, даже Галю, танцем не удостаивает.

Поют дрозды. Воркуют горлинки. Возникает едва слышный, ни на что не похожий звук воды, наполняющей пересохшее русло арыка. Воду только что пустили. Значит, и впрямь весна.

8 апреля 64.

Отоспавшись после бессонной ночи полета, я решил утром пройтись по местам моего отрочества.

Мне захотелось все вспомнить и посмотреть на себя сегодняшнего глазами того дивного возраста, когда человек еще не научился играть с собой в прятки.

Сперва — на улицу Фрунзе, прежде Долинскую. Одноэтажные особнячки. Садики. Окна в белых решетках. Вдоль уличных арычков — ряды тополей, белой акации. Здесь я жил.

Вон там, в глубине двора, у того сарая, мы с увлечением играли в «ножички»: ножик должен был, замысловато кувыркнувшись, воткнуться в землю.

А на макушках тесно росших позади сарая тополей мы играли в «пятнашки»: раскачаешься на верхушке тополя — ухватишься за соседнюю, переберешься.

Однажды, упражняясь один, я свалился с тополя. Летел вниз, обламывая по пути ветки. Они меня и спасли: амортизировали падение.

В придачу я упал в большой арык Ак-Курган, текущий внизу, да так, что туловище мое оказалось в воде, а голова на берегу. Тоже удача!

Лежу на спине и чувствую — не могу пальцем пошевелить, хочу крикнуть — не могу звука издать. Вот когда натерпелся страху! Прошло несколько минут — и холодная вода, обтекавшая мое тело, вернула мне и движенья и речь.

Здесь, на Долинской, на меня возвели первую в жизни напраслину: соседи обвинили меня, что я украл деньги, которые они почему-то спря-

тали где-то снаружи — не то под лестницей, не то в водосточной трубе. И хотя денег я не крал, мне не поверили.

Это была такая обида, что ее не могу забыть до сих пор. Никто мне не поверил: «Кому же еще украсть?! Беспризорник!»

Действительно, после смерти матери и отца я беспризорничал. В Одессе. Потом, играя на ложках и подкармливаясь в красноармейских продпунктах, пересек Россию и приехал в Свердловск (тогда Екатеринбург). Я разыскивал и нашел замужнюю сестру, жившую со своей матерью — первой женой моего отца.

Они меня приютили. Но вскоре переехали жить в Ташкент, на время оставив меня в интернате. Я перезимовал там и в конце мая сбежал в Ташкент. Было это на хвосте той волны, что ринулась в «Ташкент — город хлебный» в дни поволжского голода.

Меня подобрал по пути, пожалев, военный фельдшер, переезжавший из Челябинска на службу в Ташкент с женой и двумя детьми. Две недели ехали мы в раскаленной от июньского солнца теплушке. Не помню, к сожалению, ни имени, ни фамилии этого фельдшера. Твердо запомнил только, что дочку его звали Светлана.

Сестра моя жила на Долинской. У нее-то я и поселился. Спустя некоторое время после напраслины, когда я стал ходить «в ворах», мужа сестры перевели в Москву. Они уехали. Я остался в Ташкенте кончать школу и переехал на Ниязбекскую, в сарайчик, стоявший в обширном саду. Знаю, там давно нет ни сада, ни моего сарайчика — кругом двухэтажные дома. Так что идти туда мне сейчас ни к чему.

Сарайчик был романтическим жильем. В нем стоял только деревянный топчан с матрасом, покрытым тонким одеялом. А на стене висело расшитое цветными нитками узбекское сюзане — единственное мое богатство.

Каждый вечер, ложась спать, я проверял, нет ли за ним скорпионов. Кто-то мне сказал: если убить скорпиона в помещении — непременно приползет другой мстить. Поэтому, обнаружив скорпиона, я смахивал его на земляной пол, потом ботинком или веточкой вышвыривал в сад. И убивал уже вдали от сарайчика.

Однажды я нашел в постели змею. Правда, это оказался безобидный полоз. Со змеями, надо сказать, я уже умел обращаться. Мы, ребята, частенько ходили на речку Чирчик их ловить. Палкой с рогулькой прижимали шею змеи к камням, хватали ее руками и засовывали в пустую банку. Змей продавали в музей и в университет.

Поселившись в сарайчике, я опять стал жить самостоятельно. В школу ходил во вторую смену, а по утрам зарабатывал. Продавал «Туркестанскую правду». Работал у узбеков в садах, собирал фрукты. А раз даже нанялся отогнать шесть лодок по Сыр-Дарье от Чиназа до Казалинска. Две недели — с приключениями — плыл один среди камышей великой среднеазиатской реки.

Был случай, когда я твердо намеревался бросить работу и никогда больше к ней не возвращаться.

На Воскресенском базаре (примерно там, где сейчас бьет фонтан против главного входа в здание оперного театра имени Навои) в то время среди торговых помещений бойко вертелась рулетка. Азартные игроки обычно ставили на номера механических лошадей, это давало шанс сразу на крупный выигрыш. Но можно было ставить на «чет» или «нечет», в этом случае выигрыш был скромный: только удваивал поставленную сумму.

Хоть я был и не силен в математике, все же сообразил: если ставить все время на «чет» (поставлю двадцать копеек — проиграю, поставлю

еще двадцать плюс проигранные двадцать — проиграю, поставлю двадцать плюс проигранные шестьдесят и т. д.) — в конце концов должен же выпасть когда-нибудь «чет»! Тогда одним махом верну все проигранное плюс чистый выигрыш. После этого надо не зарываться, а начинать опять с двадцати.

В первый же вечер этим беспроигрышным способом я выиграл пять рублей — деньги, на которые по тем временам мог кормиться дней десять! На следующий вечер дело пошло еще быстрее... Ликуя, я решил навсегда распрощаться с продажей «Туркестанской правды».

Но тут хозяин тотализатора (хозяин — это были годы нэпа) вывел меня за ухо из своего заведения и сказал:

— Если ты, мальчик, попробуешь прийти еще раз...

Он не договаривал и так своими пальцами закрутил мое ухо, что и без слов можно было догадаться, что меня ожидает. С тех пор твердо знаю: все азартные игры рассчитаны на дураков.

Существовали и другие развлечения. Было, например, немое кино. Но на большинство фильмов детей до шестнадцати лет не пускали. На меня неотразимое впечатление произвели картины «Индийская гробница» и «Атлантида». Обе смотрел с верхушки телеграфного столба, торчавшего позади летнего кинотеатра «Хива» в Городском саду.

На том месте, где сейчас построена шестизэтажная гостиница «Ташкент», мне в те годы крупно повезло: выиграл в лотерею корову.

Подгоняя ее ремешком от штанов, я вышел на улицу, совершенно подавленный свалившимся на меня счастьем и смущенный — не знал, что мне делать с коровой. Больше всего боялся, что меня увидят товарищи и поднимут на смех. Спасли перекупщики, они сразу догнали нас — меня и корову, — я отдал им ее почти даром. И был безмерно счастлив, что так быстро отделался.

А вот еще про аттракцион в Городском саду. Откуда-то, кажется из Саратова, приехал «дядя Миша» — богатырского сложения человек.

Мы заплатили по двадцать копеек за право войти за веревку, ограждающую аттракцион. Нам вручили по лопате, и мы самозабвенно рыли для дяди Миши могилу.

Когда могила была готова, дядя Миша лег в нее, а мы за свои двадцать копеек засыпали дядю Мишу землей, ревностно следя, чтобы не было «подвоха». Потом землю утаптывали. Еще полчаса терпеливо ждали, гордые, что так близко прикоснулись к тайне жизни и смерти.

Потом разрыли могилу. Дядя Миша встал, отряхнулся от земли. Начался следующий сеанс. Техническую тайну этого аттракциона мы так никогда и не узнали. Чистая была работа.

К чистоте работы мы, ребята, относились, я бы сказал, с преклонением.

В те дни все увлекались партерной борьбой. В цирке выступали Красная Маска, Черная Маска... Настоящим торжеством был день, когда борцы маски снимали. В этот день все устремлялись в цирк.

Сами мы боролись во дворах, честно следуя правилам. Но про цирк ходили упорные слухи, что там борются не всерьез, что там — сделки. Эти слухи бередили нашу подозрительность и отравляли удовольствие от зрелища. Мы так были раздражены этими слухами, что достаточно было пустяка, чтобы наше негодование взметнулось фонтаном.

Нашей жертвой стал «факир-гипнотизер» с каким-то немислимо пышным индийским именем. Он только что начал выступать в цирке. Его афиши были расклеены по городу. Я собрался пойти на него посмотреть. И сказал об этом Яшке — взрослому парню, жившему по соседству.

— Да какой он факир,— ответил Яшка.— Он только для блезиру факир! — И рассказал, как этот самый факир вчера встретил его, Яшку, возле гостиницы и нанял. А вечером в цирке, как и было уговорено, факир вызвал желающих из публики, и Яшка с какими-то еще двумя выскочил первым на арену. По приказанию факира он на арене то засыпал, то просыпался. И получил за это червонец в зубы.

Жил у нас на улице Митька. Несмотря на великовозрастность — ему было лет двадцать,— он почему-то играл с нами в «ножички» и в другие мальчишечьи игры. Он был гораздо сильнее нас, поэтому, не сговариваясь, мы признавали его вожаком.

Дали мы ему прозвище «Цар». Отсутствие мягкого знака придавало на наш слух этому титулу особенную значительность.

Я привел Цара к Яшке. И тот все ему повторил.

Мы решили факира публично разоблачить. Уговорили Яшку наняться еще раз. Оповестили заранее всех ребят наших нескольких улиц, и они в предвкушении скандала устремились в цирк брать билеты на назначенный день.

Нанявшись к факиру, Яшка стал проявлять нерешительность.

— Ребята,— говорил он жалобным голосом.— А может, не надо, а?

Опасаясь его измены, мы со своей стороны собрали деньги. И Цар вручил ему червонец, чтобы Яшка уж наверняка нас не продал.

И вот я сижу в цирке, в первом ряду, рядом с Царом, горделиво поглядывая на знакомые лица, рассеянные среди публики. И чувствую себя режиссером — тайным, невидимым режиссером предстоящего: придумал-то все я. По ту сторону арены сидит Яшка и почему-то упорно разглядывает свои ногти. Кончается первое отделение: на акробатов и дрессированных собачек никто из нас и не смотрит.

Наконец и второе отделение. Выходит факир под звуки восточной мелодии. По тому, как преувеличенно изящно он раскланивается, я сразу смекнул: одессит!

На голову намотана чалма непомерной величины, в нее воткнуто серебряное перо. А с плеч свисает роскошный шелковый халат. Индийский набоб, да и только!

Сообщив публике как величайшую новость, что гипноз признан наукой, сославшись на Льва Толстого, Ганди и академика Павлова (тогда была мода все сомнительное подпираться научностью), факир спросил, нет ли желающих подвергнуться гипнотическим опытам.

Наш Яшка и еще двое проворно метнулись на арену и уселись на три заранее поставленных стула. Так что если бы нашелся четвертый желающий, ему просто бы не на что было сесть. Наше возбуждение нарастало...

Итак, Яшка сидит на стуле. А факир стоит перед ним и проделывает серию пассов. Я захихикал. Меня свирепо ткнул в бок сосед, которому я мешал наслаждаться и созерцать.

Прошло минуты три. И все трое заснули. Все трое. В том числе и Яшка. Это было непостижимо. Наш Яшка заснул! С закрытыми глазами он делал все, что приказывал ему факир: брал себя рукой за нос, становился, прижав к задку стул, на четвереньки, лалял по-собачьи...

Мрачно глядя на Яшку, Цар тихо сказал:

— Взял червонец и хочет еще у него получить! Гад!

Тут факир предложил кому-нибудь выйти на арену — проверить, как спят загипнотизированные. Это тоже входило в программу.

Цар перескочил барьер раньше, чем кто-либо успел опомниться, подбежал к Яшке и прошептал:

— Если сейчас же не бросишь дурить, получишь «разá»! Слышь?!

Яшка знал, что такое «разá». За гнусный поступок против товарищей каждый имел право один раз наотмашь ударить виновника по лицу

Ребят, замешанных в эту историю, была добрая сотня, и ни один не отказал себе в удовольствии ударить как следует.

Заметив перешептыванье, факир подскочил к Яшке и повелительно крикнул:

— Спать!

Но Яшка встал со стула и сказал унылым голосом:

— И все это, граждане, один сплошной обман и враки!

Воодушевившись, наши ребята повскакали с мест. Со всех сторон пронесся пронзительный свист.

Непосвященная публика обрушилась на наших с угрозами, чтоб не мешали гипнотизеру. Истошные вопли ребят и басовитые голоса взрослых смешались в общем крике.

Воспользовавшись суматохой, один из загипнотизированных улизнул. Третий, розовощекий, оказался хорошим парнем — рабфаковцем. Он встал со стула и чистосердечно признался, что факир и его нанял: червонец-то на земле не валяется!

Все с симпатией засмеялись. Факира уже хотели бить...

Неожиданно факир бросился бежать по проходу: кое-кто рванулся было за ним. Но он подскочил к билетерше, сидевшей у двери, громовым голосом крикнул:

— Спать!

И билетерша сразу заснула.

Факир на высоко поднятой руке понес ее по проходу на арену. Это вызвало замешательство. Зал стал затихать, ожидая, чем все кончится: видать, дошлий человек был этот факир!

Он поставил на расстоянии спинками друг к другу два стула. Положил билетершу, словно бревно, головой на одну спинку стула, ногами на вторую и начал громоздить ей на живот гири одну тяжелее другой.

Несколько негодующих воплей наших ребят захлебнулись, потушенные сидящими рядом людьми: они заплатили за билет и хотели досмотреть все до конца. Сеанс гипноза продолжался...

Так и осталось неясным, на чьей стороне победа.

Правда, на завтра в газете напечатали фельетон, разоблачавший факира. Говорили, после этого он ходил к прокурору, показывал опыты гипноза, требовал опровержения. Опровержение опубликовано не было. И факир покинул Ташкент.

В ту пору любимейшим для меня удовольствием было бродить по Старому городу. Перейдя Урду, где стояли лотки продавцов хлебных лепешек, мы переносились в сказку тысячи и одной ночи.

Правда, на главной улице, шедшей отсюда в глубь Старого города, — на Шейхантаурской — уже громыхал трамвай. Он ходил по одной колее, останавливаясь на разъездах. И людям, трусившим на ишачках, приходилось сворачивать от трамвая в переулок: так узка была Шейхантаурская. В остальном это был средневековый город.

Женщина узбечка бесшумной тенью скользила вдоль улочки, плотно закутанная в паранджу, с опущенной на лицо черной волосяной сеткой.

В годы отрочества я не видел лица ни одной узбечки, и под каждым покрывалом мне чудилась красавица. Застенчивость ни разу не позволила мне заглянуть под покрывало, чтобы опровергнуть это или подтвердить.

Муэдзины с минаретов призывали правоверных на молитву протяжными криками. И кузнец рядом с горном расстилал молитвенный коврик. И базарный цирюльник, пускавший за умеренную плату людям кровь, прерывал врачевание, чтобы склониться перед аллахом.

Интересно было ходить по базару. Чего-чего не увидишь!

То в прохладе крытого шелкового ряда любишься, как полумрак пререзают сверкающие мечи солнца, выхватывая из темноты яркие краски на чалмах и халатах идущих.

То наблюдаешь, как базарный поливальщик разбрызгивает из бурдюка воду, да так бережно и искусно, что каждая ее драгоценная капля падает отдельно и, подобно капельке ртути, закатывается в пыль.

То сидишь в чайхане и следишь, как разгораются страсти вокруг перепелиных боев, а в стороне какой-нибудь фронт перематывает чалму и ему помогает знаток неторопливым советом.

То останавливаешься возле писца. Он сидит с чернильницей, подвешенной на шее, и тростниковым пером выводит арабские буквы, составляя для кого-нибудь жалобу. Или любовное письмо. Женщины узбечки в то время вообще не умели писать. Рассказывают: когда узбечка тосковала по любимому, она вместо письма посылала пучок соломы и кусочек угля,— она хотела этим сказать: «Я без тебя пожелтела, как солома, и почернела, как уголь».

Теперь-то знаю: новое уже и тогда ворвалось свежим ветром в жизнь узбеков. Однако мы, русские ребята, приходившие в Старый город из Нового — европейской части Ташкента,— не могли увидеть ни людских трагедий, ни борьбы, ни страстных порывов к жизни, рождавшихся в самой глубине народной.

Мы видели одежды, но не видели сердца Старого города. А одежды были потрясающие!

Взять хотя бы каляндаров — странствующих монахов ордена нищих. Они ходили стайками по базарным рядам, гнусава молитвенные стихи, собирая подаяние в чашки из скорлупы кокосовых орехов; были они в лоскутных халатах, в остроконечных шапках с меховой оторочкой. Мы смотрели на них, разинув рты.

И все же один случай уже и тогда неожиданно обнажил передо мной, с какой силой ворвалось новое в жизнь узбекского народа.

Караван Арсланова

Лето 1924 года. Пушкинская улица в Новом городе была так же широка, как и сейчас. Но многоэтажных зданий на ней не было. Цветники не окаймляли еще ее мостовую. Сама мостовая на участке улицы между Сергиевской церковью и Дархан-арыком не была залита асфальтом. Лишь сбоку вдоль колеи трамвая улицу замостили булыжником. А посреди лежала вековая среднеазиатская пыль.

И вот однажды, идя в школу, я увидел издали, как на Пушкинскую из поперечной улицы выплыло облако пыли. Оно поклубилось, наполнило собой улицу до вершин тополей и, повернув, быстро поплыло вдоль Пушкинской. Впереди облака ехал всадник в обычном хивинском красном халате. А из облака сперва стали доноситься скрип колес, пощелкивание плетей, звон верблюжьего бубенца, оживленные голоса, смех. Потом сквозь пыль проступили фигуры передних всадников, ехавших на лошадях, на верблюдах, и очертания большеколесных арб, на которых, тесно сгрудившись, сидели люди.

— Мальчик! — окликнул меня по-узбекски всадник, ехавший впереди.

Я подошел.

Хивинец, который вблизи оказался едва ли годом старше меня, протянул какую-то бумажку и спросил, как проехать в ирригационный техникум. Бумажка была направлением на учебу.

Показывая дорогу, я пошел рядом с конем молодого хивинца.

Спустя полчаса, когда пыльное облако вслед за нами докатилось

до ирригационного техникума и возле него растаяло, когда вздымавшие это облако узбеки, среди которых по одеждам угадывалось несколько туркмен и казахов, когда они и их кони, верблюды, арбы заполнили тесный дворик техникума, а не поместившиеся образовали за воротами табор, когда наконец прибежал, запыхавшись, директор, обнаружилось первое обстоятельство, достойное удивления: на двести двадцать шесть приехавших учиться было всего одно направление.

Это было направление на имя Арсланова — парня в хивинском халате, что ехал впереди.

Но еще удивительной оказалась история рождения каравана: ее я узнал позже, когда приехавшие уже были размещены по разным ташкентским учебным заведениям.

Как-то раз в одно из селений существовавшей тогда Хорезмской народной республики пришло по разверстке направление в техникум. Сельский староста — аксакал — вручил его Арсланову, юноше, которого в селении считали смелым и передовым.

Хорезм был в то время самым далеким, самым глухим углом Средней Азии. Предрассудки прошлого сильнее, чем где бы то ни было, имели здесь власть над людьми.

Арсланов, который мечтал по меньшей мере о подвигах Алпамыша, любимого им героя узбекского эпоса, ехать учиться не захотел. Ему казалось постыдным для мужчины делом, «подобно тощему писцу, сидеть, макая перо в чернильницу». Попробовал от учения откупиться. Не удалось. Делать нечего — Арсланов оседлал, подобно Алпамышу, коня, распрощался с родителями и, осыпая проклятиями аксакала, отправился в путь.

Доехав до Хивы, остановился на ночлег в караван-сараяе. И разговорился там с сыном хозяина, своим сверстником. На вопрос: «Куда едешь?» — Арсланов ответил, как по его представлениям и надлежало ответить мужчине: едет, куда копыта коня приведут.

Тут новый знакомец сообщил ему, что хочет учиться. Обрадованный Арсланов решил подарить ему свое направление в техникум и извлек его из пояса. Однако в бумажку была вписана фамилия Арсланова, да и проехать в Ташкент было не так уж худо. И парни рассудили, что направление можно будет прямо в Ташкенте обменять. Из Хивы выехали вдвоем.

В следующем селении к ним присоединились еще двое. Поехали дальше — из селения в селение, из города в город. И по пути Арсланов стал обрывать новыми и новыми молодыми дехканами, пастухами и горожанами, жаждавшими учиться.

Чем ближе был Ташкент, тем явственней был виден людям свет, идущий из этого города, тем большая назрела в людях потребность окунуться в этот свет. Многим, чтобы поехать учиться, нужен был только толчок. Таким толчком и оказывался для них приход каравана Арсланова.

А сам Арсланов, за которым по причудливой игре судьбы и случая последовали толпы людей, словно за Алпамышем, ревниво оберегая свое новое положение, начал в попутных селениях, сперва робко, потом все больше воспламеняясь, призывать молодежь ехать учиться. Убеждая других в великой пользе приобретения знаний, он, как это нередко бывает, убедил и самого себя.

* * *

От улицы Фрунзе — тем самым путем, каким ходил в школу, — я вышел сегодня на Пушкинскую.

Вот тут (рядом с почтамтом) была велосипедная мастерская. Как

прошлое меркнет в рассказе! Какими словами передать всю степень интереса, который заставлял нас часами просиживать на корточках перед этой мастерской, глядя, как работает мастер!

Все мечты о чудесной технике будущего были для нас воплощены в ней — в ее гаечных ключах, колесах, спицах, цепях передач. Сейчас трудно поверить, но тогда это ведь было единственное в городе техническое предприятие, если не считать мельницы и железнодорожных мастерских, куда нас не пускали.

Помню, как на ташкентских улицах появилась легковая машина. Пять кварталов бежали мы за ней, задыхаясь! А сегодня я долго стоял возле памятника Гоголю, пережидая, пока пройдет поток запыленных машин.

Кстати сказать, хороший памятник, своеобразный, заставляющий вспомнить гоголевские петербургские повести, но стараниями явно гоголевского же чиновника недавно посеребренный.

Долго стоял я у этого памятника, осматриваясь окрест.

В двадцатых годах на месте вон того трехэтажного дома были три чайханы. На большой переменке мы бежали сюда наперегонки съесть полпорции плова, выпить пиалу зеленого чая. В полуквартале выше, на Гоголевской, если чуть подняться на горку, была наша школа имени Пржевальского...

Белое одноэтажное здание школы с мезонином как стояло, так и стоит. У ворот вывеска: «Городской институт усовершенствования учителей».

Тишина. Учителя еще заняты в школах, и сезон их учебы не наступил. Заглядываю в ворота. По-воровски вхожу во двор, огибаю здание и остаиваюсь.

Чужая жизнь. В глубине двора живут люди. Сушится белье на веревках. В роскошной коляске, какая нам в те годы и не снилась, плачет ребенок.

На меня подозрительно смотрит женщина, спрашивает:

— Вам к кому?

Бормочу:

— Нет, ни к кому...— И ретируюсь.

Учителя мои! Все, что знали, отдавали они нам. Их тогда еще не усовершенствовали в институтах. А мы постоянно смеялись над ними. Многое не вспомнишь без краски стыда.

Были и любимые учителя. С благоговением вспоминаю Николая Леопольдовича Корженевского, путешественника и исследователя горных ледников, оказавшего на всех нас глубокое влияние. Вечерком, пожалуй, схожу в гости к Евгении Сергеевне, его жене.

Крупные капли дождя заставили меня заторопиться. Я пошел вдоль беленького здания школы. Вдруг вздрогнул: над вторым входом (этого входа не было, тут был забор!) вывеска: «Районная библиотека имени Пушкина».

Библиотека... В 1923 году мне выделили комнатку — как раз в этом крыле школы — и поручили создать библиотеку. В районо вручили ключи от подвала, где были свалены книги, реквизированные в годы революции у царских учреждений и царских чиновников.

Я перевез все, что мог, в школу. И долго разбирался в этом богатстве. Помню, как выбрасывал «Своды законов Российской империи» — многотомное издание в кожаных переплетах с золотым тиснением. Завел каталог. Расставил книги по полкам и стал выдавать читателям. Ни в одной школе не было такой библиотеки! Тут можно было наткнуться на что угодно: от романов графа Салиаса и детективных книжонок

о Нате Пинкертоне до философских фолиантов Ницше и Штирнера. Книжки-то были реквизированные!

В нашей библиотеке было и старенькое собрание сочинений Генрика Ибсена, по которому я готовился к общегородской школьной дискуссии «Бранд или Пер Гюнт?».

Большинство выступавших мальчиков и девочек были на стороне Бранда — с его ницшеанской философией сильной личности, готовностью жертвовать всем, стремлением к горным вершинам. Я тоже выступал. И был на стороне Пера Гюнта. Веселость я ставил выше всего!

И вот — библиотека имени Пушкина.

Вошел. Худенькая девушка, почти девочка, подняла на меня большие глаза:

— Вы записаться?

— Нет... просто когда-то учился в этой школе... Приехал в Ташкент... захотелось взглянуть...

— Ааа... — сказала она и повернулась к двум девушкам и пареньку, стоящим перед столом выдачи.

— Скажите... Давно существует ваша библиотека?

Девушка с готовностью протянула мне папку не папку, книгу не книгу. Оказалось — переплетенная история библиотеки. Напечатана на машинке, в нее вклеены фото разных лет.

На первой странице прочел: «Наша библиотека организована в 1925 году на базе...»

Захотелось воскликнуть: «Милая девушка! Тут напутано! На самом деле это я ее основал! — (Какое громкое слово.) — И было это года на два раньше!» Но язык не повернулся, еще подумает: «Хвастун!» Молча вернул книгу, поблагодарил. И ушел.

8 апреля 64.

Вечер.

Уже стемнело, когда добрался до Шелковичной и постучался.

— Кто там?

Я подумал: живет одна, не боится, в ее-то года! Назвал себя. Сейчас же открыла.

Захлопотала, будто ей не восемьдесят, а восемнадцать. Глаза молодые, веселые. Усадила, побежала ставить чайник на огонь. В стакане ветка сирени. Тюльпаны в вазочке. На стенах фото Николая Леопольдовича.

Пока она хлопотала на кухне, я протянул руку к книге, небрежно брошенной на стуле. «Штурм пика Евгении Корженевской», авторский альбом с надписью Затуловского. Недавно прислан.

Большинство ташкентцев и не подозревает, что женщина, чье имя носит один из высочайших пиков Средней Азии, четвертая по высоте вершина Советского Союза (7105 м.), живет с ними в одном городе. Они думают в простоте души, что Евгения Корженевская жила давным-давно, не то в начале этого века, не то в конце прошлого! Именно это — чувство смещения времени — потрясло меня еще в школе на уроках Николая Леопольдовича.

Он был нашим учителем физики. В те бурные годы географы временно оказались не у дел, и известный путешественник вынужден был пойти в школьные учителя. Ему следовало бы преподавать географию — он преподавал физику, но и преподавая физику, развивал у нас вкус к географии.

Страсть к путешествиям была в нем столь велика, что нам, школьникам, не составляло труда сбить его на любимый предмет. И мы поль-

зовались этим: часто по нашей вине урок физики обрывался, и Николай Леопардович (так шутливо и вместе с тем влюбленно мы его величали, услышав из его уст о встрече в горах со снежным леопардом) рассказывал нам о своих путешествиях по Средней Азии.

Рассказывал до того увлекательно, что и по сей день его рассказы живы в памяти. Вот один.

Сторож Сарезского озера

Озеро это существует на всех картах Памира. Но до 1911 года его не было — не только на картах, вообще не было.

Было маленькое памирское селение Усой. Жители его разводили овец и яков, делали из шерсти грубую одежду, а из сыромятной кожи — чарыки, простейшую обувь. Кормились почти исключительно бараниной, брынзой и ячьим молоком. А по вечерам, греясь у очагов, когда наскучивало судачить друг про друга, рассказывали легенды об Искандере-Зуль-Карнайне, Александре Македонском, потомками воинов которого считали себя.

И вдруг землетрясение обрушило на Усой нависшую над ним гору. Лавина рухнула на домики, потащила их с собой, перевернула и погребла, перегородив русло Мургаба, горной реки, к которой усойские женщины обычно спускались с кувшинами за водой. Только один усоец спасся, и то потому, что был в гостях в Сарезе, соседнем селении.

Позади километровой стены усойского завала воды реки стали стремительно подниматься. И среди скал разлилось громадное озеро.

Жителям нескольких селений пришлось сняться с мест и уйти, а озеро все подымалось и ширилось. Возникла угроза, что в какой-то день это новое озеро прорвется всей массой воды сквозь завал и устремится вниз, смывая все по берегам Бартанга и Пянджа вплоть до Термеза. Угроза эта заставила в 1913 году снарядить к Сарезскому озеру небольшую экспедицию. В ней участвовал и Николай Леопольдович.

Экспедиция исследовала усойский завал и пришла к выводу, что он достаточно прочен, чтобы выдержать напор любой массы воды. Время подтвердило это: Сарезское озеро существует до сих пор.

Однако тогда еще не было уверенности: а не выкинет ли какой-нибудь неожиданный фокус злодейка вода. И экспедиция решила оставить наблюдателя.

Сторожом Сарезского озера и его наблюдателем был взят местный житель — памирский таджик. Рядом с завалом соорудили ему домик, чтобы мог жить с семьей и скотом. Положили жалованье, выдали за год вперед. Поставили восемь реек в разных концах озера — на них он должен был делать отметки. Пожелали счастья и уехали.

Прошло много лет. В жизнь народов ворвалась империалистическая война, потом Октябрьская революция потрясла мир, затем на просторах нашей страны полыхала гражданская война... Сколько событий! Сколько всего! Наконец, кажется году в 1923 (во всяком случае Николай Леопольдович рассказывал нам по свежим следам), вспомнили об угрозе, которая в горах Памира все еще висела над людьми. И снарядили экспедицию. Николай Леопольдович возглавил ее.

Когда она добралась до синего Сарезского озера, навстречу вышел тот же памирский таджик, только постаревший на десять лет, и поздоровался как ни в чем не бывало. Все годы он продолжал нести свою вахту, аккуратно делал пометки на рейках. А когда озеро затопило рейки, поставил вместо них такие же новые и делал отметки на них.

Он терпеливо ждал и готов был отчитаться в проделанном, и действительно отчитался — сразу за десять лет.

— С этого дня, — сказал нам Николай Леопольдович, — люди делаются для меня на тех, кому можно доверить Сарезское озеро, и на тех, кому его доверить нельзя.

* * *

Сам Корженевский принадлежал к первым.

Задолго до революции окончил военное училище в Киеве. Окончил с отличием: мог выбирать, где служить, мог быть зачислен даже в гвардейский полк в Петербург. Посмотрел, какие есть вакансии, и выбрал город Ош в далекой Ферганской долине.

Все удивились: «Куда вы?! В этой дыре только и делают что пьют да в карты играют!»

Но он знал, куда ехал. Он мечтал о «подножье солнца» — Памире.

Он приехал в Ош. Другие играли в карты. А он на арыке построил турбину и дал городу электрический ток.

Потом стал совершать экскурсии в горы. Потом походы. Потом экспедиции. Открытые им ледники сделали имя Корженевского известным. Ему стало помогать Российское географическое общество, П. П. Семенов-Тянь-Шанский.

Корженевский составил первый и единственный «каталог» среднеазиатских ледников, как астрономы составляют каталоги звезд. И его стали называть «хозяйном ледников». Одиннадцать тысяч квадратных километров — площадь ледников Средней Азии; быть «хозяйном» этой ледяной страны — не мало!

Имя Корженевского носят два крупнейших ледника: один на самом северном из Тянь-Шанских хребтов — Заилийском, второй на самом южном из киргизских хребтов — Заалайском. Это имя дали ледникам другие исследователи.

Но имя величайшей вершине, открытой им, Николай Леопольдович дал сам еще в 1910 году.

Он познакомился с Евгенией Сергеевной в Оше, она там жила. Люди без воображения вырезают милое имя на скамьях. Николай Леопольдович назвал именем любимой открытый им пик и прославил ее на весь мир. Пятьдесят четыре года прошло с того дня.

И вот сижу я у Евгении Сергеевны и пью чай с кексом. Разговариваем о том, о сем. Сказал ей, что только что кончил сценарий об Алексее Павловиче и Ольге Александровне Федченко — первых исследователях Памира, знаменитых русских путешественниках — в надежде, что фильм поставят к столетию присоединения Средней Азии к России. И на всякий случай спросил: не знала ли Евгения Сергеевна Ольгу Александровну?

— Как не знала!..

Меня потрясла простота, с какой она заговорила об этом.

— Мы с Николаем Леопольдовичем еще сразу после свадьбы были у нее в Петербурге в гостях. А потом, когда она собирала растения для своей «Флоры Памира», останавливалась у нас в Скобелеве (теперь Фергане). Ольга Александровна сильно хромала, и я удивлялась, как она совершала такие трудные экскурсии на Памир. И сын ее Борис вместе с ней собирал растения, только рано начал слепнуть, плохо видел...

Так запросто рассказала Евгения Сергеевна о встречах с этой знаменитой женщиной.

Кстати, о зрении. Чтобы прочесть надпись, которую Ольга Александровна сделала на своей книжке, подаренной Корженевским, я вынул из футляра очки. Евгения Сергеевна удивилась:

— Вы уже пользуетесь очками?

Ей восемьдесят второй год, но видит, как девчонка. В прошлом году съездила на Иссык-Куль. Поехала туда на машине. Жила у какого-то киргиза пастуха в глинобитной кибитке. Возилась с его ребятишками. Купалась в озере. Совершила паломничество к памятнику Пржевальскому.

Когда разговор стал иссякать, заторопилась:

— Ну, мне надо проверить тетрадку...

— У вас ученики? — удивился я.

— Да, я преподаю немецкий. И деньги за уроки не беру. Так что у меня всегда хватает учеников.

Евгения Сергеевна улыбнулась.

Мы распрощались.

Накрапывал дождь. Стволы деревьев были мокры. Свет фонарей еле пробивался сквозь водяную пыль.

9 апреля 64.

Утром отвез на студию сценарий «Загадочная Бам-И-Дунья» — тот самый, о Федченко.

Отличную киностудию построили в Ташкенте за Комсомольским озером. Любая европейская студия могла бы позавидовать. Походил по ней, поглядел...

На воротах надпись: «Киностудия «Узбекфильм» имени Наби Ганиева». Сразу признаюсь, этой надписи нет. Ее вижу пока я один. Но убежден: недалек день, когда имя Наби Ганиева на воротах киностудии увидят все. Ведь это он создал ее, добывая каждый аппарат, каждый гвоздик. Он стал и ее первым директором, мечтая открыть своему народу дорогу в киноискусство. Он стал и первым кинорежиссером узбеком, прославив узбекскую кинематографию своими фильмами «Тахир и Зухра», «Похождения Насреддина» и другими. В этой работе он выпестовал и первые национальные творческие кадры узбекских кинематографистов.

Почти пятьдесят лет назад отец Наби Ганиева (жили они в Ташкенте, в Старом городе) привел сына в мектеб — мусульманскую школу — и сказал мулле:

— Кости у него мои, мясо ваше. Учите его, как хотите. Но если из моего сына не выйдет настоящего узбека, верного раба аллаха, то... Я — мясник. Я зарезал на своем веку не одну сотню баранов. Убить одного мальчишку мне будет нетрудно.

Спустя несколько лет, в 1921 году, когда Наби Ганиев сбежал из дому учиться в Москву, во Вхутемас, имам потребовал от отца, чтобы тот публично проклял своего сына в квартальной мечети. Но революция уже начала менять сознание старика.

Он ответил имаму:

— Я надеюсь, сын не опозорит меня.

И отказался выполнить требование, хотя это и означало, что двери мечети перед ним закроются и родственники будут опасаться его посещения — самое тяжкое наказание для религиозного старика.

Когда через два года Наби Ганиев ехал домой на каникулы, по дороге, в Самаре (теперешнем Куйбышеве), он в вокзальной парикмахерской побрил голову. А вернувшись в вагон, снял костюм, вместе с кепкой упрятал в чемодан и нарядился в полосатый узбекский халат и в тибетейку. Своим «правверным» видом хотел облегчить положение старика отца.

Спустя еще несколько лет, когда Наби Ганиев приступил к съемкам фильма «Тахир и Зухра», отец спросил его наедине:

— Скажи мне честно, сынок, выйдет ли из тебя большой человек?

— А если не выйдет?

— Тогда езжай учиться снова — на инженера или врача.

История жизни Наби Ганиева и его семьи — история его народа.

Широкоскулое, с толстыми губами, с узким прищуром глаз, по-монгольски раскосое лицо Наби Ганиева делалось прекрасным, когда он оживлялся, разговаривая об искусстве, или просто шутил.

У него было свое особое умение употреблять в разговоре народные поговорки. Впрочем, челсвек талантливый, может, он иногда их сам сочинял на ходу? Мне доставляло удовольствие записывать наиболее меткие. Вот некоторые. Художнику, который принес кричащие по пестроте эскизы костюмов, он сказал: «Яркие краски скорей выцветают». Актеру, который — хотя играл комедийную сцену — все время пережимал в мере условности: «Врите! Можете врать! Но от земли ног не надо отрывать!» Молодому режиссеру, говорившему, что это только кажется, что снятые им сцены плохи, а на самом деле они хороши, ведь он в них повторил Эйзенштейна: «Ворона подражала гусю и вывихнула себе ногу». Критику, который после выхода фильма давал советы, как надо было снимать: «Чужими руками хорошо змею ловить». А одного мальчишку, который самонадеянно с трибуны начал рассуждать о том, как следует в фильме изображать любовь, Наби Ганиев уничтожил тихо сказанной фразой: «Бабочка рассуждала о снеге». Все рассмеялись — и больше не о чем было говорить.

* * *

Вспомнил Наби Ганиева — и стало совестно: ни разу после его смерти не был у его семьи! Слышал, что они перебрались в новый дом. Узнал адрес, взял такси и поехал.

Калитку открыла Чарос — дочь Наби, улыбкой напомнившая отца. Позади нее рвалась с цепи, захлебываясь собственным лаем и визгом, остервенелая собачонка.

Чарос провела меня в дом. И быстро разостлала традиционный дастархан, угощала сладостями — изюмом, орехами, фисташками, конфетами. Максумы не было — ненадолго вышла.

Дом полон внучат — сыновья и невестки по какому-то случаю подкинули ребят к бабушке. Ребятишки выбегали во двор, вновь вбегали, всецело занятые собой. А в соседней комнате, где лежала в постели прихворнувшая старшая внучка, был включен радиоприемник, негромко звучала узбекская мелодия.

У меня сжалось сердце: как радовался бы этой детской суете Наби! Как радовался бы этому дому — сам-то всю жизнь жил плохо и тесно.

Чарос — младшая в семье — была любимицей отца. Он всюду таскал ее за собой, даже на съемки. Сейчас ей двадцать три года. Окончила химический институт. Работает в лаборатории.

За чаем, чтобы занять меня до прихода матери, Чарос вытащила фотографии отца. Среди них — московская фотография молодого Наби в узких коротких брючках (как повторяется мода!) и коротком пиджаке. Наверно, тот самый костюм, который он сменил на халат, подъезжая к Ташкенту...

Чарос рассказывала:

— Ездили мы как-то в Самарканд, экскурсия студентов... Подошли к обсерватории Улугбека. У входа сидел седой красивый старик. Стала я спрашивать его об обсерватории. Он заинтересовался, кто я

и откуда. Узнал, что дочь Наби Ганиева, и так оживился! Сказал, что Наби Ганиев в его сердце оставил светлый след. И стал всем рассказывать о моем отце! Оказывается, познакомился с ним в Самарканде, когда отец снимал там фильм.

В разговоре выяснилось, что Кулюн — старший сын Наби Ганиева — умер. Он занимался литературными переводами на узбекский язык. И мечтал написать книгу о старом Ташкенте, собрав рассказы отца. Замечательная могла быть книга. Наби Ганиев был превосходный рассказчик.

Вот одна история из тех, что я слышал от него.

Продащица груш

Году в сорок шестом зашли мы однажды с Наби Ганиевым на базар в Старом городе. Уже в те годы это был лишь осколок бывшего базара, куда мы бегали в детстве. А когда-то базар был «средоточием мира», главным нервом жизни среднеазиатского феодального города. По сути дела и города-то возникали здесь не как города, а как огромные базары, обраставшие со всех сторон глинобитными мазанками, двориками, улочками. Мало-помалу Старый базар сжимался-сжимался, пока не превратился в то, чем сейчас должен быть — в рынок, где продают свои продукты и изделия узбекские колхозники и кустари.

Итак, зашли на базар. Мне захотелось купить груш или яблок. Было это в конце дня: базар уже почти опустел.

Во фруктовом ряду под навесами стояло всего несколько продавцов: трое-четверо мужчин в тюбетейках и одна женщина в парандже с закрытым лицом. В этом не было ничего особенного, в то время на улицах часто попадались узбечки в парандже.

На прилавке перед женщиной стояла корзина с грушами. Я знал этот сорт: груши плотные, грязновато-зеленого цвета, на вид несъедобны, но надкусишь — и стремительно наклоняешься, чтобы не закапать себя липким соком, сладким, пахучим.

Ткнул я пальцем в корзину и задал стереотипный вопрос:

— Нич пуль бир кило? (то есть: почему кило?)

И услышал из-под паранджи ответ:

— Пять рублей, касатик.

Это было сказано чистым русским языком. Я разинул рот. Русская речь из-под паранджи?!

И уже собирался пуститься в разговоры. Но Наби Ганиев сжал мою руку и насильно увел.

Я остался без груш. Зато был вознагражден рассказом.

— Знаете ли вы, кто такие «самарские»? — спросил Ганиев.

Мне ли это не знать?! Я и сам был в некотором роде «самарский», хотя отродясь не жилав ни в Самаре, ни в Самарской губернии.

«Самарскими» в Ташкенте прозвали всех, кто бежал сюда в дни поволжского голода 1921—1922 годов. Большинство это были крестьяне — голодные, разутые и раздетые. Когда они хлынули сюда, по городу пошло воровство.

И хотя «самарские» в Старом городе не воровали, боясь самосуда узбеков, именно в те дни наиболее осторожные из старгородских торговцев стали на свои лавчонки навешивать замки. До того, уходя, просто прикрывали вход в лавчонку циновкой и завязывали веревочкой.

Воровство у узбеков было крайне редким, почти исключительным явлением. Обмануть, всучить какую-нибудь дрянь у здешних торговцев считалось доблестью, этим хвастались. Но украсть? Никогда!

— Среди «самарских» была и Маруся,— начал рассказывать Ганиев.— Ее мать и отец умерли в деревне от голода. Она с братом поехала в Ташкент. Но брат по дороге тоже умер: от сыпного тифа. Так что приехала Маруся в Ташкент совсем одна. И как-то вышло, что угодила в публичный дом. К тому времени советская власть закрыла все дома терпимости, какие были до революции. Но кой-где ловкачи ухитрились содержать подпольные дома такого рода. Как Маруся оказалась там — врать не буду, не знаю. Скорей всего растерялась — куда пойти, куда деваться? А может, ее обманом затащила и какая-нибудь достойная проклятия старуха. Маруся-то была еще девчонкой лет пятнадцати. Обмануть такую — раз плюнуть!

И вот попал в этот самый дом, к Марусе, молодой узбек по имени Хасан. Переночевал. И влюбился! Да как! С ума сошел! Переночевал — и уже жить без Маруси не может! Ведь любовь не спрашивает «кто?». Любовь говорит «она!». И погиб человек! Пропал на всю жизнь!

— Что ж, она была очень красивая? — спросил я Ганиева.

Он блеснул глазами и усмехнулся:

— Я ее не видал. Но у нас говорят: красива не красавица — красива любимая! Да и что такое красота? Лишь обещание счастья.— Он усмехнулся еще раз.— У иной речи как колокольчик, а сердце каменное. Да и разве в красоте дело?

— А в чем? — спросил я.

Наби Ганиев уставился на меня, видимо, желая удостовериться, не смеюсь ли, и спросил:

— Сказать?

Я кивнул.

Он лукаво улыбнулся и заговорил:

— Однажды Ходжа Насреддин взобрался на минбар (кафедру для проповедей) и обратился к собравшимся: «Знаете ли вы, что хочу сказать?» Все закричали: «Не знаем!» — «Если не знаете, то нечего вам и говорить»,— сказал он и ушел. На следующий день он задал с минбара тот же вопрос. «Знаем!» — закричали все. «Если знаете, о чем же буду вам говорить?!» — И ушел. На третий день в ответ на его вопрос все закричали: «Половина из нас знает, а половина не знает!» — «Пусть тогда те, кто знает, расскажут тем, кто не знает!» — сказал Ходжа Насреддин... Я, как и он, дал вам исчерпывающий ответ. А теперь не мешайте! Я рассказываю вам серьезную жизненную историю, а вы меня все время перебиваете...

Я умолк, пристыженный, а он продолжал рассказ:

— Пришел к себе домой Хасан, рассказал про Марусю. И объявил, что хочет на ней жениться. Жениться?! На русской?! Это одно уже значило, что и мулла проклянет, и родственники отвернутся. Уходи навсегда в Новый город, ищи себе русских друзей. А тут еще не просто на русской, а на женщине из «такого» дома. Помню, когда я объявил, что поеду всего-навсего учиться в Москву, и то моя мать плакала: «Заклинаю тебя, сын мой! Заклинаю молоком, которым вспоила,— не говори таких слов, чтобы кто-нибудь не услышал и не сказал, что ты сошел с ума! Выбрось это из головы!» Если моя мать говорила так, то как рыдала, как убивалась его мать! Легко представите.

Хасан ушел из дому, купил на окраине Нового города хибарку, потом пристроил к ней домик. Его проклял мулла, от него отреклись не только родственники, но и мать и отец. А он был счастлив. Работал сцепщиком на железной дороге. Единственное, что сразу попросил Марусю сделать: закрыть лицо, надеть паранджу. Чтобы никто никогда не посмел на нее указать пальцем. Никто из тех, кто бывал в том доме!

Да и, кроме того, Хасан был сын своего народа, в нем жили предрасудки, впитанные с молоком матери: для него паранджа была символом супружеской верности.

Прошло много лет. У Хасана и Маруси — большая семья, много детей, с добрый десяток.

За эти годы сперва поодиночке сжигали женщины на кострах паранджу... Потом их становилось все больше. Наконец все наши женщины открыли лицо. А Маруся по-прежнему носит свою паранджу! Носит как знак супружеской верности! Как знамя своего счастья!

Теперь понимаете, почему я увел вас от нее на базаре? Знаю вас: привязались бы — как, да что, да почему? Кстати, захотите о них написать — смело называйте имена. Их придумал я. А настоящих не узнаете: подите попробуйте теперь ее отыскать!

И Наби Ганиев по-детски рассмеялся: как перехитрил!

11 апреля.

Коканд.

Наездились, насмотрелись, устали. Короткая дневная передышка...

Еще позавчера договорился о машине для поездки. Мне ее дали как гостю; вечером у меня уже сидел Арип Аюпов, молодой шофер с приятной, сдержанной улыбкой.

А вчера на заре подкатила к калитке серая «волга» с черным номером «ТНА 4880». В багажник погрузили чемодан. На заднее сиденье я поставил термос и, чтоб не валился набок, зажал его между портативной пишущей машинкой «колибри» и свертком с продуктами. Рядом бросил пальто.

Из Ташкента мы с Арипом выехали, петляя по узеньким улочкам между садов... И хотя солнце то скрывалось за рассеянными по небу облачками, то вновь появлялось, цветенье вишен все время так ослепляло, что больно было смотреть. Точней, оно ослепляло белизной, когда сидел спиной к солнцу, а когда смотрел лицом к нему и когда при этом солнце выглядывало, вишневые деревья впереди рисовались глазу черными. Волшебство света!

Выехали за город. Помчались холмистой степью по великолепному шоссе. Решили ехать в Коканд самым коротким путем — через горы Чаткала.

Дорога через горы закончена только в октябре прошлого года. Снегопады почти сразу завалили перевал на зиму. И лишь накануне нашего выезда радио сообщило, что перевал наконец открыт для движения.

Докатили до Ангрена. Заводы, переплетения газовых труб. Многоквартирные рабочие дома. Побеленные с той же тщательностью, что и шахтерские мазанки. И среди цветения вишен на перекрестке крупные буквы: «Один безобразник портит всем и работу и праздник».

Дорога все выше, ущелье все уже. И вот далеко внизу, среди каменных осыпей, скал и кустарников, гигантским черным овалом зияет угольный разрез. Снуют паровозы, всюду экскаваторы, движутся их ковши.

Останавливаем машину, выходим с Арипом. Здесь поверх угольного пласта еще недавно редела и пенилась река Ангрэн. Чтобы добраться к углю, инженеры перенесли реку в сторону, в отводное русло. И вот перед нами разрез...

Двинулись дальше по ущелью Ангрена. Начались дивной красоты места: строй где хочешь курорт. В глубине ущелья — река, взьерошен-

ная на камнях. А на противоположном зеленом склоне — в расщелинах скал, за кустами, в выбоинах — пятна ослепительно белого снега разной формы и величины.

Подъехали почти вплотную к берегу реки. Остановились. Меж огромных обкатанных валунов пробираемся к бурлящей воде окунуть ладонь, освятиться. Река так схватывает руку, что еле успеваешь ее выдернуть! Силища...

Едем дальше. Резкий поворот — мост через Ангрэн. На обочине стоит бульдозер: наверно, расчищал перевал. Дорога круто поворачивает вверх вдоль речки Камчик, притока Ангрэна.

Противоположный склон весь в снегу, и на нем теперь уже черные «абстракции»: это не только торчащие из снега камни причудливой формы, но и разбросанные по склону темно-зеленые, почти черные на белом фоне деревья арчи.

Еще немного вверх — и вокруг нас тоже снег, снег, зима. На поворотах дороги — двухметровые снежные натеки. Но с самой дороги все счищено — тем самым бульдозером.

И вот наконец машина по снежной каше въезжает на перевал.

На побеленном столбе: «Перевал Камчик — 2268 м.». Рядом — лев и львица. Если бы они не были полузасыпаны снегом, то показались бы такими же безвкусными, как олени и дискоболы, к счастью, редко попадавшиеся нам на дороге. Когда прямо из смерзшегося снежного бугра выглядывает львиная голова со снегом в гриве, а из другого бугра торчат хвост и голова львицы, это выглядит дико и величаво.

За перевалом, недалеко от домика дорожного мастера, рядом со снегоочистительным трактором нам радостно помахал рукой рабочий, расчищавший дорогу. Для него мы принесли весну — первая машина. После зимней скуки наступает жизнь.

Быстрый спуск серпантинами вниз — и снега нет: южный склон хребта — все другое. Прыгает с камня на камень речонка Резак. Вокруг скалистые громады, такие желтые, сплошь желто-охристые, что серая лента дороги кажется синей.

Мы мчимся по этой синей ленте. И вот уже цветущие сады Хан-абада. И мост через Сыр-Дарью, катящую мутно-белесые воды. А за мостом пустыня — настоящая, хоть и не бог весть какая большая.

Окраина Коканда встретила нас грязновато-белым цветением яблонь и груш. Вглядываюсь... Да ведь это ощущение грязноватости оттого, что при нашем движении смешиваются цвета белых и розовых лепестков, зеленых листьев, красных тычинок у груш и желтых тычинок у яблонь.

Весна, как видно, идет здесь на добрую неделю, а то и на две впереди ташкентской весны. Там только вишни цветут. А тут все деревья в цвету...

Пока обосновывались в гостинице, на город опустился вечер. Поужинали внизу в ресторане под разухабистый эстрадный оркестрик.

Вернулись в номер и заснули как убитые.

* * *

Утро начал с Литературного музея: табличку заметил еще вчера, когда проезжали по городу. «Хукянд-и-Ляtif» — «веселый, приятный Коканд» — всегда славился поэтами.

Внутри на больших щитах — общеизвестные копии старинных миниатюр-иллюстраций к «Бабур-намэ». Образцы каллиграфии. И среди этой красоты — аляповатые, как видно, написанные специально для музея, картины, на которых намалеваны поэты.

Повернул уже к выходу... Вдруг гляжу — под стеклом старинные книги. Постоял, поглядел на них. И пошел разыскивать, кто бы мне рассказал: что тут, какие сокровища?

Сали Юлдашев, директор музея, худощавый, в тубетейке, показал мне «Пятерицу» Джами — экземпляр, переписанный по распоряжению Навои: дань дружбы, соединявшей великих таджикского и узбекского поэтов.

Как задрожали руки Юлдашева, когда он раскрыл эту книгу!..

Потом показал книгу того же Джами, на полях которой написал свои стихи Муками. Потом несколько вариантов сатирической «Поэмы о сове» Гульхани. Потом рукопись поэтессы Акбар; она слагала стихи, прикованная к постели неизлечимой болезнью.

— Три года, как открыли музей! И мы сразу же начали собирать рукописи. Пока не поздно, надо спасти все, что можно!

Перешли в научный кабинет. Тут я увидел целый шкаф со старинными рукописями. С тех пор как вышли в свет прекрасные книги академика И. Ю. Крачковского и Ираклия Андроникова, романтика поисков рукописей пленила воображение многих.

Ахмед Мадаминов, научный сотрудник музея, посвятил меня в увлекательные поиски, которые он ведет сейчас.

— Жил в Коканде в начале XIX века поэт Нодир. И вдруг — (вот смотрите — открывает старинную книгу!) — оказалось, у него есть еще псевдоним — Узлят! Раньше считали: это совсем другой поэт. Начал я копаться в вариантах рукописей и обнаружил у него еще и третий псевдоним, и четвертый. В чем тут дело? Надо разгадать эту тайну.

Может быть, ему приходилось скрываться? Может, подвергался преследованиям — обычная судьба поэтов всех времен и народов — и только так мог надеяться дать жизнь своим стихам? А может, просто, чувствуя, как меняется сам, менял и псевдоним, отсекая от себя все, что было раньше, перечеркивая сделанное, чтобы все начать сызнова. Тогда бы это был способ подводить жизненную черту. Тоже интересно.

— Конечно, — скромно добавил Мадаминов, — это не бог весть какая работа по сравнению с теми поисками и открытиями, какие ведутся в Ташкенте, в республиканском хранилище рукописей.

Вот где хранилище! Десятки тысяч старинных книг. Там случались открытия покрупней. Недавно вся республика была взволнована: Хамид Сулейманов нашел сорок пять тысяч неизвестных строк лирических стихотворений великого Навои. И убедительно доказал, что они принадлежат именно ему.

Для этого Сулейманов объездил рукописехранилища в Ленинграде, Тбилиси, Ереване, Баку, Ашхабаде, Душанбе. По его запросу прислали микроснимки с рукописей Навои из Индии, Китая, Англии, Франции, Афганистана, Турции, Ирана, США. И буквально из-под пепла ожил, зазвучал голос поэта — целая неизвестная доселе книга «Сокровищница мыслей».

И все же скромная работа научных сотрудников кокандского музея тоже вызывает восхищение.

Сали Юлдашев сел в нашу «волгу» — показать мне домики-музеи Муками и Хамзы.

Промчались по центральным улицам. Заметил группу алжирцев. Оказалось, учатся на курсах сельских механизаторов. В предыдущую смену учились кубинцы.

Въехали в бывший Старый город. Глинобитная кривая улочка, почти слепая, без окон, одни калитки. Машина останавливается у домика Муками.

На пороге нас приветливо встречает Чархи — поэт и смотритель музейчика. Ввел в первую комнатку — стены сплошь в фотографиях и картинах: наивно, но мило. Столик в углу, где сам Чархи пишет стихи, пока не забредет сюда посетитель.

Тишина, прохлада. Выход во внутренний дворик; он отгорожен, отрезан от бывшего медресе. Сейчас там за каменной стеной какая-то артель — кажется, швейная.

Чархи открывает низенькую дверь. И мы вступаем в комнатку самого Мукими, где все, как было при поэте.

Гладкие стенки, чуть подкрашенные синькой. Низкий потолок; за деревянные, прибитые к потолку держак засунуты покрытые глянью тарелки. Пол устлан коврами и одеялами — небогатыми, даже бедными, но чистенькими-чистенькими. И это создает совершенно особое впечатление уюта.

Низенький столик, за которым работал поэт. Перо, лист бумаги.

Чархи негромко произносит:

Я забыт — одна со мною собеседница — тоска.
Келья, где я умираю, будто печь раскалена...

Я вспоминаю, отзываюсь тоже строками Мукими:

Тебя люблю, люблю, мой милый друг,
Тебя ищу, подруга из подруг!
О, неженка с глазами палача,
Тобой забыт несчастнейший из слуг...
Лишь о тебе твержу, схожу с ума,
Твоих речей услышав сладкий звук.
Тебя не видеть больше не могу...

Даже Арип, который, мне казалось, должен был быть падох на пышное и золотое, был захвачен поэзией чистоты, простоты и бедности этой комнатки. И потом до самой гостиницы вспоминал о ней как о счастливом соприкосновении: «Вот приеду в Ташкент — всем расскажу о домике Мукими».

Вышли опять во дворик. Большие плиты — гладкие, отшлифованные ступнями тысяч ног еще в те годы, когда здесь было медресе, — тоже создают особую атмосферу тишины и уюта.

От домика Мукими подъехали к домику Хамзы по такой же узенькой улочке.

Во дворе расположилось чье-то хозяйство, сушатся пеленки. В четырех неуютных комнатах с большими пробитыми европейскими окнами развешаны фотографии и документы Хамзы. Все сделано без любви, кое-как. Пыльно, грязно.

Между фото — картины. Хамза на возвышении поднял руку, произносит речь, а вокруг умильно глядят ему в рот прилизанные люди. Устроителей музея, как видно, не удовлетворял Хамза-человек. Они искали в нем вождя во внешности, в позе. В результате человек исчез, осталась поза. А она отталкивает неправдой...

Покинули домик быстро, жалея, что Хамза, который заслуживает настоящей народной памяти, пока что — здесь, в Коканде, на его родине, — в руках равнодушных людей.

...Пора ехать дальше. Арип уже проснулся, умывается. Впереди еще добрых полдня.

Ночь с 11 на 12 апреля.

Мне в этой поездке решительно везет. Сегодня неожиданный подарок судьбы!

Сперва заехал в горком партии отметить командировку, которую дал мне Союз писателей в Москве. Представился, разговорились. Сказал, что в Коканде мимоездом, осталось полдня: посоветуйте, что поглядеть. Передо мной тотчас же был развернут ряд блестящих возможностей. И я с ходу выбрал суперфосфатный завод.

Приехали. Вошел в кабинет директора. Встает из-за стола Базалев Владимир Дмитриевич (Базалев... Где эту фамилию я слышал раньше?).

Седой, невысокий, в очках со светлой оправой, очень идущей к его седине. Аккуратный, при галстукке. Живые, улыбающиеся глаза.

Он начинает рассказывать.

Сiju, молчу — не успел задать ни одного вопроса, даже не объяснил, зачем приехал и чего жду. А этот рассказывает сам. Да как интересно!

Недоумеваю: то ли принял меня не за того, то ли просто надоели ему корреспонденты — тратить еще время, мол. Возьму и сразу все выложу, скорей отстанет!

— Вот,— говорит,— в «Экономической жизни» опять выступили против аммонизации суперфосфата. Они все еще за грануляцию. Жизнь десять лет назад разрешила наш спор. А они и через десять лет машут кулаками после драки. А драка была...

У него особая манера разговаривать: каждые несколько фраз сопровождать очень высоким заразительным смехом. Глядишь на него и неизвестно отчего тоже начинаешь смеяться.

— Драка была в Ташкенте. На выездной сессии Академии наук, союзной. Я делаю сообщение об аммонизации. Выступает один академик, говорит: «Я еще молодой был, слышал разговоры про аммонизацию. Стал седой, а ее все нет». А я с места кричу: «Вы теперь не только седой стали, а и слепой! Не замечаете, что аммонизация есть! Не хотите видеть ее!» Ну, шум, крик, скандал. Академик раскапризничался: «Сейчас же в Москву уеду!» Его за рукав держат, успокаивают...

Базалев, Базалев... Ах вот что! Вспомнил! В разные годы слышал от разных людей: «Базалев — настоящий директор!» А он все говорит, говорит. Да как заразительно смеется! Да с каким увлечением!

— А зачем аммонизация — сейчас расскажу. Было давно это, начали мы делать суперфосфат. Послали вагон в Самарканд: тогда там своего суперфосфатного завода не было. Вдруг телеграмма: «Приезжайте, вагон потек». Послал я технорука Батыгина. Приезжает туда. А там уже комиссия: «Вредительство!» Стоит наш вагон на запасном пути. И из него струей течет суперфосфат. Жидким сделался.

А Батыгин взял с собой в бутылочке образец. «Как, говорит, плохой суперфосфат?! Глядите!» Вытащил бутылочку, смотрит — и там суперфосфат изменил свою структуру. Ну, он это заметил раньше, чем разглядела комиссия. Сейчас же спрятал бутылочку. Стали разбираться: что за «вредительство»?

Разобрались. Оказалось, вагон на каждом стыке, на каждой шпале вздрагивает, а суперфосфат трется и трется о стенку. Вот и изменился, потек! Нельзя при наших среднеазиатских температурах возить его так далеко. Да и вообще возить плохо...

Задумались мы. А что, если его обработать аммиаком? Сделали опытную установку. Сами придумали, сами «пробили через инстанции». И теперь давно продаем аммонизированный суперфосфат по двадцать восемь копеек. А простой — по одиннадцать копеек. И все колхозы требуют: «Давайте нам тот — по двадцать восемь копеек!» На собственном опыте убедились, что аммонизированный не только сохраняет при перевозке структуру, сыпучесть, но и дает прибавку урожая...

За аммонизацию кокандскому заводу на Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства присудили пять золотых медалей.

Наконец мне удалось спросить Базалева: откуда он, где учился? И оказалось, что всем, и прежде всего стилем работы, он обязан Болшевской коммуне. Бывший болшевец.

И в тот же миг из глубины памяти...

Мы подходим к особняку Горького на Малой Никитской в Москве. Мы — это группа совсем молодых писателей и с нами писатели постарше: А. Берзинь, К. Горбунов, М. Лузгин. Должно быть, зима тридцать третьего — тридцать четвертого года.

Проходим через прихожую не гостиную — очень высокую, но темноватую комнату, где стены в книгах, а на стульях и креслах несколько старичков и старух.

Вошли в кабинет. Из-за стола навстречу нам, став сразу вдвое длинней, поднялся Алексей Максимович, поздоровался с каждым. Уселись.

Знакомясь с нами, Алексей Максимович выделил Леню Соловьева: читал его первые рассказы, одобрительно сказал о чеховской манере письма. Спросил, как собираемся работать.

Все было затеяно Горьким. Ему пришла мысль — собрать группу молодых писателей, чтобы коллективно написали историю Болшевской коммуны; в ней возвращались к трудовой жизни бывшие воры — форточники, домушники, скокари.

Сам он незадолго до того побывал в «Болшевке», и ему поднесли подарок — фуфайку работы коммунаров. Взял фуфайку в руки, сказал: — Одели... Одевают... А раньше наоборот...

Болшевская коммуна была лет за десять до того создана Феликсом Эдмундовичем Дзержинским. Это был смелый опыт доверия к людям. Как писал Горький, опыт «активного, пролетарского, боевого гуманизма». И нашей задачей было рассказать об этом опыте.

Горбунов от нашего имени сказал Алексею Максимовичу, что мы предполагаем делать так: каждый, чтобы глубже войти в жизнь, будет писать о судьбе одного коммунара. А потом те, что с большим писательским опытом, книгу смонтируют, превратят ее в связный рассказ о рождении и росте коммуны. Горький одобрил. И мы поехали в коммуну.

Книгу «Болшевцы» мы написали. Девятнадцать авторов. Она вышла в тридцать шестом году. В предисловии к ней Алексей Максимович поставил ее в ряд с «Педагогической поэмой» Макаренко. И предсказывал книге большую судьбу.

Так — без проверки жизнью и временем — для меня до конца осталось неясным, дал ли прочные, нестирающиеся результаты этот смелый опыт доверия к людям.

И вот встречаю бывшего болшевца, коммунара — теперь директора передового завода. Передо мной живой ответ на вопрос, занимавший меня долгие годы.

Мы переходим в заводскую столовую, в этот час пустую, и втроем (Базалев, Арип и я) садимся за обед. Начался «вечер воспоминаний»: Базалев тоже взволновала наша встреча, перед ним тоже ожила «Болшевка» и все, что было до и после.

* * *

— Жил я в Москве в бедной рабочей семье. На углу Косого переулка, недалеко от кино «Эврика». И вот раз (лет одиннадцать было) тайно прокрался домой с девчонкой — рядом жила. Ничего худого в мыслях не было.

Сидели на кровати, шептались, рассказывали сказки. Смотрим — поздно: легли спать на одной кровати после сказок и сразу заснули.

Не было ничего, да и не могло быть! Утром проснулись, слышим—взрослые встали, разговаривают за дверьми: «Надо Володьку будить». Испугались: что делать? А дверь на крючке. Стали шептаться. А там услышали: «С кем-то шепчется... Давай, сукин сын, открывай!» Встали на табуретку, а поверх двери — стекло. И завопили: «Там Володька с девкой!» Загремели, заорали: «Открывай!» Дрожащими руками открыл. Девчонку выгнали. А меня сразу бить, стащили штаны да в корыто! Щетками с мылом оттирают. Помню: обидно мне стало! Ну, виноват, ну, побили, но зачем же в корыто?! Обида! Пинки! А тут еще голод! Я и ушел пешком под Сызрань. Станция Ключики, деревня Назарьевка. Нанялся. Живу. Работаю у хозяев. Прижился. Тут продрозверстка. Отбрали имущество у хозяев. Они и говорят: «Не можем больше тебя кормить». И уехали. Я еще в той же деревне пастухом проработал. Потом вернулся в город. Ну и связался — с одним, с другим... Скоро стал известным вором. Мои фотокарточки во всех милициях. Уж сколько бегал из тюрем — рассказать не могу! Из Соловков бежал. Поймали. Привезли в Москву. Ну, думаю, дадут «вышку». Вдруг в камеру входит Колька Гулеван, с которым и дела делали, и по тюрьмам вместе сидели. «Базалев! Давай в коммуно!» Вышли из тюрьмы. Едем в трамвае — в его руках папка. «Вот, говорит, твое дело!» — «А откуда оно у тебя? И куда мы?» — «А оттуда, говорит, откуда ты вышел. А куда?..» Разорвал дело на клочки и выбросил из трамвая. «Я, говорит, за тебя поручился». — «Ну-ну, думаю, что дальше будет...» Приехали в Болшево. Надо ли остальное рассказывать — коммуно вы знаете...

И мы с Базалевым стали вспоминать коммуно. Ее руководителей — Матвея Погребинского и Сергея Богословского, «дядю Сережу». И коммунаров. И как приезжал в коммуно Анри Барбюс. И как посетила коммуно Надежда Константиновна Крупская: тогда коммунары впервые узнали, что именно тут, в бывшем имении Крафта, зимой 1921—1922 года отдыхал Владимир Ильич.

— Ей, коммуно, я всем обязан. Ей да еще Марии Федоровне Андреевой, другу и помощнице Горького. Благодаря ей захотелось учиться. Пошел в ЦК, все о себе рассказал. Мне помогли, порекомендовали. Я попал в Промышленную академию, на химический факультет. Сначала не знал ничего: два месяца со мной занимался дробями один добрый человек, партработник, и никому об этом не говорил, чтобы мне не было стыдно. В Промакадемии меня и в партию приняли. Промакадемия спасла и в тридцать седьмом. Таскали, правда, за прошлое, хотели привязать... Да спасся. Кончил Промакадемию с отличием. Попросился на периферию. Меня и послали в Среднюю Азию, в Коканд — строить суперфосфатный завод. Тогда тут был маленький тукосмесительный заводик. Только собрались приняться за стройку — война. Хлынули эвакуированные. Приезжают люди голодные, раздетые, им и говорят: «Иди на тукушку, там корову зарезали, бесплатно кормят». Кормлю всех, принимаю на работу, собираюсь строить суперфосфатный. Мечтаю, чтоб надо мной была стометровая труба.

А пока взялись делать взрывчатку. Селитра у нас была. С чем смешивать? Принялись за опыты, да и наткнулись на жмыхи. Попробовали. Отлично взрывается. Послали на фронт. Понравилась наша взрывчатка. С фронта Воронов, маршал артиллерии, стал ее запрашивать. Мины делали. Под Сталинградом два миллиона наших мин было. Потом приходит решение: завод законсервировать, рабочих распустить. Не выполняю распоряжения. Послал в Москву объяснение: почему считаю необходимым строить суперфосфатный завод. Прошу, чтобы отпустили миллион. Месяц нет ответа, а рабочих кормлю, зарплату плачу. Два

месяца нет ответа, три... На четвертый приходит ответ: отпускаем миллион. И началось строительство.

Нелегкое дело быть директором завода. А когда всем известно, что директор завода был когда-то вором... Сколько раз обвиняли меня во вредительстве! То жалоба, что электрические лампочки ворую. Это я-то! Подписываю чеки на десятки тысяч рублей. И вдруг ворую лампочки! Комиссия, проверки... Потреплют нервы, пока убедятся, что клевета. То обвинили, что даю хлебные карточки тем, что живут на другой стороне улицы. Тем, кто в домах химиков,— мне выдавать. А по другую сторону улицы живут мои же рабочие, мои ребятишки играют с ихними ребятишками. А хлебных карточек им не имею права давать. Должны давать городские власти, но они не дают! Я им и даю. Во вредительстве обвинили. Крик, угрозы: «Под суд!» А я говорю: «Даю и буду давать!» По-нашему, по-коммунарски, оно так было бы. Приехал Турдыев, секретарь обкома: «Ты что тут законы нарушаешь?!» — «Законы законами, говорю. А есть еще человеческие законы». Все ему объяснил. Он сказал: «Ты прав»— и уехал.

Это теперь, когда я седой, старый, меня уважают. А тогда чего только не приписывали! «Почему, говорят, не борешься с врагами?» Говорю: «А с кем бороться?» Да, признаться (раньше боялся говорить, теперь горжусь), выручал людей. Приходит наниматься, говорит робко: «Я был в заключении». Поговорю с ним, вижу, что ерунда, на самом деле человек честный, и беру. Многих спас, и они меня выручали: хорошие были кадры. Мне же люди были нужны—такие, чтобы хорошо работали. А я в тюрьме еще многое понял, научился в людях разбираться. В тюрьме да в коммуне. У меня на заводе выросли люди. Сейчас в Коканде на многих ответственных участках мои воспитанники. А то еще Исмаилов был—сколько писем на меня написал, две статьи про меня опубликовал и наконец письмо в Москву. Нет такой клеветы, которую на меня не возвел бы! Сколько таскали меня по комиссиям! Убедились наконец, что все клевета, сказали: «Выгони его!» Не выгнал. Помнил уроки, которые всем нам давали «дядя Сережа» и другие в коммуне. Понимал: не сам Исмаилов был—он неграмотный—чужая рука! Отправил его учиться на три года. Через три года вернулся, приходит: «Простите меня! Главный механик попутал, такой-то. Понял—виноват. Спасибо вам. Спасибо за все». Живет теперь как человек.

* * *

Пообедав, пошли осматривать завод. К нам присоединился Махмуд Абдулаевич Ашурбаев, главный инженер завода, необычайно вежливый и молчаливый.

Над осуществленной стометровой мечтой Базалева вился желтый сернистый дым. Дым желтым облаком стоял и над зданием сернокислотного цеха: завод только сегодня поставили на пятнадцатидневный ежегодный ремонт, остановили вентиляторы, дым и полз изо всех щелей...

Показывая завод, Базалев рассказал о многих технических придумках.

Химикам удалось здесь, на заводе, сконструировать опытные установки, на которых они «поймали» редчайшие элементы, которые употребляются в современной технике.

Они, быть может, пригодятся, когда человек полетит куда-нибудь в бездну мирового пространства.

Базалев говорил об этом весело и мечтательно. А я глядел на него и думал: о человечестве сказано, что оно стоит между атомами и звездами. Вором он был ближе к атомам. Болшевская коммуна, а потом и вся наша жизнь с каждым днем приближала его к звездам.

*13 апреля.
Раннее утро.
Хамзаабад.*

Желанной цели должен ты добиться, человек,
Иль ничего пускай тебе не снится, человек.
А если этих двух задач не сможешь ты решить —
Уйди куда-нибудь, живи, как птица, человек!

Со вчерашнего дня меня преследуют стихи султана Бабура. Вчера утром еще никакого султана Бабура не было. Мы выехали из Коканда. За городом хлопковые поля, изрезанные рядами тутовых деревьев — короткие, почти черные стволы, наверху каждого причудливоросло морщинистое утолщение, а из него метелкой расходится молодая поросль тонких ветвей.

Бесконечные ряды таких деревьев пересекают хлопковые поля под разными углами. И между деревьями с кетменями, поблескивающими на солнце, — женщины, одни женщины, правда, не в паранджах, а загорелые, в праздничных нарядах, ярких, цветных. Но одни женщины. Лишь кой-где возле трактора — одинокий мужчина.

А остальные мужчины на шоссе: на велосипедах (и седобородые старики!), на осликах (и мальчишки!), на арбах (колеса стали поменьше — всюду мостики, большие колеса теперь не нужны), на мотоциклах (треугольные кончики ярких поясов развеваются на ветру!), на легковых машинах (и в такси — тубетейки колхозников!), на грузовиках и автобусах. Все спешат на воскресный базар.

Мужчины сидят и в придорожных чайханах, распивают чай на помостах, крытых коврами, пока их сестры и жены работают на полях.

Когда это кончится?! Сколько об этом писали. Разговаривали на собраниях. Высменвали. Вся жизнь стала другой. А это все еще держится. Приходит базарный день — и узбек мужчина садится на велосипед. «Пусть работают женщины!»

Я стал размышлять: как же это сочетается здесь с народной любовной лирикой, давшей нам образцы силы и тонкости чувства?

Тем временем мы въехали в Риштан — районный центр, селение, истари славящееся искусными гончарами. Над крышами Риштана вздымался покрытый снегами, изборожденный складками Алайский горный хребет. И я вдруг вспомнил, что как раз в этих горах писал поразительные по силе стихи о любви великий поэт и историк султан Бакур.

Свергнутый с ферганского трона, он целый месяц скрывался в верховьях Соха. А та, к которой он обращал стихи, как видно, осталась в Андижане.

Клянусь, что и день в разлуке мне быть с тобой нелегко.
Но ладить с тобой, как с темной моей судьбой, нелегко.
Твой нрав прихотлив, ты очень резка, а я сумасброд,
И чести мужской униженной стать рабой нелегко.
Что плач мой, что стон, коль счастье мое, как мертвое, спит?
Не только мольбой — его разбудить пальбой нелегко...

И только я пробормотал эти строки, как у нас сел аккумулятор. Бензин есть (перед выездом заправились), а энергии нет.

Стоим посреди Риштана. В стороне сельмаг. Сверху горы. Арич покопался-покопался в аккумуляторе. Потом, не теряя присутствия духа, вытащил из багажника трос, нацепил на переднюю ось. Поднял руку, остановил какой-то самосвал. Подцепился. Самосвал сдвинул нас с места и разогнал — мотор завелся. Остановились. Но мотора уже не выключаем. Расцепились. Поехали дальше сами.

Риштан позади, едем по адырам — предгорьям, то зеленеющим от трав, то голым, каменистым. Отличное шоссе. Разогнали машину. Недалеко уже Фергана.

Опять вернулся мыслями к Бабур. Вспомнил, как, разбитый войсками Шейбани-хана, он с горстью воинов едва унес ноги, удрал в Индию. И с той же горстью воинов завоевал всю Индию (я никогда не понимал, как это могло случиться), основал империю Великого Могола и стал первым шахом Индии, гордостью ее истории.

Но и там, сделавшись властителем гигантской страны (это после маленького ферганского царства), он тосковал по той, которую ему ни одна другая не могла заменить.

Сзади — скорбь, рядом — горе, а передо мною — разлука:
Вот чем я окружен, твоей близости прежней лишенный...

А мы уже на широких улицах Ферганы, осененных четырьмя, восемью, кой-где и двенадцатью рядами могучих деревьев. Сразу выяснилось — выходной, никого не найдешь.

Мы решили ехать в горы, в Шахимардан, или, как он теперь называется, Хамзаабат. А завтра — в обычный рабочий день — возвратиться.

Но аккумулятор? Как быть с ним? Ездим, мотора не выключаем. А что будет, если мотор заглохнет на горной дороге? Сунулись в один гараж, в другой... Весь город выходной!

Наконец возле таксомоторного парка поймали двух опытных водителей. Они вместе с Арипом долго колдовали, крест-накрест соединяя в аккумуляторе одни банки и выключая другие, от которых все зло. И аккумулятор заработал.

Конечно, рискованно было ехать... Но мы, даже не пообедав, покатили по хамзаабатской дороге. Остановились лишь за городом — среди громадного совхозного сада. Выключили мотор. Воздух наполнился звонким цикад. Извлекли из машины лепешки с тмином, масло, брынзу, копченую колбасу, термос с чаем. Свесили ноги в кювет. Поели-попили. И помчались к горам.

Мне кажется, что именно тогда, когда Бабур окончательно потерял надежду увидеть свою любимую, оставленную за долами, за горами, он, чтобы как-то приблизиться к ней, стал все чаще вспоминать в Индии и свою далекую родину. Так родилась книга прозы «Бабур-намэ», в которой удивительно точно и поэтично описаны и те места, где мы сейчас едем.

Лиловые сумерки быстро опускались на живописные селения, через которые мы ехали. И на близкие и далекие скалы. И на бегущий по камушкам, весь в прядях пены Шахимардан-сай.

Чем выше, тем заметнее отступала назад везна. В Кадамджае еще цвела джида. А в этих селениях только расцвел урюк. От снежных вершин тянуло холодом.

Хамзаабат встретил нас крошечной тьмою. Только где-то высоко над селением сияли огни дома отдыха.

В свете фар пронеслись призрачные заборы, деревья. Остановились мы возле чайханы, где тускло горела керосиновая лампа да, закутавшись в теплые халаты, сидели человек десять колхозников. Они потеснились, чтобы освободить на помосте место. Протянули традиционную пиалу с чаем. Желая лучше разглядеть нас, кто-то подкрутил в лампе фитиль. И гигантские тени зашевелились на ветвях деревьев, свисающих до земли, на деревянных столбах, подпирающих кровлю чайханы.

Я спросил: почему нет света? Заговорили все сразу...

Мне и в голову прийти не могло, что в Хамзаабате вообще нет элект-

тричества, так привык, что оно в Узбекистане повсюду, в любом кишлаке. Оказалось, здесь своя маленькая электростанция только у дома отдыха.

Мы наполнили чаем термос. Загнали «волгу» в колхозный сарай. И Тахир Ганиев, директор летней гостиницы для туристов, тоже оказавшийся в чайхане, повел нас на ночлег. Гостиница еще закрыта — сезон не наступил, — но в одном помещении на всякий случай приготовлено для ранних гостей несколько постелей.

Нас встретил простуженным лаем пес, привязанный к конуре. Калитку открыл (я его осветил фонариком) старик сторож Муххамадпул и, приложив ладонь к сердцу, провел в помещение.

При свете керосиновой лампы мы с Арипом развернули на громадном столе все те же лепешки, брынзу, масло, конфеты. И стали угощать Муххамадпула. Ему около восьмидесяти. Голова седа, но борода черная. Он сказал:

— Знаете почему?

— Почему?

— Потому что волосы на голове у меня старше волос на бороде на целых пятнадцать лет.

Посмеялись. И легли спать, накрывшись одеялами необычайной пестроты.

Едва в оконце завиднелся рассвет, Муххамадпул встал и вышел. Арип тут же поднялся и отправился осматривать машину после вчерашних встрясок. Я тотчас же оделся и вынес на улицу свою «колибри».

Шахмардан-сай бежал, красуясь белыми венками пены. Вдоль берега краснела кайма водорослей.

На домике, где мы спали, обнаружили нарисованные красками павлины. Муххамадпул, чтобы быть ближе к аллаху, босыми ногами взобрался на штабель кроватей, сложенных на зиму под навесом, и совершал намаз.

Я сел за дневник. Муххамадпул уже стоит рядом — не может оторвать глаз от того, как я стучу на машинке.

Шагах в двадцати колхозники к мостику выгоняют коров. А вон и Арип возвращается... Пора начинать день.

13 апреля.

Хамзабад—Фергана.

Вчерашний наш знакомец Тахир Ганиев, директор гостиницы для туристов, вызвался показать нам Хамзабад.

Ожидая его, мы прогулялись по селению, вдыхая запахи утренних дымок. Они поднимались из-за глинобитных заборов даже не дымом, а струями дрожащего воздуха. И в этих струях волшебным образом преображалась картина гор. Послушали, как тысячами шумов и шумиков переговариваются речки Ак-су и Кос-су: они тут сливаются, образуя Шахмардан-сай.

Наконец Ганиев пришел. И по изгибам дороги мы поехали круто вверх, к мавзолею Хамзы.

На горной площадке, залитой солнцем, несколько цветущих деревьев урюка. Ореховое дерево без листьев. Розоватая шапка карагача. И среди деревьев — мавзолей нежно-зеленого цвета с белыми лепными украшениями.

За решеткой внутри мавзолея — серый мрамор надгробия, поверх желтая плита поменьше. «1889—1929». А на стене в изголовье лепной портрет поэта — простое дехканское лицо в тубетейке.

Хамза Хакимзаде Ниязи — узбекский поэт, драматург, композитор. В 1911 году он открыл в Коканде бесплатную школу для детей бедняков. Думал, бедствия народа из-за неграмотности: стоит людей просветить — и все станут счастливы. Открыл школу, муллы обвинили его в безбожии и вольнодумстве, школу закрыли, а Хамзу изгнали из Коканда.

В поисках правды Хамза скитался по Турции, Аравии, Афганистану, Индии и убедился: везде были богачи и были бедняки, которым на разных языках говорили, в сущности, одно и то же: «Не умирай, осел! Терпи! Клевер еще вырастет». Вернувшись в Коканд, Хамза вновь открыл «школу для сирот». Ее закрыли опять. Тогда Хамза открыл школу в Маргелане. И ее закрыли. Распростившись с иллюзиями просветительства, Хамза после февраля 1917 года вместе с русскими коммунистами стал организовывать «Советы трудящихся мусульман».

После революции дарование Хамзы развернулось вовсю. Он создал первую драматическую труппу, сам писал для нее пьесы и выступал с нею на среднеазиатских фронтах гражданской войны. Он открывал клубы, курсы по ликвидации неграмотности и школы. Он помогал создавать первые учебники.

Народный трибун и организатор, он по своему поэтическому облику походил на Маяковского. За что бы ни принимался, во всем был революционером, новатором. Хамза смело ломал установившиеся традиции национального искусства — и в поэзии и в музыке.

Почти сорока лет начал учиться в русской музыкальной школе. Первый из композиторов Узбекистана стал пользоваться роялем. Первый выступил против старинной восточной манеры петь зажатым гортанным звуком. Первый научил узбекских певцов петь стоя. А главное, первый сочинил революционные песни, которые подхватил, запел узбекский народ.

Большинство людей старится в маленьком кругу чужих мыслей. Еще Лабрюйер говорил: «Поступать как другие — правило подозрительное, оно почти всегда означает, что надо поступать дурно». Хамза поступал не как другие. Надо ли удивляться, что все старое, прогнившее и отжившее ополчилось на него?! Клевета стала ходить за ним по пятам. Его попытались исключить из партии. Его устранили из созданного им театра. Его стихи и пьесы не печатали и «теряли» в издательстве. Почти все пьесы Хамзы были «потеряны». И только после смерти Хамзы актеры, вспоминая свои роли, коллективно восстановили их текст.

Покинув Ташкент, Хамза уехал в кишлак Авваль — близ Ферганы. Создал там артель из бывших батраков и бедняков. Открыл «красную чайхану» (тогда справлялись «День красной винтовки», «День красного подарка» — наивное и романтическое время!).

Потом Хамза переехал в Шахимардан. Открыл школу. Курсы по ликвидации неграмотности. Организовал посадку деревьев по склонам гор. Начал строить канал для орошения новых земель...

Восьмого марта 1929 года Хамза провел первое в Шахимардане собрание женщин. В этот день двадцать три женщины кишлака сбросили паранджу. Спустя десять дней мусульманские фанатики зверски убили Хамзу.

Мулл в Шахимардане в то время было больше, чем где бы то ни было. На этой самой горной площадке с древних времен находилась святыня Средней Азии — могила Али, четвертого халифа, двоюродного брата Муххамеда, человека, которого на Востоке зовут Царь Мужей, «Шах-и-мардан». К его мавзолею (мазару) пешком и верхом шли и ехали паломники со всей Средней Азии.

По мере того как поезда, автомашины и самолеты начали сближать страны, на мусульманском Востоке стали обнаруживаться и другие могилы Али. Их оказалось восемь в разных государствах.

Кинорежиссер Камиль Ярматов однажды рассказал забавную историю, как рождаются подобные легенды.

Перед войной снимал он фильм «Друзья встречаются вновь». Художник П. Галаджев недалеко от Канибадама построил для съемок глинобитный мазар. Спустя два года Ярматов побывал в тех же местах на охоте. Проезжая мимо своего мазара, увидел: куст перед ним увешан тряпочками — значит, сюда приходили молящиеся и отрывали кусочки от своих халатов, как положено мусульманам у святых мест.

В соседнем селении Ярматов спросил какого-то старика о мазаре. И тот рассказал «старинную» легенду о святом, похороненном здесь, — за два года она успела сложиться и укорениться.

Сейчас на месте этого мазара катит серо-голубые волны новое Кайрак-Кумское море, созданное для орошения Голодной степи.

Море вытеснило легенду.

Но в Хамзаабаде легенда об Али еще живет. При мне к беседке, поставленной на каменном фундаменте бывшего мазара, подошла какая-то узбечка и стала жарко молиться камням. И я, признаюсь, задумался: а следовало ли оскорблять чувства этой женщины, разрушив мазар?! Разве разрушать — борьба с религией?! Скорей наоборот — это распространение религии. Гонимая, она обретает для этой женщины первоначальную святость.

Вообще наша антирелигиозная пропаганда нередко еще бьет мимо цели. Она не учитывает психологии человека. Большинство наших антирелигиозных брошюр написано для атеистов, а не для верующих. Их непререкаемый или иронический тон лишь оскорбляет верующих.

Правда, мазар Али был немым свидетелем, да, пожалуй, и косвенным участником злодейского убийства Хамзы. Понятно поэтому и гневное желание скрыть его, уничтожить самую память о нем. Тем более что с мазаром этим связана еще одна трагическая страница. В 1919 году басмачи сожгли в нем тридцать два красноармейца.

Было так. Отступая с боями, преследуемая множеством басмачей, горсть красноармейцев заперлась в мазаре: не станут, мол, басмачи жечь — осквернять святое место! Но басмачи принесли хворост и солому, обложили мазар и подожгли. Сгорели все. Лишь двое, спрятавшиеся в другом маленьком мазаре, спаслись. Они все видели, обо всем рассказали.

Духовенство вновь отстроило мазар. Потом его срыли. И теперь в Ленинграде отливают памятник тридцати двум. Его воздвигнут тут же, на краю горной площадки.

Отсюда, сверху, я смотрю на Хамзаабад. С одной стороны выше селения — гигантский сад урюка: бело-розовая пена цветов над чернотой корявых стволов. Тот самый сад, который начал сажать Хамаза. С другой, тоже над Хамзаабадом, но пониже, чем мы стоим, — далекая беседка, деревья и строения пока еще безлюдного пионерского лагеря.

А внизу — солнечные кровли и очерченные резкими тенями прямоугольники садов Хамзаабада. К ним от нас многочисленными ступеньками льется белая цементная лестница. Внизу возле нее сидят (видел их, прогуливаясь утром) два старика: слепой и его товарищ. Подняли головы вверх, туда, где был мазар Али, и бормочут молитвы. Позади них карагач. Сверху видна его шапка — розовато-дымчатая, вся из бесчисленных веток и веточек, переплетенных в шатер.

Пока мы стояли, любясь видом, мимо нас кто-то прошел к до-

мику с двумя крылечками, видневшемуся из-за деревьев. Это, увидев нас, открыл музей его директор.

В музее пять комнат с фотографиями и документами. Есть фотографии, которые заставляют сжать кулаки. Фотографии убитого Хамзы; улочки, где его задушили; улочки, по которой волочили его труп; щель, куда бросили его тело (из окошка музея видна и сама эта щель в горе над Ак-су).

Есть и фотография канала, который он начал здесь сооружать и который был достроен уже после его смерти (из окошка виден и канал этот, прорезанный в склоне горы). Есть и такой снимок — Хамза среди людей, с которыми он начал создавать тут сельскохозяйственную артель.

Вспомнился ночной разговор об электрическом свете.

Думая о будущем шахимарданских ребятишек, Хамза поплатился жизнью. Давно пора здешним школьникам, да и взрослым (тем школьникам, которых обучал сам Хамза) подарить вечера. Дать им возможность вечером открыть книгу или включить радиоприемник. Давно-давно пора прогнать из Хамзаабада ночную тьму. Вот что было бы лучшим памятником Хамзе!

14 апреля.

Фергана — Кзыл-Кия.

Собрался было начать день с осмотра Ферганы. Арип еще на заре ушел в гараж, куда поставил на ночь машину. Я оглядел гостиницу — по архитектуре современную, уютную, с удобствами — и вышел на улицу.

Подкатил Арип. Я сел с ним рядом. И на вопрос куда — неожиданно для себя сказал:

— В Кзыл-Кия.

Этот шахтерский городок сыграл в моей жизни большую роль, и мне вдруг остро захотелось пройтись по нему, все вспомнить.

Почти сразу же за Ферганой «проголосовала» колхозница с грудным младенцем на руке. Рядом на траве — огромный узел. Сама в ярко-желтой бархатной безрукавке поверх зеленого платья. Киргизка. Ей в Араван (за Кзыл-Кия). Посадили ее бок о бок с термосом и машинкой.

До Кувасая долетели мигом. Шоссе поразительной гладкости: строили-то хозяева цемента и бетона! (В Кувасае крупные заводы строительных материалов.) Потом по шоссе поплосше среди предгорий поднялись в Кзыл-Кия.

Наша попутчица с младенцем на первом же перекрестке шахтерского города вылезла пересаживаться на араванский автобус. Мы длинной улицей (садики, побеленные дома, ресторан «Уголек») докатили до входа в городской сад, в глубине которого на холме шахтерский Дворец культуры.

Там председатель рудкома познакомил меня с Николаем Петровичем Анисимовым, старым шахтером, чтобы показал сегодняшний Кзыл-Кия.

Особый шахтерский говорок, характерное лицо, на котором складки кожи вокруг глаз собрались как бы в постоянную улыбку. Когда глаза улыбаются — все сливается воедино. Но когда глаза строги, возникает противоречие — щеки улыбаются, а глаза нет. И это усиливает впечатление серьезности. Таков Анисимов.

Подъехали мы с ним к копру шахты 4, по наклонному ходу ко-

торой когда-то с карбидным фонарем в руках поднимался я из-под земли. Было это больше тридцати лет назад.

Шахту давно выбрали и закрыли. На кирпичные стены копра наведена крыша. Был копер — теперь отделение связи. Грустно приезжать на такие рудники. И у шахт есть возраст. К ним тоже приходит старость.

«Если тебе осталось жить до полудня, все же заработай, чтобы тебе хватило до вечера». Эту фразу я слышал из уст Леонтия Григорьевича Солнышко, здешнего шахтера. Он был мудр и знал жизнь. Анисимов хорошо помнит его.

Случается, встретишь человека раз или два. Не придашь никакого значения встрече. А потом оказывается, что именно он дал тебе тот толчок, который стал определять твое отношение к жизни и к людям. Таковую роль в моей жизни сыграл Леонтий Григорьевич Солнышко, хоть видел его только в тридцатом году, когда первый раз приезжал сюда.

Солнышко

Мне поручили тогда написать очерк об угольщиках.

Приехав в Кзыл-Кия, я, вместо того чтобы изучать жизнь, стал с наивной прямолинейностью молодости задавать вопросы товарищу Солнышко. Я искал примеры к заранее припасенной схеме: прежде жилось плохо — теперь хорошо.

Между тем шел тридцатый год — время революции в деревне и разгар индустриализации. Людям в те дни случалось отказывать себе в самом необходимом. Можно представить, как мои вопросы должны были раздражать Солнышко. Он перестал отвечать мне и нахмурился. От смущения я смешался и умолк. Тогда Солнышко насмешливо взглянул на меня и сказал:

— А из тебя шахтер выйдет. Трудновато придется только первые десять лет, а там привыкнешь.

Я в ответ забормотал что-то вроде:

— При чем тут шахтер? Признаться, я не собираюсь...

— А ты соберись! — все так же насмешливо сказал Солнышко.

И, как видно, убедившись по выражению моего лица, что загнал в угол, вдруг заговорил просто:

— Думаешь, мы боролись, кровь проливали только ради хлеба, ради крыши или даже ради вот этого? — Подвел меня к окну, за которым среди бочек с известкой и груд кирпичей рабочие укладывали фундамент нового дома. — Нет! — сказал он, замолчал и уставился на меня.

Я инстинктивно почувствовал, что и мне следует молчать. Задай я в ту минуту вопрос: «А ради чего?» — он, думаю, опять срезал бы меня насмешливой фразой и разговор на том бы и кончился. Но я молчал.

Тогда Солнышко сам задал этот вопрос:

— А ради чего?!

Строго взглянул на меня и начал рассказывать историю Кзыл-Кия.

До революции здесь по склонам глинистых холмов, поросших полынью, бурьяном да колючкой, лепились шахтерские землянки. Шестнадцать часов в сутки работали шахтеры: спускались под землю за долго до рассвета и выходили вечером, в темноте.

Отсюда и фамилия Солнышко — из прозвища. От воскресенья до воскресенья шахтеры не видали дневного света. Молодой же Лесн-

тий Григорьевич в ту пору работал откатчиком, вывозил уголь на-гора. Возвращался в шахту, его и спрашивали:

— Ну как денек?

Он отвечал:

— Солнышко.

«Солнышко» да «солнышко», так и осталось за ним.

Входом в шахту служила дыра в земле. Сквозь эту «дудку» шахтер прямо на угольной бадье спускался в штольню, которая почти никак не вентилировалась, хотя глубина залегания угольных пластов доходит здесь до двухсот метров. Задымаясь без воздуха, лежа на животках, иногда в лужах воды, забойщики прорубали кирками кривые штреки.

«Шахтер в шахту опустил — с белым светом распростился...» Эти слова из старой горняцкой песни имели в Кзыл-Кия реальное значение. Каждую неделю бадья поднимала тела раздавленных породю, задохнувшихся или умерших от истощения.

— В будни мы работали, а по воскресеньям хоронили товарищей, — рассказывал Солнышко.

В Кзыл-Кия не было ни кладбища, ни попа. Покойников заколачивали в гробы, выстраивали рядами в часовенке. И каждое воскресенье утром из Кзыл-Кия в город Скобелев (Фергану) на «кукушке» выезжала похоронная процессия.

И у всех провожающих, если была зима, в кармане лежали молчалки. Своей бани в Кзыл-Кия не было. Летом шахтеры купались неподалеку от поселка под водопадом. Зимой заодно с похоронами смывали с себя в городе недельную угольную грязь.

Интересно, что в 1917 году шахтеры этого маленького пролетарского поселка, затерянного, словно песчинка, в глубине феодальной Средней Азии, отозвались забастовкой протеста на расстрел июльской демонстрации в Петрограде.

Правда, отозвались с запозданием, так как номер большевистской газеты, посвященный этим событиям, проплутал больше месяца, прежде чем добрался в эдакую глушь. Солнышко был одним из вожаков забастовки.

Леонтий Григорьевич рассказывал о том, как после революции шахтеры с оружием в руках отстаивали здесь советскую власть. Их поселок называли в ту пору «кзыл-кийской республикой».

И о том, как, отказывая себе в необходимом, шахтеры потом перестроили шахты. Как научили горняцкому делу киргизов. Как многие разъехались по кишлакам — помочь дехканам объединиться в артели. И как им там нелегко.

— А ты меня про что спрашиваешь?! — запальчиво заключил он. — Про живот?! Ты раньше про сердце узнай! Ты мне лишнее дай! А без необходимого я обойдусь!

Дня три после этого разговора Солнышко приглядывался ко мне. Неожиданно назвал к себе. И на этот раз разделал под орех на глазах всей семьи. Усадил за стол в горнице, налил чаю, положил на блюдечко вишневого варенья. С простодушным видом спросил:

— Значит, хочешь принести вред советской власти?

Я вздрогнул:

— Что вы?! Почему?! Совсем не хочу!

— Нет, хочешь, — строго сказал Солнышко. — Я тебя сразу понял. Ты хочешь писать, что дала нам советская власть. Верно?

— Ну? — сказал я, вопросительно глядя на него.

— А чего не дала — об этом молчок?

Я прсбормотал что-то нечленораздельное.

— Мычишь? — Смешливые огоньки зажглись в его глазах. — Мычи, мычи. Лучше не скажешь!

Я вспыхнул и встал, чтобы уйти. Но он с силой взял меня за плечо и посадил обратно на стул.

— Подумай сам: что делается на свете, если все будут писать про одну только сторону жизни?! Все перестанут верить во все. И наступит царство отчаянного пессимизма! — (Так и произнес — с мягким знаком.)

— Почему? — удивился я.

— А потому! — Леонтий Григорьевич пристально поглядел на меня, как бы испытывая мою серьезность и искренность. И заговорил: — Возьми врага... пишет про нас одно плохое. Ну прочту я, прочтет другой. Отложит в сторону. Да еще посмеется: «Ну и брехня!» Но если кто пишет про нас только беленькое — вот от кого вред! Полагаешь, каждое твое печатное слово как застрянет в мозгах, так и останется: это, брат, все равно что верить в колдовство! Дураков мало... Бывает, правда: когда вместе соберутся да друг под дружку подлаживаются — тогда ну чисто все дураки. А так сам по себе каждый умен, все знает, все понимает, на хлебной мякине не проведешь. Прочтет твою писанину, да и скажет: «Вот гад! Половины не сказал — побоялся! Того не написал, и того, и того...» Будешь показывать одну сторону жизни — добьешься, что все увидят только другую. А ежели и прочие станут вроде тебя в ту же сторону гнуть... тогда все во всем разуверятся. Никакими статейками не уговоришь! Нет, ты так напиши, чтобы все было: и рожье, и божье, и красное, и черное, и серо-буро-малиновое! Вся как есть жизнь! Прочту я, прочтет другой, скажет: про меня тут правда — значит, и про других. Гляди на обе стороны жизни — и станешь человек!

Так закончил Леонтий Григорьевич.

Я не сразу понял глубину сказанного им. Но жизнь все чаще и чаще заставляла меня этот разговор вспоминать, и только много лет спустя я по-настоящему оценил его.

Леонтия Григорьевича Солнышко давно нет на свете. К руднику подкралась старость. Всюду стоят немые, нерастущие терриконы выброшенной породы. Исчерпываются угольные богатства. А в городе все так же цветут вишни...

Чем же живут здесь люди? На что надеются? Что впереди?

— Есть еще шахта Джинджиган, — говорит Анисимов. — Вот-вот должны пустить. Обязались к Первому мая. Последняя шахта: больше не будет...

Едем среди голых холмов за несколько километров. Подъезжаем...

Джинджиган — в переводе «Скопище джинов», «Скопище чертей». Любую старую шахту можно бы именовать «скопищем чертей», когда из шахты выходила смена — черные от угольной пыли шахтеры. Только не эту!

Есть люди, которые совестятся говорить о хорошем, чтобы не подумали про них плохо. Что ж, их тоже можно понять: слишком долго было заведено о многом молчать. Но неужели здесь, в городе Леонтия Григорьевича Солнышко, мне стыдиться своего восхищения?! Это было бы тоже потерей стыда — ну хотя бы перед людьми, воздвигнувшими эту шахту.

Представьте: среди холмов — современное трехэтажное здание. Шахтеры величают его по старинке «баней». Но разве это баня? На втором и третьем этажах — раздевалки с шкафами для каждого рабочего. Стены — из темно-зеленого и белого кафеля. Под ногами розо-

вые метлахские плитки: их делают тут же, в Кзыл-Кия, из той самой глины, что под ногами. Над шкафами трубы — одежду сушить.

Переодевшись в робу, шахтер спустится на первый этаж в вестибюль. Подойдет к витрине световых сигналов. Ее зовут по старинке «ламповая». Но не лампу возьмет тут шахтер, а включит сам себе свет — в шахту, на свое рабочее место.

И спустится по широким ступеням вниз на работу... Там, в шахте, угольные комбайны — самая современная техника. Рядом с «баней» в высоком здании «копра» — два лифта для уголька. Прямо под кровлю здания подходят бункерные вагоны.

Выйдет шахтер после смены из своего «метро». Перед ним поблескивает длинный ряд моечных машин для сапог. Потом — в раздевалку. Оставит робу. И в баню — под душ. И тут кафель и чистота. Наконец через другую дверь — во вторую раздевалку, где обычная его одежда.

Надел костюм. Выключил свой свет в «ламповой». И чистый, в белой рубашке — прямо хоть на футбол или в кино!

Хорошо! Но что дальше? Дальше-то что? Джинджиганского уголька ведь ненадолго хватит. Спрашиваю Анисимова.

Глаза его стали строгими — щеки смеются. Серьезен. Серьезней нельзя...

— Да вот построят рудоремонтный завод на базе наших мастерских. Будем ремонтировать горное оборудование для всей Средней Азии. И, кроме того, есть мысль (решения пока нет) воздвигнуть у нас еще один завод на несколько тысяч рабочих: тогда зайдем всех.

Конечно, завод или что-нибудь другое, а строить придется. Не бросать же хороший город со сложившимся рабочим коллективом, с высокой техникой, с шахтерскими традициями, с больницами, библиотеками, Дворцом культуры, музыкальной школой, горным техникумом, с историей, которой гордятся.

И все же грустно, что всему приходит конец. И что надо думать, как его отдалить...

15 апреля.

Андижан.

Длинный день.

С утра казалось — в Фергане должен пойти дождь. У каждого облака была серебряная подкладка. А с запада надвигалась темнота туч.

Поехали по городу. Несколько раз останавливали машину во Фрунзенском новом жилом массиве. Дома здесь куда веселей Чиланзара (ташкентских Черемушек).

Любуясь разноцветной окраской домов и национальными орнаментами на них, вспомнил, как некогда приезжим показывали здесь достопримечательность совсем другого рода. Но тоже дом.

Жил-был в Скобелеве до революции офицер. Поехал на охоту в Алайскую долину. И умудрился там продать киргизам эту самую Алайскую долину за тысячу рублей. «Алайская царица» Курбан-Джан-Дотхо, простодушная старая киргизка, сочла его погони и мундир достаточной гарантией.

Офицер составил шуточный документ, по которому значилось, что он, такой-то, продает Алайскую долину вместе с ее ручьями, травами и камнями. С таким же успехом он мог заодно продать ей Ферганскую долину с ее городами и реками. И вообще весь Туркестанский край.

Когда проделка офицера выяснилась, царские чиновники весело посмеялись. Шутник отделался двадцатью сутками гауптвахты. И по-

том за эту тысячу рублей построил себе роскошный по тому времени дом. (Где теперь этот дом? И не отыщешь.)

Проезжая мимо текстильного комбината (почти такого же громадного, как ташкентский), вспомнил другую историю подобного же рода. О первом скобелевском «текстильщике», если его можно так называть.

Жил-был в Скобелеве чиновник, ничем не примечательный. Тихий, незаметный, переписывал какие-то бумаги в губернской канцелярии. И возмечтал, чтобы о нем заговорил весь город. Стал разводить в своем маленьком домике пауков-крестовиков. Сыпал на подоконниках и полу крошки и сладости, чтобы привлечь мух. Помогал паукам: ловил мух и швырял в паутину, ею были затканы все углы его дома.

Паутину выматывал из живых пауков, наловчился. Тратил на это долгие вечера и воскресенья. Из паутинок сучил нитки. Копил их несколько лет. Наконец соткал себе материю, сшил сорочку. И достиг вершин славы в своем Скобелеве: его приглашали в лучшие дома показать гостям сорочку из паутины крестовиков. Смешные времена, жалкая слава. Да и надолго ли ему хватило ее?

Заехали мы посмотреть вырытое молодежью Комсомольское озеро (сейчас без воды, купальный сезон не начался). Какой-то местный житель сказал мне:

— У нефтяников озеро лучше.

И мы поехали на новый ферганский нефтеперерабатывающий завод.

Бывает, сам смотришь — перевернут, взволнован. Пробеешь потом рассказать — собеседник зевнет разок-другой, да и перебьет тебя вопросом про свое. Не берусь подробно описывать нефтезавод. Только несколько штрихов.

Рафаил Айрапетович Шахназаров — директор нефтезавода, молодой, спортивного вида, с юмором — говорил:

— Как-то один корреспондент попросил: «Покажите мне нефть или нефтепродукты». Не можем — всё в трубах. По трубам приходит, по трубам уходит. Живой нефти нигде нет — не можем показать!

Представьте себе, что кому-то пришла в голову мысль вынести из химической лаборатории все приборы на колоссальнейший двор и расставить их в трехстах шагах один от другого. Затем он позвал обыкновенного чародея. Тот взмахнул волшебной палочкой, каждый прибор увеличился в десятки раз и стал называться уже не прибором, а установкой. Еще раз взмахнул палочкой — и над каждым прибором выросла крыша. А чистота так и осталась лабораторная. Проложите между этими приборами-установками трубы разной формы и величины — и перед вами картина ферганского нефтезавода.

Внутри каждой установки вмонтирована комнатка, в ней пульт управления. За стеклами стрелки, устремленные к цифрам. Перед пультом пять-шесть человек, включая ремонтников. Вот и все люди.

Выехали с завода. Дорога — вдоль искусственного озера. Вода — как пемза: ее серая поверхность вся в уколах тысяч игл дождя. Но в воздухе его не видишь — такой мелкий дождик. Ощущаешь влагу только кожей лица...

— Это наш пожарный водоем... — усмехнулся Шахназаров. — Денег на озеро не давали. Раздобыли денюжат на пожарный водоем. Пусть называется хоть якорной стоянкой подводных судов! Не все ли равно?!

Распрошался с Шахназаровым у широкой трубы нефтепровода,

уходящей в степь. Я приложил ухо к трубе. Она жила, дышала, слышно было, как движется по ней тяжелая нефтяная струя.

И я решил сегодня же поехать навстречу этой струе, на один из новых нефтяных промыслов (их выросло много в Ферганской долине). Пожалуй, лучше всего (все равно ехать в Андижан) завернуть по пути на промысел с тем же именем Андижан, где, если верить тому, что нам рассказывали, на нас глядит техника будущего.

Вернулись в Фергану за чемоданом. И сплошным садом, непрерывной цепью селений поехали через Маргелан, Ташлак...

В Маргелане, у поворота на Андижан, Арип глянул на громадный плакат: «Руль шоферу я не дам, если выпил он хоть грамм» — и презрительно отвернулся. К нему не относится: спиртного в рот не берет.

В придорожной чайхане, где остановились выпить по пиале чая, прочел на стене: «Кто вырастит одно тутовое дерево — будет жить сто лет».

Коленопреклоненно относятся здесь к деревьям. Вдоль шоссе — тутовники, тополя, карагачи у чайхан. Кой-где огромные стволы таловых деревьев, так перекрученные, будто какие-то проезжие великаны, забавляясь, хотели завязать их в узлы, да и перекрутили.

Весело ехать среди этих широколиственных стен!

Уже у Ленинска мы почувствовали, что въехали в нефтяной район. В селениях среди молоденькой красноватой листвы виноградников увидели газовые трубы, тянущиеся к жилым домам.

От Ленинска свернули на Хаджиабад..

Я жил в Баку, знаю промыслы. Запах нефти доставляет мне наслаждение. Это запах юности. Когда дело касается техники нефтедобычи, меня трудно чем-нибудь удивить. Но даже самые смелые мечты инженерной мысли той поры не осмелились бы взлететь к тому, что увидел я своими глазами, когда мы въехали на промысел Андижан.

Среди пологих серо-зеленых холмов на почтительном расстоянии одна от другой работают качалки глубинных насосов — вверх-вниз, вверх-вниз. Но людей... Хоть бы одна душа! Только трубы, да суслики, да птицы, да наша «волга», пробирающаяся по дороге, петляющей среди холмов. И на всех, даже самых дальних холмах — легчайшие ажурные вышки и работающие качалки.

Километров двадцать едешь — из-за холмов вырастают новые холмы, и на них тоже такие же легкие вышки. И всюду чья-то невидимая рука нажимает на поперечную планку качалки — вверх-вниз, вверх-вниз... Впрочем, были скважины (и это объяснилось потом), где качалки застыли в неподвижности.

Арип простодушно спросил:

— А где же люди?

И поразился, что людей нет. Даже не поверил сперва. Потом долго щелкал языком и качал головой.

Вид промысла вернул меня к юности, к Баку, к тем годам, когда я учился в Азербайджанском университете. Его готические корпуса с черепичными крышами стоят в Баку и поныне.

В этом здании я слышал последнюю лекцию поэта Вячеслава Иванова — перед тем как он уехал в Италию. В этом здании, макая кисть в красную краску, писал я плакат о предстоящем вечере Сергея Есенина.

Было так. Осенью 1924 года Есенин приехал в Баку. Мы — я и Шурка Полецов — от имени студенческой литературной группы пригласили Есенина выступить у нас. Затея эта не обошлась без трагикомического приключения. В день его выступления, когда наши объявления уже заманчиво пестрели в коридорах университета, мы увидели

в городе печатные афиши, извещавшие, что в этот самый день, в тот же самый час в Азербайджанском театре оперы состоится вечер Есенина и Хольцшмита.

Сраженные таким надувательством, мы побежали в гостиницу «Старая Европа», где жил Есенин. Он только что проснулся и умывался, склонившись над мраморным умывальником, когда мы постучались и вошли. Лицо его было еще чуть припухшим после сна.

С удивлением уставился на нас. Шурка ему все выложил:

— Вы же обещали!.. Мы уже и плакаты развесили!..

Уразумев из сбивчивых слов Шурки, в чем дело, Есенин рассвирепел. Оказалось, Хольцшмит приставал к нему, но Есенин наотрез отказался с ним выступать. И вот (Сергей Александрович только от нас это узнал) Хольцшмит поставил его перед свершившимся фактом: как видно, сговорился с администрацией театра и заказал афиши.

Из слов Есенина мы поняли, что Хольцшмит — минский поэт, по профессии не то цирковой борец, не то боксер. Что «лечит женщин стихами». И его образ сразу стал нам отвратителен. Тут отворилась дверь, и на пороге появился сам Хольцшмит. Есенин сразу же накинулся на него. Тот слушал, сбываясь и иронически щурясь.

Это окончательно вывело Есенина из себя. Он схватил пустую бутылку и швырнул об пол прямо у ног Хольцшмита. Бутылка разбилась вдребезги. Хольцшмит по-медвежьи повернулся, вышел и прикрыл за собой дверь с такой силой, что вырвал ручку. Вторая медная половинка ее вывалилась внутрь комнаты на пол.

Наступила тишина. Мы сидели на диване, ошеломленные. Есенин поглядел на нас. В его светлых глазах сверкнуло веселье. Он сказал:

— Вам обещал, у вас и буду выступать!

И действительно приехал к нам.

А в театре был скандал. Публике возвращали деньги за билеты. Хольцшмит из города предусмотрительно скрылся.

Читал стихи Есенин прекрасно, без модных в ту пору эффектов. Слышал потом его еще несколько раз на собраниях литературной группы в редакции газеты «Бакинский рабочий».

Закроет глаза, прислонится спиной к косяку двери и читает негромко, нараспев, по-своему, по-особому окрашивая каждый стих. В напряженном месте вдруг открывает глаза, как бы усиливая взглядом смысл самого важного, самого весомого слова. И опять прикроет веки, будто уйдет влутрь... Впечатление на всю жизнь...

Уж коли взялся я рассказывать про Баку, надо рассказать и о Маяковском. Видел Владимира Владимировича недолго — всего несколько дней.

Чуть-чуть о Маяковском

В конце 1927 года Маяковский приехал в Баку. Его встретили, в общем, не очень-то дружелюбно. Это было время, когда в центральных газетах и журналах нападки на Маяковского стали обычными.

Я учился в университете и работал в бакинской газете «Молодой рабочий». Маяковского мы любили, стихи знали наизусть. Ко дню его приезда тиснули несколько его стихотворений и статью о его творчестве. Ее написал я. В конце «литературной страницы» было объявление об очередном собрании литгруппы.

На это-то собрание — в разгар чтений и споров — в продымленную нашу комнатку неожиданно вошел Маяковский, пригнувшись, чтобы не стукнуться лбом о низкую притолоку редакционных дверей.

Все вскочили. Он нас усадил:

— Продолжайте работу!

И мы стали продолжать. Но какая была работа, когда среди нас сидел Маяковский!

Решившись первым принять огонь на себя, я прочел стихотворение «Бронепоезд». И Владимир Владимирович стал разбирать — строки, рифмы, созвучия... разбирать, как умел только он. Это был урок, «как делать стихи».

После меня читали другие. Каждую строку Владимир Владимирович разбирал так же подробно, показывая, как шатки, как случайны слова в наших стихах. Наконец и сам прочел стихотворение «Нашему юношеству»: «На сотни эстрад бросает меня...» и т. д. Прочел и сказал:

— Придирайтесь!

Мы честно придирались. Он оборонялся. На всю жизнь вынес я с этого дня понимание, что поэзия — колоссальный труд по строительству слов, требующий и специальных знаний, и отточенного слуха.

Двоих из нас, читавших в тот вечер — меня и Георгия Строганова (того, который потом писал тексты песен для Бейбутова), — Маяковский выбрал: выступал с нами на заводах и в клубах. По два-три выступления в день. Прочтет стишок Строганов, прочту я, потом вечер ведет Маяковский.

Тогда мы не задавались вопросом, почему Маяковский для совместных выступлений, разговоров о поэзии, поездок на заводы выбрал нас, двух начинающих. Как и положено в юности, мы приписали это собственным достоинствам. Лишь много позже понял: это было следствием одиночества.

В то время о Маяковском писали: одни — что стихи его непонятны народу, другие — что он «кончился», «иописался», «ничего выдающегося больше не создаст».

В Средней Азии говорят: «Величина башни измеряется длиной ее тени, величина человека — числом завистников». Маяковский был великаном: ни у кого не было такого количества завистников, как у него. В литературных салонах смаковалась грязная брошюрка какого-то Альвека, доказывавшего (идиотизм этого сейчас и младенцу ясен), что Маяковский всего лишь «обокрал» Хлебникова.

В нашем отношении к нему Владимир Владимирович по крайней мере мог быть уверен. Понимал, что мы, двое мальчишек, влюбленных в его стихи, не держим камня за пазухой. И это — возможность искреннего общения — было для него кое-чем. Вот и таскал нас с собою.

В доках имени Парижской коммуны и на заводе имени лейтенанта Шмидта Маяковский проводил голосование. Это было ответом тем, кто утверждал, что стихи его непонятны народу.

Стоя посреди цеха на перевернутом ящике, Маяковский читал стихи. И в конце спросил:

— Всем понятно?

— Понятно... — зазвучали голоса.

— Кто мои стихи понял — поднимите руку!

Поднялась тысяча рук.

— Кто не понял?

Поднялась одна рука. Опять же библиотекарь! Вот она — преднамеренная нелюбовь!

После выступления в доках мы шли по заснеженному приморскому бульвару. Владимир Владимирович развивал перед нами свою излюбленную мысль о необходимости работать в газете, писать стихи на злобу дня.

Я — в ту пору был Маяковскому по плечо, — глянув снизу вверх, спросил:

— А как же тогда Пастернак?

Я любил стихи Пастернака. Знал, что и Маяковский их любит. Поглядев на меня с высоты своего роста, Владимир Владимирович сказал:

— Пастернак — особое дело.

И на мгновенье умолк. Это «особое дело» так на всю жизнь и застряло во мне. Теперь-то я знаю: настоящая поэзия вся «особое дело». Как и поэзия самого Маяковского.

Поразило меня в те дни и то, что я увидел двух Маяковских, совсем разных. Один — тот, что разговаривал с нами и выступал на заводах, — был сдержан, серьезен, всем интересовался. И если острил, так не зло.

Но когда Владимир Владимирович вышел на сцену Дворца азербайджанской культуры, куда бакинская публика пришла на его платный вечер, ожидая скандала, его было не узнать.

Явно вызывающим жестом снял пиджак, повесил на спинку стула. И распрямился, молча оглядывая зал. Гладиатор, готовый сразиться с бандой пошляков! Он оглядывал ряды, где уже начали свистеть и топтать ногами. И внезапно покрыл весь зал своим могучим басом.

Был у нас такой студент, считал себя знатоком искусства. В середине вечера, когда Владимир Владимирович стал отвечать на записки, он визгливо закричал:

— Маяковский! Вы не оправдали наших надежд!

— Зато я оправдал надежды моих родителей, — спокойно парировал Маяковский.

Зал отозвался свистом, смехом, воплями.

Не запомнил других острот, а их было множество. Зал бесновался и выл. Особенно остроумны были ответы на записки.

Наутро следующего дня зашел я за Маяковским в гостиницу. И стал такую картину. На столе, диване, стульях разложены записки — те, что вчера получил.

Перехватив мой взгляд, Владимир Владимирович усмехнулся:

— К драке примериваюсь!

Оказалось, после каждого вечера готовится к следующему. Сразу отвечал на записку, если ответ напрашивался на язык, либо если был заранее готов: многие записки ведь повторяются!

Тогда меня совершенно покорило его отношение к бою как к бою, а не к болтовне. Остроумнейший из полемистов, Маяковский не полагался только на находчивость. Он знал, что и тут необходим труд.

В следующий раз мне пришлось встретиться с Маяковским совсем незадолго до его смерти. В Ленинграде.

Пришел на вечер Маяковского в Дом печати на Фонтанке: на его выставку «20 лет работы». Он читал «Во весь голос». И что было удивительно: не отвечал на выкрики и реплики с места. Это было до того не похоже на него. Кончил читать. И к выходу. Во дворе заметил меня, протянул за руку и буквально втащил в свою машину, стоящую у подъезда.

В машине еще кто-то сидел. Но я был так поглощен разговором с Владимиром Владимировичем, что не разглядел кто.

Он ехал на Васильевский остров в университет выступать. Там его ждали: выступал уже в университете накануне, но днем — большинство студентов не смогло попасть, и его попросили выступить еще раз.

По пути в университет расспрашивал, что делаю в Ленинграде, что пишу. Неожиданно спросил:

— Об Усманове написал?

Фантастическая память! В Баку я рассказывал ему много историй. Ему понравилась история про Усманова (расскажу ее дальше). Тогда он сказал:

— И нам, мастеровым слова, иногда приходится так, как твоему Усманову...

И в университете Маяковский читал «Во весь голос». И там у его ног бились взволнованные выкрики. А он стоял глыбой — и ни слова в ответ. Таким его и запомнил.

* * *

Арипу надоело ждать, просигналил. Я вернулся к машине. Поехали. И опять — ни души. Опять справа и слева от дороги ажурные вышки и работающие качалки — вверх-вниз, вверх-вниз...

Только при въезде в поселок промысла мы встретили первых людей. Трактор проволока навстречу нам домик на колесах — это проехали мастера подземного ремонта со своим передвижным жильем и инструментами. А мы нырнули под перекинутые через дорогу трубы нефтепровода и въехали в зеленый поселок.

Налетел порыв ветра. И макушки тоненьких топольков пригнулись. И откинулись назад. И снова пригнулись, шумя молодыми листочками. И брызнули крупные капли дождя. Опять дождь? Ну и весна!

В маленькой комнатке у пульта управления промыслом работает смена — два человека. Всего двое с помощью радиоволн управляют промыслом, на котором больше пятисот скважин выдают нефть.

Главный инженер промысла Зарип Дехканович Салиев растолковывает нам, что тут к чему. Окно слегка дребезжит, по нему хлещет дождь.

— Промысел Андижан первый в СССР перешел на полное телеуправление, — говорит он. — Было это в пятьдесят восьмом году.

Шесть лет назад!

— Эта вот система телемеханики ЦКУ-2 разработана тоже в Ферганской долине — на промысле Южный Алымшик.

Мы слушаем его, переминаемся с ноги на ногу, почтительно глядим на пульт управления. А он рассказывает житейскую историю, которая могла бы показаться печальной, если бы не была смешной.

Работают на промысле Андижан два изобретателя, два человека из того племени людей, о которых в Узбекистане говорят, что они могут заставить цвести розы на стальной наковальне. Сконструировали они (при участии научных сотрудников Института нефти в Москве) автомат: в малодебитных скважинах он останавливает работу качалки. Когда пласт накопит достаточно нефти — автомат опять включает качалку.

Алехин и Писарик — вот фамилии этих двоих. Обычная история: они понимали в технике, но далеко не все понимали в людях. И совершили грубую ошибку. Они не только изобрели, но и сумели изготовить свой автомат и поставить его на промысле. И лишь после того, как убедились в его безотказной работе, подали чертежи в Комитет по изобретательству.

А по правилам этого самого Комитета, если изобретение уже освоено — его просто-напросто не принимают. И поэтому изобретатели не получили авторского свидетельства.

Изобретение сыграло, по всеобщим свидетельствам, «громдную» роль в автоматизации промысла. Автомат освободил качалки от лишней работы, экономя энергию. Качество нефти благодаря автомату резко повысилось, так как нефть при более мощном пласте освобождалась от прорывов газа.

Но изобретение изобретением, а правила правилами. На то они и правила, чтобы их выполнять. Мыслительные способности человека при этом в расчет не принимаются.

Когда находишься в храме новой техники, глупость, да еще глупость свысока, возмущает тысячекрат.

На том же пульте прибор, следящий за работой другого автомата — тоже детища Алехина и Писарика. Этот автомат берет пробы и определяет процент воды в нефти. Раньше, чтобы взять пробу, останавливали качалку. Теперь автомат берет пробы каждый час, не прерывая работы насоса.

Его изобретатели уже овладели премудростью: все сделали по правилам, свидетельство получили. И обрели тот минимум жизненного скептицизма, без которого иногда, к сожалению, трудно бывает жить на свете.

Обидно, что об этом приходится думать именно здесь!

Я был потрясен, увидев телединамоскопирование. Оно изобретено не тут, но приспособлено к системе ЦКУ-2 именно на этом промысле. Стоишь перед специальным пультом, перед тобой мечется на молочнобелом экране светящийся шарик. Мечется стремительно, оставляя позади зеленые полосы, неожиданные на первый взгляд. По рисунку этих кривых (таблица их тут же — на стене) видно, как работает скважина — нормально или нет. И где изъян.

До сих пор я заморожен этим зрелищем. Все остальные впечатления сегодня были где-то поверх чувств.

Перед глазами и сейчас мечущийся шарик с загадочной зеленой скорописью. В ушах звук тяжелой нефтяной струи, движущейся по трубе. И запах нефти в ноздрах.

Многое видел сегодня, и все же главное впечатление дня — это!

16 апреля.

Андижан.

Вот история, которую я рассказывал Маяковскому.

Было это тут, в Андижане. Но прежде о том, как я попал сюда и что здесь делал.

Весна 1923 года. Перешел я в девятый класс. Начались каникулы. Из Ташкента в Ферганскую долину отправлялся особый отряд по борьбе с басмачами. Молодежный отряд. Узнал случайно. Побежал. Запыхавшись, упрямил взять и меня. Посмеялись, но взяли.

В Андижане в штабе полка взглянули на меня строго. Пятнадцать лет. Низенький. Говорит дискантом. Комиссар дальше меня не пустил. Оставил при штабе вестовым.

Жил я в казарме, ходил в шинели (до пят!). Научился чистить коня. Развозил пакеты. И чувствовал себя орудием высшей справедливости, хоть басмачей и не видел. Только пленных.

Был у нас Усманов — прекрасный наездник, любитель и знаток лошадей. Басмачи напали на его родное селение, сожгли его и угнали с собой гордость Усманова — жеребца Гырата, названного так (теперь-то я знаю) в честь легендарного коня богатыря Героглы. Жажда отомстить бандитам привела его к нам.

Усманов снискал общее уважение своей прямоотой. Но одно служило поводом для постоянных шуток: присутствуя в качестве переводчика на допросе пленных, он неизменно задавал им и свой вопрос, вопрос о Гырате. Собирая сведения, он всегда знал точно, где, в каких горах пасется его конь и какой басмач им владеет. Заветнейшей мечтой его было встретиться с этим басмачом и тогда... Нет, тогда он, Усманов, стрелять

не станет. Он поднимет обеими руками корук — длинный шест с волосяным арканом, всегда притороченный к его седлу, — настигнет басмача, набросит корук ему на шею, стащит с седла и с позором поволочит по земле.

Случай распорядился иначе. Однажды Гырата в стычке с басмачами отбило другое соединение Красной Армии. Узнав об этом, Усманов возликовал и отправился за своим конем.

Но командиру части, отбившей Гырата, скакун самому пришлось по сердцу. Захватил его в бою и отдавать не хотел.

Усманов не раз ездил к нему, тщетно упрашивал, умолял, пытался выкупить коня, обменять на других лошадей. И в конце концов как-то ночью Гырата украл.

А дальше уже не случай, а простая логика событий привела Усманова на скамью подсудимых. Его судил реввоен трибунал за кражу коня.

Весь наш эскадрон поехал выручать Усманова. И мы выручили бы его, ибо еще до суда объяснили трибуналу, в чем дело. И знали заранее: Усманова оправдают и коня ему вернут. Но сам Усманов об этом не знал.

И то ли потому, что в сознании его никак не укладывалось, что судят за собственного коня, то ли просто не вынес позора (суд происходил открыто в красной чайхане, вокруг которой толпился народ) — словом, пока прокурор читал обвинительное заключение, а Гырат в качестве вещественного доказательства стоял у чайханы, мирно отмахиваясь хвостом от мух, Усманов вдруг вскочил на него, гикнул и, подняв клубы пыли, прежде, чем мы успели опомниться, скрылся из виду.

Погоня его не догнала.

Дело приняло серьезный оборот. За побег с реввоен трибунала Усманову теперь грозило суровое наказание.

Поиски Усманова ни к чему не привели. В штабе полка сложилось мнение, что ушел к басмачам. В этом не было бы ничего удивительного. В те времена случалось, что человек, даже яростно рубившийся с басмачами, сам оказывался скрытым басмачом, принадлежавшим к другой группировке, враждующей с первой.

Но нам, знавшим ближе Усманова, как-то не верилось. И мы в душе посмеивались над командиром эскадрона, который, и сам в это не веря, все же на допросе пленных для порядка спрашивал их об Усманове. Так продолжалось до тех пор, пока наш командир, скорее в шутку, чем всерьез, не задал одному захваченному в стычке басмачу излюбленный вопрос самого Усманова: вопрос о Гырате. Тот неожиданно сказал, что на Гырате ездит Палванкуль — главарь одной из небольших басмаческих шаек, совершавших набеги из глубины гор.

Эта весть опечалила нас. Было ясно, что с Усмановым приключилась беда, скорей всего нет в живых, раз конь в чужих руках.

Прошел месяц. Однажды ночью в августе я проснулся от конского ржания и того характерного гула, за которым угадываешь слитное дыхание множества лошадей. Выбежав из казармы, увидел в призрачном свете луны целый табун.

Наш командир стоял на крыльце, а перед ним... Перед ним навыважу... Усманов!

Поблескивая белыми зубами, он кончал докладывать командиру: — ...У них больше ста сабель и ни одного коня!

То, что сделал Усманов, было и впрямь удивительным. Ускакав в го памятное утро с суда, он решил угнать у басмачей табун и привести на суд вместо своего Гырата.

Приехал к басмачам. Чтобы завоевать доверие, в первый же день подарил Гырата главарю шайки. Когда басмачи привыкли к Усманову,

он вызвался однажды пасти лошадей и той же ночью угнал весь табун вместе с Гыратом.

Спусти полчаса после прибытия табуна наш горнист проиграл боевую тревогу. Усманов в качестве проводника повел эскадрон в горы.

Шайка Палванкуля была разбита в ожесточенном, хотя и коротком бою. И разбежавшиеся басмачи потом быстро переловлены поодиночке.

Остается сказать еще, что через несколько дней Усманова опять судил реввоен трибунал. «Принимая во внимание смягчающие обстоятельства», трибунал ограничился двадцатью сутками гауптвахты.

А когда Усманов с гауптвахты вышел, наш командир выстроил эскадрон, объявил Усманову от имени командования благодарность и вручил именные золотые часы.

Смерть птицы

В том же двадцать третьем году я шел мимо ряда чайхан на Старом базаре в Андижане и возле одной увидел толпу. Подошел. Протискался.

На помосте чайханы густо сидели узбеки в своих халатах, чалмах и тюбетейках. По обрывкам узбекских слов, которые тогда уже знал, понял: только что кончился бой перепелов.

Страсти еще не улеглись. И если люди и не говорили хором, так только потому, что народный обычай не разрешает говорить всем сразу.

Как всегда, на помосте сидели две партии — друг против друга. Каждая ставила деньги за своего перепела. Тут же в клетке шевелился перепел-победитель.

Во главе проигравшей партии сидел старик с реденькой бородкой, в железных очках и чалме, судя по общему уважению — опытный биданабоз, специалист по перепелиным боям.

Во главе выигравшей — сравнительно молодой узбек (а может, таджик), красивый, хотя и рябой, со сросшимися густыми бровями, из-под которых насмешливо глядели глаза. Он подшучивал над проигравшими. Но я не настолько знал язык, чтобы понимать его остроты.

Вдруг к старику подошел какой-то ремесленник — лоб повязан платком, на плечах простой халат. Вынул из своего рукава перепела. И молча протянул старику. Тот не спеша взял птицу за ножки. Не говоря ни слова, стал разглядывать. Рябой биданабоз искоса взглянул и лениво усмехнулся. Перепел выглядел жалким, тшедушным.

Обычно в клетке перепел втягивает голову, свешивает хвост прямо и делается шарообразным. При каждом шаге словно бы кивает. Кажется толстым и важным. Но когда его извлекают из рукава со слипшимися перьями и он испуганно вертит головой, обнажая ржаво-бурое горлышко, перепел выглядит маленьким и несчастным.

Поэтому я был удивлен, когда, протянув птицу обратно, старик сказал ремесленнику:

— Твоему перепелу цены нет! Всех победит. Его надо подержать в темноте еще дня четыре. Да кормить...

Он сказал чем, но я не понял.

Тут рябой биданабоз пошел в атаку. Он направлял уколы своих острот не на старика — на перепела. Но косвенно слова его относились к старику сопернику.

— Ежели волк не сожрет, коза до Мекки дойдет, — образец его насмешливого красноречия.

Он всячески раззадоривал старика, пока тот опять не протянул руку к ремесленнику и взял перепела. Рябой насмешливо поблескивал глазами. А старик испытующе разглядывал и разглядывал птицу. Дул в

маховые перья и под брюшко. Провел пальцем по серому роговому клюву. Потом поднял голову и сказал:

— Собирайте!

Это значило, что готов сейчас же этого перепела выпустить в бой, отвечать за него всем своим авторитетом.

Пронесся говор. Рябой биданабоз тоже взял перепела, мельком оглядел, вернул старику. И развязал пояс. Вытащив из него пачку бумажных червонцев, он небрежным жестом положил их на помост. И тотчас же со всех сторон к нему потянулись руки с деньгами. По количеству рук я понял, что его перепел — знаменитый боец, имеющий прочную славу победителя многих поединков.

Тщательно пересчитав деньги, рябой объявил ставку. Не помню цифру, помню: огромность ее поразила всех.

Старик повернулся к ремесленнику — хозяину перепела, спросил, сколько поставит тот. Ремесленник смущенно выложил пять измятых рублевых бумажек.

Старик с сожалением, почти с укоризной сказал:

— Вырастил такого бойца, а денег нет... Жаль!

И повернулся к людям.

Кой-кто начал класть перед ним по одной, по две бумажки. Видно было, что в авторитет старика верят. Но слава того перепела заставляла людей опасаться делать крупные ставки.

В результате кучка денег перед стариком оказалась ничтожно мала по сравнению с тем, сколько собрали противники. Бою явно не суждено было состояться.

Вот тут-то старик всех удивил. Извлек из своего шелкового пояса солидную стопку денег. Подсчитал. Положил на помост. Потом развернул пояс еще на один оборот, вынул какие-то бумаги — оказалось, документы на владение домом и садом.

Односложно сказал об этом. Над чайханой пронесся вздох изумления. Из соседних чайхан повалил народ.

Наконец оба биданабоза особым движением подбросили перепелов друг к другу. И возгорелся бой. Толпа, тесно сгрудившись, не дышала. На карту была поставлена жизнь и судьба старика. Даже перешептываясь опасались, чтобы не потревожить дерущихся птиц.

Взъерошенные, остервенелые, с глазами светлыми, но от ярости ставшими буро-красными, перепела наскакивали один на другого, норовя клювом угодить друг другу в голову. Наскакивая, они чуть приоткрывали крылышки.

Сразу стало видно — достойные соперники! На своих тонких ножках с длинными пальцами без шпорцев они прыгали по войлоку, разостланному на помосте, иногда превращаясь в два осатанелых вертящихся шара, взлетали и опускались опять, не прерывая драки ни на секунду.

Вдруг старик протянул обе руки и, прикрыв голову своего перепела ладонью, другой взял его под брюшко и вывел из боя. Все оживились, громко заговорили, принялись за чаепитие.

По условиям перепелиных боев каждый биданабоз, чтобы дать отдых своей птице, может взять ее. Но в течение всего боя имеет право сделать это не больше трех раз.

Спустя несколько минут бой возобновился. Опять все сидели не дыша.

Любитель зрелищ, я с детства завидую людям, выдавшим бой быков. Взмах плаща тореро мне довелось видеть лишь на экране. И может быть, потому, что при этом не было главного — заражающего волнения толпы, выход матадора и удар шпагой в шею быка, когда из-под шпаги хлынула кровь, вызвали во мне только отвращение. Это было простое убийство.

На петушиных боях приходилось бывать. Острое зрелище. Почти такое же острое, как бега,— когда идет заезд знаменитого рысака и вместе с ним бежит «темная», невесть откуда взявшаяся лошадка, от которой все ждут чуда.

Но тот перепелиный бой в Андижане превосходил по азарту все, что я могу вспомнить. Никакими словами не передать степень напряжения этого боя. Очень скоро всем стало видно, что перепел рябого дрался с большей ловкостью. Да и по силе он явно превосходил.

И старик и рябой по очереди брали своих птиц, давая им короткий отдых. Причем последние два раза старик брал перепела, спасая его в опасный момент. Рябой же брал перепела скорей из вежливости. Что-бы все видели: уважает седины. И это усиливало общий азарт.

Наконец перепел рябого изловчился и клюнул противника в глаз. Глаз сразу вытек. Но перепел ремесленника не прекратил битвы.

Он продолжал сражаться и с одним глазом. Видно было, что с каждым мгновением слабел. Слабел, но сражался!

Все сидели бледные. Чаще и чаще перепел рябого нападал, а тот, второй, только изворачивался. В следующую секунду перепел ремесленника и сам нападал. Но тут же получал отпор — клювом в голову. Удары в голову становились все сильнее. И хоть каждый удар был бесшумным, он звучал, как барабан, исторгая из сотен глоток kloкочущий вздох.

Вдруг перепел ремесленника упал. Все на помосте вскочили, чтобы лучше видеть. Перепел вновь встал на ножки, стремительно бросился на противника. Но, не долетев до него, упал опять. Голова его откинулась. В клюве показалась капля крови.

Не вздох, а стон прокатился по чайхане. Все не двигались с места. В наступившей тишине я увидел: рябой биданабоз протянул руку к кучке денег, лежавшей перед ним, и подвинул ее старику.

Жест великодушия? Он показался мне фальшивым. Но старик как ни в чем не бывало вынул из кучки червонец, подозвал чайханщика.

— Возьми...— протянул червонец.— Выкопай могилу и похорони с честью!

Чайханщик бережно поднял с помоста мертвую птицу. И унес. А старик стал выдавать выигрыши (выигрыши?!) каждому из своей партии. Под конец повернулся к ремесленнику, стоявшему позади. Протянул и ему скромный выигрыш — десять рублей.

— А за то, что вырастил такого перепела...— И он добавил ему еще двадцать пять рублей из объемистой кучи денег, оставшейся перед ним.

Совершенно сбитый с толку, я спросил какого-то узбека: в чем дело? Тот объяснил: оказывается, есть старинный обычай — если побежденный перепел не бежал с поля битвы, а погиб, наступая, победителем считается он. Это бывает исключительно редко.

Перепел ремесленника погиб, выиграв бой.

17 апреля.

Андижан.

Раннее утро. Из окна вижу, как чайханщик раздувает жаровню для шашлыка. Рядом из машины-фургона выгружают бутылки кефира. На старой крышке от грузовика, прислоненной к забору, охорашивается кофейно-белая горлянка. Прохожих еще нет, город спит...

Расскажу о вчерашнем.

По плану должен был поехать в Исбаскентский район в колхоз «Шарк юлдуз» к мастеру хлопка Ширмату Юсупову. Много слышал о нем, но сам в Исбаскентском районе не бывал никогда

Когда сказал об этом в обкоме, по лицу инструктора прошла тень. Он сказал:

— Поезжайте лучше в колхоз имени Ахунбабаева, раз уж решили в Исбаскентский район. А в «Шарк юлдуз»... Ширмат Юсупов умер. Что ж там смотреть, раз его нет.

Что Юсупов умер, я не знал. Но самый мотив показался мне до того странным, что твердо решил ехать именно в «Шарк юлдуз». Однако, чтоб не ввязываться в спор, промолчал.

В Исбаскент приехали под мелким дождем. Повернули к райкому. Оказалось, идет заседание бюро. Я обрадовался этому и не стал ждать. А то, чего доброго, и в райкоме начнут отговаривать ехать в «Шарк юлдуз». И мы покатали дальше, сообщив секретарше, куда отправились.

Нас в «Шарк юлдузе» не ждали. Вот и хорошо! Прошел в правление мимо бюста Ширмата Юсупова — положен был ему еще при жизни как дважды Герою. В правлении — только бухгалтер. Где председатель? Сейчас найдут...

Заглянул в кабинет. Ковры, несколько рядов кресел для заседаний — все роскошно, на всем «позолота»: вот, мол, как мы богаты.

Настоял не ждать председателя:

— Отыщется — прекрасно! Нет — и то ладно!

И бухгалтер, чтоб выиграть время, пока найдут председателя, повел меня в школу-интернат, в обширный сад, обнесенный решеткой. Сперва в учебный корпус.

Школа как школа. В классах занятия. В коридорах выставка детских рисунков и плакатов. Далеко не все тут живое. Да что поделаешь. Надо обладать большим вкусом и тактом, чтобы уберечься самому и уберечь ребят от пошлости и шаблона.

Однако, когда я зашел в общежитие, сразу увидел: все напоказ — для всякого рода комиссий, для меня и таких же «налетчиков», а не для ребятшек.

Чистенькие спальни. Ребята убирают сами, и это хорошо. Поколение это принесет чистоту во все, даже в самые отсталые сельские дома. Возле каждой кровати — пара ночных туфель. И все! Одна тумбочка на троих-четверых. На тумбочках ничего! Голо. На стенах тоже ничего — ни картинки, ни самоделки.

Вся территория интерната за решеткой. К родным в колхоз до субботы не выйдешь. Раз в две недели коллективный поход куда-нибудь. Каково ребятам — особенно маленьким, в эдакой полушколе-полуказарме?! Без матерей и отцов.

Виден только расчет: освободить руки женщин. Но ведь, кроме рабочих рук взрослых, есть еще и детские сердца! О них тут думают явно меньше всего.

В школе-интернате нас настиг Мамаджан Уралов — инструктор райкома, примчавшийся вслед за нами из Исбаскента. Начал уговаривать ехать в колхоз имени Ахунбабаева, не терять тут попусту время. Там ведь предупреждены! Ждут!

И хотя я уже понимал, почему в обкоме мне сюда ехать не советовали, все же решил осмотреть колхоз хотя бы поверхностно. Мне нужны ведь обе стороны жизни.

Проехали вдоль колхозной улицы. Рядок новеньких типовых двухэтажных коттеджей. Большинство пустует. В одном-двух живут. И что удивительно — садов нет! Может, потому в домах и не живут, что садов нет? Не хотят переезжать?

Большую часть года колхозник узбек живет в саду. С виноградника, с сада начинается в сельском доме уют. Как хорошо я это знаю! С детства. А тут...

Городские удобства в коттеджах, говорят, есть. Но желания сделать жизнь уютной не видно. Скорей всего исполнялся полусовет-полуприказ, полученный сверху.

Венцом осмотра был сад. Колхозный, общественный. Персики, абрикосы, сливы, гранаты... Чудесный сад! Но невольно пришло на ум: для кого?

Среди отцветающих яблонь появился председатель колхоза Мамадали Суяров. Приложив обе руки к животу, пригласил нас в дом-гостилицу, выстроенную в саду.

Отлично все понимая (бывал в десятках таких узбекских «колхозных» садов пятнадцать и двадцать лет назад), все же спрашиваю в слабой надежде, что здесь последовали примеру лучших колхозов:

— Это у вас дом отдыха для колхозников?

Усмехнулся:

— Да, дом отдыха.

Как бы не так. Спрашиваю:

— И кого же сюда направляют отдыхать?

— Ну, кого... Ну...— уловил насмешку в моем голосе.— Лучших колхозников... Будем...

В это мгновение на веранде гостиницы зазвонил телефон. Хозяйским жестом, как у себя в кабинете, Суяров снимает трубку. Деловой разговор.

Ясно: этот дом с коврами и обеденными столами, буфетами и радиолой — для гостей сверху и для собственных гулянок, когда приезжих нет.

Над самой поверхностью водоема свешиваются два фонарика. Чтобы рыбки выпрыгивали на свет из воды, веселя глаз и сердце.

Слышу, как Суяров дает инструкции насчет плова. Вмешиваюсь. Презрев все обычаи, отказываюсь наотрез. Ссылаюсь на недостаток времени.

Но от чая увильнуть уже невозможно. Рассаживаемся в комнате для гостей. Прошу:

— Позовите, пожалуйста, шофера... Пусть чаю с нами попьет.

— Мы его уже накормили,— говорит Суяров.— Мы шофера всегда кормим раньше хозяина. Он сыт, всем доволен...

Обидно за Арипа. К шоферу — сверху вниз. Кормят где-то там отдельно — «в людской». Да не лезть же со своим уставом в чужой монастырь. Хоть накормили, и то ладно.

Завожу разговор на острую тему:

— Дорого обходятся колхозу вот такие заезжие гости?

— Да что вы! Ни во что не обходятся!

Излишняя почтительность и усмешка.

А в это время на стол ставят урюк, изюм, орехи, фисташки, миндаль, конфеты, белые лепешки, восточные сладости, виноград, по-весеннему подсушенный, но еще свежий, яблоки, груши...

Для вежливости беру две изюминки в рот. Говорю:

— А ведь неправду говорите! Знаю, в показательных колхозах Узбекистана гости — бич божий! Едят, пьют! И все за счет колхоза!

Опять усмешка. Ни одному моему слову не верит. Думает: хитрю. Не понимает: как можно всерьез об этом?

Я, переведя разговор, внезапно спрашиваю:

— Находите ли вы правильным решение о ширине междурядий на хлопковых полях в шестьдесят сантиметров?

Здесь это острейшая тема, и притом политическая. Она как лакмусовая бумажка. Суяров явно сбит с толку, мычит что-то неопределенное. Потом говорит:

— Раз наверху решили — значит, правильно!

— Что решили так, знаю,— говорю.— Но меня интересует ваше лич-

ное мнение как руководителя крупного хлопководческого хозяйства! Вы же специалист! Вам и карты в руки. Что об этом думаете?

За последние годы, когда жил я в стороне от Узбекистана, от многих слышал, что была здесь по этому вопросу жаркая схватка. Говорят, что даже Усман Юсупов был снят с поста председателя Совета Министров республики из-за того, что не согласился с решением о ширине междурядий. Тот самый Юсупов, который до того многие годы был первым секретарем ЦК компартии Узбекистана, а потом министром хлопководства СССР.

Приходилось слышать, что в республике многие специалисты и колхозы недовольны решением. И мне интересно было об этом порасспросить.

Суяров ускользает от ответа. Вдруг выясняется, что ему надо срочно отдать какие-то распоряжения. Воспользовавшись этим, поднимаюсь.

Прощаемся у машины. Спрашиваю Арипа:

— Накормили?

Арип проводит рукой по горлу:

— Во как накормили!

И мы уехали.

Как потом выяснилось, Арипу дали только пиалу пустого чая. Но какие-то люди из тех, что на побегушках у Суярова, передали Арипу: мол, я о нем беспокоился, передали и что ответил мне председатель. И милый мой Арип прикинулся накормленным досыта — не хотел ставить меня в смешное положение.

Едем в колхоз имени Ахунбабаева вместе с Мамаджаном Ураловым, инструктором райкома. Спрашиваю его:

— Жалуются колхозники «Шарк юлдуза» на председателя?

— Нет, не жалуются. А что?

Стал допытываться: не получил ли я какую жалобу. Потом, отведя Арипа в сторону, спросил:

— Откуда он знает про председателя? Ему что—в обкоме сказали?

Каким отдыхом для сердца было после этого посещение колхоза имени Ахунбабаева! Встретил нас председатель Шарифиддин Сайфуддинов, бывший фронтовик. Живой, коренастый, улыбающийся.

Так как уже надвигались быстрые южные сумерки, мы с ходу поехали осматривать колхоз, надо было успеть засветло хоть поселок увидеть.

Как бы я хотел привезти в этот колхоз тех из моих друзей-скептиков, которым дай все своими руками пощупать, а то и веры нейдет. Проехать бы с ними по главной трехкилометровой улице, новой, проложенной частью вдоль большого арыка: он катит мутно-белесые воды под ветвями деревьев, свешивающимися до земли.

Улица замощена еще не вся. Начали работу, да приостановили: пусть сперва проложат водопровод, чтоб потом асфальт не ломать.

Заглянуть бы с друзьями в один из новеньких домиков, воздвигнутых по генеральному плану реконструкции колхозного поселка. Возле каждого сад — несколько абрикосовых и персиковых деревьев, водоем, суфа — широкая деревянная кровать, покрытая паласом, а то и ковром.

На айване — узбекской веранде, подпертой точеными колоннами, — поет, подобно сверчку, свою песенку электрический счетчик. А под окнами блестит винно-красная листва райхона, его пряный запах залетает в дом. Вот где настоящий уют!

В комнатах на стенах в традиционных, украшенных лепными решетками нишах рядом с кувшинами и сосудами книги, и электроутюг, и телевизор, и транзистор...

Спрашиваю Сайфуддинова:

— Шарифиддин-ака! А типовые коттеджи строить не думаете?

Сайфуддинов широко улыбнулся:

— Мы взяли типовой проект дома — сохранили кухню с газовой плитой, водопровод, ванную... Но зачем нам, как в городской коммунальной квартире, сводить двух хозяек на одном дворе? Сеять ссоры? Зачем лишать колхозника сада? Чтобы нас проклинал? Мы и договорились со строителями, переделали проект на ходу.

Приятно разговаривать с человеком, у которого собственная голова на плечах. Да и отношения председателя с колхозниками тут сразу видны. Подходят запросто: гости гостями, дело делом — так заведено.

Спрашиваю насчет школы-интерната.

— Мы пошли другим путем, — отвечает. — Не хотим отрывать ребятшек от матерей...

Колхозный поселок велик. И вот по генеральному плану в нем строятся три центра — чтобы от любого дома близко. В каждом центре детские ясли и детсад, школа, столовая, магазин, клуб, амбулатория, чайхана.

Не все еще выстроено. Побывал в детском саду, опустевшем в этот час. Стемнело, зажглись звезды в расчистившемся небе. Заглянул в школу, в клуб...

К правлению колхоза подъехали уже при свете уличных фонарей. Кабинет председателя небольшой. Ничего лишнего, все чисто, удобно. Без «позолоты».

Сразу же на столе появилась скатерть, но по-домашнему, как среди своих. И разумеется, пригласили Арипа: иначе и быть не могло.

Застольный разговор о том, о сем. Пришел агроном Дмитрий Петрович Серов, второй человек в колхозе. Невысокий. Лицо в морщинках от среднеазиатского солнца. Общительный, веселый. За столом еще несколько колхозников. Почетные старики.

Нет на свете сухих тем. Есть сухие люди. Когда сидишь в кругу живых людей, все делается интересным. Я и Сайфуддинову задал тот же вопрос — о ширине междурядий.

Ответил Серов:

— Мы сделали опыт, вырастили десять гектаров хлопчатника с метровыми междурядьями. Как в Америке. Хороший результат. Особенно если иметь в виду новые пропашные тракторы «Беларусь». Когда шестьдесят сантиметров, вторая поперечная культивация почти невозможна. Руками приходится. А при метре трактор прекрасно проходит...

Сайфуддинов подхватил:

— Понимаете, кто-то придумал: мол, при шестидесяти сантиметрах на каждом гектаре будет вдвое больше кустов. Значит, страна получит и хлопка в два раза больше. Мы проверили эту арифметику. Когда междурядье метр, вокруг куста воздух. Куст разрастается вширь, коробочек больше, крупней... Ну, баш на баш и выходит. Урожай тот же, а мороки меньше.

Я спрашиваю:

— И как же будете прореживать в этом году?

Неожиданный ответ:

— С междурядьями в шестьдесят сантиметров.

Увидев мое удивление, Сайфуддинов сказал:

— Есть анекдот о Ходже Насреддине. Переделаю чуть на себя...

Пришел ко мне товарищ Уралов, — (кивок на сопровождавшего нас инструктора райкома), — говорит: «Выгодней всего шестьдесят сантиметров». Выслушал я его и сказал: «Ты прав». Потом пришел ко мне Дмитрий Петрович, — (кивок на агронома), — и говорит: «Выгодней метр!» Я и ему: «Ты прав». Ушел он. Жена и накинься на меня: «Шарифиддин! Как не стыдно! Два гостя говорили противоположное, и каждому ты

сказал, что он прав!» Я ей сказал: «И ты права». — Сайфулдинов расхохотался. Но тут же перешел на серьезный тон: — Что ж мы — будем хлопок руками убирать?! Хлопкоуборочные машины сконструированы из расчета на шестьдесят сантиметров. Вот приедут на наше опытное поле специалисты. Быть может, наш опыт их и убедит. И если начнут выпускать уборочные машины с метровыми междурядьями — мы первые на это перейдем на всех наших полях!

18 апреля.

Наманган.

Вчера въехали в Наманган по новой автотрассе из Андижана. И сразу попали на улицу неопишуемой красоты. Четыре километра едем по ней, то и дело останавливая машину, чтобы выйти на бульвар посреди улицы и оглядеть цветники. Кой-где косые решетки виноградников, вздыбленные вверх, торчат из-за глинобитных заборов. Удивительная чистота, опрятность. И великолепнейшие деревья!

А сегодня с утра поехали осматривать Наманган с Умаром Саматовым — заместителем председателя горисполкома, человеком интеллигентным, влюбленным в свое дело. Нам посчастливилось. Наконец-то выдался по-настоящему солнечный день.

Улицы в деревьях — раза в полтора выше, чем обычные. Видно, что деревья здоровые, их холят, за ними следят.

— Был раньше обычай: рождался сын — отец сажал двадцать деревьев: когда сын вырастет, построит себе из них дом... А приходили сваты от жениха, родители невесты спрашивали: «Сколько деревьев вырастил жених?» Если не выращивал — негодный, непутевый жених... Поглядите, сколько в Намангане одних чинаров! — Видно, что Саматову радостно показывать приезжему город. — Нигде в Средней Азии не найдете на городских улицах столько деревьев! Только в прошлом году мы высадили больше тысячи.

По пути осматриваем парк в центре города. В парке — вокруг пруда и повсюду — тоже гигантские чинары. Все посажены в 1868 году. Через четыре года Наманган будет праздновать их столетие. Юбилей деревьев!

Заглянули по пути в небольшое медресе Ходжамни Кубри — теперь отделение краеведческого музея. Построено в XVII веке. Внешне не ахти, но внутри неповторимое по красоте, единственное в своем роде. Не оторвешь глаз от растительного орнамента. Узоры писаны белыми и розовыми красками. Это придает всему необыкновенную легкость и воздушность.

Покатили осматривать электростанции. Выехали за город и увидели Наманган сверху. Деревья в городе так высоки, что ни крыш, ни домов не видно. Только крыши самых высоких зданий кой-где проступают среди зелени. А так — необозримый сад в низине, сад до горизонта.

И вот уже ворота электростанции № 1. Встретил нас сторож, он же смотритель, он же уборщик, он же садовод и цветовод. Один человек на всей электростанции! Как и остальные три электростанции города, она телеуправляема.

По бетонному лотку мчится поток пенящейся воды. Бесшумно работает турбина. Вокруг все в цветах и деревьях.

На обратном пути заехали на электростанцию № 2, базовую. Здесь пульт управления. Отсюда один диспетчер управляет всеми четырьмя электростанциями. И тут техника и цветы.

В городе заглянули в «Чайхану стариков». Над каналом такой ширины, что не перепрыгнешь, сомкнул кроны сплошным навесом листья ряд старых морщинистых таловых деревьев и чинаров, всегда молодых, не знающих возраста: даже когда в четыре обхвата, их листва свежа и ярка.

В тени их, у самой воды, стоит длинный помост, накрытый коврами. Чайханщик подал чайник крепкого пахучего чая. Я налил пиалу. И вспомнил случай, — когда-то о нем рассказал мне Наби Ганиев.

Горсть серебра

Было это здесь, в Намангане. Чайханы в ту пору были частными. Наби Ганиев был молод. Как-то раз забрел он в чайхану. Сидел, пил чай.

— Вижу — заходит узбек, молодой, красивый, в новенькой тубейке. Глянул в сторону самовара — сидит в неподвижной позе старик чайханщик с жидкой бородкой.

— Бир чой! (Один чай!)

Старик повел глазом. Мальчишка, разносивший чайники, бросил в чайник щепотку чая, налил кипяток из самовара, схватил пиалу и проворно поставил перед молодым узбеком.

Как и положено, тот «пролил» чайник (несколько раз налил чай в пиалу и обратно, чтоб скорей настоялся).

Держа ладонь на крышке, он неторопливо оглядел сидящих в чайхане. Потом, явно предвкушая удовольствие от чая, налил его в пиалу. Поднес к губам. Глянул. И не отхлебнув ни глотка, пиалу поставил. Вынул из кошелька горсть серебряных монет. Бросил их в пиалу, прямо в чай. И молча ушел.

Видели бы вы, что началось!

Старик подскочил, будто его кто шилом уколел. С проклятиями бросился к мальчишке. Тот завопил, метнулся из-под его рук и кинулся наутек. Подобрал полы халата, чайханщик помчался за ним. Оба исчезли за углом.

Тогда посетители поднялись с мест и один за другим молча покинули чайхану. Выйдя следом, я спросил одного, в чем дело. И он ответил:

— Деньги берут за лисий мех, а не за лисью нору. Ты, я слышу по выговору, ташкентец. Вы, ташкентцы, забыли обычаи. Есть старый обычай. Если чайханщик налет жидкий чай, каждый может бросить в пиалу горсть серебра. Это значит: «Тебе нужны деньги? Вот тебе деньги!» И чайханщик опозорен на всю жизнь. Закрывай чайхану и занимайся чем-нибудь другим. Никто не придет!

Так на моих глазах повернулась судьба старика, рухнуло дело его жизни. И поделом! Он имел право зарабатывать деньги на чем угодно, только не на чае! Не вам говорить, что для нас, для узбеков, чай!

Наби Ганиев помолчал и заключил:

— Сколько раз в жизни потом хотелось мне бросить горсть серебра разным людям — равнодушным чиновникам, плохим поварам, бессердечным писателям. Если бы можно было этим способом их опозорить: «Тебе нужны деньги? Вот тебе деньги!» И после этого никто бы не подавал им руки!

19 апреля.

У подножий Тянь-Шаня.

Сегодня распрощаюсь на неделю с Арипом, сяду в один из самосвалов — несмотря на воскресенье, они то и дело с грохотом прокатывают мимо — и к вечеру буду уже в сердце Тянь-Шаня.

Сперва думал сделать иначе. Хотел пересечь Тянь-Шань по новому Великому Киргизскому тракту: по моим расчетам, его должны были завершить. Но вчера узнал, что на самом трудном участке — из долины

Кетмень-Тюбе в долину Сусамыра — тоннель еще не закончен. Проехать нельзя.

Тогда решил: Арип возвращается в Ташкент — оттуда опять вместе с ним поедем в Самарканд, Бухару... А я возьму с собой термос, «колибри» да пару старых киргизских блокнотов. На попутном самосвале покачу в долину Кетмень-Тюбе, погляжу хоть одним глазом на строительство Токтогульской ГЭС — одну из самых больших строек Средней Азии. А там как-нибудь да переберусь через Тянь-Шань. Не с «двумя черносливинами в кармане», как здесь шутят про легкомысленных альпинистов, но все же налегке.

И вот утром мы с Арипом покинули Наманган. Доехали до начала Великого Киргизского тракта. Тут, недалеко от Уч-Кургана, остановили машину.

Светит солнце. Но горы в рваных лохмотьях туч. Оттуда задувает холодный ветерок — даже захлопнул дверцу машины.

Вот в этих Чаткальских горах, что передо мной, — знаменитые дикие ореховые и фруктовые леса Южной Киргизии.

Поедешь направо — голову потеряешь (от красоты!). Налево — кроме головы, потеряешь машину (это вместо коня!).

Мы с Арипом не поехали ни направо — через Базар-Курган в волшебные леса Арслан-боба, ни налево — через Караван на озеро Сары-Челек, которое может разве что в сказке присниться.

Не поехали, потому что не сезон — дорога завалена снегами и впрямь погубишь машину. Да и при всей дикой красоте лучшее время года начнется там недели через три, когда деревья оживут и поляны зацветут цветами.

Расскажу лишь историю, которая завершилась как раз в Арслан-бобе, в ореховых лесах.

Романтическая история. Знаю ее с чужих слов, поэтому не могу поклясться, что все подробности — чистая правда.

Однако рассказали мне ее по свежим следам. И это — несмотря на ее необычность и исключительность — в известной мере ручательство правдивости.

Звери Того, Кто Ходит Ночью

Было это что-нибудь году в тридцать шестом. В ташкентском цирке гастролировал американский клоун с группой дрессированных енотов-полоскунов.

На манеже около вигвама «горел» костер. Помешивая искусственные угли, клоун играл на какой-то индейской дудке. Из вигвама один за другим появлялись еноты — милые американские зверьки, похожие и на медвежат и на барсуков.

Они вытаскивали воду из колодца (похожий номер я видел потом в в уголке Дурова), выливали ее в корыто, стирали и полоскали белье, развешивали сушить. Лесная идиллия завершалась дружеским ужином, в котором принимали участие клоун и еноты.

В разгар сезона у клоуна — человека немолодого и потрепанного жизнью — произошел инфаркт. И он, окруженный врачами и сестрами в своем маленьком цирковом вгончике, оклеенном афишами (перевозить в больницу оказалось поздно), потребовал нотариуса.

Его история вырисовывалась из завещания и из рассказов циркового врача, который подружился с клоуном в последние его дни.

Клоун (тогда еще он не был клоуном) жил в Нью-Йорке, пробовал свои силы в журналистике. Он полюбил одну женщину, но не был счастлив с ней. Женщина обманула его. И он бежал от лжи, бежал к индей-

цам, в резервацию. Решил жить с ними, их жизнью, потому что у них были правда и благородство.

Много лет провел он среди индейцев, сжился с ними и носил индейское имя, означающее Тот, Кто Ходит Ночью. Он ходил ночью, потому что его мучила тоска. Не только по женщине. Но и по большим шумным городам.

И однажды совет вождей решил, что белый человек должен вернуться к своим.

На прощанье индейцы подарили ему ручных енотов-полоскунов — «младших братьев», которых он сам выкормил и научил разным фокусам. Индейцы называют «младшими братьями» всех зверей. Они не убивают ни одного «младшего брата», не испросив благословения своих лесных божеств — своего рода первобытная охрана природы у охотничьих племен.

Покидая лесную долину, предоставившую ему приют в трудный час жизни, Тот, Кто Ходит Ночью дал своим братьям индейцам клятву: умирая, где бы ни был, выпустить «младших братьев» на волю, в лес.

В костюме клоуна он объездил весь мир, показывая своих енотов-прачек. На афишах печатал индейское имя.

И вот, умирая вдали от родной земли, он в завещании просил советских людей выпустить его енотов-полоскунов на волю в подходящем лесу.

Когда его похоронили и надо было выполнять завещание, столкнулись две точки зрения.

Одни говорили, что ручные еноты погибнут в лесу. Ведь они не привыкли к жизни в диких условиях, не сумеют добывать себе пищу и скрываться от опасностей. Разве не лучше сохранить превосходный цирковой номер — плод долгого труда умершего — и поручить его кому-либо из молодых дрессировщиков, сохранить для людей.

Другие — поскольку дело касалось иностранного подданного, боясь, как бы за границей не было нежелательных откликов, — настаивали, чтобы завещание было выполнено точно: енотов надо выпустить на волю.

Эта точка зрения победила, и зверьков, помещенных на время в ташкентский зоопарк, поручили выпустить в леса трем практиковавшим там студентам-зоологам.

К счастью, у студентов оказалась своя собственная точка зрения. На них произвела впечатление история клоуна, рассказанная врачом. К зверькам они отнеслись, как к сиротам. А главное — они решили поставить увлекательный научный эксперимент.

Диких зверей люди приручали не раз. Но ручных зверей превращать в диких людям было как-то ни к чему. Интересно было попытаться возродить в зверях дикие инстинкты и научить их добывать себе пищу.

Енотов решено было выпустить в реликтовые леса, сохранившиеся на земле от третичного периода, — в леса Арслан-боба. Там для них вдоволь и воды и еды.

Трое студентов — два парня и девушка — привезли вьюком на лошадах ящики-клетки с енотами в глубину ореховых лесов, к ручью. Еще в клетках, когда вокруг запахло прелыми листьями и валежником, зверьки пришли в необыкновенное возбуждение. А когда их выпустили — разбежались, скрывшись в кустах и на поляне, где в высокой траве цвели крупные белые мальвы.

Не успели студенты натянуть палатку и зажечь костер, как среди трав и кустов одна за другой стали появляться морды енотов с будто нарисованными полумасками вокруг глаз. Звери подходили и, как в цирке, вставши на задние лапки, просили есть. Взяв еду, тут же отбежали

к ручью, прилежно полоскали ее и перетирали в воде. И только после съедали. А насытятся, опять скрылись в лесу.

Три недели прожили студенты в Арслан-бобе у ручья. Всем семерым енотам сделали удобные гнезда в дуплах деревьев. Убедились, что те в них поселились. Приучили к здешней еде.

Наступил день отъезда. Помахав зверькам на прощанье, студенты стали удаляться верхом от полянки, где был разбит лагерь. Неожиданно из-за кустов и деревьев появились все семеро енотов. И дружно двинулись по тропке вслед за студентами. Они не желали расставаться с людьми. Студенты закричали, слезли с лошадей. Начали швырять сухими ветками. Еноты разбежались. Но едва студенты тронулись в путь, еноты вновь вышли на тропку и пошли следом. Стало ясно: надо сперва полоскунов совершенно отучить от людей, сделать осторожными, возродить в них инстинкт самосохранения.

Студенты вернулись, разбили лагерь на новом месте, в стороне от «енотовой поляны», и дали друг другу слово не подкармливать зверей, не подпускать к себе, выбить из сердец жалость — единственный способ сохранить енотам жизнь.

Сперва зверьки, увертываясь от палок, взбирались невдалеке на деревья, с удивлением смотря на своих друзей, которые почему-то сделались злыми. Они порывались подойти, приласкаться. Их неизменно встречали окрик, гиканье, свист.

Однажды Зоя — девушка-студентка — подсмотрела, как ее любимец енот Чилеви стирал в ручье ее носовой платок, оброненный накануне. Зоя не выдержала. С плачем бросилась к зверьку. Обняла. Принесла на руках в палатку. Накормила. За этим занятием ее и застали товарищи, вернувшиеся из леса. Разразился скандал. Товарищи возмутились: это жалость наоборот. Она погубит животное.

Енота прогнали обратно в лес. И Зою отстранили от «охоты». А охота была своеобразная. Один выполнял роль загонщика, пугал енотов. Второй стрелял холостыми зарядами в воздух, чтобы звук выстрела совпадал с комком глины или веткой, летевшими в зверька.

Когда напасть на след енота-полоскуна и отыскать его сделалось настоящим трудом, студенты вновь навьючили лошадей. Отъехали на некоторое расстояние. Но вдруг услышали со стороны «енотовой поляны» выстрел. Вскачь вернулись назад. И увидели издыхающего Чилеви. Подстрелил браконьер...

Браконьера студенты не догнали. Но вернулись с киргизом лесничим, рассказали ему историю енотов и поручили их охранять.

* * *

...Но пора прощаться с Арипом, пересаживаться на самосвал и перебираться через Тянь-Шань. Бормочу про себя песенку альпинистов: «Умный в горы не пойдет, умный горы обойдет...»

20 апреля.

У ложа Нарына.

Маленький зеленый вагончик. Входят люди, с плащей стекает вода. Люди толкуются. Задерживаться некогда: надо что-то решить, что-то подписать. Входят, выходят... Здесь штаб участка скальных работ.

Примостившись в углу, я, как заправская машинистка, стучу на машинке. По крошечному окошечку стекают редкие капли дождя. Время от времени слышится эхо далеких взрывов. Да невдалеке река шумит, шумит...

Огромное удовольствие стоять возле реки, слушать ее.

Стоишь... Слышишь гул перевортываемых камней. По-особенному тоненько подпедают прибрежные водопадики, звенит пена, гудит прибой у твоих ног. И звуки эти, сливаясь, отзываются где-то высоко протяжным гулом.

Перед тем я взбирался по висящему над пропастью деревянному трапу к верхолазам-бурильщикам. Трап подвешен к отвесной скале, мокрой от дождя. И еще не закончен. На нем цепочкой стоят плотники-верхолазы, передавая из рук в руки для достройки трапа деревянные брусья, доски, анкерные кольца.

Впереди плотников — бурильщики. Это альпинисты, которые вызвались помочь строительству. Висят на канатах, сверлят перфораторами отверстия в отвесной скале, закрепляют металлические стержни и карабаются дальше.

Там, на трапе, все время свистит ветер. Чуть утихнет — и задует с новой силой. Ветер бросает на скалы редкие капли дождя, холодит спину.

Добрался по трапу до отметки 1070 метров. Увидел близко внизу ветку цветущей вишни, чудом выросшей в скале. И далеко под ней (страшно было смотреть с такой высоты!) — река, вся в клочьях пены и пятнах камней.

Нарын — киргизская река. Старая знакомая!

В ней, говоря языком науки, скрыты грандиозные энергоресурсы — тридцать миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. На ней можно построить, и построят, тридцать крупных электростанций — целый каскад общей мощностью до семи миллионов киловатт.

Первая в каскаде Уч-Курганская ГЭС в низовьях Нарына уже дает ток. И вот строится самая большая из будущего каскада — Токтогульская ГЭС.

Токтогул. Его образ сопровождает меня со вчерашнего дня. Когда-то я был в гостях у него, разговаривал, слушал его песни и виртуозную игру на комузе.

В гостях у Токтогула

Было это в 1930 году. Я приехал сюда, в долину Кетмень-Тюбе, попал в Мазар-сай. Мне сказали: вот, мол, есть тут старик, хорошо поет песни. Имя Токтогула тогда ничего мне не говорило. И я пошел послушать его.

Увидел маленького старичка с добрыми глазами. Удивительно гладкая розовая кожа на лице. Совершенно белая борода. Встретил меня вежливо, но сдержанно. Перед нами сразу появились чашки с кумысом. Спеть согласился охотно. Взял в руки комуз и начал...

Слов я не понимал. Но его игра на комузе меня захватила. Это были сразу и музыка, и театральное представление, и цирковое искусство. Токтогул склонялся над своим инструментом, словно спрашивая его о чем-то. И когда его пальцы отрывались от струн, комуз неожиданно ему отвечал. Чем бы Токтогул ни прикасался к комузу — пальцами, ладонью, локтем, плечом, — куда бы в порыве ни отбрасывал свой инструмент — под мышку, на плечо, за спину, — его разговор с комузом не умолкал ни на мгновение. Что это? Шутка? Пожалуй. Но Токтогул (теперь-то знаю) был знаменит своими шутками, теми, о которых в Киргизии говорят: «Шутки высекают огонь».

С его слов записал тогда и подстрочные переборы двух песен. Вот одна из них.

Песню эту он сложил для меня, гостя: повод, которым часто пользуются киргизские народные певцы, чтобы высказать свои мысли совсем о другом, о своем.

Э-эй! Комуз мой! Скажи, ответь...
Ходит джигит вдали от родимого дома,
Оставил милую, милая его ждет...
Скажи, что делать джигиту?

Не ходи, джигит, вдали от родимого дома.
Милая подождет, подождет...
Улыбнется ей парень,
С парнем она уйдет!

Эй, комуз! Зачем сердце посыпать солью?
Услышит твои слова джигит,
Услышит их и заплачет,
К чему миру еще одни слезы?

Пусть плачет! Пусть плачет!
Поплачет джигит и перестанет,
Сделается мужчиной.
Сердце будет, как у льва.

Для чего ему сердце льва,
Если милая будет плясать,
Если милая будет радоваться,
Если милая будет смеяться с другим?

Сердце льва поможет ему вынести беды.
И станет он биться за правду!
За одну правду! Только за правду!
Только правда чего-нибудь стоит на земле!

Э-эй, комуз! Недаром называю тебя другом.
Знай, джигит! Знайте все!
Придет день. Ложь провалится в пропасть.
Девушка будет лить длинные слезы.

И останется правда! Только правда!
Одна правда останется на земле!

Тогда строки эти показались мне любопытными, и все. И лишь спустя несколько лет, узнав историю Токтогула, ощутил по-настоящему трагический подтекст этих строк.

Две любви было у Токтогула. Первую — Алымкан — выдали насильно замуж за другого. Юноша Токо был в ту пору всего лишь нищим певцом. Его песню «Алымкан» знает наизусть каждый киргиз.

Вторая — Тотуя, его жена и мать его сына, — сама ушла к другому, когда Токтогул был на царской каторге.

Токтогула давно уже нет в живых.

И вот я на строительстве Токтогульской ГЭС. Может ли памятник поэту быть грандиознее?!

Будет станция мощностью в миллион двести тысяч киловатт. Будет Токтогульское море с поверхностью воды в двести шестьдесят пять квадратных километров. Будут лодки. Будут санатории. Будут сады...

И была бы моя воля — я начертал бы на здании ГЭС четверостишие Токтогула:

Жил человек. Глядишь — зарыл.
Зачем же ссориться, джигит?
Пойми, не ссора жизнь твою,
А дружба счастьем озарит.

Чтобы стихи эти всегда стояли перед глазами людей, сдерживая их от злых слов, сказанных хотя бы и в порыве раздражения. А главное, чтобы обиды не застилали людям глаза.

21 апреля.
Фрунзе.

Поздний вечер. Я в номере гостиницы «Тянь-Шань».

Вчера, когда я мирно сидел в зеленом вагончике участка скальных работ строительства Токтогульской ГЭС, вдруг сообщили: есть случайный вертолет во Фрунзе. Еще днем, объезжая стройку, я в Каракуле, новом поселке строителей, сказал, что хотел бы срочно попасть во Фрунзе. И вот оказия.

Сел в коляску мотоцикла. Примчались... Сразу — в вертолет, где уже дожидалось несколько пассажиров. Захлопнули дверцу. Завертелся пропеллер. Взлетели. Опомниться не успел.

Не стану описывать панораму строительства ГЭС с воздуха. Грандиозно! Вся долина разворожена строителями. Но стройки гидроузлов, в общем, похожи одна на другую.

Прилетел во Фрунзе.

Победал в кафе «Сонкуль». В центре Фрунзе — стеклянное современное здание, построенное со вкусом. На стенах — мозаичные панно, видна рука настоящего художника. А вот вкусно поесть не удалось. Стоишь в очереди с подносиком в руках. Стоишь долго. И когда наконец ставишь на поднос нечто под названием «щи», и холодные котлеты с белесоватым налетом застывшего сала, и бледно-розовый кисель в граненом стакане — от желания поесть не остается и следа.

Заведующий этого кафе напоминает мне того бухарского продавца халвы из народного анекдота, который орал на базаре: «Сахарная халва! Душистая халва! О аллах, хвалю тебя, что ты создал столько людей и народов!» Кто-то, заинтересовавшись, спросил: «А почему тебя радует, что аллах создал столько людей?» — «Попробуй мою халву — узнаешь!» Прохожий бросил продавцу монету, взял халву в рот и выплюнул: «Ну и дрянь! Никогда больше в рот не возьму твою халву!» А продавец сказал: «Вот и ответ на твой вопрос. Если бы людей было мало, кому бы продавал я халву?»

Какой урок жизни нужен заведующему кафе «Сонкуль», чтобы пробудить в нем гордость за свое дело и уважение к людям? Суметь построить прекрасное здание и не суметь в нем накормить!..

С металлическим привкусом киселя во рту отправился на балет «Чолпон».

Рядом сидела скромно одетая девушка, гладко причесанная. Сидела, чуть склонив голову, отчего казалось, что глядит на все исподлобья. Весь ее облик был мне приятен и в то же время досаждал идущий от нее хоть и слабый, но ощутимый запах сладковатых духов.

Надо сказать, что с запахами у меня свои, совсем особые отношения. Но чтобы слова эти не показались пустой фразой, расскажу заодно кое-что, сейчас всплывшее в памяти.

Подарок Осипа Мандельштама

Москва. Зима, вероятно, тридцать третьего или тридцать четвертого года. Поэтесса Аделина Ефимовна Адалис привела меня к Осипу Мандельштаму: он жил на Тверском бульваре, во флигеле Дома Герцена.

Привела, чтобы он послушал мои «киргизские рассказы» (некоторые из них были уже напечатаны). Ей они нравились, вероятно, хотелось, чтоб понравились и ему.

И вот я сижу в его низенькой, темноватой комнатке, заставленной мебелью. Сижу за столом и читаю.

Осип Эмильевич, низенький, под стать комнате, смотрит на меня внимательными глазами, сидя на сундуке. Изредка повернет голову к Адалис, и тогда успеваю заметить его птичий профиль и где-то возле уха клочок встрепанных седоватых волос.

От него «сыплются искры», как бывает у очень нервных людей. То и дело вскакивает с сундука, опять садится. Но, чувствую, не оттого, что скучно, а просто так устроен.

Прочел ему два рассказа — «Звездопад» и «Жара, товарищи!». И замолчал.

Осип Эмильевич вскочил с сундука. Пробежал несколько раз из угла в угол своей крошечной комнатки, ни разу не наткнувшись при этом ни на ножку стула, ни на угол стола. Для меня это было бы тут мудрено. Потом остановился. И, глядя в упор, спросил:

— Что у вас с носом?

Я опешил:

— С носом?

— Да,— сказал он, еще раз пробежавшись по комнате.— Зрение у вас хорошее. Просто отличное! Слух тоже хороший. А что с носом?

И опять уставился на меня, ожидая ответа. Я был поражен: сумею разглядеть, слушая рассказы...

Дело в том, что в раннем детстве мне вырезали аденоиды. Знаю это со слов матери. Из-за этого почти не ощущал запахов. Только самые резкие. Не ощущал, ну и не писал... Но чтобы заметить это, слушая рассказы!..

Я объяснил Осипу Эмильевичу, в чем дело.

Потом был подробный разговор о рассказах. Он говорил и хорошее (уменьше, которое не каждому дано) и плохое (прямо и без обиняков — и это дано не каждому). Разговор был для меня интересным. Не о нем речь.

С того дня я стал думать о запахах, вписывая их в прозу. А чтобы писать их, стал приноховаться. Добрых два года с силой вдыхал в себя ароматы и запахи. И с каждым годом стал ощущать их острее. Оказалось, и обоняние можно развить.

Так Осип Эмильевич подарил мне мир запахов. Не попади я тогда к нему, моя жизнь была бы бедней.

* * *

Сажу в театре. И чуть морщусь от аромата дешевых духов. Разглядываю резной портал сцены. На нем меж сказочных скал и деревьев изображены летящие, прыгающие, пробирающиеся ползком фантастические звери и птицы.

Поднимается занавес. Выпорхнули танцоры. А потом на сцену вышла колдунья Айдай — балерина Бибисара Бейшеналиева. Ее встретили аплодисментами. И спустя несколько секунд все-все отодвинулось, ушло, даже запах дешевых духов. Все исчезло. В самом деле колдунья! Весь зал влюбленными глазами следил за Бибисарой.

Но о ней напишу завтра. Во-первых, потому что уже поздно: глубокая ночь, пора спать. Во-вторых, потому что утром пойду в театр знакомиться с ней. Хочу услышать из ее собственных уст, все ли правда в той единственной в своем роде истории, которую давно слышал о ней.

22 апреля.

Фрунзе.

С утра, как и собирался, пошел в театр. Но прежде чем рассказать, как познакомился с Бибисарой Бейшеналиевой, вот строки, что я запи-

сал о ней несколько лет назад со слов Швембергера, старейшего в Киргизии драматурга-кукольника.

«Она была совсем маленькой девочкой, когда ее отправили учиться в Ленинград, в балетную школу. Росла в Ленинграде, и потому старые киргизские обычаи для нее попросту не существовали.

Потом вернулась во Фрунзе, стала работать в театре. Потом полюбила юношу, тоже молодого киргизского интеллигента, и вышла замуж. Потом родился сын.

И вот однажды пригласила на спектакль родичей мужа — показать свое искусство. Они приехали из глубины гор на грузовиках. Человек сорок. С торжеством расселись. Было это еще в старом здании оперного театра, в Дубовом саду.

Важно сидели аксакалы в первом ряду. Поднялся занавес — и на сцену выпорхнула балерина. Как на грех, она выступала в тот день не в киргизском, а в классическом балете — выступала в пачке. И тут случилось то, чего ни она, ни ее муж не ожидали.

Аксакалы переглянулись и поднялись с мест. За ними, теснясь в проходе, устремились к выходу и остальные родичи. Что-что, а увидеть жену своего парня, бесстыдно обнажившей ноги и руки перед людьми, — этого они перенести не могли. Сели на свои грузовики и уехали».

Я переписал почти слово в слово, так как история эта — своего рода эпиграф ко всем моим сегодняшним встречам и размышлениям.

Бейшеналиеву я застал в репетиционном зале. Балетмейстер Тугелов нас познакомил. Уговорились, что приду к ней домой вечером: сегодня спектакля нет.

— Хотя лучше поговорите с Нуриддином! — кивнула она на Тугелова. — Он знает меня лучше, чем сама себя знаю. А ко мне, если нужна, приходите...

Это, как видите, не было приглашением. Скорее наоборот. И все же решил — пойду. Так мне понравилась какая-то редкая, особенная открытость ее взгляда. Да и хотелось посмотреть, как живет киргизская балерина, какой у нее быт.

С Тугеловым мы «спрятались от его дел» в комнатке концертмейстера (три четверти занимает рояль). И он действительно хорошо рассказал о Бейшеналиевой.

Бибисара

Ей было десять лет, когда мать привезла ее из Воронцовки в Пишпек (тогдашнее название Фрунзе). Привезла к своей сестре. Мать была неграмотна, по-русски ни слова. Отец — коновал-самоучка.

Сестра предложила отдать дочку учиться. Мать оставила Бибисару у нее. А тут набирали в балетное училище: кто-то приехал из Ленинграда. Отправили группу мальчиков и девочек, среди них и Бибисару.

Вскоре мать приехала в Пишпек навестить дочку, привезла куржун (переметную сумку) с продуктами. Думала, что Ленинград где-то за Токмаком. Трудно было ей втолковать, как далеко. А когда поняла, очень плакала и бранила сестру.

В Москве, когда ребята переходили через площадь с Казанского вокзала на Ленинградский, Бибисаре показалось, что мостовая из зеркала. Долго потом была в этом убеждена.

Тугелов вспоминал:

— Я ей говорю: «Наверно, перед тем мостовую только что полили или прошел дождь». — «Нет! Из зеркала!» — говорит. Спорит, а у самой от обиды на глазах слезы.

Пять лет училась в Ленинграде. Тугелов учился там же. Балетное училище в центре города — на улице Росси. Бегала киргизская девочка с косичками гулять на сквер перед Александринкой, заглядывалась на пышные складки чугунного платья Екатерины.

Началась война. Пришлось, не доучившись, возвратиться домой. Бибисару оставили во Фрунзе, в театре. Начала танцевать...

Отец, когда впервые увидел ее на сцене, был огорчен. Слишком не вязалась ее одежда с обычаями. Однако быстро примирился и стал дочкой гордиться. Мать загордилась сразу.

Очень скоро маленькую ленинградку выдали замуж. Насыпали ей на голову боорсаки (кусочки поджаренного теста) — киргизский обы чай. Напялили платок.

Работала Бибисара (как и теперь) неустанно. В старом здании театра, в балетном репетиционном зале есть ее место. Там на доске — две ямки от ног Бибисары.

— Она вытоптала. Других ямок нет — только ее. Мы сохраняем эту доску, водим молодых танцовщиц, показываем — вот что значит работа!

Была у нее подружка. Вместе вернулись из Ленинграда. Поехала к себе в селение. Там ее быстренько выдали замуж. Родила ребенка. Не выдержала — ушла от мужа. Вышла замуж во второй раз. Сейчас двенадцать детей. Не может слышать о балете или об искусстве: выключает телевизор и радио, когда передача посвящена балету.

Родился сын и у Бибисары. Несмотря на это, сумела остаться в балете.

Вырастила сына и проводила учиться в Москву, в Энергетический институт.

Когда она выступает на сцене, у всех ее товарищей приподнятое настроение, как на премьере. Все — и актеры и оркестр — подтягиваются. Она всех заражает. Сама преображается. И аплодисменты публики сотрясают зал.

* * *

Шел из театра, впечатленный рассказом. Пересек площадь центральной автостанции, где в разных концах стояли десятки дальних автобусов и ряды тоже дальних запыленных такси. Чуть прошел — столовая. Опять современное здание. Небольшое, двухэтажное, из стекла и бетона. Перед ним — прозрачный водоем с рыбками и фонтанчиком. Над стеклянным входом — изящная кривая бетонного козырька.

Думаю: дай пообедаю здесь. Может, кормят лучше? Зашел. И на этот раз не ошибся. Большой выбор национальных блюд, даже бешбармак — гордость киргизской народной кухни.

Взял лагман. Налили мне его в касу (огромную пиалу). Выбрал ложку получше и сел за столик. Мысли лениво перебежали от одного к другому. Вдруг ко мне за столик подсели трое студентов — один русский, двое киргизов. Веселясь, один из киргизов воскликнул, кивая на тарелку товарища:

— Сидят марсиане у себя на планете Марс, смотрят в свои телескопы на земной шар и вдруг обнаруживают, что Абдрасул взял три палочки шашлыка! Тут все марсиане как закричат: «Ура! Ура! Теперь у нас ясное доказательство, что Земля населена разумными существами!»

— Уйди ты! — отмахнулся Абдрасул, продолжая разговор с русским приятелем, начатый где-то раньше. — Пойми! Даже ошибочный путь не всегда бывает бесплоден.

Его приятель серьезно слушал, поблескивая глазами, и ел. Абдра-сул сташил зубами с палочки кусочек шашлыка, торопливо проглотил и, размахивая палочкой с оставшимися кусочками, продолжал:

— ...Возьми Кеплера! Тогдашнее идиотское учение о «музыке сфер» вдохновило его на открытие третьего закона движения планет. А на этом законе в свою очередь Ньютон построил теорию тяготения...

Расстояний как не бывало. В счете времени тоже не было никаких различий. Первые давние поездки сюда отбрасывали меня на века назад, теперь оставалось лишь нормальное поясное расхождение. Я почувствовал это во всей полноте вечером, когда попал к Бейшеналиевой.

У нее прекрасная квартира. Современная мебель. Ничего лишнего. Никакого хлама. Все со вкусом. Сидишь, будто в доме ленинградского интеллигента. Я наслаждался смехом Бибисары, ее умением понимать шутки.

Попробовал спросить, все ли верно в рассказе насчет родичей мужа, покинувших театр?

— Нет! Не совсем...— смутилась.

И я пожалел, что спросил. Мало-помалу беседа вернулась в свое легкое, легчайшее русло.

Но тут я, чтобы стало понятно все, что пришло мне в голову в гостях у Бибисары, расскажу одну трагическую историю.

Ромео и Джульетта Пишпекского уезда

Эту историю я слышал давным-давно на колхозном комсомольском собрании. Рассказал ее старик, приглашенный на собрание секретарем комсомольского комитета.

В давние времена, когда старик рассказчик был молод, незадолго до восстания 1916 года, жили-были в одном из селений Чуйской долины девушка и парень — Лена Королькова и Чалагыз Бейше.

Чалагыз батрачил у кулака-миroeда. И Лена батрачила у него же, хотя и доводилась родной племянницей. Оба были сиротами.

У Чалагыза мать, как часто бывало у киргизов, погибла во время родов. А отец однажды ушел из дому и не вернулся: то ли стал жертвой какого-нибудь феодального князька, то ли его лавина накрыла в горах.

Отец Лены сложил голову на русско-японской войне. Девочка жила с матерью, бедствуя в родном сибирском селе. Когда ей исполнилось пятнадцать лет, мать тяжело заболела и умерла, завещав дочке поехать в далекую «страну Пишпек», к отцову брату Федору — единственному живому родичу, за много лет до того переселившемуся в Семиречье и, по слухам, забогатевшему.

Дядя принял племянницу неприветливо. И чтобы не ела даром хлеб, поручил ей скотный двор. Одиннадцать коров, два десятка лошадей, свиньи, овцы, куры, гуси, индейки — легко ли все это ухаживать, уследить?

Чалагыз пас скот, а в свободное время помогал по хозяйству — где хлев починить, где перестелить солому, где навоз вывезти из конюшни на поле.

Трудно сказать, как оно вышло, только русская девушка-крестьянка и киргизский парень-батрак полюбили друг друга.

Ходили слухи, что прежде всех дознался об этом Федор Корольков, и дознался едва ли не раньше, чем юноша и девушка самим себе признались в своих чувствах. Так или иначе, племянницу Корольков собственноручно избил до синяков. А Чалагыза убрал со скотного двора и отослал с другими батраками работать на поле: совсем расставаться с ним не хотел, уж очень работающий и безответный был парень.

Говорили, будто Корольков сказал на людях Чалагызу в насмешку: — Отработаешь калым — за полсотни лошадей отдам племяннику! — И, очень довольный собой, добавил: — Это по-вашенскому, киргизскому, закону калым!

И будто когда разлучили их, тут-то и поняли Лена и Чалагыз, что жить один без другого не могут.

Надо думать, немало слез было пролито Леной: разве можно было тогда русской девушке не то что заикнуться — просто помыслить, чтобы свадьбу с киргизом сыграть.

Долго ли было лить слезы Лене, да пришел шестнадцатый год. Сельский староста на сходе прочел царский указ о «реквизиции киргизов на тыловые работы». Потом злые люди распустили слухи, будто киргизы хотят всех русских перерезать.

Испугавшись, как бы с ними не расправились, киргизы батраки бежали из селений в горы. С ними Чалагыз.

В одну из ночей прибежал Чалагыз на скотный двор к Лене, уговаривая вместе бежать к его братьям в горы: мол, примут ее хорошо, как невесту его. Но подумала Лена о неведомых горах, о жизни в юрте — непонятной и страшной, — не решилась.

Тут начали всех попадавших под руку киргизов хватать. И Чалагыза схватили, когда он пробирался к Лене. Привели к Федору Королькову. Убил бы его Корольков, да хлеба спасли: не убрана еще пшеница была, осыпалась на поле, нужны были батрацкие руки. Запер Чалагыза в сарае, чтобы утром погнать на поле с серпом.

Вот тогда-то (где смелость взялась!) — не гляди, что худенькая, забитая, а всех обманула! — выпустила Лена милого своего на волю. И сама с ним до свету ушла, да еще двух коней увела.

Есть пословица, родилась она в горах у киргизов, а прижилась и у русских в Чуйской долине — ходкая, как всякое меткое слово: «Родишь сына, покажешь вороне — скажет: слишком белый; покажешь ежу — скажет: слишком мягкий; змее — скажет: слишком толстый; муравью — скажет: слишком большой».

Впрочем, беда была бы невелика, если бы только за тем дело стало, что нос русской девушки показался слишком большим женщинам рода Чалагыза, и волосы слишком светлыми, и ресницы слишком белыми. Беда была в том, что Чалагыз привез свою милую к родичам в недоброе время. В темных головах кочевников, не умевших разобраться в событиях, начинала закипать ненависть против всего русского.

Весь аил сбежался посмотреть на Лену. Все были возбуждены. Старухи, размахивая костлявыми руками, осыпали ее проклятиями. Мужчины ожидали, что скажут старейшие.

И вот выступил вперед аксакал. Выслушал Чалагыза. Неодобрительно покачал головой. Сказал важно, что от женитьбы киргиза на русской добра не жди: приедут, мол, казаки и в отместку всех пере-режут.

Под конец старик поднял руку к горам и, приглашая в свидетели родовых предков, изгнал Чалагыза из племени.

Так для русской девушки-крестьянки и киргизского парня-батрака не нашлось места ни у русских, ни у киргизов. Остались они среди Тянь-Шаньских гор, одни на всем свете.

Спустя три недели были они уже далеко за горами Тянь-Шаня — в Синьзяне. Им повезло: границу перешли прежде, чем ринулся туда же, спасаясь бегством, киргизский народ.

Поэтому им удалось отделаться малым выкупом: только обоим коней отдали пограничным стражникам. А Чалагыз нанялся батрачить к китайцу помещику. И это тоже было удачей.

Прошло немного времени — и с Тянь-Шаньских гор сюда хлынуло столько людей, оборванных, потерявших все, готовых батрачить у кого хошь, за что хошь, что, попади Чалагыз сюда в те дни, нечего было и думать о работе.

Итак, в черные для киргизского народа времена, когда смерть собирала среди людей обильную жатву, счастье, хоть и бедняцкое, все же улыбнулось Чалагызу и Лене: у них была хибара, темная, да своя. И они не скитались по дорогам Синьцзяня с толпами нищих.

Кто знает, быть может, в чужом краю Чалагызу и Лене удалось бы прижиться, да вышло иначе. Увидев, что большая часть киргизов снялась с места, генерал Куропаткин разослал по городам Семиречья телеграмму: «Догнать и водворить на место».

Царские чиновники и каратели стали обвинять во всем киргизов, противу которых они, чиновники, действовали, мол, в порядке самозащиты. Они заполнили черносотенные газетенки воплями о «киргизских зверствах». В особенности расписывали страдания русских крестьянок, будто бы захваченных киргизами, зная, что это вызовет впечатление совсем особого рода.

Тотчас же русское правительство обратилось с официальным представлением к правителю Синьцзяня — даотаю в Кашгаре, требуя разыскать русских женщин и детей и препроводить их российским властям.

В ноябрьский день, когда Чалагыз вместе с хозяйским приказчиком уехал на базар в город Аксу продавать фрукты, у его хибарки появились синьцзяньские стражники. С ними драгоман русского консульства.

Говорят, Лена Королькова ехать не хотела. Отбивалась. Кричала. Звала на помощь своего Чалагыза. Но ее схватили, связали и увезли. Откуда ей было знать, что она нужна царским слугам, чтобы оправдать поднятую ими шумиху?

Когда Лену привезли в Ташкент, две сотни благотворительниц — жен царских чиновников — с величайшим рвением и торжеством препроводили «несчастную жертву» в специально обставленный дом, окружили такой роскошью, какая крестьянской девушке и не снилась, стали проводить с ней душеспасительные беседы...

Потом повезли ее в Верный, где все началось сызнова. Потом по другим городам... Прошло некоторое время, чиновники остались на своих местах. И Лену за ненадобностью отправили обратно в село.

Здесь Федор Корольков, дядя ее, привязал Лену к телеге. И, заголив племянницу, стегнул лошадей. Кругом стояли соседи, хмуро посмеиваясь: «Не бегай с киргизней, блюди закон». В ту же ночь Лена со стыда наложила на себя руки — серпом зарезалась.

Зимой один из крестьян встретил и Чалагыза. Похудевший, не похожий на себя, он возвратился из-за гор, надеясь разыскать Лену. Жил тем, что откапывал из-под снега колосья неубранного ячменя и ел.

Крестьянин рассказал Чалагызу о смерти Лены.

А когда пришла весна и с полей Чуйской долины побежали ручьи, крестьяне обнаружили труп Чалагыза. Он лежал, скрючившись, возле могилы любимой.

* * *

Здесь, в комнате Бибисары, особенно видно, какая между народами была пропасть. Чалагыз и Лена первыми попробовали через нее перепрыгнуть. Пропасть их поглотила.

Наше поколение многое сделало, чтобы эту пропасть засыпать. И гордится этим. Так гордится, что своим дочерям и сыновьям только и делает что тычет пальцем: «Гляди, как мы жили, думая о твоём сча-

стье. А ты, вместо того чтобы жить, как мы, живешь, думая черт знает о чем».

Мы сетуем, что нашим детям жизнь не дала тех же уроков, что нам. Спросите этих сетующих: неужели вы хотите всерьез, чтобы ваши дети испытали на себе все, что испытали мы постарше и мы помоложе? Тогда чего бы стоил весь наш труд?

Представьте себе, как сложилась бы жизнь Бибисары, родись она до революции.

Киргизских женщин и девушек продавали, как скот. Меняли на овец и охотничьих беркутов. Дарили друзьям. Проигрывали на скачках.

После революции были найдены старые счета о цене киргизских девушек, которые шли в рабство,— в хорошие годы «за цену сивого мерина», а в годы массового падежа скота — «за одно лукошко лука».

Да и в соседнем Узбекистане о девочках говорили: «Чем тебе родиться, лучше бы родился камень, он пригодился бы на постройку стены». Там десяти-двенадцатилетнюю девочку продавали замуж и закутывали ее в паранджу.

Но в конце двадцатых годов стало все меняться.

— Мы против того, чтобы тринадцатилетняя девочка носила на руках, кроме тряпичной куклы, и собственного ребенка! — говорила одна узбечка, выступая на митинге женщин.— Мы против того, чтобы женщину отдавали замуж десяти лет, а двадцати пяти относили на кладбище!

Это было время, когда киргизки приходили в женотдел и спрашивали:

— Можно ли мне назвать мужа по имени? Можно ли посмотреть тестю в лицо?..

Услышав утвердительный ответ, они смеялись, будто им сказали что-то забавное. Но глаза их светились счастьем.

Это было время, когда женщины-дунганки уже участвовали в собраниях, но сидели спиной к президиуму и голосовали, не поворачиваясь.

Это было время, когда в юрту работавшей в женотделе киргизки Курбан Джан Задунбаевой ворвался убийца и с криком: «Ты здесь, преступившая законы аллаха! Комиссаром стала...» — вонзил в спину нож.

Тревожное, трудное и вместе с тем замечательное было время. Есть чем гордиться. Но хотим ли мы, чтобы это все повторилось вновь?

Были и издержки жизни, издержки роста. Желая помочь киргизскому, узбекскому и другим прежде угнетенным народам быстрее вырастить свою интеллигенцию, случалось, что некоторых тянули за уши — помогали им писать диссертации, симфонии, книги.

Я слышал, как в одной чайхане сказали об одном из таких композиторов:

— Идет собака рядом с тенью слона и говорит: «Это моя тень».

Мы жалуемся, что дети наши не получили тех же уроков жизни, что мы. И это в какой-то мере правда. Но когда мы начинаем им преподавать эти уроки, мы только ставим себя в смешное положение.

Еще Гёте говорил: «Ничему нельзя обучиться просто на слух, и относительно тех вещей, которыми человек не овладел при помощи собственных деятельных усилий, он может иметь лишь поверхностное и неполное знание».

А Лессинг однажды сказал, что, если бы бог захотел подарить ему истину, он отказался бы от этого подарка, во всяком случае предпочел бы готовой истине труд ее отыскания.

Почему же мы так негодуем, когда дети не принимают готовых истин? Необходимо им разрешить искать истину самим. Иначе мы рискуем оказаться в роли родичей мужа Бейшеналиевой, покинувших театр. Они ушли — а балет продолжает существовать. Если мы отвернемся от своих детей — жизнь уйдет от нас.

Бейшеналиева, выросшая в Ленинграде, «идущая впереди», дружит со сверстниками и товарищами сына: их понимание жизни ей ближе. С ними у нее общий язык.

Правда, и теперь доводится соприкасаться ей с прошлым своего народа. Выйдет на базар за яблоками, подходят всадники из ее родного селения, ведя в поводу лошадей. Спрашивают:

— Ты не Бейшеналиева?

— Да.

— Похожа на отца. Сразу узнал. Дай на кружку пива!

А вернется с яблоками домой, приходят товарищи и товарки ее сына, заполнив квартиру молодым оживлением, чтением стихов, спорами — теми горячими спорами, которые в конечном счете и есть сама жизнь.

25 апреля.

Санташ.

От мокрых скал идет пар — только недавно отсюда ушло облако. В стороне — грязные полосы обледеневшего снега. Из-за ближней гряды гор выступают далекие снежные вершины. Едва слышится пение альпийского жаворонка, серебристое, как снег.

Перевал, где я нахожусь, называется Санташ — «Считанный камень». Так именуют здесь и холодный восточный ветер, который дует с этого перевала на Иссык-Куль. Откуда такое название?

Вот он передо мной — высокий холм из камней. Это не холм, а памятник. Его камни ведут печальный счет.

Рассказывают: когда Тимур шел в поход на горцев-язычников, он велел каждому воину взять в руки камень и положить в кучу. Выросла большая гора. На обратном пути, возвращаясь с победой, воины Тимура сняли по камню и унесли с собой в Самарканд. Прошел последний воин, а гора осталась. Остались камни убитых в походе. Так погибшие сами себе сложили памятник.

Широко известна картина Верещагина «Апофеоз войны» — пирамида человеческих черепов и над ними в синем туркестанском небе хищные птицы. На раме этой картины Верещагин написал: «Посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим».

Пирамида камней передо мной куда больше написанной Верещагиным. А она ведь тоже из черепов, хотя пустых глазниц и не видно. Каждый камень в ней — убитый человек.

Есть на свете наследники Тимура, ищущие себе славы на путях войны. Презрительная киргизская поговорка гласит о них: «Если не сумел прославиться, подожди землю»...

Но о них всем известно и без меня. Не о них — не о врагах рода человеческого, а о наших соседях, рядом с «домом» которых сижу сейчас на камне, я размышляю.

Многое сегодня перевидал.

С утра ехал рейсовым автобусом вдоль берега Иссык-Куля. Потом по волнистой долине, изрезанной холмами и ручьями, катили сквозь черноту пашен: то у дороги темным серебром блеснет лемех плуга, то в стороне трактор постреливает синим дымком...

Побродил немного по Пржевальску. Взял такси, съездил к памятнику Пржевальскому. И вот приехал сюда.

Тут сговорился с шофером грузовичка сыроваренного завода «Санташ», что вечером прихватит меня в Пржевальск. А сам по горной дороге поднялся на перевал.

Но прежде чем рассказать, зачем поднялся на перевал, напишу об «отчаянном тигре».

Было это в шестидесятых годах прошлого века. В Китае, в трех западных провинциях (Шэньси, Ганьсу и Нинся), вспыхнуло восстание дунган — по-китайски «чжун-юань-жень», «жителей срединной равнины». Восстание дунган было вторым валом тайпинской революции. Оно тоже потрясло китайскую империю больше десяти лет.

Не стану рассказывать о ходе дунганского восстания: все равно «огонь в бумагу не завернешь» — на двух страничках не передашь всей силы страстей, всей остроты, трагичности и сложности этой многолетней борьбы.

Только два слова о последней странице дунганского восстания, когда Китай услышал легендарное имя Бый Янь-ху. Бый — родовая фамилия. Янь-ху — прозвище, означающее «отчаянный тигр».

Разбитый армиями богдыхана, отступая и сражаясь вместе с последними несколькими тысячами человек, каждому из которых, останься, грозили пытки и казнь вместе с их женами и детьми, — Бый Янь-ху в конце концов очутился в Синьцзяне, самой западной провинции Китая, у подножий Тянь-Шаня.

Положение беглецов казалось безвыходным: позади — месть, впереди — белая смерть, ледяная цепь Тянь-Шаньских хребтов, не проходимых зимой.

И «отчаянный тигр» решился на то, на что до него не решался никто: перевалить с товарищами, с их женами и детьми через зимний Тянь-Шань. И это удалось. Правда, какою ценой!

Когда дунгане появились в Иссык-Кульской, а затем и в Чуйской долинах, одежда их, как шерсть на овцах, висела клочьями. Почти все были истощены и тяжело больны. Многие не дошли, умерли на ледниках Тянь-Шаня, погибли от морозов, от голода, были погребены лавинами.

Те же, что дошли, тоже, вероятно, поумирали бы, если бы не традиционное гостеприимство киргизов, если бы не сердечная помощь русских. В лагерь дунган сразу приехали доктор Поярков и фельдшер Василий Фрунзе. Они организовали спасательные экспедиции в горы, вывезли оттуда и вылечили сотни людей.

Удивительно ли, что по сегодня иссык-кульские дунгане, внуки шэньсийских повстанцев, чтут память Фрунзе-отца не меньше, чем память Фрунзе-сына.

Здесь — возле Санташа, памятника недоброго прошлого, прославляющего войну, а не мир, ненависть, а не дружбу, — я бы в противовес ему поставил наш памятник: доктор Поярков и фельдшер Фрунзе, склонившиеся над больным дунганином. Человек, оказывающий помощь человеку, — в этом весь дух, смысл и цель нашей жизни. То, на чем воспитались и чему посвятили себя сын фельдшера Фрунзе и его друзья.

Недавно по ту сторону границы произошло событие, которое у нас, среднеазиатов, вызвало недоумение. Речь идет, как ни странно, тоже о памятнике. Невдалеке от нашей границы с торжеством перенесен прах Чингиса и воздвигнут ему памятник.

Мы, среднеазиаты, лучше, чем кто-либо другой, помним, что такое Чингис. Мы могли бы напомнить по этому поводу китайскую поговорку: «Рисуя змею, не нарисуй ей ноги даже для красоты».

К сожалению, мало кто знает (а знающие знают недавно), что в Средней Азии эпоха Возрождения началась на три века раньше, чем в Европе. В X—XI—XII веках в Средней Азии на великих торговых путях из Китая и Индии в Средиземноморье — в Бухаре, Самарканде, Термезе, Балхе, Гургандже и других оживленных городах — впервые в истории человечества торжествующе зазвучала мысль, что главное в этом мире — человек, его судьба, его жизнь, счастье, любовь, дружба и ум, который может всем овладеть.

Сказки «Тысячи и одной ночи», а вслед за ними «Розовый сад» Саади, предвосхитившие дух и образы «Декамерона», в бесчисленных списках расходились на базарах среднеазиатских городов.

В Бухаре, в одной из книжных лавок, пятнадцатилетний Абу Али Ибн-Сина купил книгу философа Ал-Фараби, который еще в IX веке осмеливался утверждать, что райское счастье возможно лишь на земле, а «все другое, что говорят об этом, рассказы и бредни старух». Не отрываясь, прочел юноша Ибн-Сина книгу и был так ею потрясен, что выбежал на улицу и стал раздавать встречным остающиеся у него деньги, говоря каждому:

— Сегодня я получил ответ на мои вопросы!

Бухара в то время славилась не только книжными лавками, но и больницами — они были в каждом квартале. В этой обстановке вырос и возмужал гений Ибн-Сины.

Кроме всемирно известного «Канона медицины», этот выдающийся ученый среднеазиатского Ренессанса создал первую в мире научную энциклопедию — восемнадцатитомную «Книгу исцеления», сохранил человечеству в переводах и комментариях множество страниц древнегреческих ученых, которые иначе были бы безвозвратно утеряны, широко распространил учение Аристотеля и вместе с ним сделался на несколько веков во всем мире непререкаемым авторитетом в области философии, естествознания и медицины.

А Фирдоуси, титанический труд которого привлек всеобщее внимание к истории. А Носир Хисроу — интереснейший поэт-путешественник. А Омар Хайям, четверостишия которого украшали беседы среднеазиатских ученых древности, как и сейчас украшают нашу жизнь.

В те годы в Средней Азии рождалась новая астрономия, новая математика. Здесь возникла алгебра: Ал-Хорезми разработал первые два вида алгебраических уравнений. Само имя Ал-Хорезми в искаженной позднейшей европейской транскрипции «Алгарифми» дало начало математическому термину «алгоритм».

В XI веке Ал-Бируни — Коперник Средней Азии — поднялся до гелиоцентрической теории. Учение Ал-Бируни об образовании Северо-Индийской и Туранской низменностей предвосхитило теорию, разработанную Леонардо да Винчи на материале Ломбардской низменности. Его гениальные догадки по поводу естественного отбора среди растений и животных предвосхитили теорию Дарвина. Учения Ал-Бируни о гидростатике фонтанирующих источников, об удельном весе минералов были новым словом в науке.

Очень вероятно, что именно здесь, а не в Европе родилась бы та новая культура, новая цивилизация, которая подарила нам чудеса науки XIX и XX веков. Очень вероятно и то, что эти чудеса могли быть подарены человечеству столетия на три раньше. И наша жизнь была бы совсем иной. Если бы...

Если бы не Чингис!

Человек и его жизнь ничего не значили для Чингиса. Он не умел ни читать, ни писать. Он умел только считать.

Он создал войско, разделив его на десятки, сотни и тысячи, скрепив их железной дисциплиной. Посадил двести тысяч воинов на выносливых лохматых монгольских коней. И лавиной обрушился на Среднюю Азию.

Орды монголов прошли по Средней Азии, превращая все в пепел, кровь и руины. Ворвавшись в Бухару, Чингис крикнул со ступеней мечети: «Луг скошен! Дайте волю коням!»

Это был сигнал к грабежу: дома были ограблены, жители перебиты, город сожжен.

В Термезе какой-то горожанин, спасая свои драгоценности, проглотил жемчужину. Один монгольский воин увидел это и вспорол ему живот, чтобы жемчужину извлечь. Вслед за ним и остальные воины Чингиса стали вспарывать животы всем термезцам подряд, роясь в кишках, ища драгоценности.

Когда, по выражению одного среднеазиатского историка, в результате нашествия монголов «большинство селений и городов сделалось равнинами и долинами и не стало видно на земле ни изгибов, ни возвышений» — тогда соединенные войска Чингисовых сыновей — Джагатай, Угедей и Джучи — двинулись на Гургандж, столицу хорезмшахов.

Разрушив Гургандж и перебив его жителей, воины Чингиса уничтожили плотину и затопили город, чтобы на земле стерлась самая память о нем.

Чингис смял и физически уничтожил среднеазиатский Ренессанс, отбросив историю человечества назад. Средняя Азия не могла оправиться от этого удара целых семь веков — до нашего времени.

Цветущие земли в Хорезме и вокруг Термеза были превращены в пустыню. Книги сожжены. Омар Хайям позабыт.

В X—XII веках впервые человек здесь был поднят до уровня человека. Чингис превратил его опять в червя, которого можно раздавить конским копытом. Или которому можно гвоздем прибить чалму к голове, как делал это на развалинах империи Чингиса Муххамед Султан, ревностный поборник ислама.

И этому всему памятник?!

Человек, его жизнь — единственная ценность на земле. Люди не камни. С людьми надо общаться, а не считать их, как это делал по примеру Чингиса Тимур. Именно отношение к человеку — великий водораздел нашего времени.

Есть древняя китайская поговорка: «Не забывай, что даже жизнь столетнего — это всего тридцать шесть тысяч дней».

Вот единственный счет в человеческой жизни, уважительный по отношению к людям. Он напоминает, что жизнь человека слишком коротка, чтобы разменивать дни на злобу и ненависть.

Нельзя допустить, чтобы людей опять начали считать, как сосчитаны человеческими жизнями камни, холм из которых передо мной. Иначе над людьми всегда будет висеть угроза, что борьба за мир превратится в войну за мир.

26 апреля.

Пржевальск. Аэропорт.

День вверх дном. И конца этому «вверх дну» пока не видать. Сижу, жду самолета...

Сегодня на Фрунзенском ипподроме большой конноспортивный праздник. Я встал на заре, чтобы поспеть на него. Но вместо того чтобы прямо приехать сюда, в аэропорт, я по пути — и дернул же меня черт! — завернул на автостанцию.

У таксиста как раз оставалось одно свободное место до Фрунзе. Он клялся и божился, что домчит нас за четыре часа.

Было пять утра. Едва зеленый глаз потух — зажегся красный глаз: в здешних такси эдак. Словно взбесившийся кролик, машина помчалась по шоссе, подпрыгивая на каждом шагу и треща всем, чем возможно.

Такси не только трещало. Оно еще и повизгивало и верещало. Это не мешало двум женщинам, сидевшим рядом, весело болтать. Оказалось — врачи. Возвращаются во Фрунзе из командировки.

Рядом с шофером покачивалась чья-то шляпа и красная, тщательно выбритая шея. Я прикрыл глаза — отдохнуть от яркого света. Лишь изредка поднимал веки — взглянуть на озерную синеву. И вновь закрывал глаза, предвкушая зрелище на ипподроме.

Я видел его дважды — воспоминание на всю жизнь, — и было бы просто глупо его теперь пропустить.

Мы мчались вдоль Иссык-Куля. Машина так скрежетала, что лишь нечеловеческим усилием воли можно было заставить себя спокойно сидеть. Но таксисту этого показалось мало. Он включил радио.

В скрежет ворвались дребезжащие звуки рояля. Большую какофонию трудно представить. Если бы не знал так хорошо, никогда не догадался бы, что играют цис-мольный этюд Шопена. Что за несчастная мысль устанавливать в машинах приемники!

Мы ехали — вдруг — крак! — почти незаметный звук на фоне треска и скрежета. И наступила благословенная тишина. Такси остановилось. Шофер вылез и поднял капот: верный знак, что и остальным можно выходить.

Мы обступили таксиста с видом профессоров. Чем дальше, тем растеряней было выражение его лица. Сразу можно было понять: он не был знатоком своего железного коня. Его нельзя было назвать автомобильным Толубаем Сынци.

Так звали легендарного пастуха и знатока лошадей, о котором говорят, что по волосу из гривы лошади он догадывался, какой у нее характер, по черепу коня судил о его хозяине и легко укрощал таких норовистых лошадей, которые даже мухе не давали сесть на себя.

Рассказывают: однажды Толубай Сынци, слушая игру на кыяке, киргизской скрипке, вдруг прослезился.

— Почему плачешь? — спросили его.

— Как же мне не плакать, — ответил Толубай. — Я слышу, на этот смычок натянуты волосы из хвоста моего любимого коня, его украли у меня девять лет назад... Значит, он уже пал, мой любимый конь!

Добрый час таксист пытался перехитрить мотор. Вдруг — волнение! Подъехало такси. В нем два свободных места. Наш спутник в шляпе проворно захватил одно из них. Пришлось напомнить ему о правилах учтивости. Нехотя вылез. И молоденькие врачихи укатили.

А он хмуро вернулся на свое место и, опустив шляпу на глаза, задремал: то ли стало совестно за неуместную поспешность, то ли просто все предоставил судьбе.

Машин во Фрунзе как на грех больше не было. Туда и сюда мотались только местные, иссык-кульские. Наконец стало ясно, что любимым автотранспортом на праздник уже не поспеть. И я вскочил на попутный грузовичок, который ехал назад в Пржевальск. Надеялся попасть хотя бы на второй рейс самолета. Тогда был шанс успеть. Но, подкатывая к аэродрому, увидел хвост улетающего самолета.

Сиюю дожидаюсь гремящего рейса. На байгу, на скачки, уже опоздал. На состязание иноходцев тоже. Есть надежда, что погляжу хоть конные игры. Что ж, и это зрелище.

*День тот же.
Фрунзе.*

Он и дальше пошел кувырком, этот день.

Сели в самолет. Самолет не поднимался и не поднимался. Выяснилось — получена радиограмма: идет шквальный ветер «Улан». Решили переждать его ярость.

Через короткое время «Улан» налетел и, ударившись о фюзеляж и крылья, зарокотал, засвистел, зазвенел, потом смолк почти так же внезапно.

Поднялись в воздух. Сделали круг над озером, по которому все еще бежали барашки, взбаламученные «Уланом». И вернулись обратно на аэродром. Непорядок в моторе...

Подошли авиатехники, забрались в кабину управления и откуда-то снизу проникли в мотор. Копались, копались. Секунды складывались в минуты, минуты в часы. Наконец нас пересадили в другой самолет.

Потом ждали кого-то из команды, умчались за ним на мотоцикле. И когда понял, что все кончено — конноспортивного праздника мне не видать, — мы взлетели и уверенно взяли курс на запад.

Быстро миновали Иссык-Куль. И над Боомским ущельем столкнулись (именно столкнулись — это было физическое ощущение) с грозой. Самолет вздрогнул, зазвенел, покачнулся. Рядом за клубилась туча, один край ее сверкнул от солнца. Стена дождя обрушилась на нас.

И тут я был вознагражден за весь день — я увидел... Все происходило гораздо быстрее, чем в состоянии рассказа. Крылья нашего самолета рвали дождевую тучу, по ним стекали струи дождя. Вдруг откуда-то сбоку из-за тучи глянуло солнце. В ту же секунду вокруг нас вспыхнула радуга — круглая, совершенно круглая, круглая, как колесо. И в самом центре радуги обозначилась тень нашего самолета. Но тут ударила молния, границы между цветами радуги на мгновение стерлись, исчезли, пропали. Радуга превратилась в многоцветный клубящийся шарф. Но цвета разделились — вновь перед глазами колесо радуги. Еще удар молнии — опять это чудо... Я подумал: быть может, в последний миг перед гибелью чудо это видела Ната Вачнадзе — молния ударила в самолет, когда она пролетала над Кавказским хребтом.

Грозовой разряд грохнул совсем рядом. Упало сердце. Я закрыл глаза. И когда их открыл — клубящаяся туча стремительно улетала назад. Мы выпорхнули, вынеслись на солнечные просторы над Чуйской долиной.

Когда туча осталась позади, вздохнул с облегчением: как-то все-таки приятней умирать на земле, чем падать с небес на скалы Тянь-Шаня.

Прилетели во Фрунзе. Праздник на ипподроме, разумеется, давно кончился. Места в гостинице, конечно же, не оказалось.

Тогда в фойе, напротив дежурной, я раскрыл свою «колибри». И вот гремлю. Дежурной, по-моему, это начинает надоедать, и если у нее есть хотя бы один бронированный номер...

Ура! Не успел дописать фразу, как дежурная поманила меня. Подошел. Сказала: «Платите деньги!» И вручила мне ключ от номера. Занял его почти с тем же проворством, с каким утром тот, с бритой шеей, захватил место в такси. На мое счастье, возле дежурной не было дам, дожидавшихся ночлега.

Созвонился с Аалы Токомбаевым. Завтра утром — у него.

*27 апреля.
Фрунзе.*

Как уговаривались, утром я пришел к Аалы Токомбаеву. И неожиданно обрадовал его больше, чем мог ожидать.

В 1937 году московское издательство «Молодая гвардия» затеяло издать книгу «Родина». Мне поручили написать главу о Киргизии. Каждой главе должно было быть предпослано стихотворение. Стихи о Киргизии заказали первому поэту республики — Аалы Токомбаеву.

Написанное им стихотворение «Мой народ» привезла из Фрунзе, если не ошибаюсь, поэтесса Адалис, ездившая на Иссык-Куль. Привезла подстрочный перевод и киргизский оригинал. И я его переложил в русский стих.

Когда оно уже было набрано, выяснилось: Аалы Токомбаев арестован. Были заказаны другие стихи другому поэту. А свой перевод я бросил в ящик стола

Теперь, собираясь в поездку, наткнулся на них. И спустя двадцать семь лет после того, как были они написаны, привез стихи Токомбаеву. Оказалось, киргизский оригинал у него отобрали при аресте и он безвозвратно утрачен.

Токомбаев радовался, сиял, просил второй раз прочитать вслух. Перечитал сам.

Ширококошный, широколицый. Детский, чистый взгляд из-под прищуренных век. Седые нити волос. Рыжеватые, коротко подстриженные усики. Таков внешне Токомбаев.

Как почти все киргизы его поколения, Токомбаев не знает точного года и дня своего рождения. Вот как писал об этом он сам: «Дата рождения устанавливалась обычно в связи со значительными событиями вроде: «Он родился в то время, когда люди умирали от страшного мора» или «Когда такой-то человек пустился в паломничество в Мекку».

Если верить семейным преданиям, то я, оказывается, родился в ту весну, когда под снежным обвалом погиб некий Черный Охотник. В каком году это было? В тот год белый царь воевал с низкорослыми джипанцами. И вот в паспорте — 1904 год».

А день рождения? С ним еще любопытней. Прежде, когда кто-нибудь покидал надолго свой горный аил и его родным надо было по какому-либо из ряда выходящему случаю написать ему письмо, им в поисках грамотного приходилось объезжать десятки селений.

Да и этот единственный грамотей писал не на своем родном языке, а пользуясь письменностью одного из соседних народов, близких киргизам по языку. По выражению того же Аалы Токомбаева, «грамотного в ту пору так же трудно было найти в горах, как трудно сейчас найти в них неграмотного».

Лишь в 1924 году была создана в Киргизии своя письменность. 7 ноября 1924 года вышел первый номер газеты на киргизском языке «Еркин-тос» («Свободные горы».) В этом номере напечатано стихотворение Аалы Токомбаева «Победное шествие Октября».

Это было первое его напечатанное стихотворение. И, кроме того, оно вообще было первым стихотворением, напечатанным на киргизском языке. Так 7 ноября стало датой рождения киргизской печатной литературы. В честь этого и в паспорт Токомбаева вписан день рождения — 7 ноября.

Мальчиком вместе с родителями Аалы бежал в Синьцзянь в дни восстания 1916 года. Там родители умерли от голода. Аалы спустя год вернулся на родину круглым сиротой. Бедствовал. Голодал. Молил аллаха, чтобы прибрал его: он, как и все киргизы в то время, был твердо

уверен, что на том свете встретится с матерью и отцом. Но аллах его не прибрал.

Мальчик заходил в юрты, пел сказание о Курман-беке (память была отличная) и песню о восстании киргизов «Многострадальный народ золотой...» Ему протягивали кусочек мяса, лепешку. Выжил.

В 1919 году разыскал родственников отца. Стал пасти скот. В то время повсюду открывались первые школы. Лежа на берегу озера, выводил буквы на песке. А зимой в школе — на глине, самодельным свинцовым гвоздиком.

Прошло два года. Вдруг новость. Приехали сверстники из Ташкента: — Езжай туда. Советская власть сирот одевает, кормит, учит.

Выпросил у односельчанина заезженную, мухортую клячу. Дотрусил до Пишпека. И оттуда с погонщиками скота — пешком в Ташкент. Когда шел, ему рисовалось, что город вырезан в скале: Ташкент — «Каменный город». Приехал — голова закружилась.

Это был тот самый год, двадцать второй, когда и я приехал в Ташкент. И у меня тогда голова закружилась. Хотя видел и Одессу, и Екатеринбург, и Москву. Представляю, как должна была закружиться у киргизского юноши-пастуха!

В партшколе (подготовительном отделении Среднеазиатского Коммунистического университета) Аалы впервые увидел электричество.

За партами сидели люди почтенного возраста, только что вернувшиеся из армии, и старые деды, и сироты-подростки, все вместе. В одной комнате сразу занималось два класса, спинами друг к другу. Не хватало помещений.

В двадцать седьмом году Аалы окончил САКУ. Поехал в Пишпек. Был заместителем секретаря Чуйского кантонного отдела народного образования. Потом работал в газете «Кзыл Киргизстан». И все время печатал стихи. Десять лет спустя он был уже народной знаменитостью.

Подлецы обычно сильнее честных людей, потому что честные люди поступают с подлецами, как с честными людьми, а подлецы — с честными людьми, как с подлецами. Белинский повторил эту мысль дважды: в письмах Боткину и Герцену.

Токомбаева оклеветали.

Переводы стихов — труднейшее мастерство. Особенно выигрывают при переводе поэты второстепенные: случается, что истинную жизнь таким стихам дает переводчик.

Но поэты оригинальные, с собственным голосом обычно проигрывают. Их своеобразие стирается в потоке переводчиков. Лишь отдельные строки, лишь уцелевшие блестящие выдают их одаренность.

Утверждаю: хотя на русском языке у Токомбаева вышло несколько книг, они не дают и отдаленного представления о его таланте.

В 1939 году Токомбаев был выпущен.

В конце сороковых годов Токомбаев почувствовал, что над ним вновь нависла угроза. Внезапно для всех он уехал в Москву учиться в Литературном институте.

Сидел зрелый киргизский писатель, сорока с лишним лет, на студенческой скамье среди молодежи. Не терял даром времени, учился, читал, много писал. А сокурсники посмеивались за его спиной, толком не понимая, что вдруг толкнуло за парту зрелого, уважаемого поэта.

Я Токомбаева долго не знал в лицо — не приходилось встречаться. И все же однажды и за глаза он произвел на меня неотразимое впечатление. Было это, когда он уже вернулся из Москвы на Тянь-Шань.

Июнь 1952 года. Числа не помню. Самый день не забыть никогда. Было это в поселке Буденный, в верховьях Таласа.

Как белые шатры, надо мной — вершины Таласского хребта. Орел в небе так высоко, что кажется жаворонком. В стороне воюет с камнями река: Вечереет. От табунов, рассыпавшихся по склону гор, то и дело отделяются всадники, скачут к сельсовету и, узнав, что ожидаемых новостей еще нет, уезжают обратно.

Возле сельсовета прогуливалось и сидело много людей: седобородые старики в кунных шапках, трактористы в промасленных спецовках, табунщики в длинных кементях, участники археологической экспедиции, учитель школы, местные ветеринары, зоотехники. Собрало всех сюда, поближе к телефону, событие исключительное.

В тот день во Фрунзе завершала работу научная конференция по эпосу «Манас». Решалась судьба киргизского эпоса: признают ли его народным или, наоборот, объявят антинародным.

Сестра одного из зоотехников обещала из Таласа позвонить, как только конференция окончится. И вот все ждут.

— Какая дичь! — наверно, воскликнет читатель. — Как может быть антинародным эпос — произведение, созданное самим народом в течение веков?!

Еще бы не дичь! Но, к сожалению, для беспокойства за «Манас» имелись серьезные основания.

Незадолго до того в Азербайджане некоторые критики объявили антинародным эпос «Деде-Коркуд». Это мероприятие, мягко говоря, не было отмечено печатью мудрости. Однако и в некоторых других республиках тотчас нашлись усердные люди, которые с подозрительностью начали копаться в своих народных эпосах: «Дырявый рот от дырявого рта не отстаёт».

Подвергли разгрому бурято-монгольский эпос. Объявили антинародным узбекский «Алпамыш». Нашлись и в Киргизии люди, которые набросились на «Манас».

«Слово хорошего человека способно расплавить камень, плохого — сгноить траву». К чести киргизской интеллигенции надо сказать, что у «Манаса» нашлись и защитники. И самым упорным, самым стойким защитником, готовым, несмотря на все пережитые беды, сложить голову за «Манас», был Аалы Токомбаев.

Трудно найти киргиза, который не смог бы прочесть наизусть отрывок из «Манаса». И буквально все знают пословицы, поговорки, бытовые песни из этого эпоса. Но чтобы исполнить весь «Манас» — четырехста тысяч стихотворных строк, — нужно около шести месяцев. Если его издать целиком, выйдет примерно двадцать объемистых томов.

В Кочкорской долине есть мавзолей сорока «чоро» — сорока богатырей «Манаса», каждый из которых был чем-нибудь знаменит: один — искусный полководец, второй славился красноречием, третий разгадывал секреты врагов, четвертый — такой зоркий разведчик, что даже в темноте видел следы лисы, пятый — мастер-кузнец, шестой — гадалщик, седьмой — певец, который одно убранство юрты мог, не повторяясь, воспеть полдня, и т. д.

И вот враги «Манаса» опять подняли головы. И опять встали на его защиту сорок новых чоро — сорок богатырей. И одним из них стал Алыке — Аалы Токомбаев.

Четыре месяца на страницах газет шла дискуссия о «Манасе». Наконец, чтобы подвести итоги, в столице Киргизии создали научную конференцию. В тот день мы собрались на родине «Манаса», в Таласской долине, возле телефона в Буденном. Звонка из района все не было и не было: как видно, конференция по «Манасу» затянулась во Фрунзе допоздна.

В костер у дороги кто-нибудь время от времени подбрасывают сучья, они начинали трещать, и высоко взлетал острый язык пламени. В опустившейся ночной темноте у крыльца сельсовета вспыхивали и гасли красноватые огоньки папирос, освещающая обветренные лица...

Только поздно ночью сообщили: эпос «Манас», хоть и с оговорками, все же в основном (в основном!) признан народным. Каким торжеством светились глаза собравшихся! «Манас» защищен!

Десятки всадников поскакали в ночь к табунам сообщить эту весть. А какой-то седобородый аксакал, вставая от костра, сказал:

— Если ложь выдашь за правду, правда уйдет своей дорогой.

29 апреля.

Ташкент.

Кто-то, не помню кто, сказал: «Жизнь странней вымысла», — чем дальше, тем в моей поездке все странней.

Еще вчера прошел смутный слух: что-то случилось на Зеравшане, какая-то катастрофа... Никто ничего толком не знал. Это ощущение, что где-то что-то случилось, не покидало меня все утро.

Подумал: пойти, что ли, в редакцию «Правды Востока»? Там наверняка знают. Пошел. Почему-то мелькнула мысль: Рацек — вот кто рассказал бы о катастрофе на Зеравшане. Что касается гор и рек — он все знает точно.

Правда, Рацека я никогда в глаза не видел. Не сводила судьба.

Он — известный среднеазиатский географ, альпинист и литератор. За открытие пика Победы (второй вершины СССР) был в свое время награжден медалью Семенова-Тянь-Шанского. Читать его статьи одно удовольствие: всегда точно, всегда собственные наблюдения. Не видал его, не знаю. Но общих знакомых тьма.

Перед отъездом Николай Николаевич Михайлов (тот самый, чьи книги-путешествия известны почти каждому) позвонил мне — знал, что собираю материалы о Федченко, — и сказал:

— Может вам пригодиться. Был у меня Рацек. Рассказал: недавно в районе Искандер-Куля нашел он скалу, на которой расписался Федченко в дни Искандер-Кульской экспедиции 1870 года.

Скала с надписью была мне вроде ни к чему. Я поблагодарил Николая Николаевича за внимание. И тут же про это забыл. Вспомнил о нем теперь. Оказалось: в этой поездке у меня все к чему. Ждете, что в редакции встретил Рацека? Нет, все куда странней.

Дошагал до «Правды Востока». Но голод давал о себе знать, и я, вместо того чтобы войти в редакцию, подошел к стоянке такси. Очередь небольшая. Решил: сперва съезжу-ка пообедаю в аэропорт. По крайней мере там быстро подадут!

Сажусь в такси. Оклик:

— Куда едете?

Какой-то военный с рюкзаком защитного цвета.

— В аэропорт, — говорю.

— Прихватите меня.

Я кивнул. Поехали вместе. Военный — невысокий, худощавый, неопределенного возраста — обернулся ко мне.

— Понимаете, опаздываю на самолет, — говорит. — В Самарканд лечу...

Я обрадовался:

— Не слышали, что там с Зеравшаном стряслось? Что за катастрофа?

— Туда и лечу... — И он рассказал.

Вчера по неизвестной причине на Зеравшан обрушился гигантский оползень. В горах, выше Пенджикента. И перегородил русло реки. Ну, просто повторение сарезской катастрофы. С той разницей только, что воды в Зеравшане во много раз больше. Быстро поднимается за запрудой. И если прорвет, промоет запруду — вода ринется всей массой на Пенджикент и Самарканд. Это грозит самому существованию Самарканды.

— А вы зачем туда?

— Да так... — неопределенно сказал военный. — Наша помощь может понадобиться...

На том разговор и кончился.

С уважением поглядел на его форму. Вспомнил землегрясение в Ашхабаде. Туда прежде всего были посланы на самолетах воинские части: оказать людям помощь, отрыть засыпанных заживо...

Захотелось и мне сесть в самолет и лететь туда. Главное, из Ташкента собираюсь ехать-то как раз в Самарканд — правда, только через три дня: нельзя Арипа лишать праздника.

Пообедал под рокот и гул самолетов.

Подхожу к очереди на такси перед аэропортом. Гляжу — мой военный с рюкзаком как раз садится в машину. Теперь я окликаю:

— Прихватите меня!

Усмехнулся. Открывает дверцу. Едем. Отвечает, не дожидаясь вопроса:

— Самолет отменили. Полечу завтра на заре...

Слово за слово... Оказалось — альпинист. И географ! Я удивился:

— Географ в военной форме? Вот не знал, что, и сейчас есть такие? Думал: бывали только во времена Федченко и Пржевальского. Да и Федченко...

И рассказал ему, как Федченко появился при дворе кокандского хана Худояра в обычном костюме и с белой панамкой на голове. А его переводчик — в форме русского офицера. Хан был обескуражен: кто главный?

Спутник мой рассмеялся и спросил:

— А вы кто, историк?

— Да нет... — неопределенно сказал я.

Он остановил машину — доехал, — протянул деньги таксисту и на прощанье сказал:

— Я был недавно в районе Искандер-Куля. Видел там на скале надпись, которую сделал Федченко в 1870 году! — Помахал мне рукой и быстрыми шагами ушел.

Так это Раецк! Свела все-таки нас судьба. Хоть и не познакомила. Нельзя же считать знакомством несколько фраз, сказанных мимоходом в такси. Но информацию о катастрофе на Зеравшане получил из первых рук — тех самых, о которых мечтал.

30 апреля.

Ташкент.

Сегодня целый день у Козловских.

Люблю их дом. Люблю зверей...

Фунтика — рыжего с белым, — радостным визгом встречающего у калитки и, пока дойду до крыльца, бегающего по саду несколько стремительных кругов, чтобы выразить волнение по случаю моего прибытия. Многочисленных котов, которым все дозволено.

Журавля Гоппи, египтянина, совершенно ручного. Летел он в журавлином косяке. Кто-то выстрелил. Журавль упал в сад Козловских. Алексей его выходил. Научился и сам курлыкать по-журавлиному. Вот и бродят вдвоем по саду, разговаривают. Иногда Гоппи показывает Алексею свои птичьи танцы. И оба счастливы.

Садык, садовник и цветовод, давний друг семьи Козловских, утверждает, что журавль в доме — примета счастья.

Огромное урюковое дерево осеняет вход, в арыках воркует вода: Садык разделал сад Алексея в чисто узбекском вкусе. В глубине — купы персиковых и вишневых деревьев, кусты гранатов и цветущей японской айвы. В стороне — полуарка виноградника с красноватыми листьями. Уже расцвела сирень. Весь в бутонах жасмин. У дальнего забора — рядок высочайших пирамидальных тополей, посаженных руками Алексея. На них поют дрозды и иволги. А посреди садика, над водоемом, от которого в жаркие дни веет прохладой, плакучее таловое дерево свесило зеленые плети ветвей.

В тридцать первом году Алексей окончил Московскую консерваторию по классу Н. Я. Мясковского. Станиславский просил рекомендовать ему способного молодого дирижера «без рутины». Рекомендовали Алексея: музыку пишет с шести лет. «Героическая увертюра», исполненная при выпуске из консерватории, пленила всех свежестью.

Когда Алексей вышел первый раз за пульт на спектакль, Станиславский сказал:

— У вас некоторая скованность в руках. Но я вам развяжу ее сейчас. Выходя на сцену, поправляйте себе запонку.

Этот жест с тех пор — на всю жизнь.

Блестящий взлет музыканта. Дирижер у Станиславского. И успех первых собственных сочинений. На беду!

Приехал с гастролью из США Вильямсон — главный дирижер Вестминстерского хора. Попросил показать ему партитуры хоров советских композиторов. Из сотен хоров выбрал «Сюиту для хора а-капелла» Козловского. И увез исполнить в Америке.

Потом, по просьбе Вильямсона, Алексей отослал ему второй хор. И хотя все делалось через Союз композиторов, ему пришлось уехать в Ташкент.

В тридцать шестом году вслед за ним в Ташкент переслали и письмо Вильямсона. Он писал, что показал хоры Алексея Леопольду Стоковскому: «Они очень понравились ему. И он сказал, что в следующем сезоне исполнит любое ваше произведение».

Никакого произведения Стоковскому Алексей, разумеется, уже не послал. А следующего сезона у Алексея тоже не было.

Но была (и есть) у Алексея черта, которая помогла ему себя сохранить.

Океш Тюлебердиев, председатель одного из иссык-кульских колхозов, как-то при мне сказал:

— Надо любить все краски, а не говорить: «Выношу один только черный цвет!»

Уж если кто любит все краски — так это Алексей. И краски жизни, и краски искусства. Страстный поклонник Дебюсси, он в особенности ценит в музыке именно краски, колорит. Сразу же с увлечением он окупнулся в краски узбекского народного мелоса.

Когда Рабиндранат Тагор впервые услышал европейское пение, оно показалось ему странным подражанием пению птиц. Когда Николай Карзин впервые услышал узбекскую песню, он решил, что оплакивают покойника.

Теперь, если не считать безнадежно тугоухих людей, трудно найти в Средней Азии русского или узбека, которые не отыскали бы взаимно в музыке друг друга красок, способных глубоко растрогать человека, вдохновить и зажечь стремлением к великому.

Две совсем разные и (это было убеждением многих) неслиянные музыкальные культуры встретились, оплодотворив друг друга. Больше других для этого сделал Алексей Козловский. Вот почему теперь он — народный артист Узбекской республики.

Когда Джавахарлал Неру приехал в Ташкент, на концерте в его честь была исполнена «Индийская сюита» Алексея Козловского.

Надо сказать, что в Индии, как и почти всюду на зарубежном Востоке, между своей народной музыкой и европейской до сих пор пропасть. За века владычества англичане не сумели перебросить через нее мост.

И Неру был так взволнован, так поражен, услышав в европейском оркестре свою родную музыку, не потерявшую национального колорита, приобретающую новые краски, оставаясь в то же время глубоко индийской, что тут же на концерте попросил подарить ему «манускрипт с нотами».

Невысокий, плотный, стремительный, всегда весь взметенный, шуточной отвечающий на шутку — таков Алексей. Удивительная память: цитирует наизусть целыми страницами Гоголя и Толстого, Пушкина и Пастернака. Великолепное чувство истории: знает композиторов прошлого, будучи близких друзей.

Спросите его: «Как написан Шопеном такой-то этюд? Когда и при каких обстоятельствах Лист создал такую-то вещь?» Расскажет так, что возникнет живая картина: где и когда написано, среди какой природы, среди каких людей, как одетых, в каком драматическом повороте жизни, какие вокруг были разговоры, восклицания... Не ответ, а целая историческая новелла!

Однажды Алексей сыграл при мне в филармонии Баха и Генделя, рассадив оркестр, как во времена Баха: дирижер лицом к публике. Это был единственный в своем роде концерт. О нем долго потом ходили разговоры. Отзвуки слышал я спустя несколько месяцев и в Москве.

Дирижерское искусство Алексея восхищает пианистов и скрипачей, приезжающих с концертами в Ташкент. Недавно Алексей получил письмо из Парижа от Жаклин Эймар: опять же восторги по поводу совместных концертов и сожаления, что встречи были так кратки.

И о композиторском даровании Алексея тоже ходят легенды: легенды — потому что в России, кроме музыкантов, мало кто знает его музыку, ее знает хорошо лишь в Средней Азии.

Личная почти детская незащищенность художника, инстинктивно сторонящегося всех обид и уколов, которые закрывают доступ в сердце самым тонким, самым глубоким и трепетным ощущениям жизни, какие одни только и дают жизнь истинному искусству, — вот причина того, что он палец о палец не ударяет, чтобы как-то «пристроить» свое произведение.

Даже из Японии от какого-то человека пришло письмо с восхищенными возгласами и сожалением, что в его фонотеке нет еще каких-либо записей музыки Козловского. Просил Алексея прислать другие пластинки. Могу лишь посочувствовать этому японцу. Сам мечтаю иметь их в своем музыкальном шкафу. Но их нет. Записаны только две небольшие симфонические поэмы: «Танавар» и «По прочтении Айни».

Смешно сказать: после того как Неру увез к себе домой «Индийскую сюиту» Алексея, вскоре ташкентцы услышали ее по радио, сыгранную в Бомбее; там, говорят, выпущена и пластинка. Несуждено ли в Индию человеку поехать, чтобы ее приобрести?!

*1 мая.
Ташкент.*

Сунулся с утра в праздничную толпу. Люди несут в руках нарциссы, маки, ветки жасмина, садовые тюльпаны всех тонов и оттенков. Вспомнилась одна первомайская история.

Великая Отечественная война. Группа узбекских писателей и актеров поехала с подарками узбекского народа на фронт.

На передовой давали праздничный концерт. Выступали на импровизированной сцене: у пятитонного грузовика откинули борта, грузовик задрапировали и сверху накрыли ковром.

Поэты читали стихи. Артисты плясали и пели. А в первом ряду сидел командир и чему-то все время усмехался.

После концерта поэт Гафур Гулям подошел и спросил:

— Что вас смешило?

Командир возьми да и откинь драпировку с грузовика. Оказалось— борта подперты минами. Плясали на минах! Артистам стало не по себе.

А командир протянул им мелок:

— Распишитесь на минах! От вашего имени пошлем в «подарок» фашистам.

В тот же Первомай Гафур Гулям беседовал с пленным гитлеровским офицером. Вот запись, сделанная тогда же, по свежему следу:

Г. Гулям. Что заставило вас поднять против нас оружие?

Офицер. Меня мобилизовали и отправили на фронт.

Г. Гулям. А как далеко вы думали пройти в глубь нашей страны?

Офицер. До тех пор, пока командование не приказало бы нам остановиться.

Г. Гулям. Вот я узбек... Вы знаете такую республику, такую страну — Узбекистан?

Офицер. Нет, не слышал.

Г. Гулям. Ну, а Туркестан? Про Туркестан... про такую страну вы слышали?

Офицер. Это где турки живут?

Г. Гулям. Нет, зачем же гурки... Это гораздо восточнее...

Офицер. Нет, не слышал.

Г. Гулям. Ну, хорошо, а про Баку вы слышали, знаете?

Офицер. Знаю.

Г. Гулям. И про Индию знаете?

Офицер. Знаю.

Г. Гулям. Как вы думаете: между Баку и Индией есть какое-нибудь пространство?

Офицер. Вероятно, есть.

Г. Гулям. Ну вот как раз на этом пространстве и находится Узбекистан — республика, в которой я родился и вырос. Что же, вы думали захватить и нашу республику, добраться до нас?

Офицер. Если бы приказало командование.

Г. Гулям. А что бы вы тогда сделали с нами, с нашими семьями?

Офицер. То, что приказало бы командование.

Г. Гулям. Вы завоевали Бельгию, Голландию, другие страны. Скажите, вам присылают оттуда по восемьдесят вагонов подарков, как привезли мы на фронт?

Офицер. Если бы приказало командование, привезли бы.

Г. Гулям. И с такими ослами они надеются выиграть войну?!
(Плюнул и ушел.)

И еще отступлю на двадцать с лишним лет назад.

Мне попало однажды в архивах старое заявление. Его энергия и поэзия пленили меня:

«1 мая 1919
РСФСР

От кр-ца 251 этапа
Тита Семочкина

З а я в л е н и е

Я кр-ц просился у своо комиссара добровольцем на туркестанский фронт. Но комиссар меня не отпустил.

И я к вам обращаюсь рабоче-крестьянская инспекция, что можно или нет идти добровольцем. Я на фронте знаю, за что погибну, за свободную грамоту всех народов. А здесь в этапе погибаю от одних вшей и скуки.

А на фронте, на туркестанском степей раздольи, весело будет идти против жужжания пуль. Вся моя отрада винтовка и граната. И буду и буду биться до тех пор, пока расплавится моя винтовка или свалится головка.

Кр-ц Семочкин Тит».

И надпись на письме, сложенном треугольником: «Прошу товарища почтальона, как родного брата, передать в рабоче-крестьянскую инспекцию».

Романтическое было время. На первомайских демонстрациях в Ташкенте еще в начале двадцатых годов на транспарантах, что несли высоко над головами, можно было прочесть такие слова: «У мастера в руках и снег горит!» или: «Правда светлее солнца». Первомайские лозунги были творчеством масс.

Советские воины, безвестные Титы Семочкины, с первого дня революции знали, за что сражались. На Туркестанском фронте «за свободную грамоту всех народов».

И вот плоды их жизни: спустя два десятилетия Гафур Гулям, образованный узбек, академик, беседует с гитлеровским офицером; а тот не имеет понятия о стране, в которую пришел с огнем и мечом, и даже не знает, за что сражается. Ему вполне достаточно, что об этом знает командование.

Как не вспомнить, не сопоставить этого в Первомай?

На улице Карла Маркса то и дело задерживался возле витрин магазинов: выставлены проекты зданий — тех, что будут воздвигнуты в Ташкенте в ближайшие годы.

Как видно, и здесь кончилась та полоса безвременья, когда строили одинаковые, будто сложенные из детских кубиков дома ташкентских Черемушек — Чиланзара.

За последние годы советские архитекторы в Средней Азии подарили людям немало оригинальных идей.

Во Фрунзе строится полиграфкомбинат. На его крыше спроектирован небольшой бассейн, чтобы предохранить здание — работающих в нем людей — от лучей солнца сверху. Заодно на крыше можно будет и искупаться. А такая идея? Во время последнего ашхабадского землетрясения, уничтожившего город, среди немногих зданий уцелел подвешенной элеватор. И архитекторам пришла мысль спроектировать подвешенной дом.

Трехэтажный дом-маятник в Ашхабаде уже воздвигнут. На вид он, как другие. Жильцы живут, не ощущая разницы с прочими домами. Хотя квартиры их и построены на гигантских качелях. Остроумная защита от землетрясений.

Вспомнил и одну неосуществленную идею. Придумал ее не архитектор, а старый ашхабадец, бывший директор студии «Туркменфильм» Н. Ф. Бондаренко.

Восстанавливал киностудию после землетрясения. Надо было что-то срочно решать с павильоном, пока отстроят новый.

Придумал! В Ашхабаде почти круглый год светит солнце. Есть ли на всем белом свете более мощный осветительный прибор? А что, если взять старый паровозный круг, поставить во дворе студии, установить на нем съемочную площадку, разделенную вертикальной стеной. К стене пристраивать декорации. И вращать их с помощью часового механизма за солнцем, чтобы угол освещения сохранялся...

Пригласил и старый паровозный круг на станции Кызыл-Арват — уже никому не нужный, зараставший травой. Но осуществить затею не удалось. К сожалению, частенько еще у нас тратят в сотни раз больше денег, чем надо, лишь бы сделать, «как у всех».

Лютер Бербанк писал: «Окаменевшее знание является для мира бременем, к какой бы области духовной деятельности оно ни относилось. Я охотно променяю целый вагон традиций на новую идею. Можно проследить прогресс человека в течение столетий по творческим мыслям, не связанным традициями людей».

Если бы не так длинно, можно бы эти слова — тоже на транспарант.

Люблю Первомай. В праздник хочется, чтобы было одно веселье, чтоб не омрачало ничто. Впрочем, нынче праздник омрачен событиями на Зеравшане. Оттуда все более тревожные вести. Двинули в горы людей, технику... Сооружают отводный канал. Хотят мягко спустить быстро поднимающееся, нависшее в горах озеро, прежде чем оно обрушится на Самарканд. Сегодня Зеравшан у всех на устах...

*3 мая.
Самарканд.*

Когда въезжаю в Самарканд, меня всегда охватывает волнение. Если бы было принято снимать обувь при въезде в этот город, древнейший, существующий «со времен неведения», я бы тотчас разулся и пошел через весь Самарканд босиком.

До сих пор, бывало, обоснуюсь в гостинице и уж потом иду на прогулку к памятникам седой старины. Но сегодня с налету очутился в Самарканде Тимура.

Дело в том, что в машине сидела племянница Арипа — студентка самаркандского медицинского института. И нам надо было сперва завести ее в общежитие. А общежитие недалеко от Биби-ханым — соборной мечети Тимура.

Меня пробрала дрожь, когда увидел вблизи знакомые очертания колоссальных арочных колонн, возвышающихся над городом. И чудом держащуюся, всю в просветах часть свода мечети.

И остатки шестигранных, необыкновенных по росписи минаретов. И покрывающую само здание мозаику гранатового цвета, чередующуюся с терракотой и с белыми и синими письменами.

Стоит лишь прищуриться, дорисовать в воображении все здание, несмотря на величину, легкое и соразмерное, — и тебя охватывает чувство полнозвучной красоты.

Над главным входом по повелению Тимура было начертано: «Мир — час, а потому вооружайтесь терпением». Время не пощадило этих слов: рухнули вместе с аркой. Однако для меня они и сейчас там: прищурюсь — и там!

Но я не рассказал еще, откуда взялась племянница Арипа...

Спозаранок у калитки Козловских раздался знакомый сигнал. Вышел с вещами. Гляжу — в машине на заднем сиденье строго причесанная девушка.

Арип представил:

— Максума. Племянница. Приезжала домой на праздник. Учится в Самарканде на доктора. Подумал: все равно по пути, и...

Выкатились за город под дождем, по залитой лужами разбитой дороге, обрызгивая встречные машины, приостанавливаясь перед колдобинами. Идущие в Ташкент грузовики и автобусы в свою очередь окутывали нас так, что по лобовому стеклу то и дело стекала пенная мутная волна.

Домчались до Янгиюля. Дождь перестал. Перед тем как свернуть на главную улицу города, Арип остановил машину и вымыл: ему хотелось перед Усманом-ака блеснуть чистотой...

Дело в том, что я решил заехать к Усману Юсупову, тому, который при Сталине много лет был в Узбекистане секретарем ЦК. Теперь он директор агропромышленного комбината «Халкабад».

Мне было интересно посмотреть, как человек, привыкший властвовать, как он чувствует себя, как ведет и что думает, вынужденный заниматься обычными хозяйственными делами. Сохранил о нем самые лучшие воспоминания. Знаю, что и в народе об Усмане-ака хорошая память. Об этом, кстати говоря, свидетельствует и приставка «ака» — в буквальном переводе «старший брат». Такой приставкой к имени узбеки пользуются, когда хотят подчеркнуть уважение и вместе с тем близость.

Человек он был властный, однако горячий и убежденный в том, что делает для своего народа историческое дело, поднимая его к вершинам цивилизации. Жизнь своего народа Юсупов знал отлично.

Я познакомился с Юсуповым давно... Но сперва расскажу, как встретились сегодня. Едем... В Янгиюле возле универсама Арип внезапно остановил машину, Максума вышла, поехали дальше. Я удивился. Кротко мигая, Арип сказал:

— Будет ждать нас тут...

Понял: не хочет осложнять присутствием племянницы встречу с Юсуповым.

— Но почему не взять ее с собой?!

— Ей надо в магазин. Очень надо,— говорил он неуверенным голосом.

И мы свернули к мостику через речку Куркульдюк, чтобы ехать в управление «Халкабада».

Возле ряда чайхан, среди луж и грязи разъезжаемся с машиной «ГАЗ-69». Смотрю: за рулем «ГАЗа» — Юсупов! Едет один. Разъехались, окликать поздно... Поворачиваем за ним и пристраиваемся в хвост. Обгонять и останавливать неудобно — невежливо. Плетемся сзади по янгиюльской улице. Едет медленно, по-стариковски, аккуратно объезжая лужи и выбоины на дороге. Притормозит перед ними — и опять дальше... Так ходят старые люди. Подъехал к большим воротам. Сигналит. Ворота неспешно распахиваются. Въезжает.

Выскакиваю из машины. Догоняю. Уже вижу его лицо. Вопросительная полуулыбка. Узнал. Здравуемся. И он знакомым жестом — как тогда, когда был секретарем ЦК,— полуобнимая, подталкивает к дверям домика. Проходит. Что-то вроде складской конторы. Рассказываю, зачем приехал в Узбекистан. Слушает внимательно, из-под прищуря поблескивая молодыми глазами: когда сидит так близко, кажется, совсем не постарел.

Выслушал. Кивнул. Оставил меня на несколько минут: со двора долетели обрывки его слов о каких-то запасных частях к тракторам... Потом сел к нам в «волгу» на хозяйское место — рядом с Арипом.

Выехали за окраину Янгиюля и очень скоро углубились в цветущие, совсем молоденькие сады. Показывая пальцем направо и налево, Юсупов называл астрономические цифры высаженных и принявшихся гранатов, виноградных лоз, персиков, слив, яблонь, абрикосов, инжира. Раз за два останавливал машину поглядеть, как работают тракторы. Его чуть тронутое оспинами лицо все еще полно энергии.

Километров пять проехали молоденькими садами и виноградниками. Среди туч выглянуло солнышко. Юсупов останавливает машину в тени деревьев у полевого стана, где стоят столы и скамьи — огромные, рассчитанные на «сколько усядется». Над столами — зеленый шатер чинара. Сквозь весеннюю листву виднеется голубизна широкой Бозсу, за ней селения и поля...

Втроем (Арип третий) уселись на скамью.

— Чинар этот я посадил двадцать лет назад... — начал Юсупов.

Но чтобы рассказ его был ясен, сперва кое-что расскажу об Усмане-ака.

...Осень сорок второго года. Только что окончили фильм «Насреддин в Бухаре», по сценарию, написанному Леной Соловьевым и мной. Юсупов остался доволен.

Наутро после просмотра возле моей четырехметровой комнаты-парадной остановилась машина. За мной, к Юсупову! В приемной встречаю поэта Гафура Гуляма и Б. А. Арапова — композитора-ленинградца, знали друг друга, писал музыку к нашему «Насреддину». Он знакомит меня с Э. О. Капланом — оперным режиссером, тоже ленинградцем.

Всех привезли совершенно так же, как меня. Зачем? Никто не знает. В приемной — военные, партработники, директора предприятий, ученые. Входят, выходят... Наконец вызывают нас четверых.

Юсупов встает из-за стола, здоровается. Говорит:

— Простите, что задержал. Поедете в Янгиюль. Создадите музыкальную комедию о Ходже Насреддине. — (К мне) — Ты напишешь либретто! — (К Г. Гуляму) — Ты переведешь на узбекский язык! — (К Арапову) — Ты напишешь музыку! — (К Каплану) — Ты поставишь! Будете делать все сразу. Даем вам комнаты в Янгиюле. Специальный паек. Кто еще нужен — скажете, привезем! Простите: меня ждут. В Янгиюле поговорим. До свиданья!

Опомниться не успели, как очутились в Янгиюле. «Что же, время военное», — рассудили. И принялись за работу.

До этого много слышал об Усмане-ака — изустно, от людей, работавших с ним. Знал: народные стройки Узбекистана — его замысел (хотя об этом нигде никогда прямо сказано не было).

Построить Большой Ферганский канал значило не только придумать по тому времени необыкновенные, поражающие воображение формы этой великой стройки, но и написать ее самую жизнь: суметь зажать этой идеей десятки тысяч дехкан; послать на трассу канала инженеров-ирригаторов против их воли (привыкшие к своим техническим нормам, они не верили в эту затею); отправить туда лучших чайханщиков республики с их самоварами; лучших музыкантов, певцов, танцоров, театральные коллективы, чтобы превратить работу в грандиозный праздник; суметь подчинить все своему вдохновенному замыслу!

Для такого необходимы были смелость и темперамент, а главное — умение говорить с народом понятным ему языком, умение затронуть тайные струны сердца. Словом, это был настоящий творческий акт.

«Сильным ударом и шерстяной кол в землю загонишь». Так грубовато, но точно сказал мне один ташкентский узбек об Усмани-ака, когда в республиках Средней Азии принимали заводы, эвакуируемые из прифронтной полосы.

В других республиках принимали «сколько можно разместить», иными словами — негусто.

Усман-ака принимал все. Слышал о нем в ту пору еще и такую фразу: «Вот человек, который не прячется за «нет!»»

Чтобы пустить заводы, необходима была энергия тут же, сейчас же — много энергии! И в Ташкенте решили вздвигнуть — тоже методом народных строек, юсуповским методом — первые гидростанции Бозсуйского каскада.

Когда сверкает молния, все думают об одном и том же. Весь город вышел строить Северный ташкентский канал и первые ГЭС на нем. Каждое предприятие взялось вырыть определенный участок канала. Вдоль трассы запылали костры. Десятки тысяч горожан, лепясь на обрывах над головами друг у друга, начали лопатами и кетменями врезываться в землю.

Был свой участок и у киностудии. Наша группа «Насреддин в Бухаре» в дни, свободные от съемок, тоже работала кетменями и относила землю в сторону в заплечных деревянных носилках. Я работал в паре с Львом Наумовичем Свердлиным: у нас была одна лопата и одни носилки на двоих.

Несколько лет спустя, когда беседовал с Юсуповым, собирая материалы для книги об Узбекистане, он так мне рассказывал об этих годах:

— ...Пустили заводы. И тут же стали строить ФархадГЭС и свой металлургический в Беговате. Это в феодальном-то Узбекистане...

Рассказывал, а сам (это его манера) сидит почти вплотную, глядя в глаза, и через каждые несколько слов могучим движением руки толкает в плечо, словно расталкивает собеседника: «Проснись! Слушай, что тебе скажу!»

— ...Послал людей учиться в Сибирь, в Кузнецк. А теперь — гляди, какие кадры! Образованные рабочие. Образованные люди. Это и есть интернационализм. Пример для всего мира. Как думаешь?.. То-то!

Меня поразила тогда его горячность и убежденность. Хотя и грубоватость, неотесанность, что ли... Вот ведь сделал свою республику индустриальной, гордится людьми, которые так по-русски говорят, что от русских уже не отличишь. А сам — остаток того мира: и акцент, и трудное владение русской грамматикой, которое, однако, не мешает силе и яркости выражения мыслей.

Театр в Янгиюле, куда нас привезли, был сердечной слабостью Усмана-ака. Он всегда любил Янгиюль. Здесь был дом его родителей, куда наезжал в короткие часы отдыха. Страстный любитель народной музыки, он сам создал и янгиюльский театр. Свообразным способом. Ездит по республике с хозяйственными делами, услышит — хорошо поет или играет человек на дугаре, на бубне, тут же сажает в свою машину и — хочет, не хочет — везет в Янгиюль.

Здание театра было в Янгиюле. Но жили мы в получасе ходьбы, в Туркменсаде — гигантском великолепном фруктовом саду плодосовхоза. Этот сад, кстати, входит сейчас в комбинат «Халкабад».

Едва Борис Александрович Арапов написал клавир первой картины, ее тут же начали репетировать. Все впряглись в работу: и режиссер, и художники, и концертмейстеры, эвакуированные из Ленинграда вместе с консерваторией.

Приехал однажды на репетицию Усман-ака. Поглядел-поглядел — видно, не понравилось. И спустя несколько дней привез Свердлина —

показать, как надо играть: пусть поучит, поделится опытом! Смотрел, сияя, в первом ряду. Не выдержал и сам полез на сцену помогать Льву Наумовичу. Прелестно, наивно, но вызывало усмешки. И смех и грех! Как-никак секретарь ЦК! Впрочем, все понимали: театр и ансамбль — его детище, создал, наверное, мечтая втайне и самому в свободное время заниматься искусством.

Когда репетировался второй акт, приехал как-то Усман-ака. И говорит:

— Через двадцать дней назначаю премьеру!

Все развели руками: партитуры ни строки, да и клавиш недописан...

— Мобилизуем еще композиторов! Помогут! — сказал Юсупов. И уехал. Как в сказке: «Мне чтоб перстень был найден, а не то...» А что «не то» — объяснять не приходится!

Наутро машина привезла композиторов Козловского и Волошинова, с ними несколько переписчиков нот. Тоже не спросили их: взяли и привезли. Усман-ака так на ноги ставил заводы: «Сами не можете в срок? Поможем людьми!»

И вот что странно. Премьера состоялась в срок!

Следующий раз я встретился с Усманом-ака сразу после войны — в дни, когда узбечки, встречая из армии своих сыновей, по старинному обычаю осыпали их головы сладостями и пригоршнями монет. Приехал собирать материалы для книги об Узбекистане. И Юсупов назначил мне беседу на три часа ночи: так было принято. Почти до семи утра с необычайной энергией рассказывал он мне (малоизвестному литератору, который авось что-нибудь да напишет!) о перспективах развития Узбекистана. Рассказывал, ударяя рукой мне в плечо. Словом, та самая беседа.

И вот опять встреча. Мы с Арипом сидим на полевом стане. Небо расчистилось, лишь на горизонте лохматая гряда туч. И Усман-ака, директор комбината «Халкабад», начинает рассказ:

— Чинар этот я посадил двадцать лет назад.

Надеюсь, теперь-то, когда рассказал о нем, читателю станет интересно, как он живет. Ведь не так просто жить, когда по отношению к людям находишься в положении, о котором еще Ибн-Хазм писал: «Пусть простит тот, кто простит, и бранит тот, кто бранит!» Нелегко отмести все обиды и суметь себя сохранить.

— Первый раз я попал сюда лет сорок назад, — начал рассказывать Юсупов, сидя с нами под чинаром. — Мальчишкой еще... Нанялся в гидрологическую партию рабочим. Тут и работали. Тогда здесь была голая степь. Руководил нами русский гидролог, опытный человек, старый туркестанец (фамилию его, жаль, не помню). Он брал пробы земли, а я то лопатой, то кетменем рыл землю. Мы шли и всюду позади себя оставляли глубокие ямы. Что искал он, зачем все было, какие принесло результаты — не знаю: это было тогда выше моих интересов. Но один разговор запомнил! И было это тут, где сидим. Поднял я лопату с землей, вдруг гидролог задержал мою лопату рукой и спрашивает: «Как думаешь, Усман? На этой земле может что-нибудь расти?» — «Может, — ответил я. — У нас в Вуадиле все растет на камнях. А тут — хорошая земля!»

Смотрю, гидролог повернул голову туда, к Бозсу: текла здесь же, только маленькая, в глубоком каньоне. Заметил взгляд его, спрашиваю: «А как поднять воду на эти поля?» — «Не знаю», — сказал он.

Через двадцать лет вспомнил я этот разговор. Был уже на руководящей партийной работе. Встал вопрос — где строить подсобное хозяйство ЦК. Нам предлагали на выбор лучшие орошенные земли. Я сказал: «Нет! Мы сами дадим земле жизнь!» И создал подсобное хозяйство

здесь — на узенькой полоске возле Бозсу. Воду подняли из глубины каналом: сделали как умели.

А во время войны — ты знаешь — мы построили Бозсуйский каскад. И Бозсу сделалась — вот как сейчас. И опять вспомнил тот разговор. И созвал совещание специалистов. Специалисты сказали: здесь не будет расти ничего. Но я поверил не им, а одному здешнему старику. Решил доказать всем — посадил вот чинар.

В подсобном хозяйстве были люди, о каких в народе говорят: «Хочет и в тени посидеть, и добиться славы» — ленивые, равнодушные люди. Разговоры остались разговорами. Приехал как-то, вижу — растет мой чинар, мой безмолвный свидетель! А дело ни с места. С тех пор в сердце была, ну, что ли, заноза. Нет-нет и вспомню. А когда еще через много лет пришел день и мне стали предлагать на выбор всякие должности, попросил, чтобы назначили сюда.

Ты знаешь — я был многим. Многим занимался. Но в душе у каждого, наверно, есть свое ремесло. Здесь понял: земля — мое ремесло. Земля и сады. Нашел это — нашел себя! И вот теперь, когда вспоминаю тот разговор с гидрологом, думаю: это был голос земли...

Юсупов говорил серьезно, просто. В том, как говорил, не было ни тени рисовки. И все же я в упор задал ему вопрос:

— А власть? А слава?

Усман-ака поглядел на меня с недоумением. Потом сказал задумчиво:

— Есть такие: лишь бы говорили обо мне, а там пусть сравнивают меня хоть с гнилым яблоком! Есть, есть такие... — Внимательно взглянул на меня. Улыбнулся. — Мое сердце — в земле, и я не хочу больше ссориться со своим сердцем.

И стал с увлечением рассказывать, что сделал тут, что собирается сделать. Рассказывал опять, как тогда, севши вплотную и могучим движением руки то и дело толкая меня в плечо. И заключил:

— Я читаю все, что пишут об Узбекистане. Мельче событий! События-то какие! Покойный Павленко хотел написать. Да так и не написал — писал, рвал. А умер — оказалось: кое-что все-таки написано. А ты... республику знаешь... — Пристально посмотрел на меня. Старый навык руководителя: вселять в человека веру в себя. — Пожалуй, что и напишешь. — Встал, показывая, что на этом беседа окончена, и добавил: — Подумай, что в Средней Азии произошло. Как следует подумай — напишешь!

Мы уехали. В Янгйюле возле универмага прихватили Максуму, терпеливо дожидавшуюся. И через Голодную степь помчались к Самарканду по широкому, но изрядно побитому грузовыми машинами и тракторами шоссе. Опять набежали тучи, хлынул дождь... Решил не задерживаться в новых селениях Голодной степи: в сущности, это было бы только повторением в большем масштабе того, что видел сегодня в гостях у Усмана-ака.

Если не считать Гюлистана и Янгйера — громадных новых оазисов, — шоссе идет сначала по самым голым, самым засоленным и пока еще не орошенным участкам степи. Дождь. Голо, мокро, на шоссе лужи. Лишь когда свернули от Янгйера на запад и проехали еще полсотни километров, степь стала оживать. Появились красные точки маков. И вскоре вся степь — красная до горизонта. Среди маков пасутся отары каракульских овец.

Джизакским ущельем среди желтых скал промчались вдоль каменистой речки Санзар, переезжая то на правый, то на левый берег.

День хмурый, но дождя тут, как видно, в последние дни не было.

Наша «замарашка», опять нахлебавшаяся грязи на дорогах Голодной степи, резко выделялась среди местных, чуть припорошенных пылью машин.

Остановились возле блеснувшего под насыпью маленького болотца. В ведре, сделанном из автомобильной камеры, Максума таскала воду. Арип мыл машину.

Понеслись в Самарканд.

Из-за холмов сперва показались руины Биби-ханым. За ними — крыши города. Его кварталы и трубы поворачивались вместе с руинами.

Подъехали к мосту через Зеравшан. Стоит пикет милиции. Бульдозеры и тракторы укрепляют берега.

Но самой реки нету — русло пустое, тысячи камней: каменная река. Среди камней струится грязный ручеек — вероятно, вода притока, впадающего ниже завала. Непривычная, невиданная картина.

А там, в горах, над Самаркандом, идет битва. Тысячи людей — цвет инженерной мысли, рабочие, колхозники, саперы — стараются обуздать стихию, не дать воде прорваться на Самарканд!

Вода там прибывает и прибывает. Над Самаркандом нависла (буквально нависла!) беда. Зрелище пустого каменного русла вселило тревогу.

Едем дальше... Руины Биби-ханым скрылись, утонули за городскими домами, чтобы неожиданно возникнуть вновь, совсем рядом с нашей машиной.

И вот сижу в гостинице «Зеравшан» (какое грозное сегодня название), в интуристском номере, из которого могут вытряхнуть в любую минуту. За окном смерклось, зажгли фонари. Город живет обычной жизнью. Пойду пройдусь вечерним Самаркандом... Заодно найду кого-нибудь, порасспрошу — что слышно там, наверху? Какие вести? Что сейчас творится на Зеравшане?

4 мая.

Самарканд.

Из номера не вытряхнули. И есть надежда, что в ближайшие дни и не вытряхнут.

Правда, в гостинице полно иностранных туристов — речь французская, чешская, английская... Но, полагаю, в эти дни туристский поток поубавится: страшновато ведь — а вдруг вода из-за завала да обрушится на Самарканд!

Про Зеравшан все узнал еще вечером. Прошелся вдоль ярко освещенных «гастрономов» до гостиницы «Самарканд» — гляжу: киносьемочная машина. Знакомые хроникеры.

Сказали: здесь, в гостинице, Малик Каюмов. Утром прилетел из Айни (горного селения, что как раз напротив завала).

Я — к нему. Так и есть: в номере у него, как всегда, клуб. Табачный дым облаком. Чай. Конфеты и изюм прямо из кульков. На подоконнике коробки с пленкой. В углу штатив. И в центре всего — радушный хозяин, один из известнейших советских операторов хроники.

Узбек с лицом североамериканского индейца. Орлиный нос. Грива откинутых назад седеющих волос. Ему очень пошел бы головной убор вождя ирокезов из орлиных перьев.

Когда я вошел, рассказ о Зеравшане был в разгаре. Я попросил начать сызнова. Каюмов рассмеялся и говорит:

— Однажды Ходжа Насреддин Аффанди купил чалму. Все спрашивают: «Сколько заплатил?» — «Десять таньга», — отвечает Ходжа. При-

ходят новые люди и опять: «Сколько за чалму заплатил?» Надоело отвечать! Тогда Ходжа прикинулся мертвым. Жена подняла крик: «Умер Аффанди!» Сбежалось все селение. Ходжа влез на крышу и заорал: «Эй, люди! Слушайте и знайте: чалму я купил за десять таньга! За десять таньга!»

После такого вступления, разумеется, уже нельзя было не рассказать сызнова. Вот вкратце, что произошло. Есть против селения Айни гора Сухто. Летом на крутых ее склонах местные жители пасут коз. Обильные и затяжные дожди этой весны, как видно, размыли склон. Да и самый вес земли от влаги увеличился чрезвычайно. И вот в одно прекрасное утро склон пополз... Слишком медленное слово!

«Скатился»? Но это было на слишком большом пространстве. «Рухнул»? Но ничего не переворачивалось, камни не летели — не походило на горный обвал!

Так что точнее всего все-таки «пополз», но стремительно пополз; в несколько минут с километровой высоты съехал всей массой в Зеравшан, перегородив в узком ущелье русло реки.

Обошлось без жертв. Два старика отделались испугом.

— На той стороне, где оползень, — рассказывал присутствовавший здесь же М. — корреспондент центральной газеты, — был небольшой сад. И старики — каждый сам по себе — отправились туда поработать. Оба — счастье их! — не дошли. С одним получилось так: оползень его подхватил, опомниться старик не успел, как очутился уже далеко внизу. Но его не перевернуло: просто вся почва вместе с ним переместилась. Второй старик еще снизу увидел опасность и бросился бежать. Оползень мчался за ним, настигал, но остановился всего в нескольких шагах от него. Старик был не один, а со своим псом. Видя, что хозяин бежит, собака с рычаньем кинулась на оползень защитить хозяина. И собака погибла.

М. рассказал о собаке и тут же ревниво добавил:

— Чур мое! В газете не напечатаете!

Дал ему слово: никому про собаку ни звука. Разве только сославшись на него.

В Зеравшане воды — всем известно — дай бог! И она за запрудой начала скапливаться и подниматься. Разлилась многохвостым озером по ущельям, отрезав от «Большой земли» пять горных кишлаков.

Но не о них речь, с ними просто: доставляют туда сейчас на вертолетах медикаменты и продовольствие — и дело с концом. Беда грянет (вот это уж будет беда так беда!), если вода прорвет завал. А ее уровень в новом озере растет на глазах. Город Пенджикент и двести двадцать селений вдоль Зеравшана готовы к эвакуации. Да и в Самарканде у многих сложены пожитки. Всюду идут работы по укреплению берегов Зеравшана.

На машинах, вертолетах, самолетах в Айни сразу же устремились инженеры, рабочие, колхозники, альпинисты, солдаты. Пришли по ущелью самоходом бульдозеры, высекая искры из камней...

Столько машин и людей хлынуло в маленькое Айни, что спешно вызвали милиционеров-регулирующих. И в горах зазвучали рупоры:

— Граждане! Держитесь левой стороны! Граждане, пропустите машины!..

А придумали вот что: пробить среди скал отводное русло и по нему мягко сбросить озеро в Зеравшан.

М. на клочке бумаги нарисовал каньон и горную террасу, где за несколько дней это новое русло уже пробили. Рассказывали наперебой:

— Русло пробили, глядите, вот тут! Взрывами! Перед первым взрывом поставили минометы против горы Сухто: если от детонации возник-

нет повторный оползень — мины должны были его расстрелять. А из Айни на случай оползня всех вывезли...

— Не обошлось без инцидентов,— рассказывал М.— Один старик обхватил руками дерево — выяснилось, никогда в жизни не покидал кишлака (обет, что ли, дал?) и отказался уходить. Его насильно втолкнули в машину. Через час всех вернули. Так старик увидел в жизни еще что-то, кроме своего двора.

И в глазах М. тут же вспыхнул ревнивый огонек. Я опередил его:

— И про этого старика ни звука! Клянусь!

— После взрыва бульдозеры расчистили русло,— подхватил Каюмов.— Потом еще взрыв! А сегодня перед нашим вылетом были третий и четвертый взрывы. Расчистят — и русло готово! Шестого-седьмого мая вода оборвется с шестидесятиметровой высоты водопадом...

Каюмов предвкушает, как будет снимать водопад: отовсюду, даже с вертолета. Оба на заре полетят (теперь-то уж улетели) обратно в Айни.

— Ученые разделились,— рассказывал корреспондент.— Одни считают вопрос полностью решенным. Другие боятся, как бы, устремясь в новое русло, Зеравшан не размыл все на пути. Правда, ложе русла покрыли синтетической пленкой, чтобы предохранить от размыва (пленку перебросили в горы на десяти самолетах). Но кто может поручиться, не вытворит ли чего вода? Ну, а если размочет и обрушится на долину...

Рассказчик только присвистнул. Договаривать было ни к чему,— и так понятно, какое бы это было несчастье.

Постепенно разговор о Зеравшане иссяк. И заговорили о золоте. Один из гостей — геолог — стал договариваться с Каюмовым, чтобы после Айни прилетел снимать к ним в Кызыл-Кумы.

Я и раньше читал в газетах, что в Кызыл-Кумах открыты богатейшие месторождения золота. Но только сейчас уразумел, что они посolidней Клондайка. И руды богаче, и золотоносных жил уйма. Пришли на память рассказы Брет-Гарта и Джека Лондона о золотоискателях. Их ответом окрасились для меня рассказы геолога о Златогорске, родившемся в сердце Кызыл-Кумов (в месте, про которое раньше говорили: «Такая пустая пустыня, что даже врага не встретишь»), рассказы о мирной жизни обычного советского городка, совсем молодого, — жизни без кровавых сенсаций, без ножей, без пистолетов, стреляющих в каждого третьего, без «золотой лихорадки», высмеянной Чарли Чаплином. Со стадионом, спортивным залом, больницей, двумя молодежными кафе — «Азлита» и «Золотинка». Вспомнил геолог и воду из первого колодца Златогорска, от которой волосы делались жесткими, как у дикобраза. Потом заговорили о змеях...

Беседа что бурдюк: пробей дырочку — и потечет. Люблю, когда разговор льется свободно о том, о сем, не подчиняясь берегам. В таком разговоре узнаешь самое интересное.

Так и сейчас...

Геолог не раз встречался в пустынях со змеями.

— Самая злая и красивая — эфа,— рассказывал он.— За воинственность ее называют тут «чарк» — ястреб. Глаза золотые, ярко-красный язык, на голове белый крест. Тело песочного цвета — не заметишь в песках. Сама нападает! Подползет боком, занося вперед петли хвоста и подтягивая к ним голову. Остановится, угрожающе выбросив вперед откинутую верхнюю часть тела. Эфа так же ядовита, как гюрза и кобра...

Тут кто-то из кинорепортеров сообщил, что кобры к нам, в долину Сурхан-Дарьи, приползают из Индии через каменистые нагорья Афганистана. Другой добавил, что, по исследованиям ученых, тем же путем некогда из Индии пришли в верховья Пянджа и тигры, а затем уже расселились вдоль Аму-Дарьи.

Так от змей разговор перекинулся к тиграм. И я рассказал случай, слышанный еще в тридцатом году:

— Приехал в район Термеза один «двадцатипятидесятитысячник», ткач из Иваново-Вознесенска. Был он из числа тех старых кадровых рабочих, которых в дни коллективизации «бросили» в деревню помогать строить колхозы. На третий ли, на четвертый день жизни в этой чужой и непонятной стране послали «двадцатипятидесятитысячника» в селение недалеко от Термеза. Поехал верхом, оружие в кобуре... Через несколько часов возвращается пешком, без шапки. И невероятно ругается. «Ну, говорит, и котов же вы здесь развели!» Спрашивают: «В чем дело?» — «А в том, говорит, что еду... Вдруг из зарослей — котище! Прыгает прямо на холку коня передо мной. Я свалился, вынул наган... Убил и коня и kota. Там лежат!» Ну, поехали... Видят — у дороги мертвый конь, а в двух шагах убитый тигр. Когда сказали ткачу, что это тигр, — побледнел даже! Оказалось, никогда не видел тигров, даже на картинке не видел: образование-то двухклассное... Не видел, ну и не испугался, а только обозлился. Да и давай палить.

Моему рассказу поулыбались. Воодушевленный этим, рассказал еще историю о последнем тигре — о тигре, с которым мне самому довелось иметь дело в низовьях Аму-Дарьи.

Рассказ с неожиданным концом

Было это, если память не изменяет, в сорок шестом году. Я приехал в Ходжейли — пристань в низовьях Аму-Дарьи — и вошел в кабинет начальника пароходства в ту минуту, когда там мучительно ломали голову над загадкой.

Есть в нескольких десятках километров ниже Ходжейли на берегу, заросшем тугаями — среднеазиатскими джунглями, — будка. Живут в ней два бакенщика. Дня три до того шел мимо буксирный пароход. Шел вечером, а огни на бакенах не горят. Да и бакенщиков не видать. Погудел пароход и ушел.

Ну, допустим, бакенщики в ближайшем селении загуляли на свадьбе. Непорядок, конечно, но бывает. Загадка не в этом. Загадка началась, когда наутро поехал туда на моторной лодке инспектор. И от него ни слуху ни духу. Ждали-ждали день, два... Надо что-то предпринимать. Подумали-погадали и решили на этот раз послать катер. Я получил разрешение ехать со всеми.

Мы весело потащились на катере по Аму-Дарье. Кроме команды, с нами были милиционер и врач. На всякий случай прихватили со склада три ижевских ружья. К ним патроны — с жаканами. Словом, настоящая экспедиция!

Я стоял у борта и не мог оторвать взгляда от Аму, огромной, величавой Аму, быстро катящей свои мутные воды. Над ней переливался и дрожал сильно нагретый нижний слой воздуха, все время изменяя очертания далеких предметов: встречного парохода, тащившего за собой баржу, каракульской отары, спустившейся к реке на водопой, колхозного каюка, над которым реял черный прямоугольный парус.

В красноватой воде Аму не отражаются прибрежные тугаи — заросли кустарников и деревьев, переплетенных лианами. Не отражаются ни небо, ни облака. Если в половежье взять из реки кубометр воды и выпарить, останется больше трех килограммов высушенного ила. Огромная скорость течения, ил и песок — причина знаменитых «шуток» Аму.

Причуды и воинственный пыл этой своенравной реки вошли в разговорку. Самая знаменитая «шутка» Аму — уничтожение половины горо-

да Турткуля: река внезапно ринулась на берег, стала его подмывать и не успокоилась, пока не дошла до центральной улицы города.

Признаться, мне мерещилось, что именно «шутки» Аму — причина загадочной истории с бакенщиками. Тут бакенная служба (особенно в среднем течении) — чистое мученье. Аму проворнее бакенщиков.

Мне чудилось, что, когда пароход проезжал мимо, может быть, к будке бакенщиков подбиралась вода (просто с парохода это не заметили). Может, бакенщики уехали за помощью. И, может, сейчас инспектор вместе с бакенщиками сидят на крыше своей будки, которая, как ковчег, плывет посреди своенравной реки...

Так ясно вообразил эту картину, что поверил в нее. И когда наш катер подъехал и все оказалось на месте — и будка и столб с перекладинами и шарами, — я, говоря откровенно, испытал что-то вроде разочарования. Стоит, покачивается на воде лодка бакенщика, рядом на приколе — моторка инспектора. Но людей — ни души!

Сбросили якорь, спустили с борта лодку, в нее спрыгнули двое матросов и я. Мне, как бывалому охотнику, вручили ружье. Гребем к берегу.

Солнце греет спину. Будка все ближе. Рядом с ней, возвышаясь над зарослями, — облитые полуденным светом, недвижимые листья туранга, местного тополя. А вдоль самого берега — зеленый частокол тростника да серебрятся гигантские метелки гигантского злака эриантуса.

Тишина. Только весла шлеп-шлеп — едва-едва слышно. Хороши гребцы!

Подчалили, привязали лодку. Вышли, огляделись. Ни звука. Жутковато. От этого и сами молчим. Ощущение затаившейся угрозы. Настороженно оглядываясь, подходим на цыпочках к будке. Постучали. Всплеск голосов. Уловил слово «тигр». Вскинул ружье, встав спиной к стене, и освободил пальцем предохранитель. Вглядываюсь в заросли...

А внутри гремят: отодвигают столы, засовы. Дверь распахивается — и нас буквально таскивают внутрь, захлопнув тотчас же дверь.

Двое бакенщиков, обросшие, небритые, третий — инспектор, тоже с темными подглазьями от усталости, все напуганные, ни слова не говоря, подводят меня первого (потому что ружье в руках) к боковому оконцу, тоже забаррикадированному.

Гляжу: под столбом с перекладинами (с реки-то не видно) лежит тигрище. Глядит на катер, позевывает, раскрывая громадную пасть. Конечно, нас видел. От этой мысли озноб...

Прицеливаюсь через стекло. Вокруг не дышат. Но тут тигр встает на лапы (на нас и не глядит). Тороплюсь, нажимаю на спусковой крючок. Осечка!! Дрожащими руками меняю патрон.

Тем временем тигр царственной походкой скрывается в кустарниках. Ушел...

С катера сошли на берег остальные. Оживление, смех, суета. Теперь тигр уж не подойдет — все понимают. Все же поставили троих караульных с ружьями. Я ружье отдал, захотелось потолкаться, поболтать...

Бакенщики рассказали. Однажды утром встают — под столбом лежит тигр. Сразу забаррикадировались. Ружей-то нет. Ружья на складе в Ходжейли, а не тут... Прошел день. Тигр все лежит да смотрит сквозь заросли на реку, на идущие мимо буксиры, баржи, каюки. Ночь не спали. У порога чудилась мягкая переступь звериных лап. Встало солнышко, а он — лежит, позевывает. Место, что ли, понравилось?

Приехал инспектор: как и мы, тигра не заметил. Открыли. Он с порога: «Ах вы такие-сякие!» Но его втащили, как и нас. К окну — сразу язык прикусил. И остался.

И еще прошла ночь. А наутро тигр — опять на своей вахте. Деваться некуда! Как в мышеловке сидели втроем, затаясь.

А в чем же неожиданный конец? — спросите вы. Думаете, убили тигра? Нет. Устроили охоту и поймали живьем? Нет! Оставили бакенщикам ружья? Как бы не так! Ружья увезли обратно на склад...

Просто разобрали бакенную будку по бревнышку. Вместе с пожитками погрузили на катер и перевезли на противоположный берег Аму.

Там дом вновь собрали. Все, в том числе и я, превратились в строителей. И бакены загорелись. Победу одержал тигр.

— Чур мое! — сказал я в заключение.

Корреспондент засмеялся. А Каюмов вздохнул.

— Скорей всего это был последний тигр... — заметил он.

Как видно, подумал, что уж никогда не придется ему тигров снимать.

* * *

Заговорили, что тигров в Средней Азии всех уничтожили. А заодно с ними и бухарских оленей. Нет больше на свете ни одного экземпляра этого прекрасного животного, тоже жившего в здешних джунглях.

— Тигров нет, зато змей хватает, — сказал серьезно геолог. — Зря смеетесь! Если змеи начнут исчезать, человек кинется их спасать!

— Еще бы! Без змей какая жизнь... — усмехнулся один из хроникеров.

— Я не о том! Я серьезно. Создадут питомники кобр и питомники эф...

Тут все поняли, что говорит он о змеином яде. Врачи лишь недавно стали его изучать. Но уже известно: яд щитомордника в микронных дозах усиливает свертываемость крови. Яд кобры — прекрасное анестезирующее средство. Известны случаи успешного лечения ядом кобры некоторых опухолей...

Так от тигров разговор возвратился к змеям. Но почти тотчас же перескочил на бальзам. Действительно сенсационное открытие.

О сказочном лекарстве, которое целит все недуги и раны, известно с глубокой древности. Из-за обладания бальзамом (восточным «мумие») шли некогда кровопролитные войны. Египтяне бальзамировали своих фараонов («мумия» — «мумие»: слишком близко, чтобы могло быть случайным!).

Авиценна в своей фармакологии применял «мумие». Но врачи последних столетий на вопрос о бальзаме в лучшем случае могли с иронией сказать, что достоверно лишь одно: им врачевали боги на Олимпе. Никто своими глазами бальзама не видел.

Вдруг здесь, в Средней Азии, сперва старый доктор Ходжа Расулев, а вслед за ним пенджикентский учитель Усман Джалилов нашли высоко в горах натечные образования на скалах, похожие на кусочки застывшей смолы. И оказались они настоящим природным «мумие» — бальзамом! Тем самым, о котором рассказывают легенды.

Спрашиваю:

— А какова природа бальзама? Что думают ученые?

— Ответа еще нет, — говорит М. — Оказалось очень сложное соединение. Изучают. Проблема по меньшей мере для четырех докторских диссертаций: геолога, химика, фармаколога, врача!

— Кстати, — подхватил Каюмов, — найден-то бальзам в верховьях Кштут-Дарьи, впадающей в Зеравшан между Пенджикентом и Айни...

И разговор, естественно, вернулся к Айни.

Я открыл рот, собираясь задавать новые вопросы. Но тут выяснилось, что М. умирает от усталости и хочет спать. И что диванчик, на котором я примостился, абонирован им на ночь.

Геолог грузно встал и сказал:

— В первый час гость — цветок, во второй — соловей, а в третий — палку бери и бей!

Мы распрощались и ушли.

5 мая.

С детства люблю барабаны. Когда мне было пять лет, мечтал стать барабанщиком. Любил играть на деревяшках, извлекая звуки разной высоты. Любил бежать, ведя палкой по забору: замечательный получался треск.

Когда приехал мальчиком в Среднюю Азию, обрадовался глуховатому точеному звуку нагора — свадебного барабанчика. Дробные удары нагора заставляли меня несколько кварталов идти за арбой, ехавшей на свадьбу.

Но загадкой, едва приехал в Ташкент, были для меня маленькие глухие барабанчики, которые то и дело звучали в разных концах Старого города. Прислушивался к ним, замирая. Мне казалось, это кукольные барабанчики, игрушечные. И очень захотелось такой барабанчик купить.

Спросил каких-то узбеков в чайхане. Меня сперва не поняли. А потом, поняв, долго и весело хохотали. Хохотали, как смеются только здесь, — тонким голосом, валясь на один бок и откидываясь чуть-чуть назад. Выяснилось — это не барабаны, а крики перепелов. Городской мальчик, я никогда до тех пор их не слышал. А тут клетки с перепелами висят в домах.

Сегодня утром, когда подъехали с Арипом к Гур-эмиру, мавзолею Тимура, и остановили машину, прежде всего услышал далекие, глухие барабанчики перепелов.

Передо мной сверкал среди зелени деревьев голубой ребристый купол Гур-эмира. Озарены были солнцем стены, украшенные синей и голубой мозаикой, похожей на вышивку крестиком, и порталный вход, где в общем колорите слиты такие краски, как белая, зеленая, синяя, голубая, желтая, черная и золотая.

В скверике перед Гур-эмиром играли в «лянгус» дети: подбрасывали внутренней стороной ботинка свинцовую бляшку с пучком перьев.

Внутри мавзолея в прохладном полумраке нежно отражался свет решетчатого окна на темно-зеленой, почти черной плите из нефрита — надгробном камне Тимура.

Железный хромец, «полюс мира и веры», эмир Тимур Гураган, свирепый завоеватель, стер с лица земли сотни цветущих городов, извлекающая «ветром грабежа и погрома дым из их жилищ и имущества», как описывал, восхваляя Тимура, участник его похода на Индию Гийасаддин Али.

Вот жизненный анекдот, который приключился сравнительно недавно и начало и конец которого были как раз тут, в Гур-эмире.

Девятнадцатого июня сорок первого года по решению научных учреждений Узбекистана была вскрыта для изучения гробница Тимура. А 22 июня Гитлер напал на Советский Союз. Мусульманское суеверие тотчас же объяснило: в старинных-де книгах было предсказано — когда откроют гробницу Тимура, выпустят на волю духа войны. И вот выпустили!

Война, как и всякое бедствие, приносит вспышку религиозности. Слух, что ученые выпустили духа войны, нашел благодарную почву в отсталых слоях населения, взбудоражил их, настроил против советской интеллигенции: мол, не было бы Академии наук — не было бы и войны!

Что противопоставить этому? Решили торжественно возвратить останки Тимура в Гур-эмир, широко оповестив об этом и превратив в грандиозное зрелище. Приехали специальные делегации. Прибыла правительственная комиссия. Говорились речи, разъяснялась научная причина вскрытия, научные результаты... И останки Тимура 20 декабря 1942 года при большом стечении народа вновь предали земле.

Но в эти дни развернулась Сталинградская битва. И когда Паулюс был пленен, опять-таки возникло объяснение — сами-де видите: похоронили духа войны — и Гитлеру солоно пришлось... До сих пор в Узбекистане, улыбаясь, рассказывают эту историю.

Тимур говорил: «Правитель, который значит меньше, чем его плеть, недостойн быть начальником». Плети в этих словах отведено слишком высокое место. Но о Тимуре все же можно сказать, что он значил больше, чем его плеть. Утопив в крови, разрушив и ограбив Грузию, Армению, Малую Азию, Индию, он сохранял жизнь мастерам и свозил их в Самарканд, стремясь превратить свою столицу в «центр вселенной». Руками мастеров этих воздвигнуты лучшие здания эпохи Тимура.

Перед памятью их безвестных строителей почтительно склоняешь голову, стоя во дворе Биби-ханым — соборной мечети Тимура, той самой мечети, о которой поэты некогда писали: «Ее купол был бы единственным, когда бы небо не было его повторением. Единственной была бы арка, когда бы Млечный Путь не оказался ее двойником».

Теперь сквозь купол Биби-ханым днем проглядывает синий купол неба, а ночью сквозь арку переливается серебром Млечный Путь: и купол и арка обрушились от времени и землетрясений... И все же и от развалин Биби-ханым не оторвешь глаз.

В центре двора Биби-ханым стоит гигантская мраморная подставка для корана. Туристы любят рядом с нею сниматься: ничтожность человеческого роста выразительно подчеркивает величину подставки. В своем простодушии они думают, что это всего-навсего подставка для корана. На самом деле это гробница — еще одна гробница, воздвигнутая Тимуром. Под сим мрамором похоронено одно из семи великих искусств древности — искусство каллиграфии.

Почти двадцать лет назад я услышал об этом от здешнего старика сторожа, но, признаться, принял его рассказ за легенду. Однако, когда спустя еще десяток лет прочел об этом же в «Трактате о каллиграфиях и художниках» Кази Ахмеда, писателя XVI века, понял: это подлинная страница прошлого. Перескажу ее — наполовину по моей записи, сделанной со слов сторожа, наполовину по Кази Ахмеду.

Смерть седьмого искусства

Жил-был искусный каллиграф. Его обуюла жажда славы и жажда денег. И он решил написать и преподнести в дар Тимуром коран великой с ногой...

Но передаю слово Кази Ахмеду:

«Другой из знаменитых мастеров письма — Омар Акта: он не имел правой руки и левой писал на страницах таким образом, что взоры знающих изумлялись, а мудрый разум мутнел, взирая на это.

Он написал для господина времени эмира Тимура Гурагана список [коран] почерком губар: по объему этот [список] был так мал, что его можно было уместить под гнездом перстня, и принес в дар господину времени...»

Тимур не понимал маленьких вещей. Он ценил только гигантское. Каллиграф двадцать лет трудился над своим миниатюрным кораном. Но Тимур не дал ему в награду ни гроша...

«...Так как он слово его святейшества всеведущего царя написал чрезвычайно мелко, он [Тимур] не одобрил, не принял и не соизволил быть к нему любезным...»

На Востоке говорят: «Если тесен твой сапог, что пользы от широты вселенной?» Весь мир показался каллиграфу тесным. Брызжа слюной и понося Тимура, он вернулся домой, в раздражении взял листы бумаги величиной с площадку арбы. И за семь дней левой рукой написал гигантский коран. Взгромоздил его на арбу и повез во дворец.

«...Омар Акта написал другой список, чрезвычайно большой, каждая сторона его была один локоть и даже более; после окончания, украшения и переплета, привязав этот [список] на арбу, он пошел во дворец господина времени. Когда это известие дошло до слуха султана — господина времени, — он вышел навстречу со всем духовенством, вельможами, эмирами, столпами державы, оказал упомянутому каллиграфу большие почести, и уважение, и безграничные милости».

В награду Тимур дал каллиграфу десять тысяч золотых тиллей. А для корана по его повелению сделали мраморный пюпитр. И поставили в соборной мечети.

Но каллиграф совершил ошибку. Получив деньги, он начал хвастать, что написал коран всего за семь дней, и смеяться над Тимуром, что тот за неделю работы заплатил ему десять тысяч золотых тиллей. Этот каллиграф не знал простой истины: чем меньше человек понимает в искусстве, тем ему кажется проще судить о нем. Тимур был умен как воин и как правитель, но, помимо этого, мало что знал.

Доносчик сообщил Тимур о словах каллиграфа. И Тимур рассудил: если коран можно написать за семь дней, то за переписку книг можно платить в сто раз меньше. И с тех пор по его повелению стали каллиграфам в сто раз меньше платить.

В этот день умерло искусство каллиграфии. Оно сделалось простой перепиской.

* * *

Мечеть Биби-ханым напомнила мне еще одну занятую историю. Но прежде чем ее рассказать, объясню, кто же такая Биби-ханым.

Настоящее имя ее Сарай Мульк-ханым. Была она правнучкою Чингиса. О внешности ее в одной из чагатайских легенд говорилось: «Если сказать о ее красоте, некрасивой покажется она, потому что девушка эта красивей всех слов».

На ней первой женился Тимур и прожил с нею долгие годы. Ей одной доверил воспитание сыновей от всех своих жен и воспитание внуков. Словом, единственно ее он любил, одну ее уважал и только с нею считался, относясь к прочим женам, как к гаремным наложницам.

А для ее погребения воздвиг отдельный мавзолей. И сейчас еще напротив мечети Биби-ханым возвышается над крышами домов этот мавзолей, с одного бока осыпавшийся. На стенах его выросли кустарники, а кой-где в эти весенние дни прямо меж серых каменных плит расцвели красные маки.

Так вот, поверите ли, я однажды видел Биби-ханым. Я говорю не о мечети, не о мавзолее. А о ней самой — о старшей жене Тимура.

Моя встреча с Биби-ханым

В 1946 году, бродя по Ташкенту, наткнулся как-то раз на Музей кустарно-художественных ремесел. О его существовании не подозревал. И очень удивился, увидев табличку с его названием. Вероятно, многие ташкентцы и до сих пор не знают про этот музей, так как находится он на тихой улочке, в стороне от обычных путей горожан.

Вошел. Дом оказался единственным в своем роде. Строил его еще до революции некто Половцев. И украсил в чисто узбекском вкусе, поручив расписать внутри лучшим народным мастерам. С интересом разглядывал росписи на стенах и потолках. И выставленные — тюбетейки, одежды, вышивки, ковры, сюзане, гончарные кувшины и блюда.

Директор, русский человек, водивший меня по музею, под конец спросил:

— А хотите поглядеть Биби-ханым?

— В каком смысле? — не понял я.

— Ну, саму Биби-ханым... Сарай Мульк-ханым, старшую жену Тимура?

Подвел меня к углу. Откинул покрывало. И я увидел под стеклянным колпаком деревянный саркофаг.

В нем лежал хорошо сохранившийся костяк маленькой женщины. Остались части одежды, кусочек бархатного женского наряда, местами на лице кожа, ногти на руках. И волосы... прядь седых волос!

— Откуда?! — мог я только выдохнуть в изумлении.

Оказалось, когда в сорок первом году вскрывали гробницу Тимура и заодно, в том же Гур-эмире, гробницы его сыновей и знаменитого внука Улугбека — одновременно в мавзолее Биби-ханым вскрыли ее гробницу.

Потом Тимура (и сыновей и Улугбека) при стечении людских толп снова захоронили. А Биби-ханым засунули вот в музей и позабыли...

— Почему же вы о ней не напомнили?!

— Сколько раз! Никому неохота заниматься этим. Отмахиваются — и дело с концом!

Я уехал из Ташкента. И долгое время вспоминал об этом, как о странном сне. Рассказал одному, другому, меня высмеяли: сочиняешь! И сам засомневался: уж не почудилось ли?

Но вот в этот приезд, вернувшись из Фрунзе в Ташкент, неожиданно узнал конец истории с Биби-ханым. Рассказал мне его Л. И. Ремпель — крупнейший знаток древней архитектуры Узбекистана.

— Был такой Юсупов Мамед Салихович — директор самаркандского музея... Может, знали? — так начал Ремпель рассказ.

Знал. Очень хорошо помню его — худощавый, невысокого роста, — был он скромным ученым-историком, преклонявшимся перед великими тенями прошлого. Отлично знал историю Самарканда, вдохновенно о ней рассказывал. Но темой для своей собственной научной работы избрал «Делопроизводство и судопроизводство в бухарском эмирате»; тема, мягко говоря, мелковата, но по тому времени (существенная подробность) была «безопасной».

— Так вот... — продолжал Ремпель. — Работал я с ним в бухарских архивах. Тихо жил этот человек, старался уйти в тень. — Ремпель грустно усмехнулся: — Но у самых тихих людей порой с неодолимой силой вспыхивает мечта сделать такое, чтобы весь мир посмотрел на тебя и удивился. Кто из скромнейших застрахован от этого? Я бы сказал даже наоборот: с ними-то как раз это чаще всего и случается.

Юсупов знал, что Биби-ханым лежит где-то в Ташкенте. Такой непорядок жег его сердце. Но он долго даже подумать не мог вмешаться в

это: черт его знает, что еще может выйти. Однако положение директора самаркандского музея (такая мысль все же однажды пришла ему в голову), пожалуй, дает ему право заняться этим. И когда идея перенести Биби-ханым обратно в Самарканд овладела им, он уже не мог найти себе места.

Решившись, вдруг сорвался в Ташкент. Пришел в руководящие инстанции с просьбой, изложенной на бланке музея, — разрешить ему, Юсупову Мамеду Салиховичу, перевезти прах Биби-ханым в Самарканд. Было это в сорок восьмом году. И Мамед Салихович добился, получил разрешение. И пришел в Кустарно-художественный музей за царией.

Но как перевезти ее на аэродром? На грузовике? А вдруг рассыплется от тряски? Да и на арбе тоже может ее растряссти. И Мамед Салихович решил нанять — и нанял — четырех рослых носильщиков — тех, что носят на траурных носилках покойников на мусульманские кладбища.

С чрезвычайными предосторожностями взгромоздил он саркофаг на носилки и, дрожа за сохранность великой царицы, любимой жены Тимура, пошел пешком рядом с этой необычной процессией через весь Ташкент — от Шелковичной улицы и до аэропорта.

Шел Юсупов, и его прямо-таки распирало от счастья и гордости. Как хотелось ему, чтобы в эту минуту его увидели знакомые и друзья.

Шли мимо прохожие, скользя пустыми глазами по носилкам. Но обратиться к прохожим, рассказать им, какое совершается историческое событие, Мамеду Салиховичу казалось небезопасным.

И тогда — не в силах удержаться — Мамед Салихович стал рассказывать об этом носильщикам. Носильщики не были проникнуты чувством историзма. Они мало что поняли из его разглагольствований. Поняли только одно — что продешевили. Они переглянулись, дружно поставили носилки на мостовую. И сказали, что дальше не понесут, если им не прибавят плату.

Напрасно Мамед Салихович (перевозивший прах отчасти на средства музея, отчасти на свои скромные личные сбережения) их стыдил. Напрасно объяснял, как должны гордиться, что участвуют в траурном cortege самой Биби-ханым, — они стояли на своем.

— Я бы на вашем месте сам бы еще заплатил за это! — в отчаянии воскликнул Мамед Салихович.

И это окончательно погубило дело. Носильщики, обидевшись, показали спины и зашагали прочь. Пришлось им удвоить плату. Тогда они бодро взгромоздили носилки на плечи и понесли Биби-ханым дальше.

Добравшись до аэропорта, Мамед Салихович мыкался с Биби-ханым, совался туда и сюда. Носильщики торопили. Пойти к аэропортовскому начальству, оставив Биби-ханым на носильщиков, не решался. Наконец, на его счастье, сторож склада горючего согласился присмотреть за саркофагом.

Биби-ханым засунули между бочек бензина. Мамед Салихович расплатился с носильщиками и побежал к зданию аэропорта.

Начальник аэропорта оказался человеком романтическим: он знал, кто такая Биби-ханым. Услышав из уст Мамеда Салиховича, что речь идет о любимой жене самого Тимура, он тотчас же, невзирая на стенания оставшихся по ее вине пассажиров, разбронировал несколько мест в самолете ЛИ-2, который должен был лететь в Самарканд.

Саркофаг с Биби-ханым общими усилиями втащили на боковую полку. И среди пассажиров, чрезвычайно оживившихся от эдакого соседства, Биби-ханым стала совершать свой последний путь в родной город, где прожила всю жизнь и умерла полтысячи лет назад.

— Мамед Салихович признался мне потом, — рассказывал Ремпель, — что хотя обычно боялся летать на самолетах, на этот раз присутствие Биби-ханым его совершенно успокоило. Он, историк, даже представить себе не мог, чтобы с прахом жены Тимура (а значит, и с ним) в воздухе могло что-либо приключиться. Так под охраной великой тени прибыл он в Самарканд.

С аэродрома Мамед Салихович позвонил к себе в музей: оказалось, что машины, на которую он рассчитывал и на которой смог бы ехать хоть со скоростью три километра в час, — машины этой не дали. Позвонил в облисполком, но никого в этот неурочный час не застал.

Тогда скрепя сердце Мамед Салихович нанял «левый» грузовик-полуторку. Сам взобрался туда же. Обнял саркофаг, чтобы царицу не растрясло. Поехали.

— Мамед Салихович потом говорил мне, — рассказывал Ремпель, — что никогда в жизни не испытывал такого волнения! Подумать только: он, скромный самаркандский ученый, склонился над самой Биби-ханым, видит ее волосы, бархатный лоскут одежды, обнял ее и везет...

Вот вдвоем проезжают они мост через Дагром, где не раз проезжала она, возвращаясь из своих загородных садов. Вот минуют — он и она — то самое место, где ее кортеж лицецрел посланник кастильского короля Генриха III — Рюи Гонзалес де Клавихо.

Каждое место для Мамеда Салиховича было освящено. Он знал про царицу все. И оттого, что теперь везет ее в своих объятиях, его принимала дрожь, и счастье, и гордость.

Наутро горожане повалили в музей поглазеть на царицу. Самаркандцы знают, кто такая Биби-ханым! Слух о ее «приезде» молниеносно облетел город. Напрасно Мамед Салихович утверждал, что никакой Биби-ханым в музее нет! (Спрятал ее, покуда подготовят похороны. И не хотел, чтобы знали об этом, — та же боязнь неприятностей!)

Но люди ходили за ним по пятам, молча и терпеливо слушая его объяснения. И потом, будто не слышали ни одного слова, спрашивали опять и опять: «А где же Биби-ханым?»

На беду Мамеда Салиховича, в отделе природы музея пахло формалином (для чучел формалин). Все принимали запах этот за неопровержимое свидетельство, что Биби-ханым здесь. И, конечно, они были правы, хотя запах формалина никакого отношения к Биби-ханым не имел.

Укрывая знатную свою спутницу от посторонних очей, Мамед Салихович вконец измучился, пока спустя несколько дней в присутствии небольшой комиссии Биби-ханым не похоронили в ее мавзолее.

* * *

От руин мечети Биби-ханым мы решили отправиться в обсерваторию Улугбека.

Въехали на холм Кухек, миновав чайхану, построенную для туристов и для пеших посетителей. И выключили мотор прямо перед облицованным разноцветными изразцами новым строением — футляром над сохранившейся подземной частью обсерватории.

Вошли — и перенеслись на пять веков назад...

Вниз, в полумрак высеченной в скале траншеи, уходят два ряда каменных ступеней. Меж них из глубины взлетают две дуги гигантского, поставленного по меридиану секстанта.

Наблюдая прохождение звезд над этими дугами, кутаясь в теплый халат от подземной сырости, по ночам со ступеньки на ступеньку поднимался тут Улугбек — внук Тимура, наследник его империи, мыслитель и

астроном, о котором вскоре после его трагической смерти Алишер Навои писал: «Улугбек протянул руку к наукам и добился многого. Перед его глазами небо стало близким и опустилось вниз».

Легко представить, какова была мировая слава Улугбека, если скажу, что на европейских гравюрах XVII века, окруженный шестью крупнейшими астрономами мира, рядом с Птоломеем, Коперником и Тихо де Браге за круглым столом на почетном месте — по правую руку Урании, музы астрономов, — восседает мирза Улугбек.

Самая известная из его работ «Зидж-и-Гурагани» — астрономические таблицы и каталог звезд, более точный, чем европейские каталоги сто лет спустя. «Величайшим наблюдателем» называл Улугбека знаменитый Лаплас.

В медресе — школах, основанных Улугбеком, — молодых людей обучали, кроме богословия, светским наукам: истории, географии и, конечно же, астрономии. Трудно поверить (так сказано, будто сегодня!), однако слова принадлежат Улугбеку: «Религии рассеиваются, как туман, царства разрушаются, но труды ученых остаются на вечные времена».

Конечно, мусульмане-фанатики ненавидели Улугбека столь же неистово, как католические фанатики ненавидели Галилея. Однако Улугбек был властелином, внуком Тимура. Воинствующее духовенство не могло ни сжечь его, как Джордано Бруно, ни заставить всенародно отречься от своих взглядов, как Галилея. Оно составило поэтому заговор и воспользовалось Абдул-Лятифом, сыном Улугбека, домогавшимся власти. Народное предание гласило, что Улугбек был обезглавлен наемными убийцами, подосланными сыном.

Долгое время доподлинно не было известно, правда ли, что убийца отрубил ему голову, или это был только слух, создание народной фантазии. Чтобы узнать, так ли это, советские ученые, вскрывая гробницу Тимура, вскрыли и гробницу Улугбека.

Это была волнующая минута. Вокруг, обнажив головы, столпились ученые — русские и узбеки. И когда в немой тишине подняли крышку гроба — все увидели отрубленную голову с перебитыми шейными позвонками.

Все остро и по-человечески ясно почувствовали в эту минуту живую связь настоящего с прошлым и свою ответственность, свое место в общей борьбе за то, чтобы все народы мира пользовались плодами науки.

При вскрытии гробницы Улугбека присутствовал Алексей Козловский, подробно мне все рассказавший.

Именно в этот день окончательно созрел у него замысел оперы «Улугбек». С увлечением работал над нею. И премьера состоялась в Ташкенте еще в дни войны.

«Счастливым днем! Закончена постройка медресе! И сын вернулся...» Так начинается одна из лучших арий Улугбека.

Примирение с сыном наполняет сердце Улугбека радостью. Однако мы, сидящие на спектакле, знаем, что раскаянье сына — лишь лицемерный ход, а что завтра он станет отцеубийцей. И светлая мажорная музыка этой арии для нас окрашивается глубочайшим трагизмом.

6 мая.

Самарканд — Бухара.

Километрах в шестидесяти от Самарканда среди садов съехали на боковую дорожку. Остановили машину. Открыли все четыре дверцы и легли отдыхать.

Проснулись от порыва ветра. Небо закрылось облаками. В стороне

на шоссе неся столб¹ пыли. Откуда-то с высоты упало несколько капель. Мы вернулись на шоссе и покатали дальше, благословляя прохладу.

В Катта-Кургане шофер встречного грузовика сказал:

— В Бухару... и не думайте. Под Навои всю дорогу размыло. Уже два дня машины в Бухару не ходят.

Мы с Арипом поглядели друг на друга. Арип вдруг приосанился и сказал:

— Ничего!

И покатали дальше.

Доезжаем до первой промоины. Стоят тяжелые грузовики, но на обочине: их не пускают... Сошли посмотреть. Напор воды был тут так силен, что проложенную под шоссе трубу водотока вывернуло, выломало, и шоссе обрушилось в овраг. Однако, к нашему счастью, уже готов временный объезд. По шаткому мостику, сделанному из связанных бревен и кольев, едва-едва присыпанных землей, переехали через мутный поток. Тяжелые грузовики этот мостик не выдержит: потому-то их и не пускают. А мы вновь движемся по шоссе.

Еще такая же промоина, еще один объезд. Третья промоина, третий объезд. И уже город Навои...

О Навои! — вот мира существо:
Неверность и жестокость — суть его.
Будь верным, но о верности забудь,
Коль хочешь быть богатым, бедным будь.

Из глубины веков звучит голос поэта. В несчастьях подбадривает тебя...

Но когда ты счастлив, что тебе выпала такая удачная, такая полная и разнообразная поездка, как эта, и ты попадешь в нынешний Навои — по сути дела в новый город («Поедете мимо Навои — не полнитесь свернуть с шоссе, не пожалеете», — напутствовали меня еще в Ташкенте), — тогда на язык приходят совсем другие его строки:

Пусть онемее у того язык,
Кто постоянно порицать привык!

Действительно, есть чем восхититься. В центре города стоят кварталы новых разноцветных (таких нет нигде в Средней Азии) отличных домов. Построенные в современном стиле — синие, красные, желтые, зеленые (не целиком, а с цветными поясами), дома эти украсили бы любой город нашей страны.

Покидая Навои, увидели в стороне от шоссе, среди кранов лезущие вверх корпуса строящегося гигантского химического комбината.

Но вот и это ушло, уплыло назад. Степь, ветер, солончаки — так несколько десятков километров. И впереди зеленым веером разворачивается бухарский оазис.

Подъезжая в сумерки к Гиждувану, увидели у моста через Зеравшан десятка три машин и мотоциклов: бухарцы приехали поглазеть, как поведет себя Зеравшан, когда придет с верховьев вода. Возле моста наготове два мощных трактора. Многие селения и тут готовы к эвакуации — на случай катастрофы там, наверху.

Воды в реке полно. Но это еще не с верховьев, а из катта-курганского водохранилища: ее сбрасывают, чтобы освободить в узбекском море место для воды, что придет сверху.

Перед самой Бухарой Арип резко затормозил. Вспыхнул освещенный нашими фарами плакат: «Скорость в Бухаре ограничена 30 км. в час». На лице Арипа — недоумение и усмешка.

Однако, когда очутились в городе (Арип в Бухаре не бывал) и покатали по узким улицам-щелям, на которых бегают и играют ребяташки (больше играть им негде, они тут хозяева улиц), усмешка с лица Арипа сползла.

Практически плелись со скоростью в двадцать, а кой-где и пять километров в час. Добрались до новой гостиницы. Устроились. Сразу легли и заснули.

7 мая.
Бухара.

...Выехали в Газли по превосходному шоссе через совхоз «Рометан». И очень скоро увидели среди зелени хлопковых полей небольшие плешины песков, а меж садов — пустыри, где соль выступила белым налетом.

Мост через новый канал — и вот уже Кызыл-Кумы, пески.

Как всегда в пустыне, дул ветерок. Через шоссе струился песок, не задерживаясь на асфальте. Говорят, что часты здесь такие ветры, когда дороги совсем не видать из-под пелены песка, но шоферы не снижают скорости — они угадывают дорогу по быстроте движения песчинок, которые скользят, пересыпаясь через шоссе.

Едем... Подобно крошечным молниям, проносятся ящерицы. Проводили взглядом свернувшуюся у дороги змею. Справа и слева пески едва-едва зеленеют; пасутся отары каракульских овец.

Сто двадцать километров, и впереди из-за барханов появляются крыши поселка Газли. Бежит арычок вдоль узкой улицы — тоже песчаной, над ним — тополя. Страстно летают ласточки меж стандартных домов. А когда остановились у крылечка Управления газовыми промыслами, откуда-то донеслась песня:

По-моему, несчастен парень тот,
Чья милая поблизости живет.
Весь день стоит он около ворот
И ждет: пройдет она иль не пройдет?

Я знал и раньше эту таджикскую песню и потому сразу ее понял. Если ей верить, так большинство парней тут несчастны: слишком близко живут милые! Невелик городок...

Авагимян, главный инженер управления, армянин средних лет, пошел показывать нам Газли. На крыльце дожидались двое совсем молодых — русские, он и она. Инженер извинился перед ними, кивнув на меня, — гости!

Разумеется, я:

— Я подожду... У них же дело!.. Мне не к спеху...

Но Авагимян схватил меня за руку, увлек за собой. И уже когда отошли, сказал:

— Семейная ссора... Разбираться пришли.

Увидев недоумение на моем лице, улыбнулся и добавил:

— У нас, в Кызыл-Кумах, все на виду, все на ладони. Ко мне вечно с семейными делами, как к попу... Больше не к кому. А от личного счастья производство у нас прямо зависит. Приходится...

Прогулялись по поселку. Заглянули в баню: купаются здесь в радонной воде! Прямо хоть санаторий открывай. Поели в рабочей столовой — попроще, но и получше, чем в бухарских ресторанах. Во всяком случае вкусней.

Заглянули на головные сооружения, где газ «сушат» в башнях и очищают в сепараторах. Нас оглушили скрежетом выкатившиеся из ворот гаража танкетки — незаменимый транспорт в песках.

С трудом объезжая тяжелые грузовики с прицепами, «волга» домчала нас по узенькому шоссе до ближайшего «сборного пункта». И тут, в глубине одной из величайших среднеазиатских пустынь, мы опять перенеслись в будущий век.

Представьте: пески, пески... На склонах барханов лежит наветренная рябь, отчего барханы похожи на большие раковины. Это орнамент пустыни. Он нежен и прост.

Среди барханов — площадка. На цементных плитах — ряды окрашенных в белый цвет, закрученных труб. Лабораторная чистота.

Людей — раз, два и обчелся. Они у пульта управления, тут же в домике. Сейчас андижанцы нефтяники помогают газлинцам конструировать оборудование, чтобы перейти на полное телеуправление. Тогда только сторож останется здесь.

В пустыне приходилось проектировать даже тень. Чтобы люди могли в тени отдохнуть. И вот между труб — совсем молоденькие виноградники, сажены деревья, розы...

Отсюда — через головные сооружения — газ идет по трубам прямехонько на Урал: за две тысячи километров. Теперь через Кзыл-Кумы тянут вторую нитку газопровода.

И что интересно: одновременно с трубами-гигантами (их везут на гусеничных вездеходах) туда же — на верблюдах — переправляют оборудование для радиорелейных ретрансляторов.

Ретрансляторы эти монтируют в Кзыл-Кумах прямо на газопроводе. Газлинцы мечтают (впрочем, как и бухарцы) сами принимать московские телепередачи: захотят — поглядят. Чтобы не зависеть в выборе от ташкентского телевидения.

Привезти бы сюда, в Кзыл-Кумы, москвичей — работников телецентра. Показать бы им этот труд, этот порыв, это желание «смотреть Москву» — авось устыдились бы некоторых своих передач. «Приналегли бы» — и от этого выиграли бы и москвичи!

Вот история, свидетелями которой несколько лет назад стали пески.

Это история печальная, есть в ней и что-то наивное. И потому фамилию не назову. Скажу просто Н. Б.

Он жил в Ашхабаде. Во время памятного всем ашхабадского землетрясения погибла его семья, как десятки других семей. Это перевернуло его жизнь, напомнило, что смерть может прийти в любой день.

И тогда Н. Б. взял обыкновенный чугунный казан, в котором готовят плов. И вложил в него, химически обработав, фотографии Ашхабада до землетрясения и после землетрясения. И другие интереснейшие документы. Вложил туда же фотографии погибших жены и детей. Залил все воском. И закопал в Каракумах для далеких потомков.

Забота о своем месте в памяти потомства не покидает человека, твердо знающего, что люди жили до него и будут жить после него.

Раз в жизни и мне довелось в роли потомка отыскать завещанный предками клад. Было это по ту сторону Кзыл-Кумов, в Хиве, в 1946 году.

Слоняясь по Хиве, забрел я в мавзолей Пахлавана Махмуда — святыню хивинцев. Прелестный мавзолей, построенный мастером, получившим у современников за удивительное искусство прозвище Джин. Разумеется, ботинки оставил у входа, чтобы не оскорбить чувств верующих.

Меж изразцов на стенах внимание мое привлекли два пояса начертанных арабским шрифтом стихов. Спросил спутника, местного человека: что за стихи? Пожал плечами:

— Наверно, из корана...

По-арабски, как и все хивинцы, он читать не умел. И мне пришлось ограничиться этим ответом, хоть он меня и не удовлетворил.

Года за три до того, копаясь в исторических материалах, наткнулся я на Пахлавана Махмуда. Он был самым сильным борцом своего времени. И в XIII веке на его выступления в Хорезме, Хорасане, Индии стекались из далеких городов многотысячные толпы, чтобы хоть издали посмотреть на прославленного «пахлавана» (силача). Есть исторические свидетельства, что однажды два войска прервали битву и установили перемирие, чтобы вместе присутствовать на поединке Пахлавана Махмуда. Вот слава!

И в то же время согласно свидетельствам современников Пахлавана Махмуд слагал сам музыку и стихи.

Сунулся к востоковедам: стихи не сохранились, во всяком случае ни в одном хранилище рукописей их нет.

И вот, попав в Хиву, стал расспрашивать стариков. Те мне сказали, что два дивана (сборника) Пахлавана Махмуда гуляют где-то по рукам: будто бы, собираясь по ночам, их читают старые люди. Но добраться до них, разыскать их мне не удалось.

В мавзолее же стихи на стенах — по внешнему виду, по строфике — мне показались не похожими на те, какие обычно встречаешь в мечетях. Мысль: уж не его ли стихи? Спустя несколько дней посчастливилось в Хиве найти старика, учившегося в медресе, читающего по-арабски. Пришли в мазар вместе. Обнаружилось, что это не арабский язык, а фарси. А главное, что это (угадал!) рубайи, четверостишия.

Передо мной был не храм, а избранный том стихов Пахлавана Махмуда. Да каких!

Над решеткой надгробья:

Сто гор кавказских истолочь пестом,
Сто лет в тюрьме томиться под замком,
Окрасить кровью сердца небо — легче,
Чем провести мгновение с глупцом.

А на стенах такие рубайи:

Хоть трус усердно золото чернит,
Он в медь его вовек не обратит.
Псу — всякий трус, реке — герой подобен,
А где тот пес, что реку осквернит?

Зимой костер — прекрасней нежных роз,
Кусок кошмы — прекрасней шелка кос.
Пирьяр-Вали вам говорит: прекрасней
Клеветника — цыганский драный пес...

И в других та же свобода мысли и поэзия жизни, не имеющие к исламу даже отдаленного отношения.

И его-то сделали хивинским святым!

А получилось так. Весь Хорезм гордился своим богатырем, которого никто в мире не мог одолеть. После его смерти хивинцы его именем нарекли канал, орошающий хивинский оазис, — канал Палван-Яб («палван» — то же, что «пахлаван»). Его именем называли городские ворота — Палван-дарваза.

А кочевавшие по соседству туркмены-йомуды сделали литературный псевдоним Пахлавана Махмуда — «Пирьяр-Вали» — своим воинским кличем. Устрашая врагов этим именем, они бросались в битву.

Что против такой славы могли поделывать ревнители веры? И тогда они решили посмертно «приручить» Пахлавана Махмуда. Сколько раз

в истории народов так же «приручали» посмертно популярных философов и поэтов, выдергивая из них отдельные строки, объявляя их в наследстве главным, выхолащивая и умерщвляя живые мысли.

Хивинские ревнители веры стали действовать согласно правилу: «Утверждай, что еж то же самое, что верблюдница, — и в конце концов оно так и выйдет». Они объявили Пахлавана Махмуда святым.

Порукой успеха было для них то, что народ не знал грамоты, никто не мог сам прочесть рубайи на стенах. И вот Пахлаван Махмуд, скептик, завещавший похоронить себя дома в Хиве, внутри своей шубошвейной мастерской, превратился посмертно в святого, а его мавзолей, голубой купол которого сияет в центре Хивы, стал храмом.

Тогда же я написал об этом в книге. И теперь в мавзолее Пахлавана Махмуда под арабскими письменами его четверостиший висят доски с переводом стихов. Храм опять превратился в избранный однотомник. Приятно думать, что подарил его людям.

...Возвращаясь, ехали через Бухару. Здесь, в этом древнем городе, родился образ любимейшего из народных героев Востока — трезвого философа и простодушного чудака Ходжи Насреддина.

Прелестно сказал о Ходже Насреддине самаркандский мастер лепки Усто Кули. Ему в 1942 году заказали сделать для фильма «Насреддин в Бухаре» миниатюрный макет дворцовых ворот.

С явным недоверием слушал он объяснения художника фильма Варшама Еремяна, что, мол, при помощи «комбинаторов» на экране сквозь эти ворота, как они ни малы (умещаются на руках), пройдет не только Ходжа Насреддин, не только эмир, но и вся эмирская свита.

Усто Кули тонко улыбнулся на это и сказал:

— Эмир сквозь эти ворота вряд ли пройдет. И Насреддин вряд ли пройдет. Но шутка Насреддина пройдет!

Семь городов Востока оспаривают друг у друга место могилы Ходжи Насреддина: каждый утверждает, что похоронен у них. Но все сходится на том, что он родился в Бухаре.

В Испании есть памятник Дон-Кихоту, в Англии — Шерлоку Холмсу... Я бы поставил в Бухаре памятник Ходже Насреддину. И не на площади, а от городской магистрали где-нибудь чуть в стороне. Чтобы перед идущим ли, едущим Ходжа Насреддин неожиданно появлялся из-за угла, ведя в поводу своего ишака.

* * *

...День кончается. Сумерки. Жара, опять загнавшая нас с Арипом в гостиницу, спадает. Стою у окна, вдыхая прохладу. Где-то вдаль закричал ишак, с другого конца Бухары отозвался другой. Еще и еще... Ишаки покричали-покричали и одновременно умолкли.

Прошелся по вечерней Бухаре. Смотрел на толпы молодежи возле кинематографов, на потоки людей — идущих, гуляющих, веселящихся. И вспомнил, как один бухарец рассказывал мне:

— Когда мы прогнали Алим-хана, последнего эмира, он жаловался на нас в Лигу Наций. Он там говорил, что пекся о благе народа, что даже построил мост через Сурхан-Дарью!..

На этом бухарец рассказ оборвал. Остальное и так ясно: когда видишь, сколько заводов, электростанций, мостов, новых зданий, улиц построено здесь за последние годы, комичной кажется ссылка эмира на мост — единственное, что было воздвигнуто при его правлении во всем государстве!

13 мая.
Ташкент.

До посадки на самолет еще полчаса. Сажу на аэродроме. Приехал за час — зарегистрировать билет и сдать чемодан.

Отгостился. Отъездился. Поездка (к себе в гости) где-то далеко позади.

Вероятно, каждому хоть раз в жизни необходимо оглянуться, вспомнить все-все, поглядеть на себя со стороны. На своем веку мы видели всякое, всякое пережили. Но когда обнимаешь все взглядом, осязаемым становится главное.

В течение веков о человеке в Средней Азии говорили: «Тугульды — ульды» («жил — умер») — так бесплодно проходила жизнь большинства людей. О моих сверстниках-современниках этого не скажешь никак.

Последние полвека они заполнили таким количеством дел и событий, каких хватило бы не на одно столетие. И благодаря их труду человек переместился в центр жизни — его судьба, его счастье становятся мерилем всего.

Теперь говорят: «Человек без любви — осел, человек без стремлений — глина». Именно этим — любовью человека и его стремлениями, свершенными и еще не свершенными, — оценивается теперь его жизнь.

А пока... Только что простился с Арипом. Он привез меня сюда, на аэродром, и на прощанье подарил маленькую изящную пиалу, на ней — стилизованное оранжевое солнце и условный зеленый орнамент бараньих рогов.

...Конец поездке, воспоминаниям. Через семь часов — в Москве. И опять стану жить сегодняшним и завтрашним днем.

Как все.

Два года спустя

26 июля 1966 г.
Ташкент.

Я снова в Ташкенте. Сегодня в городе своеобразная дата: ровно три месяца Ташкент трясет и трясет. Позади уже шестьсот с лишним подземных толчков.

Возле палаток строителей на Чиланзаре — новом жилом массиве — поутру видел писанную от руки афишу: «Вечер двенадцатибалльных танцев». Скажете: «Грустный юмор». И да и нет!

Дело в том, что за эти три месяца люди пережили тут как бы три стадии чувств. Даже четыре.

Сперва было потрясение (само слово «потрясение» не в землетрясениях ли родилось?). Когда ранним утром 26 апреля, еще до зари, вдруг загрохотала земля, и зашевелились стены, и в комнатах посыпалась шпукатурка, и рухнули некоторые потолки, и многоэтажные дома заскрежетали, будто кто-то невидимый сжимал их в гигантских гисках, и собаки всего города завывали, залаяли, — ташкентцы были потрясены. Вскочив с постелей, они ринулись на улицы, толком не понимая еще, что происходит...

— Я проснулся от грохота. Дом ходуном — вот-вот развалится. Собаки рвутся в дверь, лают, рычат. А за окном — странный. ни на что не похожий. ну просто-таки космический свет, которым окрашены дома, деревья, небо. Первая мысль: атомная война! Может, ахнуло-грохнуло

где-нибудь в Чирчике, а сюда волна докатилась? Сунул в карман военный билет, схватил «спидолу» и вслед за домочадцами — вниз, на улицу...

Рассказывал мне это Олег Сидельников — молсдой ташкентский писатель, пишущий много и весело. Живет он — с женой, детьми, бабушкой, с двумя догами — в четырехэтажном доме в центре Ташкента.

— ...Выбежали все кто в чем. Света в городе нет. Включаю «спидолу» — молчит. Уйма времени прошло, прежде чем эфир заговорил. И заговорил как ни в чем не бывало! Уже улицы наполнились сиренами «скорой помощи». В кой-где рухнувших домах уже раскапывают близких. Всем уже становится ясным масштаб землетрясения. А эфир как эфир — утренняя гимнастика. И наконец с запозданием: «В Ташкенте произошло землетрясение...»

Еще счастье Ташкента, что толчки были вертикальными. Город не рухнул, как рухнул в свое время Ашхабад. Едва ужасный гул затих и раненым оказали помощь, люди начали осматриваться. В первое мгновение казалось — ничего страшного не произошло: как стоял Ташкент, так и стоит. Обрушившихся кровель почти не видно. Да количество их и впрямь оказалось ничтожным для такого города — города с миллионным населением.

Но когда, постепенно смелея, прислушиваясь к недрам земли, поглядывая на потолки, люди вошли в свои квартиры, они увидели: положение куда серьезней. Глубокие трещины избородили стены. Некоторые совсем отошли. Да и на вид целые держатся на честном слове.

— Троньте! — сказал Сидельников, кивнув на стенку-перегородку к соседям.

Я ткнул в стенку пальцем, и она зашаталась под обоями, затрепетала, будто живая.

— ...У меня была наружная антенна от стены до стены. Как обычно, свисала вниз: плохо натянута. Гляжу после землетрясения: валяется моя антенна внизу на тротуаре. Вырвало из стен с обеих сторон. Подсчитал: когда дом шатало и корчило, одна стена от другой по меньшей мере на сорок сантиметров в сторону отступала! Эти вот толстые капитальные стены!

Как раз тогда-то и появились в Ташкенте на домах те надписи углем, какие и сейчас я видел, бродя по городу: «Не ходить!», «Опасно», «Дом аварийный». И таблички, кое-где установленные ОРУДом: «Водитель! Пешеход идет по проезжей части». Аварийный дом грозит упасть при первом же сильном толчке. Весь городской центр (треть жилой площади Ташкента) оказался аварийным. Из домов необходимо было сразу же выселяться.

Уже Первомай город встретил в палатках. Но не так-то просто жить в палатке с детьми — грудными и школьниками, с чемоданами, кроватями и сундуками, кошками, радиоприемниками и холодильниками, кастрюлями, сковородами, со всем скарбом. Да еще при плюс сорока—сорска пяти градусах Цельсия в тени.

Надо отдать должное властям: тут сумели буквально на второй день после землетрясения организовать уличный быт. Рестораны и кафе расставили столики прямо на мостовых. Открылись уличные парикмахерские, даже уличные камеры хранения вещей. В палатки переселились медицинские пункты, сберкассы, отделения связи...

Между тем город трясло и трясло. Кто-то сказал: «Скачка на спине взбесившегося верблюда», — и фразу все подхватили. Самое устойчивое, что есть в жизни у человека, — земля, прочная земля под ногами изменила: к этому, казалось, привыкнуть нельзя. Фантастические слухи ле-

тели от палатки к палатке, рождая новые страхи. И будто специально, чтобы эти тревожные слухи подогреть, пятого мая днем потемнело небо и налетел, завыл, зарокотал ураган.

Ураган для здешних мест небывалый. Ветер мчался со скоростью восемнадцать—двадцать метров в секунду, отдельными порывами — двадцать девять метров! Срывал крыши, переворачивал палатки, ломал столбы и деревья. Чудилось, все стихии ринулись на Ташкент, решив его доконать.

В эти-то дни как самозащита от страхов стал у ташкентцев рождаться юмор.

— Мужественный — не тот, кто не боится. Боятся все... — говорил мне сегодня в уличном кафе случайный сосед по столику. (И я вспомнил народное: «Кто смерти не боится — невелика птица, а вот кто жизнь полюбил — тот страх загубил».) — Мужественный — кому собственное достоинство главней страхов. А в чем достоинство легче всего сохранить? В юморе.

Что ж, и это верно, хоть и без всякой тени юмора сказано.

— ...Муж разбудил, кричит: «Вставай! Землетрясение!» Пока сообразила, накинула халат и с четвертого этажа вниз — гляжу, сосед через площадку уже возвращается, в одних трусах, смутился, говорит: «Извините!» — будто голый. Привык быть франтом: когда наступала жара, дольше всех держался галстука...

— ...А один выбежал, тоже в трусах, в руке пепельница и папироса. Сидел курил, когда дом зашатался. Схватил пепельницу — и вон!

— ...Выбежали мы кто в чем. Видик у всех! Не то пляж, не то психобольница. Стоим под аркой нашего нового дома, обсуждаем землетрясение. И только потом сообразили, что стоим-то в самом опасном месте: привыкли укрываться под стеной дома.

— ...Горка падает, летят со звоном мои чашки-бокалы. Бежим мы по лестнице, а он кричит: «Не плачь! Разбитая посуда к счастью!»

Вот как рассказывали мне теперь, издалека, о том первом, самом мощном толчке 26 апреля, когда все городские часы остановились в 5 часов 20 минут.

Среди страхов и слухов одна струя спокойствия сразу же стала пробиваться в жизнь ташкентцев. Уже 27 апреля горожане прочли в «Правде Востока»: «Как сообщил нашему корреспонденту директор сейсмической станции Валентин Уломов...» Так впервые услышали тут имя человека, ставшего в три дня знаменитостью своего города. Едва ли не каждый день выступал молодой ученый — то в газете, то по радио, то по телевидению. От него веяло спокойствием.

Он ломал на глазах телезрителей палку, показывая, как произошел подземный разлом. Из его уст все узнали, что Ташкент «сидит» на Каржантаусском разломе. И это мало кому понятное, но точное название тоже оказывало успокаивающее действие: мол, ученые знают, что там к чему, раз и название всему есть.

Уломов публично говорил, что Ташкент (как это сейчас ни парадоксально звучит) — один из самых благополучных в сейсмическом отношении среднеазиатских городов: разлом здесь невелик. И что если бы эпицентр находился не под городом, никто на землетрясение такого масштаба и серьезного внимания бы не обратил (самолюбие некоторых ташкентцев это кольнуло). И еще говорил: эпицентр непосредственно под городом — величайшая редкость! (Что, впрочем, для ташкентцев было малоутешительно, хотя и смягчало уколы самолюбия.)

Своего пика страхи достигли в ночь на 10 мая, когда два мощных толчка потрясли город. Опять зашатались, подпрыгнули дома. Опять оглушительный гул, скрежет.

Передо мной на столе — бюллетень-листочка, сброшенная с вертолета над городскими кварталами сразу после этих толчков. В ней Уломов отвечает на вопросы. Сквозь некоторые строки ее ясно ощущаешь, как нервно жил город:

«Что можно сказать о различных вымыслах и догадках относительно землетрясения?»

Не следует верить им. Никаких пустот и моря под Ташкентом не существует. Все это досужий вымысел... Конечно, очень неприятно, что очаг расположен под Ташкентом, — это доставляет массу хлопот жителям города. Но очаг землетрясения должен завершить один из циклов своей жизни и затем надолго успокоиться... Не следует верить слухам о каких-то иностранных сейсмологах, якобы приехавших в Ташкент и пытающихся с помощью японских рыбок предсказать события... Сейчас создана и работает на сейсмических станциях мира аппаратура, которая в тысячи раз чувствительнее любого живого организма...

— Еще раз хочу посоветовать некоторым жителям Ташкента, — сказал в заключение Уломов, — не преувеличивать последствий дальнейшего хода глубинных процессов, не верить необоснованным разговорам. Никакой горы не вылезет, никаких провалов не будет, вулкан не возникнет».

А кончается листовка обращением к горожанам: «Дорогие земляки! Вы проявили мужество, и страна гордится вами. Сейчас от всех нас требуется еще больше организованности, выдержки и спокойствия. Не поддавайтесь провокационным слухам! Давайте решительный отпор паникерам!»

Конечно же, примеров настоящего мужества можно привести тут сколько угодно. Во время толчка 8 мая на химическом факультете университета упала оплетенная бутылка с серной кислотой. Кислота вылилась на стружки, они загорелись, вспыхнул пожар. Старший сержант Иван Лазарев высадил раму, влез в лабораторию и пожар потушил. Все газеты обошел подвиг врачей «скорой помощи»: ни один в утро 26 апреля после землетрясения не ушел с дежурства, хотя и не знал, что с семьей, живы ли жена, дети, старики.

Болельщики футбола уберегла от страха их благородная страсть. 27 апреля на стадионе «Пахтакор» ташкентцы играли с минчанами. Трибуны были полны (это на следующий день после первого толчка!). В разгар игры вдруг трибуны завибрировали. Толчок! Игроки на мгновение приостановились, будто все сразу споткнулись, и опять бросились в битву. И вскочившие было зрители один за другим стали садиться на места. Выиграли в этот день ташкентцы.

Но фантастические слухи первых дней... Откуда они?

— ...Э-э! Что Валентина Уломова слушать! На самом деле, слышь, посреди города растет вулкан. Уж я-то знаю. Вылезет из-под земли — весь город левой зальет, все сожжет!

— ...Какой там вулкан! Во всем виновата ташкентская минеральная водичка, синенькая наклейка... Вон из гостиницы «Ташкент» докопались прямо до нее, в кранах течет, купаются в минеральной. Разливали ее, разливали по бутылкам, да и доразливались. Образовалась под землей пустота. Ну и стало там обваливаться. А как рухнет совсем — придавит водичку, какая осталась, прорвется фонтаном — припомните меня: весь Ташкент искупается в минеральной, прямо на тот свет. Вот те и синенькая наклейка!

Откуда эти фантастические страхи? Страсть к сенсациям? Может быть. Желание самому к ним причаститься? Может быть. Но только ли это? Мне кажется, вначале дело было еще и в другом: надо было ска-

зять сразу людям полную правду. Жить с четвертьправдой человеку скучно и недостойно, особенно в эти — в общем, не такие уж легкие — дни. А газеты вначале недоговаривали всего, смягчали события. И это рождало ответное: ах так! Так вот вам вулкан!

К счастью, ошибка эта была быстро исправлена. После толчка 10 мая местные газеты стали каждый день печатать своего рода фронтовые сводки землетрясения: «Сообщает сейсмическая станция Ташкент». Горожане точно узнавали, сколько за истекшие сутки было подземных толчков, какой силы. Начали и сами разбираться в толчках.

Один местный инженер-строитель говорил мне:

— У меня на полке теперь расставлены фигурки разного веса. По тому, какие упали, а какие стоят, мои домашние сразу узнают, сколько было баллов — три, пять или шесть...

А слухи первых недель, раскатываясь от Ташкента по всей стране, рождали «огнедышащую гору».

В Москве, когда решил ехать в Ташкент, меня один добрый знакомый отвел в сторонку и сказал:

— Имейте в виду: аэропорт и вокзал в Ташкенте оцеплены. В город не пускают!

И вот приезжаю, выхожу из поезда. И вижу: все как всегда. До такой степени как всегда, что испытал вначале даже нечто вроде разочарования.

— Трясет, ну и пусть! Не расстраиваться же из-за этого! — слышал сегодня на улице.

Спасительный юмор, придающий людям силу и бодрость!

Чешский журналист Зденек Горжены, приезжавший сюда в начале июня, писал: «...Несчастный Ташкент, непрерывно сотрясаемый Ташкент все-таки шутит.

— Как поживаете?

— Потрясающе.

— Куда едете?

И человек, который направляется в центр города, отвечает:

— В эпицентр...

Но если говорить серьезно, Ташкенту не до шуток. За этой игрой слов скрывается беспокойный вопрос: когда же наконец кончится этот марафон землетрясений?»

Очерк Зденека Горжены «Люди и баллы», перепечатанный из «Руде право» газетой «Вечерний Ташкент», произвел на ташкентцев (многие мне говорили) сильное впечатление. В особенности его заключительные фразы: «Ташкент держится. Но Ташкент уже и устал».

Эти две фразы собрали в себе, как в фокусе, третью полосу в жизни города после землетрясения. Простая и, в общем, несложная, но точная правда: устали. Как не устать. Шутят, смеются, работают, а устали. Ну, устали, однако работу не бросят... Эту полосу в жизни ташкентцев я уже не застал.

В воскресенье, выйдя из дому, я зашагал к Кашгарке — району, особенно пострадавшему от стихии. Свернул с Полиграфической и вступил как раз на такой гигантский пустырь — там, где недавно были жилые кварталы. В разных концах пустыря — то печь, то одинокая загородка, за которой еще живут.

Оказалось, нельзя все время жить страхами. И оказалось еще, что можно привыкнуть ко всему, даже к этому. Я приехал, когда ташкентцы привыкли и к толчкам, и к жаре, и к жизни в палатках, даже к усталости. Живут, работают. И разве только вот остряков развелось больше, чем обычно. Остряты отчаянно. На шутку отвечают шуткой. Но распро-

сы всерьез раздражают. Люди уходят, убегают от глупых допрашивателей.

Остановился я, как обычно, у Козловских. Внутри дома Алексея все, как обычно. Только полочки пустые: все снято, чтоб не упало. Кое-где по штукатурке змеятся трещины. Дом финский, дощатый — при сильных толчках трещит, прыгает... но что ему делается! Хуже тому, у кого дом из кирпича: сколько их, таких домов, вокруг развалилось.

Выходишь (это совсем рядом) на Полиграфическую улицу. Вдоль нее — груды битого кирпича, соломы, гнилых досок, гнилых бревен. Да валяется кое-где старая поломанная мебель. В проломах еще не убраных домов — разноцветные обои. Их вид почему-то особенно проникает в сердце: след живой жизни.

Конечно же, сразу после землетрясения все выглядело иначе. Дома стояли на месте. Но оказались аварийными, людей из них сразу переселили. Увозя свой скерб, они заодно из своих домов извлекли, вырубили, вырвали все мало-мальски ценное (даже рамы и двери) и довершили картину разрушения. Придут бульдозеры, все сгребут, грузовики увезут мусор — и будет пустырь.

Издаലെка за пустырем увидел четыре знакомых фонаря, похожих на аистов, вытянувших длинные клювы. По ним нашел мост через Анхор, иначе заплутался бы: мостовая, как и все вокруг, засыпана горой лессовой пыли, не отыщешь дороги.

Прошелся по Кашгарке — по ее кривым узеньким улочкам. У какой-то калитки к забору прислоняют зеркало. Громоздят мебель на грузовик, переезжают. С крыши противоположного дома сбрасывают мусор, и пыль летит вдоль всей улицы. Минувя один разрушенный дом за другим, добрал до Хорошинской.

Тенистая, прямая, неширокая. Отступя от стен, посреди улицы гуськом стоят палатки. В одном доме среди обломков штукатурки и битых кирпичей сидит семья, завтракает, развязав узелок. Имуущество увезли, по-видимому, давно. И, наверно, сегодня, в выходной, пришли за последними мелочишками, какие удастся откопать.

Обошел я и улицы моего детства... Подошел к школе. Стоит на месте! Но возле ворот — большая квадратная лохань от цемента. Гигантский моток проволоки валяется на земле. Стены со стороны улицы подперты контрфорсами из новенького красного кирпича: чтобы не завалились, не упали наружу. Ага! Ремонт!

Во дворе школы совсем маленькие ребятишки — как видно, из тех домов, что в глубине, — воткнули в строительный песок палочки. Новая игра! Девчонка лет шести в синеньком платьице торжествующим голоском выкрикнула: «Ты, земля, трясися, а мы за колышки держися!» Тотчас же все, отпустив свои палочки, бросились кто куда, хватаясь за чужие палочки. Одна девочка осталась без колышка. И тогда стала водить она: «Ты, земля, трясися...»

Заглядываю в школу. Потолок нашей бывшей учительской провален, на полу крошево кирпича. А в одном из классов рабочие-строители уже кончают заделывать трещины.

— Не привык я так работать, — невесело усмехнулся один из них. — Картон под потолок, а белить даже не станем. Решение такое: ремонт на два года, а там — все на снос.

Позавчера я уже слышал об этом: здесь будет парковая зона. Но так как кольцо новых окраин завершат только через два года, решили пока отремонтировать на живую нитку аварийные дома, чтобы люди могли в человеческих условиях встретить зиму. Что и говорить, решение единственное.

Навестил Евгению Корженевскую. Встретила меня весело и радушно. Угостила арбузом. Разговорились, что, мол, в этом году — сейчас вот пик Евгении Корженевской начали штурмовать с разных сторон шесть альпинистских групп. В прошлом году ленинградцы и сибиряки были отброшены непогодой. Сдастся ли пик в этом году?

Хотел было задать ей вопрос — почему не переселилась, как ее соседи, в палатку, во двор, — да вовремя удержался.

27 июля (утро).

Мой календарь несколько изменился. Дело в том, что мне дали машину — съездить на пять дней в Ферганскую долину поглядеть своими глазами места недавних бедствий: на Фергану обрушились наводнения. Не везет Узбекистану в этом году.

Выезжаю... А кольцо ташкентских новостроек обойду, когда возвращусь.

31 июля 66.

Озеро Сары-Челек.

Поздним вечером добрался я до Сары-Челекского заповедника. Сегодня на заре я уже был на берегу этого прекраснейшего из озер земных, чтобы встретить солнце, встающее из-за гор. Оно озарило прежде всего снеговые вершины, засверкавшие среди темных берегов, а потом постепенно наполнило игрой красок и всю эту горную долину неопишуемой красоты. Какой это отдых для сердца после трех дней разговоров о беде!

Я проехал вдоль всей трассы беды — вдоль русла Исфайрама, по которому месяц назад катился черный вал, сметая все на пути. Расспрашивал очевидцев. Вот что они рассказали.

На Алайском хребте, что ограничивает с юга Ферганскую долину, есть (точней, было) маленькое озерцо Яшин-куль. Многие десятилетия покоилось оно в ледяной чаше, сбрасывая летом часть талых вод в горную речку Исфайрам.

Наступил Год Спокойного Солнца (вернее, «годы», но принято почему-то говорить «год»). Пастухи киргизы, первой же осенью возвратившиеся со скотом с заоблачных пастбищ, сообщили, что край ледяной чаши Яшин-куля зарос льдом, закрыв выход талым водам. Но так как Исфайрам питается в основном не из этого озера, никто и внимания на их слова не обратил: закрылось озеро и закрылось. Как сказал мне чайханщик в большом горном киргизском селении Уч-Курган:

— Слова пастухов записали на облаках...

Ах, если бы «записали» их хотя бы в районной газетке! Может быть, специалисты обратили бы на них внимание и беду можно было бы предотвратить.

Все на свете кончается: пришел конец и Году Спокойного Солнца. И солнце взбесилось, обрушивая на людей в разных концах планеты одну беду за другой. В Фергане целый месяц держалась температура плюс сорок шесть по Цельсию в тени. Ну и стали бурно таять горные ледники, и забушевали паводки в реках, и на их берегах появились трехногие деревянные сипаи: древний ферганский способ укреплять берега.

Возле самого Исфайрама, повыше Уч-Кургана, был пионерский лагерь кзыл-кийских шахтеров. Когда начался паводок, туда спешно направили солдат, и они в один прекрасный день перенесли пионерский лагерь в сторону от реки. Как оказалось, успели только-только... Женщина-повар еще собирала последнее кухонное имущество, когда над

ложем реки внезапно появился — уже не паводок бешеный и белоснежный, а черный водяной вал двенадцатиметровой высоты. Этого не ждал никто.

Шел он с грохотом: нес с собой сотни тысяч камней. Повариха метнулась в сторону. Однако край — самый край — водяного потока ее захватил. Счастье еще, что она не попала в центр этой гигантской каменной мельницы: ее перемололо бы в несколько секунд. Поварихе успели бросить круг — баллон от машины. И вытащили израненную, но живую: лежит еще и сейчас в кзыл-кийской больнице.

Читатель, конечно, понял уже, что случилось...

Солнце растопило ледяную чашу Яшин-куля, и все озеро, восемь тысяч кубов воды, ринулось вниз, увлекая за собой камни. Скопившийся на озерном дне ил окрасил воду в черный цвет. Так черная беда начала свой сокрушительный бег.

Теперь об Уч-Кургане... Река течет тут в глубокой трещине между скал. И жители никогда не боялись паводков: слишком высоко воде надо подняться, чтобы выйти из берегов. Посреди Уч-Кургана над бездной висел бетонный мост, по которому автодорога переходит с одного берега на другой. Рядом с мостом слева по течению расположилась чайхана (отсюда сто лет назад Федченко любовался видом на реку, несущую в глубоком каньоне серые воды). Справа по течению прямо над пропастью были сооружены районная гостиница и столовая и чуть поодаль двухэтажный дом комбината бытового обслуживания...

И вот около семи вечера учкурганцы услышали вопли: «Вода! Спасайтесь! Вода!..» Это по шоссе сверху мчался «газик», он проскочил через мост и, не сбавляя хода, устремился дальше вниз. Из него летели вопли: «Спасайтесь! Вода!..» Кто был человек, мчавшийся в «газике», осталось тайной по сей день, но он и в Уч-Кургане и в селениях ниже (мимо которых промчался, так же вопя) опас не одну жизнь.

Люди повывскакивали из домов и из гостиницы, столовой, чайханы. Не успели они отбежать и двух десятков шагов в сторону, как на их глазах черный вал одним махом смыл и чайхану, и столовую, и гостиницу: буквально слизнул со скалы. Словно щепку, подхватил он и бетонный мост, по которому только что проскочил «газик», и мост полетел вниз. Боковой поток воды ворвался и на первый этаж быткомбината и сквозь окна и двери выволок, вымыл все из комнат...

Однако дом устоял. На столбах, подпирающих его верхнюю террасу, еще виден след воды: не дотянешься рукой, так высоко! В комнатах первого этажа по сию пору провалы окон.

От Куvasая черный вал бросился к железнодорожному мосту. Как раз в это время с соседней станции должен был выйти поезд. Два путевых обходчика, Хасанов и Турсуналиев, каждый сам по себе, увидев вдали черную беду, бросились с двух сторон на мост к телефону. Они позвонили, что идет беда и надо задержать поезд. Когда они говорили по телефону, черный вал налетел на мост. Мост рухнул. И оба обходчика погибли. Но железнодорожный состав был спасен.

Сорвав мост и размыв полотно, вал устремился дальше по старому руслу Куvasая прямо к городу Фергане. Это был худший из всех вариантов пути, какой могла выбрать вода. Большой город стоял на этом пути. Десятки тысяч человеческих жизней!

Об опасности объявили по радио. Все были мобилизованы: горожане вместе с солдатами стали поспешно возводить дамбу, чтобы не пустить реку на улицы. Женщины с детьми и самыми ценными вещами собрались вокруг многоэтажных домов, готовые подняться выше стихии, если она все же прорвется сюда. Вертолеты взлетели, чтобы сверху следить за потоком и оказать помощь.

Худо было, что в городе уже стемнело, и никто толком не знал, откуда ждать беды — с какой стороны вода поведет наступление. Но все знали: черный вал приближается. Все напряженно ждали. Внезапно на окраине раздался мощный взрыв и взлетел гремящий факел огня, озарив город. Как выяснилось потом, это водяной вал на своем пути разорвал газовую трубу, проложенную к текстилькомбинату, от искры при взрыве газ загорелся... И, однако, на городские улицы черный вал не свернул — сам не свернул.

От Ферганы черный вал, постепенно уменьшаясь и расширяясь, помчался через долину по старому руслу. И поскольку человеческих жертв там не было, люди, отделившиеся испугом, рассказывали о наводнении с добродушной улыбкой.

Домов, поврежденных водою, требующих ремонта, в окрестных колхозах порядочно. Много тут смыто и полей хлопчатника.

Саодат Рахимова, секретарь парторганизации колхоза «Ак-Алтын» Ахунбабаевского района, рассказывала:

— Все вышли на поля. Даже мужчины! — добавила она специально для сидевшего рядом раиса (председателя колхоза), метнув на него насмешливый взгляд. — Каждый кустик хлопчатника поднимали, обтирали и мыли — все, что можно спасти!

И раис, сделав вид, что не заметил укола, важно кивнул:

— План выполним, хлопок сдадим.

По старому руслу черный вал помчался к Большому Ферганскому каналу. Беда еще была грозной. Солдаты спешно укрепляли левый берег канала, укладывая мешки с песком. Если бы вода врезалась сбоку в канал, она могла переплеснуться через него, прорвать правый берег, затопить селения и поля Яз-Явана, лежащие в низине. Поэтому решили на всякий случай, кроме укрепления берегов, освободить канал от воды: головные шлюзы в Кюйген-яре спустили. Сверх того открыли все дюкеры — ворота в днище канала, через которые обычно сбрасывают лишнюю воду. И это решило дело.

Водяной вал, ударившись о береговые укрепления, сначала повернул вдоль канала, потом обошел мешки с песком и в двух местах прорвался в пустое русло канала, сразу наполнив его. Но дальше он уже пошел по каналу, быстро слабея, сбрасывая воду в дюкеры, откуда черными разрозненными ручьями она докатилась до Сыр-Дарьи.

4 августа 66 г.

Ташкент.

Жизнь, в особенности в дни народных бедствий, являет нам удивительные примеры людского равнодушия. Мысли об этом не покидают меня в Ташкенте. Афганцы говорят: «Один друг дороже, чем тысяча удач». А когда друзей тысячи... Но это требует более подробного рассказа.

Баба Курбан-ота Бекмухамедов, глубокий, но еще бодрый старик узбек, вышел из дому и зашагал к ближайшим кварталам, пострадавшим от ударов подземной стихии. Это было сразу после землетрясения, ему хотелось своими глазами посмотреть, что делается в городе.

И вот увидел: бредут навстречу девушки с чемоданчиками в руках — человек тридцать. Остановил, расспросил. Выяснилось: разрушено общежитие. Девушки собрали свои вещички и пошли, пока и сами не знают куда. И тогда Баба Курбан-ота привел девушек на улицу Алмазар, в свой тупик Учар, ввел их в калитку и величаво сказал:

— Это место — ваше место и наш дом — ваш дом. Будьте же спокойны душою и прохладите глаза. Не бойтесь и не печальтесь.

И девушки поселились у него. Все было сделано неспешно, с достоинством, без примеси чего-либо показного. И никто бы об этом, может быть, и не узнал, если бы Шаахмед Шаахмудов — известный человек, ташкентский кузнец — не обратился через газету к горожанам с призывом дать приют людям, оставшимся без крова.

Имя Шаахмудова стало известным во время Отечественной войны, когда он принял в свою семью круглых сирот (четырнадцать), родители которых погибли в огне войны. Кузнец вырастил их, воспитал и всем дал образование. И вот теперь — вместе с этими сейчас уже взрослыми детьми — он поселил у себя ташкентцев, чьи дома развалились от землетрясения. И в обращении «Ташкентцы! Дети мои!» призвал горожан последовать его примеру.

«Правда Востока» это опубликовала. В тот же день в редакции раздался звонок, говорил Баба Курбан-ота: «Вы пишете о Шаахмудове, а почему обо мне не пишете? Я тоже отец! Я давно взял к себе девушек из общежития...»

Вот ведь! Когда случилось несчастье — отозвался на него по чистому побуждению сердца. Но когда это стало превращаться в «движение» — захотелось, чтобы и о нем написали.

О его звонке стороной узнал Малик Каюмов — известный оператор хроники. Со съемочной камерой он приехал в тупик Учар.

И тут выяснилась небезынтересная подробность: Баба Курбан-ота Бекмухамедов — участник гражданской войны, чапаевец. Так в живой жизни сердца обнаружилась связь времен.

Слышали ли вы когда-нибудь народное узбекское слово «хашар»? Старинное слово, вместе с тем живое, неумирающее — оно непереводаимо. Случалось ли и прежде землетрясение — все стекались на хашар, чтобы сообща восстановить стены и кровли обрушившихся жилищ. Нужно ли было построить мост через реку или воздвигнуть над базаром камышовую кровлю — и тут выручал хашар.

Хашар — это истинная дружба. Если даже у тебя дело, от которого зависит твое счастье, все же отложи его, потерпи — ради друзей, очутившихся в несчастье, либо ради общего дела, необходимого всем. Друг в несчастье — на первом месте, на втором — ты сам! Даже если есть у тебя недруг, забудь на время о своей вражде и плечом к плечу с ним делай общее дело. Вот что такое хашар. Есть в слове «хашар» и оттенок праздничного события — на хашар всегда стекались народные певцы и музыканты, чтобы работа спорилась веселей.

«От хорошего друга раньше смеха засмеешься», — говорят на Востоке. В полной мере ощутил я это три дня назад, побывав в лагере «Дружба-5». В нем живут парни и девушки из Грузии, Литвы, Узбекистана, из Ростова и Новочеркаска, приехавшие на помощь Ташкенту.

Провел с ними вечер в той совершенно особой атмосфере, когда люди еще не раскрыли рта, а уже начинаешь улыбаться, хотя это и происходило после шестибального толчка и он у всех еще был на устах.

— Это у меня шестибальный порез: брился — вдруг шесть баллов в руку, и землетрясение — на лице!

Не запомнишь всех шуток, да они и кажутся остроумней, когда среди общего веселья их вдруг скажет человек счастливый счастьем молодости. Сидят, смеются, балагурят. А утром разойдутся по своим участкам, над которыми краны, краны, краны... На кранах — флаги союзных республик. Вон под литовским красно-бело-зеленым — бородатые студенты: они дали клятву не брить бород, пока не построят новый Ташкент.

Равнодушия в этом государстве дружбы не терпят. Как не терпят и фальшивого внимания.

Ощущение фальши для ташкентцев сейчас нестерпимей всего. Источник выпренности, когда речь идет о несчастье, — равнодушие, и это чувствуют все.

Порыв действительно бескорыстной дружбы рождает и живые слова. На встрече одного строительного поезда слышал приветствие:

— Семья, приют и простор тому, кто к нам прибыл!

Со всех концов Союза устремились в Ташкент строительные поезда: со своими кранами, механизмами, автомашинами, инструментом, со всеми стройматериалами — вплоть до цветных облицовочных плиток, с готовыми санузлами для новых квартир, со всем оборудованием и арматурой. И со всем необходимым для жизни самих строителей.

Я люблю Ташкент. Его белесоватое, как бы подсушенное солнцем небо. И многозвучный шум города сквозь говор листвы. И многоязычную речь. И его проспекты, где асфальт белеет сквозь зелень деревьев. И его огненно-красные маки, вдруг расцветающие прямо на сухих глинобитных заборах... Без конца могу рассказывать о Ташкенте.

Удивительно ли, что на вопрос, который мне многие задавали в Москве: «Надо ли на этом же месте опять строить Ташкент?» — я, не задумываясь, отвечал: «Да!» Не потому, чтобы я это знал твердо, а просто потому, что не могу представить себе землю без Ташкента. И вот теперь, приехав сюда и глядя своими глазами, как возводят новый Ташкент (несмотря ни на что, несмотря на то, что трясет и трясет), я задал и сам этот же вопрос Валентину Уломову:

— А правильно ли его здесь строить вновь?

Вопрос не такой праздный, как может спервоначалу показаться. Ровно девяносто восемь лет назад, 28 марта 1868 года, тут произошло землетрясение столь же разрушительной силы, и толчки продолжались несколько месяцев. Н. А. Северцов, известный русский путешественник, был при этом в Ташкенте и подробно все описал. И вот опять на том же месте — развалины и пустыри! И опять, вместо того чтобы спросить: «Как ваше здоровье?» — встретив знакомого, прежде всего спрашиваете: «Как ваш дом?»

Уломов, когда задал ему вопрос, испытующе поглядел на меня — серьезно ли я (еще бы: дома строятся, все решено, а этот все еще чего-то там шебуршится) — и ответил, улыбнувшись:

— Разве вы не заметили, что у нас было ювелирное землетрясение? Ведь оно разрушало дома, выбирая именно те, которые давным-давно следовало разрушить горсовету.

«Ювелирное» — это, пожалуй, сказано точно. Ни одно здание в эпицентре, воздвигнутое за последние годы, построенное на галечниковом основании, защищенное антисейсмическими поясами, не пострадало.

Завтрашний Ташкент по планировке не будет похож ни на один город мира. Землетрясение вырубил в нем середину и превратило город в гигантский бублик. Все новые жилые дома строятся на окраинах — в массивах Чиланзара, Каракамышы, в районе Рисовой улицы, на Высоковольтном массиве, в поселке Сергейли.

Чтобы связать между собой районы этого гигантского бублика (диаметр Ташкента около пятидесяти километров), строители начали прокладывать кольцевую автомагистраль вокруг Ташкента. Ну, а что будет в центре?

Странно, но идею того, что будет, я слышал уже много лет назад. От Усмана Юсупова. Это было в те годы, когда он был председателем Совета Министров Узбекской республики: последняя государственная должность, какую он занимал. Он мечтал тогда:

— Весь центр Ташкента я планирую превратить в сад. Надо снести глиняные развалюхи: все равно час их пробил. И вырастить сад, чтобы

в нем яблони, ореховые, персиковые, сливовые, абрикосовые деревья цвели... И изрезать его каналами, этот гигантский общественный сад, чтобы по нему речные трамваи ходили. А главное, чтобы климат Ташкента стал влажным, воздух чистым, чтобы навсегда улетучилась, исчезла ташкентская пыль!

Свой проект Усман-ака не успел осуществить. Прошли годы. И подземная стихия вернула ташкентцев к его проекту. На пороге этого сам Усман-ака умер. О нем тоже можно сказать, что он жертва землетрясения. 27 апреля (на следующий день после первого толчка) у Юсупова, взволнованного несчастьем, произошел тромб сосудов сердца. И спустя несколько дней он умер. И теперь именем Юсупова назвали Большой Ферганский канал, признав, что Усман-ака был его подлинным зодчим.

В самом центре Ташкента проектировщики теперь задумали громадный зеленый массив. Будет стадион на сто тысяч зрителей. Будет дворец спорта. Будут открытые и закрытые плавательные бассейны, акватории, водоемы. Будут широкие бульвары пересекать этот парк. Бульвары застроят многоэтажными административными зданиями, рассчитанными на десять баллов, чтобы никакие стихии были им не страшны.

Все это уже превращается в инженерные проекты, в технические расчеты. Значит, все должно быть. Будет!



Л. ГРИГОРЯН

* * *

О, Муза быта, ты всегда права.
К чему решать неразрешимый ребус!
Беги в пекарню, в очередь, в троллейбус
И собирай простейшие слова.

Привычный мир, войди в мои стихи,
Водой из крана весело пролейся,
Работай тяпкой, хлопочи отвесом,
Взметнись столбом базарной шелухи.

Вот паренек тачает сапоги,
Вот летний полдень навалился жарко,
Вот стадион, вот пиво, вот байдарка.
Привычный мир, войди в мои стихи.

Пахни бензином в комнату ко мне,
Акациями скверика потрогай.
Девчонкой быстроглазой, босоногой
Протри стихи, как стекла на окне.

Ростов.



ТАТЬЯНА ГЛУШКОВА

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Здесь белый снег, как белый ливень,
апрель робеющий — не в счет.
И Волхов цвета спелой сливы
в снегах березовых течет.

Простор зимы, простор вселенский,
деревья — прутьики во льду.
По новгородской, деревенской,
по белой улочке иду.

Как будто вправду — северянка,
хоть не пряду, хоть не пою,
я просыпаюсь спозаранку
и каждый камень узнаю.

И эти низенькие хаты,
и седину ракич,
и этот ветер бородатый,
что до лилового заката
все ходит около, заклятый,
и поздний снег кружит...

* * *

В тот ранний час, когда пришла беда,
едва жива, я вышла на дорогу.
Июлем выжжена, белым-бела,
она упала к самому порогу.

Куда идти? Что делать мне — с тоской,
с собой, с июлем, с немотой, с любовью?..
Но широко вставал передо мной
и рвал листву, и вспыхивал шиповник.

А воздух плыл медовым гудом пчел,
а степь горчила теплым, тяжким хлебом,
и непреклонно подорожник цвел,
седым копьём почти касаясь неба.

Татьяна Глушкова родилась в 1939 году в Киеве. Первые стихотворения были опубликованы в 1962 году. В «Новом мире» печатается впервые.



А. МАКАРОВ

★

НАКАНУНЕ ПРОЩАНИЯ

Рассказ

В сентябре и октябре я большую часть времени провожу за столом. К вечеру, когда уже темнеет и приходится зажигать лампу, окно перед столом настораживает черной глубиной, отвлекает зеркальным отражением, и я его вскоре задергиваю. Задернутое днем, оно придает комнате вид не то больничный, не то утренний — я отодвигаю занавеску, хотя таким образом вижу все, что за окном.

Я вижу три избы, хлев и сарай возле одной из них, а за ними кусок дороги и заросли ольшаника за дорогой, позади поля. Избы — те же особняки, каждая имеет свое лицо, и оно чем-то да выражает сущность хозяев. Правда, ближайшая изба справа смотрит на мир двумя побеленными окнами, а Катя, хозяйка избы, одноглазая, или, как просто называют ее в деревне, кривая, но то, что окна окрашены масляной краской и под ними желтеют ногти, говорит о многом. Я так и не знаю, сколько лет Кате, но муж ее убит на войне, и, значит, ей не меньше сорока пяти. Глаз она «стеряла» еще в девушках, когда запустила воспаление от залетнего усика ржи, а еще раньше болела оспой и осталась рябой. Однако ни это, ни гибель мужа, ни одинокая тяжелая работа не вытравили из нее женского начала и легкого не по-деревенски характера. Вот покрасила же окна, посадила цветы, носит в кармане круглое зеркальце и, время от времени поглядывая в него, даже напевает. И к ней ездит лесник Иволгин.

Я живу здесь три года, и про Иволгина и их отношения узнал тоже три года назад, почти сразу, как приехал. В деревне все на виду, а чего не увидишь сам, о том тебе скажут — так же, как расскажут другим про тебя. Увидев Иволгина впервые, я был поражен. Он того же возраста, что и Катя, но красив не по этим местам, где мужчины одинаково носаты и нескладны фигурой. Высокий, темно-русый, с серыми глазами, чистым бледным лицом, легкий в движениях... В соседней деревне у него жена и двое детей, и говорят, что жена «видная», а нате вот — уже двенадцать лет ездит он к кривой Кате, которая ко всему еще и худа и мала ростом. Братья жены бивали его. Как-то раз ночью я слышал шум по соседству, а на другой день под незрячим глазом Кати красовался синяк. И мне рассказали, что шурыки приезжали, нашли и увезли Иволгина.

Но он верен своей «посёстре». Я только раз, совершенно случайно, видел его слезающим с велосипеда у крыльца: обычно он неспешно и целеустремленно проезжает мимо избы и мимо Кати, даже не повернув головы, и я каждый раз пугаюсь, что все кончено. Однако вскоре сомне-

ния рассеиваются: Катя, напевая, бежит за водой, стучит в сених крышками кадок, в которых огурцы и грибы. Дорогой гость дома. Я успокаиваюсь. Значит, не зря призывно белеют окна, упрямо светят сквозь крапиву ноготки. не зря мучилась бессонницей и страхами усталая женщина, затопив ночью печку, чтобы выгнать чугунок-другой мутного винца.

Когда они спят, эти женщины? И Катя, и ее соседка Маня поднимаются в пять. Уже в начале шестого туманом стелется прибываемый дождиком дым от затопленных печей. гремят ведра возле колодца. В восемь, выгнав коров, повязывая на ходу платки, идут к подводе на дороге, и Антон Милый увозит их на работу. Обедом тот же Антон возвращает их домой, и бабы не ленятся, не оставляют заботами усадьбу. Но вот Антон снова призывно материт флегматичного Красного, и, оглядываясь на мое окно, соседки бегут к дороге. Теперь они вернутся в сумерках, и мне бы не прозевать соседских коров, выгнать из лакомого люпина, как пригонят с поля, загнать в постылый хлев. Овцы? Бог с ними, с овцами,— не хочется бегать, так загонит к себе кто другой, потом разберутся, отыщут. А корова, как и усадьба,— половина жизни. Катина Конфета своенравна и больше всего любит люпин. Я злюсь, когда она приходит, повторяю все излюбленные Катины ругательства, повторяю негромко, поскольку они не для всякого даже мужского уха. Но молоко у Конфеты и впрямь сладкое, жирное, и забот она стоит.

У Катининой соседки Маньки сейчас рыжая бокастая телка с добрыми в белых ресницах глазами. Она совсем ручная оттого, что уж очень бережет ее хозяйка. Да и как не беречь? Весной была у Маньки молодая и тоже ласковая Блинка, но на третьем выгоне корова Сатанихи, взывав быком, вскочила Блинке на хребет, и прямо с поля страшно воющая Манька повезла свою жадобку за восемьдесят километров на сдачу. Хорошо хоть дожила до приемщика Блинка,— довезли ее с переломленным хребтом. А не случись так скоро машины? Худо было бы.

И так пришлось несладко крупной басовитой Маньке. Это ее хлев и сарай загромождают от меня ее же избу возле дороги с притиснувшейся вплотную березой. Такая же вдова, она живет одна, в избе густо и кисло пахнет махорочным дымом, но чисто, благо обметать, обгирать особенно нечего. Сын ее Владимир жил с женой в той избе, что сейчас заколоченная стоит прямо напротив моего окна. Тоже особняк, и также успела отгородиться досками от всего родного и живого душа молодого еще парня за время жизни где-то под Архангельском. Когда случилась беда с Блинкой, почерневшая Манька попросила меня написать сыну. От себя прибавлять ничего не пришлось, письмо это выжало бы слезы даже из золы. но ответа все не было. Наконец, уставший от просьб, бесильный помочь, председатель написал сам, пригрозил общественным мнением, и хозяин забитой избы приехал в августе. Неприлично разбухшая его жена рвалась варить варенье, но неудавшаяся весна прибила ягодники, лето и вовсе их иссушило, и Манькина невестка с утра раскладывала себя на одеяле прямо возле избы, а шоферы проезжих машин еле ползли мимо этой стиснутой голубым шелком копны. Сам Владимир, наоборот, успел подрастерять здоровье, повидал мир, приобрел ощущение собственной значимости, но более всего мучился от вида своей заколоченной избы, напоминавшей о том, что и он мог некогда жить в этих местах. Жена его презирала.

Манька записывала по деревне в долг молоко и сметану, перевела кур, выгнав вина, раздобывала на озерах у рыбаков рыбу, все надеялась, и эта надежда ночами гнала ее косить с краю леса на спорных для колхоза и лесничества полянках. Владимир дал полсотни. Он, может, дал бы и больше, да приехал в отпуск чубатый Баранихин Федька, его сер-

жантские из фольги нашивки раза три сверкнули на дороге, и подхвати-лась Манькина невестка по грибы. В деревне умеют ласково, участливо поинтересоваться семейными делами, приправить, о чем умолчишь. И как ни крепилась баба, как ни хотелось ей угождением возбудить в родных тароватость, да не выдержала,хватила у Кати с горя красненького и пошла разбираться с невесткой. На другой день гости уехали, а еще через три дня, не вовремя, не в цену отдав овечек, пригнала моя соседка телку. К чести деревенских скажу, что мало кто не ходил порадоваться, поплевав на животину, похвалить, поздравить с заводом. Назвали телку Жалёнкой.

Живут соседки согласно, хотя усадьбы их разделены лишь полоской травы, скашиваемой поровну. Однако время от времени они, словно понимая неестественность таких отношений, начинают беспричинно, бестолково и яростно ругаться. Скоротечно, впрочем... Я слушаю их с восхищением и удовольствием и искренне убеждаю, что не гневаюсь, когда они поочередно приходят извиняться за шум, за то, что помешали моей непонятной, «смешной» работе. И вообще, поначалу настороженные, они теперь привыкли к тому, что я человек, видать, крепко ушибленный жизнью, как говорится — с большим приветом, и раз не нашел иного места для своей хворобы, то меня можно и пожалеть. За то, что загоняю скотину и помогаю резать дрова, Катя раза два в неделю носит молоко, Манька — мелкие горькие огурцы и картошку. Не взять невозможно, я благодарю и еще больше боюсь пропустить время пригона.

Случается мне получать и сметану и даже — бутылочку, оставшуюся от Иволгина... Каким-то чудом преодолев вековую убыточную расчетливость, Катя с весны купила в городе тридцать инкубаторных цыплят. Все дивились, предсказывали, что без надзора эти деньги погибнут, а она бросила цыплят облезлой голошей курице и, казалось, вовсе забыла про них. Сначала вороны и сороки, потом коршаки и лисы убавили цыплят вдвое, но остальные сделались курочками и петушками и с тремя старыми курицами целыми днями толкутся под моим окном. Петушки смешно и противно кричат в урочное время, топчут старых кур, и те, с недоумением и отвращением покоряясь, потом дергают у них перья в отместку за неловкость. А мне случилось подстрелить несколько ворон и сорок, как-то даже отпугнуть ястреба, и единственный глаз соседки каждый раз сиял благодарностью, когда она приносила свои яства.

Вижу соседок я все-таки редко. Вот только когда спешат к дороге утром, идут от нее обедом, едва не касаясь лбом земли, волокут в сумерках, а то и по-темному дрова или запретное сено. Иногда Манька заходит ко мне и, присев под печкой на лавку, молча сидит, распластав по коленям руки, на которые я стараюсь не смотреть. И я понимаю, что табак у нее вышел, что она крепилась, потом одалживалась у товаров и даже у мужиков, а теперь уже мочи нет терпеть и стыдно, неловко попросить. Тогда, порасспросив о Жалёнке, о том, где сегодня работали, я мимоходом говорю, что вот опять прислали мне зачем-то «шипку», а я курю только «спорт» и его навалом в нашем магазине, жалею, что старый Гришка Сынок посмотрел мою сеть. И тем поставив под сомнение нашу с ним дружбу, показав, что девать мне нежданное курево некуда, предлагаю несколько пачек ей. А поняв по ее лицу, какой я все-таки, оказывается, прекрасный человек, потом долго утешаюсь этим, жалея лишь, что досталось мне это озарение недорого.

Случилось мне видеть соседок иными... Весной Маня продала теленка. Продажа обязывала прогулять барыши, и Манька позвала меня и Гришку Сынка, выставив две бутылки, за которыми сбегала в Покровское — село, где «дурочка» не выводится, поскольку там стоят бригадой

рыбаки. Но тем же вечером неожиданно нагрянули на тока московские охотники и навезли всякого-всякого. Я позвал Маню к себе. Позвал я и Катю, пришел неременный, любимый всеми моими приятелями Сынок, сама же Манька задержалась. До сих пор не прощаю и никогда не прощу двум спутницам моих охотников их улыбки при виде ее платья черного бархата, хочу только, чтобы в том же возрасте оказались они не одни и не пришлось бы им так лихо. Чтобы сумели так же достойно держаться в компании незнакомых людей, так вот отщипывать хлеб за подобным столом после своего голого.

Для танцев места не нашлось, но петь пели. Нету таких новых песен, чтобы охотно пелись вечером, при свете лампы, и пели старые русские песни. Не знаю где как, а в нашей деревне поют мало и песен не знают. И одну и другую песню заводили ставшие заметно попроще горожанки, а соседки сидели все так же прямо, улыбаясь мне, когда встречался с ними взглядом. Устав от разнобоя и непривычного шума, я к тому же вспомнил, что забыл покормить собаку, и вышел. А когда возвращался, то еще в сених услышал вдруг, что поют негромко и прекрасно. Уже потом оказалось, что один из приезжих, больше дурачась, чем всерьез, запел «Катюшу», и вдруг Маня и Катя согласно подхватили ее. Они сидели не рядом, не сговариваясь, поделили голоса и теперь с помощью одного из приезжих пели сами.

Они молодели на глазах, мои вдовы. Я помню эту песню и время, в которое она появилась, но они помнили его лучше: они были тогда молоды и любили и жили иначе. Этой песней началось и кончилось с войной их счастье, и старый Сынок плакал, вспоминая так же просветленно, как они пели...

Осенью три избы из моего окна выглядят особенно неказисто под серым небом, и только рябинки возле каждого сарая оживляют картину, пока их не обворуют дрозды. Я подумываю о предстоящем отъезде, подумываю тем чаще, чем чаще приходится топить чугунок и разбивать ледок в умывальнике на дворе. Мне уже и хочется побывать в Москве после полугодового отсутствия, ненадолго удивиться ванной, ненадолго позволить занять себя телевизором. Но я знаю также, что совсем скоро после возвращения в город все снова и снова буду вспоминать утреннее мычание коров, звяканье ведра у колодца, негромкие голоса за бревенчатыми стенами. И за окном три избы, позади которых кусочек дорогн.



Ф. КАМОВ

★

Я — МАЛЕНЬКИЙ

Рассказ

Сколько я себя помню, я всегда был маленьким. В школе, в институте, на работе...

В школе я всегда стоял на левом фланге. Если между мною и правофланговым было от двадцати до тридцати человек — все зависело от количества учеников в нашем классе, — то между мною и левофланговым больше двух человек не было ни разу, и, когда мы держали равнение направо, никто не искал глазами мою грудь, грудь четвертого человека, считая себя первым. Это было очень обидно и несправедливо.

Место самого высокого ученика не было постоянно закреплено — ребята росли и по очереди обгоняли друг друга, — но место самого маленького ученика, как правило, делили мы вдвоем с Титаренко. Титаренко был живой, плотный, наголо постриженный парень, который из любой драки выходил целым и невредимым. Когда он не мог кого-нибудь одолеть, то уходил в сторону, разбежался и с налета, как маленькое толстое ядро, толкал противника в грудь. Наивны те, кто думает, что драться можно только за первое место. За предпоследнее место идет точно такая же борьба. Даже, может быть, еще сильнее, потому что вторым быть не так обидно, как самым последним...

Титаренко был мой конкурент на предпоследнее место, и я постоянно над ним подшучивал. Вообще я любил смешить учеников, учителей, себя. Я это делал постоянно и непрерывно, до оскомины во рту, так что самому становилось противно и хотелось долго-долго молчать. Я приходил домой и молчал и считался в нашем доме очень серьезным мальчиком. На самом деле я не был серьезным, я просто отдыхал и набирался сил к следующему дню.

Обратите хоть раз внимание на детей, когда они возвращаются из школы. В центре группы, как правило, вертится самый маленький ученик и непрерывно острит. Чаще всего над самим собой. Это помогает ему утвердиться в собственных глазах и хотя бы частично компенсировать разницу в росте. Большой человек никогда не рискнет поставить себя в смешное положение, а для маленького это один из способов утешения: он выше тех людей, которые над ним смеются, потому что не он попал в смешное положение, а сам его создал. А когда ты можешь создать то, чего не могут другие, этим уже можно гордиться.

Некоторые люди на всю жизнь остаются маленькими мальчиками, которые вертятся в центре группы и непрерывно острят. С годами их уважают все меньше и меньше, и это их вина, а не окружающих, потому что с возрастом человек должен или умнеть, или хотя бы не показывать собственную глупость, а это так трудно сделать, когда надо непрерывно острить в центре группы.

...Сколько я себя помню, я никогда не любил драться: ни в школе, ни в институте, ни на работе...

В детстве мне некогда было драться. Мы жили в огромной коммунальной квартире, которую до революции занимала одна француженка, и в этой квартире на двадцать взрослых приходилось шесть детей. Когда дети возвращались из школы, они набрасывались на меня, единственного дошкольника, и тащили играть в учеников и учителей. Я был ученик, а все они, даже Ритка-первоклассница, были учителями. У меня не было свободной минуты, потому что они занимались в две смены и когда одни из них были в школе, другие сидели со мной. А потом они менялись местами. К пяти годам я уже бегло читал, считал, писал и даже знал немецкие слова. Но на драку у меня не оставалось времени.

Может быть, поэтому я миролюбивый человек, и с этим теперь ничего не поделаешь. К этому надо привыкнуть. Переделать это невозможно. В самых критических ситуациях в первую очередь мне приходит в голову мысль о перемирии и только потом мысль о том, что надо подраться.

Когда на даче под Москвой мои хозяева дрались с какими-то ребятами и дело дошло до топоров, неожиданно для самого себя я влетел в кучу дерущихся и начал их мирить. Если бы они меня послушали, я, может быть, и добился бы своего, но первый же парень, к которому я обратился со словами мира, ударом в зубы отправил меня в канаву, где я и пролежал до конца драки.

Труднее всего мне было в школе. Я учился в классе с боевыми традициями, и через мою парту по нескольку раз в день по всем направлениям проходили записки с вызовом на бой. Лично мне записки не писали — я их только передавал, — и, очевидно, среди остальных учеников я был чем-то вроде нейтральной Швейцарии.

Только Титаренко иногда вызывал меня на бой. У него была команда, состоявшая из самых маленьких ребят нашего класса, и эти ребята представляли собой грозную силу, потому что периодически клялись друг другу в вечной дружбе. Я очень хотел попасть в команду, а Титаренко то брал меня в нее, то прогонял и тут же вызывал на бой.

Но я отказывался драться. Я не видел смысла драться с тем, к кому я не чувствовал ненависти, а так как я не чувствовал этой ненависти ни к кому, то не хотел драться ни с кем. Я хотел в команду, хотел клясться друг другу в вечной дружбе.

— Если я дам тебе пистолет с тремя патронами, — прошептал мне однажды Титаренко, — кого ты убьешь?

— Не знаю, — ответил я, подумав.

— Такие вещи надо знать заранее.

Я подумал еще, и оказалось, что у меня не было врагов. У Титаренко враги были, а у меня нет. Вернее, у меня они тоже были, но я быстро о них забывал. И мои враги меня не боялись.

Меня никто не боялся. Я помню только один случай, когда я шел по школьному двору и гнал перед собой камешек. Парень, бежавший навстречу, хотел ударить по моему камешку, но не решился и несмело посмотрел на меня. С того дня прошло двадцать лет, но я до сих пор помню, где это произошло: между трансформаторной будкой и стеной дома. Сейчас на этом месте построили гараж...

...Сколько я себя помню, мне всегда казалось, что я останусь холостяком. Девушки на улице на меня не оглядывались. Высокие смотрели поверх меня, низкие — мимо меня. Это продолжается до сих пор, но сейчас мне почти безразлично, а тогда было обидно.

Я учился в школе с раздельным обучением. Девушки допускались туда раз в месяц на вечера танцев, а если мы плохо себя вели, то только

на Новый год. Между нами и ними существовал невидимый барьер. Через него перешагивали лишь самые отчаянные. Остальные или безуспешно его штурмовали, или подсматривали в щелочки, не помышляя о знакомстве. До сих пор встречаются мужчины моего поколения, которые в тридцать лет теряются в женском обществе. Продукт раздельного обучения.

Для меня этот вопрос в свое время был очень болезненным. Между мною и правофланговым всегда находилось от двадцати до тридцати человек, и с моим ростом было, конечно, трудно штурмовать барьер раздельного обучения. А потом у меня вдруг обнаружили сходящееся косоглазие. Весь класс промаршировал в голом виде перед медицинской комиссией, но сходящееся косоглазие обнаружили только у меня. Последствия этого были ужасны. Меня признали негодным в сверхзвуковую, истребительную и бомбардировочную авиацию. Я никогда раньше не собирался в авиацию. Ни в истребительную, ни в бомбардировочную, ни тем более в сверхзвуковую. Но когда меня признали годным только в транспортную авиацию, барьер между мною и всеми женщинами земного шара стал непреодолимым.

В институте раздельного обучения не было, но я почему-то поступил на такой факультет, куда девушки не шли. Я мог пойти в другой институт. Как говорил наш школьный математик, куда бы я ни пошел, я бы везде учился средне. Ни хорошо и ни плохо. А раз так, то я мог пойти в другой институт. Или на другой факультет, где было много девушек. А я пошел туда, где их было очень мало. Двенадцать девушек на двести ребят. И, конечно, я не мог конкурировать с высокими красавцами нашего курса, тем более что таких красавцев требовалось всего двенадцать штук. А еще к нам бегали красавцы со старших курсов. Со второго курса, где было всего четыре девушки, и с третьего, где была одна. И это нам не нравилось. Не знаю, как другим, но мне это точно не нравилось.

Однажды я все-таки решился и назначил свидание. Но когда она пришла в условленное место, то оказалась почему-то на голову выше меня. До сих пор не понимаю, как это произошло. Я не мог ошибиться, когда присматривался к ней и когда приглашал на свидание. Для меня это был слишком большой вопрос, и я всегда тщательно за этим следил. Я сразу же проводил ее до метро и больше никогда не видел.

Шло время, а я все не мог выполнить задание, которое дают художникам. Я не мог нарисовать стул, на котором сидела моя любимая девушка. Стулья были, сколько угодно. Не было любимой девушки.

И вдруг все изменилось. Я просыпался первый и целый час лежал тихо, ждал, пока она проснется, пока откроет хотя бы один глаз.

Такой тахты, как у нас, ни у кого не было. Это была уникальная тахта. Тахта по заказу. С двумя ящиками. Авторский экземпляр. Один из ящиков служил бельевым шкафом, другой заменял остальную мебель. Из мебели у нас была только тахта и широкий подоконник. Нам этого хватало. На худой конец мы могли обойтись даже и без подоконника.

Мы снимали комнату в деревянном доме. Этот дом был очень старый, и гвозди входили в стены от простого нажатия пальца. Комната была крошечная, как будто специально созданная для жильцов маленького роста. Если бы в ней поселился высокий жилец, его ноги торчали бы по ночам в коридоре, мешая соседям. Нашей первой покупкой были три метра дешевой материи неизвестно для чего. Мы гордо принесли ее домой, и она лежит у нас до сих пор, потому что жалко выбросить. Когда не было денег, мы шарили по всем карманам и что-нибудь находили. У нас были великолепные кулинарные способности. Мы делали суп из ничего. Когда ветер дул со стороны конфетной фабрики, мы открывали окно и пили чай впринюшку. На шестом месяце беременности мы сообща защитили ее диплом.

Мы ссорились. Мы могли себе позволить такую роскошь, чтобы ссориться даже в наши дни рождения. А наутро мы мирились:

— Давай сегодня считать день рождения.

Мы всегда мирились наутро. Что бы там ни было, а наша тахта с двумя ящиками никогда нас не подводила. Она мирила нас после любой ссоры, после любых обид.

Теперь я уже мог нарисовать стул, на котором только что сидела моя любимая девушка. Она была одного роста со мной, и я разрешил ей надевать туфли на высоких каблуках — огромная жертва с моей стороны.

...Сколько я себя помню, я никогда никому не завидовал. Я завидовал только людям большого роста.

Особенно я завидовал большим, когда мы были в военных лагерях. Ты идешь в последнем ряду и тащишь автомат, патронташ, скатку, саперную лопатку, сапоги. Из тебя выбивают штатский дух, но не это тебя угнетает, а то, что ты идешь самым последним, а тащишь то же самое, что и первый. Для больших надо делать большие автоматы, большие патронташи, большие скатки, большие саперные лопатки... Иначе где же справедливость?

Я маршировал в конце колонны и глотал пыль. Это очень унижительно: на тротуаре стоят люди и смотрят. А ты идешь в последнем ряду с виноватой улыбкой и проклинаешь все на свете, потому что ты даже толком не понимаешь, что же надо проклинать. Вся пыль от сапог отделения, взвода, роты, батальона принадлежала нам, задним, и если передние на ходу гордо смотрели по сторонам и любовались природой и самими собой, то мы, задние, шли в густом тумане, глотали пыль и как чуда ждали команды «кругом, марш!».

Я глотал эту пыль всю жизнь, и даже когда ее не было, я глотал ее морально. Мне было пятнадцать лет, уже почти шестнадцать, но в кино меня все равно не пускали. И не пускали-то не на какую-нибудь порнографию, а всего лишь на «Миклуху-Маклая». Все высокие ребята нашего класса видели «Миклуху-Маклая», а меня не пускали. Сейчас это кажется смешным, но тогда мы рвались в кинотеатр, где в одном месте на общем плане мелькали среди деревьев почти обнаженные женщины. Несчастный я был человек: мало того, что на мне экспериментировали раздельное обучение, так еще не пускали на «Миклуху-Маклая».

Как мне хотелось тогда стать большим!..

Если бы я стал большим, я бы нагибал голову, входя в любую дверь. Я это могу делать и сейчас, но сейчас это мне не доставляет удовольствия.

Если бы я стал большим, я бы обязательно сделался сильным. Маленькому бессмысленно быть силачом. С большими ему все равно не справиться. Просто не поднять. Как приятно, наверно, поднять противника и бросить его об землю. А маленькому не поднять, а если поднять, то как следует не бросить.

Я с презрением смотрел на тех больших, которые слабы и хилы. Природа дала им рост, вес... Этим нечего хвастаться. Это от них не зависело. Выросли, и все тут. А могли спокойно и не вырасти. Но раз уж ты вырос, то станешь сильным. Сделай сам хоть что-нибудь...

И еще я терпеть не мог, когда при мне начинали говорить, что большие и сильные люди все добродушны. Во-первых, это неверно, а во-вторых, это им ничего не стоит. Легко быть добродушным, когда ты сильнее всех и тебе ничто не грозит. Вот если маленький остается добродушным, несмотря на все опасности, которые его подстерегают, так это подвиг, это явление высокого человеческого духа.

Вы, большие, попробуйте быть добродушными, когда каждый встречный сильнее вас, когда усилием воли вы заставляете себя пройти мимо

группы людей в темном переулке, когда вы не уверены, что сможете защитить идущую рядом с вами девушку. Вам это даже не приходит в голову, большие! Ведь вы живете в другом мире, где смотрят сверху вниз или в крайнем случае по горизонтали...

И тогда в отместку большим я придумал стройную систему мирового прогресса. Чтобы восстановить справедливость, а также для собственного утешения.

Я утверждал, что маленькие всегда были двигателями прогресса. В то время, когда здоровяки силачи с удовольствием ворочали огромные глыбы и не помышляли ни о какой механизации, маленькие волей-неволей задумывались над тем, как же поднять эти проклятые грузы с малыми силами, и в результате изобрели рычаг, лебедку и систему блоков (изобретатель Архимед, рост сто шестьдесят пять сантиметров).

Когда большие, ни о чем не думая, весело резвились на марафонских дистанциях, какой-то запыхавшийся от бега маленький в порыве отчаяния изобрел колесо. Вскоре все большие как один носились на велосипедах и самокатах, хвастаясь своей силой и выносливостью в многодневных пробегах, а маленькие уже стояли над чертежными досками и изобретали паровоз (изобретатель Стефенсон, рост сто пятьдесят восемь сантиметров).

Когда большие праздновали победу в кулачном бою, маленькие вытирали разбитые носы и, плача от бессилия, изобретали сабли, шпаги, ружья, пушки и самолеты. Потом большие кололи маленьких шпагами, рубили саблями, стреляли в них из ружей и пушек, бомбили с самолетов, а они зализывали раны и придумывали щиты, кольчуги, окопы полного профиля и противовоздушную оборону.

Но большие надевали на себя кольчуги, брали в руки щиты, залезали в окопы полного профиля, и маленьким не оставалось ничего другого, как придумывать перевязочные средства, восстановительную хирургию, лечение открытых и закрытых переломов и зубное протезирование.

Что ни придумывали маленькие, все шло на пользу большим. Они делали зарядку, пили томатный сок, у них улучшились санитарные условия, заработала сеть оздоровительных учреждений, появился научно обоснованный рацион питания, и, как результат этого, среди больших резко сократилась смертность.

На этом я остановился. Я мог бы, конечно, сделать так, чтобы маленькие изобрели бессмертного человека, но мне не очень этого хотелось...

Когда я родился, были карточки, и что-то, что должно было в меня попасть и повлиять на мой рост, в меня не попало.

Война началась, когда мне было девять лет. Мы узнали о войне на даче в Томилине во время игры в лото. Сказал прохожий. Ему не поверили, включили радио.

Первые два года войны мы жили в эвакуации, и я получал по карточкам сто пятьдесят граммов хлеба. Брат тоже сто пятьдесят. Мама служила в учреждении, и ей давали больше — двести граммов. Других магазинов, кроме хлебного, в нашем городке тогда не было.

Сначала, как только мы туда приехали, мама меняла вещи на молоко, на картошку, иногда на масло. Когда я заболел корью, маме удалось с большим трудом выменять свое шелковое платье, в котором она ходила до войны в Большой театр, на два литра молока.

Временами маме удавалось пристроить нас в специальную столовую. В ней раз в день давали суп из соленых помидоров, немного каши и чай с сахарином. И только один раз давали мясо: ночью на соседнее село налетела стая голодных волков и начала резать колхозное стадо. Бро-

нетанковое училище, располагавшееся в нашем городке, подняли по тревоге. и на учебных танках они помчались отгонять стаю от насмерть перепуганного села. Больше на моей памяти нападения волков не было, а если и было, то, очевидно, в то время, когда я не ходил в столовую.

Однажды нам выдали по талону одного поросенка. По тому времени это было событием, хотя поросенок оказался маленьким и тощим, спровсвечивающими сквозь кожу ребрами.

Резать поросенка пришлось брату, больше было некому. До этого он поросят не резал, а любил почитать книжку или сыграть в шахматы. Проконсультировавшись предварительно у нашей хозяйки, он положил поросенка на верстак, но тот взвизгнул от испуга, вырвался, спрыгнул с верстака и помчался в огород. Мой брат схватил топор и побежал за ним, прыгая по грядкам и топча хозяйскую морковку. Хозяйка бежала сзади и советовала.

Поросенка зарезали на другой день, когда он успокоился и начал подпускать к себе людей. Зарезал его соседский парень, которому мама отдала старую шапку и который за это еще перепилил и переколол нам два кубометра дров. Этого поросенка мы ели два месяца: сначала мясо, потом кожу и наконец студень из его костей.

Потом брата забрали в армию. Его забрали зимой, прямо из десятого класса, и у нас остались его учебники. Летом, когда старую картошку мы уже съели, а новая еще не выросла, я брал эти учебники и шел на рынок. Лучше всего расходились книжки, напечатанные на тонкой бумаге. Их покупали на самокрутки.

Я выторговывал в день восемьдесят—сто рублей на те деньги и покупал себе одну шангу — лепешку из травы и отрубей с картофельной начинкой. Я съедал ее тут же, на рынке, и шел домой.

Многое я сейчас забыл, но отчетливо помню один вечер, когда я лежал в кровати и с нетерпением ждал наступления утра: утром мама обещала сварить молочную лапшу. Тогда мне было десять лет.

Еще я помню, как ранней весной, лишь только сошел с полей снег, мы пошли выкапывать из намокшей глины прошлогоднюю, перезимовавшую в земле картошку. Вернее, это была уже не картошка, а чистый крахмал, болтавшийся в кожуре, как в мешочке. Но мы опоздали: другие счастливики раньше нас выкопали ее, и нам досталось так мало крахмала, что мама сумела испечь из него всего две лепешки. Тогда мне было тоже десять лет.

Еще я помню, как мы с ребятами лазили под какой-то амбар и таскали яйца прямо из-под кур. И как мы воровали на станции морковь. Это была кормовая морковь, огромная и невкусная, и ее охраняли тетки с винтовками. Тогда мне было тоже десять лет.

Короче, то, что должно было в меня попасть и повлиять на мой рост, в меня не попало. Но не буду же я обо всем этом рассказывать каждому встречному, который посмотрит на меня сверху вниз. А если буду, он меня и слушать не захочет. Чего ему слушать: может быть, с ним случилось то же самое, что и со мной, но он вырос, а я нет. Он большой, я — маленький.

Теперь я тоже большой. Я не вырос, но я все равно большой. У меня есть сын: он для меня маленький, я для него большой. Самый большой человек на свете — это я. Больше меня нет никого.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Л. ПАНТЕЛЕЕВ

★

О МАРШАКЕ

1

Я знал его, любил, учился у него и дружил с ним без малого сорок лет. Чтобы рассказать обо всем, что сохранила память, понадобилась бы книга. А у меня сейчас есть возможность написать только самые беглые заметки.

Познакомился я с Самуилом Яковлевичем весной 1926 года в детском отделе ленинградского Госиздата, куда мы с Гришей Белых пришли узнать о судьбе нашей первой повести. Встретили нас там приветливо, даже восторженно, и, пожалуй, особенно любезен и приветлив был Самуил Яковлевич, но почему-то именно о нем, о тогдашнем Маршаке, я меньше всего могу сейчас вспомнить и рассказать.

Гораздо лучше запечатлелся в моей памяти уже тогда пленивший меня по-мальчишески жизнерадостный, неистощимый на шутки Евгений Львович Шварц.

С первой же встречи и навсегда остался в памяти вулканически-спокойный, сдержанный, чуть-чуть нахохлившийся, прищурившийся Б. С. Житков.

И еще ярче, со стереоскопической отчетливостью стоит передо мной высокая фигура Корнея Чуковского, которому в солнечный весенний день в нашем присутствии Е. Л. Шварц читает кусочки из шкидской главы «Крокодил».

Корней Иванович слушает, посмеиваясь, одобрительно поддакивая, потом, повернувшись в нашу сторону, разводит руки и говорит своим неповторимо певучим, высоким, театральным, ложноклассическим голосом.

— Ну что ж, — говорит он. — Нам тлеть, вам цвести!..

А вот Самуила Яковлевича Маршака — такого, каким он был в те далекие весенние дни, — я не запомнил.

Счет нашему близкому знакомству я веду с другого дня — с четвертого ноября того же двадцать шестого года.

В этот день я вышел из тюрьмы. Упомянуть об этом мне, сказать по правде, не хотелось бы, но, поскольку я взялся писать не роман и не повесть, а воспоминания и поскольку эта подробность будет в дальнейшем играть некоторую роль, я должен объяснить, в чем дело.

А дело обстояло так. Рукопись «Республики Шкид» была уже написана, сдана в редакцию, была принята и одобрена, должна была идти на редактуру, а в это время один из авторов повести исчез.

Этому автору, как известно, приходилось и раньше иметь дело с законом, сидеть за решеткой, но до сих пор всегда это было справедливым воздаянием за содеянное. А на этот раз автор, по правде сказать, не так уж сильно провинился. Он не был пьяницей, скорее был непьющий, но случилось, что с какого-то горя он выпил, во хмелю где-то кого-то толкнул, кто-то толкнул его, и на другое утро молодой литератор проснулся в милицейской камере, а через несколько часов уже стоял перед столом судьи. На его несчастье, в городе проходила очередная кампания по борьбе с хулиганством. Для острастки и в назидание другим молодым людям судили и сажали не только настоящих хулиганов, но и всех, кто не слиш-

ком деликатно вел себя в общественных местах. Судимых было так много, что держали и судили их под открытым небом, во дворе, куда был вынесен столик и другая необходимая мебель.

Мне по незначительности преступления дали шесть месяцев исправдома, другие получали по году и больше.

Три дня моя мать не знала, где я и что со мной. Наконец к ней явился Гриша Белых.

— Не беспокойтесь, Александра Васильевна, — утешил он ее еще с порога. — Не волнуйтесь, с Леной все в порядке — он в тюрьме.

Прийти же с таким радостным сообщением в редакцию Гриша постеснялся. В самом деле, как же так: автор книги о перевоспитавшихся преступниках и вдруг на тебе — сидит в тюрьме. Когда у Гриши спрашивали, куда пропал Пантелеев, почему он не появляется, мой бедный соавтор застенчиво улыбался, краснел и говорил, что Пантелеев живет на даче.

Между прочим, «на даче», в лазарете Ново-Знаменского исправдома, около Стрельны, я заново написал главу «Ленька Пантелеев».

Наконец Белых решился и, оставшись как-то наедине с Самуилом Яковлевичем, открыл ему тайну моей «дачи».

Начались хлопоты. Е. Л. Шварц сочинил соответствующую бумагу о молодом, подающем надежды, за меня поручились, и 4 ноября 1926 года, отсидев в исправдоме ровно сто дней, я досрочно вышел на свободу. В тот же день под вечер, позвонив из автомата Самуилу Яковлевичу, я услышал его милый, слегка задыхающийся голос:

— Алексей Иванович? Это вы? Ну, очень рад, поздравляю вас, голубчик. Вы свободны? Приезжайте ко мне!

— Когда приезжать?

— Сейчас. Прямо, не откладывая. Вы можете?

Не заходя домой, я сел в трамвай и поехал к Таврическому саду на Потемкинскую улицу.

Еще нажимая кнопку звонка, я услышал такое, что заставило мое сердце екнуть и насторожиться.

Открыл мне Самуил Яковлевич. И сразу же меня ослепил электрический свет, оглушили шум голосов, смех, звон посуды.

Самуил Яковлевич обнял меня, еще раз поздравил и поцеловал. А я стоял и краснел и лепетал что-то вроде:

— Я вам, кажется, помешал? У вас гости?

— Нисколько не помешали. Наоборот, очень кстати. Сегодня день моего рождения — мне стукнуло тридцать девять лет!

И Самуил Яковлевич потянулся к воротнику моей сильно потрепанной кожанки:

— Давайте раздевайтесь! Идем...

В то время я вообще был очень застенчив и стеснителен, а тут еще случилось так, что я не мог исполнить самой простой просьбы Маршака — раздеться: кожаная моя тужурка была надета прямо на полосатую матросскую тельняшку-безрукавку. Занкаясь и краснея, я объяснил Самуилу Яковлевичу трудность моего положения. Он подумал, сказал что-то вроде «н-да» и предложил в виде компромисса пройти в свой кабинет. В этой маленькой светлой комнате меня чем-то угощали — кажется, виноградом или арбузом. Самуил Яковлевич был очень ласков, нежен со мной... Кого-то он приводил, с кем-то знакомил меня, говорил по моему адресу всякие лестные слова, потом принес корректуру «Республики Шкид» и стал читать вслух главу «Ленька Пантелеев». Помню, когда он читал, скрипнула дверь и в комнату осторожно заглянул бледный десятилетний мальчик:

— Папочка, можно и мне послушать?

— Нет, Элик, милый, уже очень поздно! Вот, познакомься, голубчик, с Алексеем Ивановичем и иди спать.

Мальчик подошел, поздоровался и еще раз несмело попросил разрешения

«хоть капельку» послушать. Ему не позволили. Губы у него запрыгали, он тихо заплакал и ушел.

А я, вероятно впервые в жизни, испытал чувство авторской гордости: подумав только, из-за каких-то паршивых страничек, написанных ночью в тюремном лазарете, человек плачет!

В этот день в моей жизни случилось то, о чем трудно рассказать словами. В этот день я стал любить Самуила Яковлевича Маршака.

2

Вскоре после этого Маршаки переехали на другую квартиру — на Липтейный проспект, угол улицы Пестеля. И я стал часто бывать у Самуила Яковлевича. Впрочем, если быть точным, то не так уж часто. По тогдашней своей застенчивости и нелюдимости я бывал у него куда реже, чем он меня звал и хотел видеть. И гораздо реже, чем мне самому хотелось.

Иногда я не видел его недели две, а то и месяц. Потом, устыдившись и соскучившись, звонил ему из автомата.

— Что вы за странный человек! — кричал он в телефонную трубку. — Куда вы исчезаете? Приходите!

В письмах того времени тоже часто звучит это «что вы за странный человек!».

Тут дело было, по-видимому, не только в стеснительности. Вероятно, эти первые встречи были мне, так сказать, не совсем по плечу. Парень я был довольно начитанный. Кончив по нынешнему счету всего шесть-семь классов средней школы, я все-таки знал, пожалуй, значительно больше, чем наш сегодняшний семиклассник. Знал и классическую и современную литературу, читал кое-что и по философии, и по психологии, и по политической экономии. С удовольствием и много читал стихи. Но все это было без всякого плана, без малейшей попытки как-нибудь привести в порядок эти занятия. Сегодня я читал Апухтина или, скажем, Демьяна Бедного, а на другой день приносил с Александровского рынка сонеты Петрарки, или какой-нибудь сборник духовных песен, или напечатанные на оберточной бумаге брошюры футуристов. И читал все это вперемешку. Так же вперемешку читал я Карла Маркса и Владимира Соловьева, Джека Лондона и Мережковского, книги по истории живописи и книги по истории ордена иезуитов, самоучители иностранных языков и какой-нибудь учебник по криминалистике или дактилоскопии. А при этом русскую грамматику я знал очень плохо. И вообще дырок, прорех в моем самообразовании было немало.

Я читал кое-что из Есенина, Блока, Ходасевича, Северянина, Верхарна, Уитмена, Бодлера и других, но Пушкин был мне знаком только по школьным хрестоматиям. В восемнадцать лет я прочел всего Зигмунда Фрейда и всего Гамсуна, читал Рабиндраната Тагора и Эптона Синклера, Сологуба и Ницше, Стриндберга и Германа Банга, но, пожалуй, Гоголя я тоже знал только по школьной программе: «Чуден Днепр»... Плюшкин... Коробочка...

И вот я попал к Маршаку. Он оглушил меня стихами. Оглушил буквально, потому что на первых порах мне было как-то даже физически трудно. Так чувствовал бы себя, вероятно, человек, не знавший до сих пор ничего, кроме мандолины или банджо, и которого вдруг посадили бы слушать Баха, да еще перед самым органом.

Самуил Яковлевич читал мне стихи при каждом удобном случае. И читал главным образом именно такое — органное, громокипящее: пушкинский «Обвал», «Пророка», державинские оды...

Он учил меня понимать стихи.

— Смотрите, как великолепно, как зримо, почти как здание, как нечто объемное, трехмерное, строится у Пушкина стих! Как он из самых простых слов создает ощущение огромной высоты. — говорил Самуил Яковлевич, быстро шагая по кабинету, и громко, как-то по-особенному, по-маршаковски, читал пушкинские

строки, печатая каждую букву, каждый звук, каждое «п» и каждое «д», помогая руками и даже головой:

Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной кричат орлы...

И Маршак вскидывал к потолку руку, чтобы подчеркнуть огромную высоту горной вершины.

— А смотрите, с какой высоты падают эти слова, как они сначала глухо, издалека звучат и как потом начинают греметь и гроыхать:

Оттоль сорвался раз обвал
И с тяжким грохотом упал
И всю теснину между скал
Загородил...

— А вы чувствуете, как это «загородил» действительно загораживает не только всю строку, но и «могучий вал» Терека?! — И рукой он проводил от одной стены к другой: — Ззззаго-рррр-оддддил!.

Я сидел, утонув в черном кожаном кресле, дымил папиросой, слушал, мычал что-то, кивал головой и, далеко не все понимая из того, о чем говорил Маршак, все-таки мотал на ус, набирался уму-разуму.

Это был университет, даже во многих смыслах больше, чем университет. Маршак открыл мне Пушкина, Тютчева, Бунина, Хлебникова, Маяковского, англичан, русскую песню и вообще народную поэзию... Будто он снял со всего этого какой-то колпак, какой-то тесный футляр — и вот засверкало, зазвучало, задышало и заговорило то, что до тех пор было для меня лишь черными печатными строчками.

Я уходил от него счастливый. И, прощаясь с ним, я уже по-сыновнему прижимался к его груди, целовал его колючую шероховатую щеку и давал обещание — ему и себе — бывать у него чаще.

Я был уверен, что позвоню и приду к нему на следующее утро. Но какой-то демон, какой-то сиволапый косматый леший сидел во мне, держал на месте, запугивал, подогревал мою мнительность.

«Полно, — говорил он мне, — кому ты такой нужен, с твоей нелепой застенчивостью, с дурацкой молчаливостью... С тобой же только из жалости, из деликатности, по душевной доброте возятся...»

И я не звонил, не шел к нему, сидел дома, днем спал, вечерами и ночью работал.

И опять будили меня записки и письма:

«Где вы? Что с вами?»

«Если можете, приезжайте...»

«Непреренно поддерживайте со мною связь. Не пропадайте надолго...»

3

С его стороны это было, как я сейчас понимаю, увлечение, одно из многих, какие захватывали в те годы его пылкую, влюбчивую, жадную до всего необычного натуру. Он открыл во мне кое-какие способности, кое-какой талант и ухватился за меня, как ухватывался тогда за все мало-мальски подающее надежды.

На мое счастье и к моей бесконечной радости, это увлечение с годами не остыло, а перешло в нечто большее — в дружбу.

А увлекался он — и тогда, и раньше, и позже — на каждом шагу, постоянно и всегда был в поисках, всегда выискивал, высматривал, где бы и за кого ухватиться, кому бы подать руку помощи, кому бы пособить стать на ноги. Этот дар открывателя и воспитателя он унаследовал от своих учителей — от В. В. Стасова и А. М. Горького. Очень и очень многих заметил, нашел, выискал, высмотрел Самуил Яковлевич среди тех бывалых людей, к которым принадлежал и штурман дальнего плавания Житков, и натуралист Бианки, и пожарник Потулов.

и водолаз Золотовский, и полярник Безбородов, и медсестра Будогоская, и физик Бронштейн, и политработница Васильева, и почтенный академик Ферсман, и без-
усый колхозник Шорин...

Правда, иногда, и довольно часто, Самуил Яковлевич впадал в крайности, ошибался. Появлялись на его горизонте люди, прельстившие его необычностью судьбы, сложностью и вычурностью жизненных путей. Он радовался, громогласно объявлял об открытии нового писателя, а потом оказывалось, что писателя нет.

Бывало иногда и хуже. Вот его письмо от 8 июля 1930 года.

«Явился к нам,— пишет Самуил Яковлевич,— новый писатель — очень странный. Человек лет 19, обросший белой бородой вроде пуха, почти голый, грязный, всклокоченный. Бывший беспризорный, родом из украинской деревни. Несомненно, очень талантливый и милый. В последнее время жил за городом, обучал цыганят грамоте. Необычайно много читал. Работать с ним будет интересно...»

Работать с этим человеком не пришлось. Не помню всех подробностей, но помню, что белобородый писатель оказался авантюристом: не написав ни одной строчки, он сбежал с полученным авансом и еще кое с чем, прихваченным в редакции...

Такие промашки, такие конфузные истории случались с Самуилом Яковлевичем не один раз и вызывали у одних сочувствие, у других улыбки и насмешки. Посмеивались над ним не только явные недоброжелатели, но и друзья.

Вскоре после этой печальной истории с беспризорным Самуил Яковлевич получил письмо от другого правонарушителя. Человек писал, что он — гопник, приехал в Питер с Северного Кавказа, живет уже вторую неделю под Американским мостом на Обводном канале, пишет стихи. Эти стихи были приложены к письму. И стихи и письмо сочинили Олейников, Хармс и еще кто-то. Сочинили талантливо, ловко подделали почерк, как следует замусолили конверт. Но розыгрыш не состоялся. При всей своей простодушной доверчивости, Самуил Яковлевич сразу распознал подделку. Придя на другой день в редакцию, он с места в карьер объявил:

— А ну, признавайтесь, братцы, кто из вас пытался меня провести!
Провести его было нельзя. Слух на стихи у него был абсолютный.

4

...Меньше всего он был похож на тех поэтов, которые заточают себя в башнях из слововой кости, или на тех, которые, подобно любимому им Велемиру Хлебникову, ведут жизнь дервиша, ходят в неподпоясанной рубахе, спят на полу или на земле, утоляют жажду и голод чем бог пошлет.

Он ел и пил с удовольствием, у него были блюда любимые и нелюбимые, за столом он мог даже покапризничать, попривередничать. Но очень просто мог и забыть пообедать. Случалось это с ним довольно часто. Потому что прежде всего и раньше всего Маршак был поэтом, художником, мастером. Всей душой, всем существом своим он был предан искусству. Мне трудно назвать другого художника, который бы так беззаветно и самозабвенно служил своему делу.

Я знаю, что такие громкие слова не очень-то ложатся к его образу. Но хотя я хорошо понимаю, что искусство было для Маршака не только праздником, но и буднями, сказать сейчас по-другому о подвиге его жизни я не могу.

Работал он с утра до ночи. Буквально. И когда просыпался ночью, тоже работал. Коробки из-под папирос «казбек», которые он тогда курил, постоянно были исчерканы толстым, плохо отточенным карандашом.

В ленинградские годы лязгую долю времени Маршака отнимала работа редакционная, работа над чужими рукописями.

Что это была за работа? Как о ней сказать, какими словами охарактеризовать?

Официально Маршак числился консультантом детского отдела Госиздата. Зарплата у него была маленькая. Как-то он шутя сказал мне, что за его работу ему платят чуть больше, чем старшему дворнику.

Он был служащим. Но не только он, но и все его сотрудники — и зав. и редакторы, и бухгалтер, и редакционная уборщица — чувствовали себя в редакции не слугами, не наемными работниками, а товарищами, членами одного сообщества, участниками большого общего дела. Лидия Корнеевна Чуковская, одна из ближайших помощниц и сподвижниц Самуила Яковлевича, вспоминая впоследствии эти времена, назвала тогдашний маршаковский коллектив «редакционным оркестром». Определение самое точное. В этом оркестре Маршак был и дирижером, и первой скрипкой. На кончик его дирижерской палочки с любовью, уважением и пониманием смотрели все. Конечно, как и во всяком другом учреждении, рабочий день в редакции был нормирован. Но пока режиссер стоял за пультом и пока его палочка висела в воздухе, никому не только в голову не могло прийти отправиться домой, но, пожалуй, даже такое желание не могло ни у кого возникнуть. Я думаю, нигде сейчас, ни в одном издательстве, ни в одной редакции, не работают так, как работали в те годы в редакции, где консультантом был Самуил Яковлевич Маршак.

Сколько раз бывало со мной такое. Зайдешь как-нибудь под вечер, в конце рабочего дня, в редакцию. В дверях сталкиваешься с Маршаком. В руках у него какие-то бумаги, он спешит, лицо у него озабоченное. На ходу поцеловавшись, он очень быстро, скороговоркой говорит:

— Подожди меня. Хорошо? Пойдем вместе.

Говорю:

— Подожду. С удовольствием.

Иду в редакцию и начинаю ждать. Проходит час. Проходят два, три, четыре... Маршак занят. Несколько раз он появляется и, заметив на подоконнике мою мрачную фигуру, всякий раз говорит:

— Подожди, не уходи, я скоро...

Хорошо еще, что в редакции не скучно. Сюда, как на огонек, забегают по делу и без дела писатели и художники. Почти все они мастера поострить, поязвить, покаламбурить, хотя и в самой редакции среди ее штатных сотрудников тоже больше чем достаточно шутников и острословов. Тут ведь работают такие «мастера смеха», как Андроников, Шварц, Олейников... А несколько лет спустя в редакции появится Тамара Григорьевна Габбе — женщина необыкновенного ума, обаяния, неиссякаемого остроумия. Тут же будут звучать шутки и каламбуры Нины Гернет, Эси Паперной, Юры Владимирова, Сергея Безбородова...

Не знаю, как это им удавалось, но сотрудники тогдашней редакции, работая не покладая рук, находили вместе с тем время для шутки, для розыгрыша, для самых отчаянных мальчишеских выходок.

Вот Даниил Иванович Хармс, молодой, высокий, экстравагантный, с застывшим, чуть-чуть надменным выражением лица, «на спор» переходит из одного окна в другое по узенькому карнизу пятого этажа. Художник Генрих Левин тут же фотографирует его в этой рискованной позиции.

С гранками в руках проходит на консультацию к Маршаку редактор «Ежа» Николай Макарович Олейников. Тот самый искрометно-остроумный, блестяще-язвительный, веселый и недобрый Олейников, на которого Самуил Яковлевич написал однажды эпиграмму:

Берегись Николая Олейникова,
Чей девиз: «Никогда не жалея никого!»..

Посреди комнаты Олейников вдруг останавливается, поднимает над головой палец и без тени улыбки, многозначительно, с пафосом возглашает:

У одного портрета
Была за рамой спрятана монета...

Лицо Николая Макаровича становится еще серьезнее, палец его, сделав над головой круг, устался в сторону милейшей и тишайшей Зои Моисеевны Задунайской, и Олейников уже не с пафосом, а с гневом заканчивает свой экспромт:

...Немало наших дам знакомых
Вот так же прячут насекомых!..

В эту минуту редакционная дверь еще раз открывается и на пороге возникает Николай Алексеевич Заболоцкий — еще совсем молодой, но очень солидный, полнощекый и розовощекий, в круглых очках, похожий на кого-то из поэтов пушкинской плеяды. Здраваясь со мной, пожимая мне руку, он говорит:

— Прочел ваши «Часы». Известно ли вам, что ваша повесть написана гекзаметром?

Я вспыхиваю. Мне кажется, что надо мной смеются. Какой гекзаметр? Почему гекзаметр? Повесть «Часы» — самая обыкновенная проза, написана она сказом, это история беспризорного паренька Петьки Валета. Но Заболоцкий несколько не шутит. Опираясь на палку, солидным профессорским голосом он несколько нараспев читает:

С Петькой Валетом случай вышел.
Гулял Петька раз по базару
И разные мысли думал.
И было Петьке обидно и грустно —
Шамать хотелось и не было денег шамовки купить...

Распахнулась дверь «исповедальни» — той комнаты, где работает Маршак. На пороге — распаренная, измученная и счастливая Лидия Анатольевна Будогская. В редакции идет сейчас работа над ее первой книгой, над «Повестью о рыжей девочке». Вместе с Будогской выходит и Маршак. Он тоже измучен и, кажется, тоже счастлив. Протянув руку, он обходит авторов, здоровается с теми, кого еще не видел. По ошибке здоровается еще раз и со мной.

— Ты спешишь? — спрашивает он. — Если не очень — подожди. Я совсем скоро... Зюечка, можно вас?

И Зоя Моисеевна Задунайская, подхватив рукопись, над которой она работает, скрывается в «исповедальне».

Редакцию мы покидаем поздно вечером. Нас уже совсем мало, все разошлись. Парадная дверь, выходящая на Невский, давно закрыта, и мы спускаемся по каким-то крутым узеньким лестницам во двор и через ворота выходим на канал Грибоедова.

Маршак возбужден, весел, от усталости, на которую он жаловался еще недавно, ничего не осталось. Я забираю у него его тяжеленный портфель, набитый рукописями, корректурами, книгами... Он берет меня под руку, с другой стороны подхватывает Лиду Чуковскую, или Зою Задунайскую, или Даниила Ивановича Хармса...

— Споем? — говорит он.

И лихо мотнув головой, первый затягивает:

Па дарожке пыль клубится,
Слышны выстрелы порой.
Из набега удалого
Едут все донцы домой...

Мы шагаем не в ногу длинной растрепанной цепочкой по набережной канала в сторону Марсова поля и в полный голос поем лихую казачью песню. Прохожие останавливаются, с удивлением смотрят — одни хмурятся, другие улыбаются. Картина, вероятно, достаточно странная.

Голос у Маршака — несильный, хрипловатый, но поет он хорошо, задушевно, со вкусом и именно так, как слышал эту песню в детстве, где-нибудь под Воронежом:

Все казаки веселятся,
С поля едучи домой.

*Лишь один казак невесел,
Он качает буйной... буйной... буйной головой...*

Постепенно от нашего казачьего хора ничего не остается — только мы двое: Маршак и я. Все разошлись по домам. Мне тоже идти совсем в другую сторону, но я, как верный оруженосец, провожаю Маршака и тащу его портфель до Литейного. У подъезда он говорит:

— Зайдем ко мне? А? На полчаса... Почитаю тебе Будогоскую. Хочешь?

Казалось бы, уж куда еще заходить. И у меня сил не осталось, а у него и тем более. Но я захожу. С удовольствием, не раздумывая. И сижу у него до двух, а то и до трех часов ночи. Он читает Будогоскую. Потом читает стихи. Потом рассказывает — о себе, о своей молодости, о своей жизни в Финляндии, о замечательном человеке докторе Любеке, с которым он работал в туберкулезном санатории для бедных.

Ухожу я глубокой ночью, ухожу только потому, что дома ждет меня работа.

— Оставь! Ложись сразу же спать, — сердится Самуил Яковлевич. — Что у тебя, прости, за дурацкая привычка работать ночью! Ты знаешь, что говорил Шекспир: «Светлые мысли рождаются только при солнечном свете».

— Днем не умею... не привык, — бормочу я и ссылаюсь на Достоевского, на Некрасова, еще на кого-то... Я мог бы сослаться и на самого Маршака, у которого светлые мысли рождались в любое время суток — и при солнечном свете, и при электрическом, и даже в беспросветной черноте бессонной стариковской ночи.

5

Я бы сказал неправду или не совсем точную правду, если бы утверждал, что у него не было никаких увлечений и отвлечений. Пловцом и ныряльщиком он никогда не был, но была стихия, в которую он окунался с наслаждением и самозабвенно.

Вот сидим, работаем, обсуждаем мою или чью-нибудь чужую рукопись или правим корректуру какой-нибудь статьи Самуила Яковлевича. Работа на самом высоком темпе, печельница переполнена, в комнате буквальным образом стоит дым столбом. Уже повышаются голоса. Самуил Яковлевич уже сердится, то и дело кусает себя за нижнюю, «окорочную» часть большого пальца. К этому странному способу выражения гнева или, вернее, к способу смирить, охладить гнев я не сразу привык. Но сердился он всегда именно так: сердито крикнет, вскочит и быстро кусанет себя за руку.

Работаем, что называется, до седьмого пота: Самуил Яковлевич давно снял пиджак, сорвал галстук, сидит, низко нагнувшись над столом, в одном жилете... И вдруг он бросает на стол перо, откидывается на спинку кресла, крепко, долго и с наслаждением потягивается.

— Отдохнем? А? Окунемся?

Я знаю, о чем он говорит. «Окунуться» или «принять ванну» — значит, почитать стихи или спеть песню.

И вот мы пересаживаемся на диван и минут двадцать читаем — Пушкина, Тютчева, Бунина, Хлебникова, Блока, Некрасова... Самуил Яковлевич читает по-английски Вордсворта, Китса, Блейка. До сих пор в памяти живет голос его, каким он читал нежного и грозного, «светло горящего» блейковского «Тигра».

Если не читаем стихи — поем. Вся жизнь, как я его помнил, он собирал песни. Не записывал их, не вел никаких каталогов, но в памяти его, кроме бесчисленного множества стихотворных строк, хранились десятки и сотни песен на всех языках мира: русских, украинских, испанских, финских, французских, английских, еврейских, польских... Где он только их раскапывал, эти песни: крестьянские, солдатские, фабричные, лакейские, воровские, студенческие, бурсацкие, поморские... Песни слепцов и нищих, песни разбойников, моряков, каторжных, рыбаков, пиратов...

Хорошую, редкую, самородную песню он готов был слушать где угодно и при каких угодно обстоятельствах — в поезде, на пароходе, в бане, под дождем, в очереди за газетой...

Когда я в 1929 году побывал в Новгородской области, на озере Селигер, и привез оттуда больше двухсот частушек, он заставил меня читать их — и даже петь! — все от первой до последней. И чуть ли не все они остались у него в памяти, и несколько дней после этого он читал их каждому встречному.

6

Но я ушел несколько в сторону, заговорил о том, как он отдыхал, отвлекался от работы. А как же он все-таки работал? И прежде всего как работал над своими вещами, над стихами и прозой?

Начну с того, что Самуил Яковлевич никогда не отказывался от помощи, от совета людей, вкусу которых он доверял. Больше того, ему даже был нужен, необходим человек, с которым можно было посоветоваться, на слухе которого можно было проверить силу, звучность стиха и который помог бы ему, если нужно, подыскать более точное слово.

Я думаю, что это явление довольно редкое: работал он, так сказать, открытым способом, на людях. Конечно, эта внешняя, открытая, «надземная» часть работы была сравнительно небольшой. Все основное, фундаментальное совершалось внутри него — по тем законам, которых мы не знаем и тайны которых никогда не откроем и не объяснят нам даже самые мудрые создатели кибернетических машин.

В открытую, на людях шла отделка, шлифовка и прежде всего проверка того, что было создано наедине с собой.

За советом он обращался еще и в тех случаях, когда работа была срочная, когда нельзя было даже на один день отложить рукопись в сторону.

Сколько раз еще в те же довоенные годы звонил он поздно вечером или даже ночью по телефону:

— Ты не спишь? Не занят?

Сказать «занят», даже если ты занят, язык не поворачивается.

— Можно с тобой посоветоваться? Я тут написал для «Правды» фельетон. Нужно было очень срочно: позвонили в половине десятого, а сейчас начало первого... Ты действительно свободен? Можно прочесть?

И он читает только что написанный фельетон. По твоей просьбе читает еще раз, медленнее.

Если у тебя есть замечания, он сдержанно сердится, слышишь в трубку его шумное дыханье, слышишь, как он крикает, чувствуешь, как он покусывает руку.

— Не знаю, не знаю, не уверен, — говорит он очень холодно.

А через полчаса опять звонок:

— Ты еще не спишь? Я тут кое-что поправил. Не знаю, что получилось. Кажется, еще хуже. Прочесть?..

А на следующее утро читаешь в «Правде» его фельетон и находишь там «подсказанное» тобою слово.

Таких подсказчиков и советчиков у Маршака было много. В ленинградское время — одни, в московское — другие. Конечно, никто из нас претендовать на соавторство с Маршаком не станет, понимая, что кирпич — это еще не здание, а слово, даже самое превосходное, — еще не стихи. Но лично для меня такое участие в работе Маршака было всякий раз маленькой пыткой. И потому, что я ужасный тугодум, и потому, что не умею работать, «творить» при свидетелях. Сколько раз он иронически кривил губы, когда ты недостаточно быстро или недостаточно удачно подсказывал ему что-нибудь. И сколько раз даже сердился, покрикивал на тебя, когда тебе не удавалось найти нужное слово.

— Только не выдумывай, не мудри, — говорил он и, постукивая кулаком по столу, всякий раз добавлял: — Эмоционально, эмоционально...

Покрикивать покрикивал, но если заметит, что ты обижен, тотчас смахивал с носа очки, тянулся к тебе, обнимал, целовал, говорил что-нибудь ласковое, вроде:

— Ах ты, тпруська-бычок, молодая ты говядинка!.

Записных книжек он никогда не вел. За этим занятием, то есть за ведением дневника или записной книжки, его тоже невозможно представить.

Стихи он вынашивал в себе, потом записывал. Черные чернила, твердая рука, четкий округлый почерк с хорошим нажимом, с легким наклоном. Почти каждое слово дописано до конца. И почти никаких зачеркиваний, никаких поправок. Каждый вариант строфы пишется от первого до последнего слова заново.

И ведь все это — в суете, в спешке, в те коротенькие просветы, какие оставались у него от работы в издательстве, от редактирования чужих рукописей. А он еще умудрялся каким-то чудом выкраивать время и для чтения, и для театра, и для поездок в библиотеки, в школы, на читательские конференции, и для больших поездок — на Днепрострой, в совхоз «Гигант», к рыбакам, к морякам, к эпроновцам...

И еще об одном нельзя забывать. За те десять — двенадцать лет, что Самуил Яковлевич прожил на моей памяти в Ленинграде, на него несколько раз обрушивались очень суровые беды. В конце двадцатых годов его и Чуковского безжалостно травил рапповская критика и так называемые «левые педагоги», хулители и гонители сказки. А потом, через несколько лет, беды стали и совсем жестокими... Один за другим стали уходить — кто на время, а кто и навсегда — ученики, друзья и соратники Маршака: Т. Габбе, А. Любарская, Р. Васильева, Г. Белых, М. Бронштейн, Д. Хармс, А. Введенский... И над его собственной головой тоже сгустились тучи. В ноябре 1937 года Маршаку исполнилось пятьдесят лет. В этот день он получил всего одну поздравительную телеграмму — от детей, учеников созданного им Дома детской литературы.

Но никогда, ни на один день он не переставал работать — писал стихи, прозу, фельетоны, статьи, создавал советскую детскую литературу, руководил «редакционным оркестром», воевал с вульгарной критикой, выращивал смену...

Не удивительно, что даже в те молодые годы, после двух-трех месяцев такого сверхмощного напряжения, он сваливался и попадал или в больницу, или в санаторий. Но и там — на Кавказе, в Крыму или за границей — он продолжал думать о твоей и о своей работе, о нашем общем деле. В каждом письме спрашивался, что делаешь ты, что делают такие-то, что делается в издательстве. И постоянно, всегда проявлял заботу о других.

Вот выписки из нескольких его писем тридцатых годов:

«Я сейчас так измучен, что и думать не могу. В последнее время занимался редакционной работой часов 15—18 в сутки. Сегодня еду, наконец, в Токсово. Приеду и на несколько дней съягу. Потом начну писать и читать... Пробуду там до первого сентября. А вот что делать потом? Хочется набраться материала, ответственного моим возможностям и способностям, — такого, чтобы получилось что-то вроде «Войны трех дворов» или хорошей стихотворной книжки...»

«...Я понемногу прихожу в себя, хоть это и очень трудно. Видишь ли Тамару Григорьевну, как ее здоровье? Ты прав, она очень талантлива и из нее может выйти очень хороший писатель».

«...Где сейчас Белых? Почему он избегает нас? Неужели я или кто-нибудь другой в редакции нечаянно обидел его чем-нибудь?»

«...На Днепрострой, по-моему, поезжай. Пиши чаще, чтобы я знал, где ты и что с тобой».

«...Кончил ли сценарий для кино? Написал ли рассказ? Лечишься ли? Каково твоё настроение? Пиши не только обо мне, но и о себе...»

«...Меня очень радует, что ты работаешь с увлечением... А как твоё здоровье? Ты об этом совсем не пишешь. Лечишься ли? Конечно, по-прежнему работаешь по ночам. Я все надеюсь, что когда-нибудь ты откажешься от этой привычки».

«...Когда думаешь написать рассказ для «Костра»? Я тебя не тороплю, конечно, но буду рад, если тебе удастся написать в близком будущем. Смотри — не простуживайся, не переутомляйся и не проводи ночи без сна... Когда выйдет книжкой твой «Пакет» и сборник, издающийся в ГИХЛе, пришли».

«...Последние дни я много работал, обдумывали с Алексеем Максимовичем темы для детской литературы, главным образом популярно-научной».

«...Что касается тебя, то я думал бы, что тебе очень следовало бы побывать в каком-нибудь индустриальном центре — в Донбассе или в Сталинграде... В Баку летом очень плохо — душно, — туда ехать не советую».

Перелистывая сейчас эти уже ветхие, пожелтевшие страницы, я наткнулся на целую связку писем с пометками и наклейками «Expres», «Спешное», «Воздушной почтой». Это письма Самуила Яковлевича, написанные летом и осенью 1934 года. Все они об одном — о моем здоровье. Я не могу сейчас подробно рассказывать о том, как я тогда был тяжело болен и как он спасал меня, спасал буквально физически, не жалея собственных сил и собственного здоровья. Сделаю только одну выписку.

Шестнадцатого июля 1934 года, узнав о моей болезни, Самуил Яковлевич пишет мне из Кисловодска, уговаривает немедленно ехать в санаторий:

«Не смущайся тем, что у тебя работа не закончена. Лучше будет, если эту работу закончит здоровый человек, чем больной. По себе я хорошо знаю, как мучительно работать механически, проявляя высшее терпение и упорство, — а в плохом состоянии возможна только механическая, а не творческая работа. Я только тогда пишу хорошо, когда день мне кажется просторным, мир — ясным, когда я не только пишу с удовольствием, но и с удовольствием сажусь в трамвэй, с удовольствием пишу письма, когда я готов играть с ребятами в солдатики и петь песни.

Такого состояния надо добиться и тебе и мне. И добьемся...»

Это не было ни заклинанием, ни пустыми словами утешения. Это была настоящая поддержка, рука, на которую можно было с уверенностью опереться. Когда Самуил Яковлевич говорил «добьюсь», он чаще всего действительно добивался. Когда он говорил «добьемся», он и тебя вел и приводил к победе.

Это был человек не только огромного таланта и щедрого сердца, но и человек невиданного упорства, необыкновенной, какой-то даже магнетической воли. И не только сам был такой, но очень ценил это свойство в других людях.

Как он зажегся и зажег нас, своих учеников и сподвижников, когда художник Татлин объявил, что будет строить крылья и полетит на них! Самуил Яковлевич наивно, трогательно, по-детски верил, что человек, если захочет, способен на все. Помню, был я у него как-то летом на даче, в Токсове, мы лежали в саду на пригорке, и Самуил Яковлевич говорил о могуществе человеческого духа.

— Ты знаешь, — сказал он, — я совершенно убежден, что если человек очень, по-настоящему захочет, он действительно может полететь.

— Как полететь? Как птица?

— Да, и при этом даже без крыльев и без всяких механических приспособлений. Надо только очень-очень захотеть.

Он поворачивает ко мне голову.

— Ты хочешь?

— Да, хочу.

— Правда?

— Правда. Хочу.

— Очень хочешь?

— Очень хочу.

— Полетим?

— Полетим.

Он живо поднимается. Прежде чем встать, я вижу его ноги в тупоносых штиблетах с распущенными шнурками.

Он берет меня за руку.

— Ну, давай,— говорит он.— Зажмуривайся и прыгай! Раз! Два! Три!..

Я был намного моложе его, был худощав, занимался гимнастикой, ездил верхом и на велосипеде. Я подпрыгнул сантиметров на тридцать, может быть на сорок. Полный, мешковатый Самуил Яковлевич вряд ли оторвался от земли больше, чем на пять-шесть сантиметров.

Не помню, что он сказал: «н-да» или «гм». Но потом я много раз вспоминал этот случай и спрашивал его: а что, если бы мы и в самом деле оторвались тогда от земли и полетели? Куда бы нас занесло, в какую страну, на какой континент? И как бы мы разыскали обратный путь в город Ленинград или хотя бы на станцию Токсово?

Таких трагикомических историй в жизни Маршака было немало.

Вот мы с ним и с пятнадцатилетним Эликом в Кронштадте. Прибыли мы туда на эпроновском спасательном судне. Кто и зачем устроил эту поездку — не помню. Кроме нас, на пароходе Бруно Ясенский и, если не ошибаюсь, И. С. Соколов-Миников. В Кронштадте на рейде водолазы демонстрировали перед нами свою работу, показывали страшную, обросшую ракушками, потерявшую всякое сходство с кораблем английскую подводную лодку, пролежавшую на дне моря со времен гражданской войны. Бруно Ясенский надевал водолазный костюм, спускался под воду.

И вдруг Самуил Яковлевич тоже просит позволить ему спуститься под воду. Мы с Эликом отговариваем его, напоминаем о его больном сердце, об эмфиземе, о плохом зрении. Нет, если он чего-нибудь захотел, его не отговоришь.

И вот он влезает в неуклюжий просторный скафандр, на голову ему надевают большой металлический шар с круглым окошечком-иллюминатором. Конечно, он волнуется и, волнуясь, не очень внимательно слушает наставления инструктора. Очувтившись под водой, он тут же забывает, что нужно травить воздух, нажимать затылком какой-то клапан. Скафандр наполняется воздухом, раздувается, и на поверхность воды вылетает огромный толстый пузырь. Воздух выпускают, хотя отвинчивать шлем, но Самуил Яковлевич машет руками и требует, чтобы его снова опустили на глубину. Так повторялось несколько раз.

Но не только в таких забавных мелочах он проявлял настойчивость. Если нужно было кого-нибудь спастись, за кого-нибудь заступиться или просто протянуть кому-нибудь руку помощи — он шел с этой помощью до конца и не опускал руку до тех пор, пока не вызволит человека из беды.

7

Я уже говорил, что на протяжении тех лет, что я был знаком с Самуилом Яковлевичем, он не стоял на месте, а менялся... При всей цельности его натуры, при всей основательности его взглядов и убеждений, а может быть, именно благодаря этой цельности и основательности он не боялся переменить мнение о человеке, о художнике, о его таланте и не боялся в этой перемене сознаться.

Когда я с ним познакомился, он, например, не любил Чехова, не признавал его за мастера, за художника.

— Бесцветный, безъязыкий писатель,— говорил он.— Пишет о чиновниках их же суконным чиновничьим языком...

И приведя какой-то придуманный им пародийный пример этой чеховской «безъязыкости», он оправдывал Чехова тем, что тот, мол, жил в очень неудачное для искусства время — в годы победоносцевской реакции и т. д. Я любил Чехова с детства, и слова эти на меня не действовали, а только удивляли.

Позже я понял, что Чехова Самуил Яковлевич в ту пору как следует просто не знал, судил о нем по каким-то старым воспоминаниям, по случайным юмористическим рассказам. Уже через два-три года он говорил — и писал — о Чехове совсем по-другому, восторженно, и даже несколько раз жаловался, что ему не повезло: он мог видеть Чехова и не увидел — приехал в Ялту к Пешковым через несколько месяцев после смерти Антона Павловича

Вообще, если говорить о прозе, он читал ее не очень много. Тургенев для него не существовал. Толстого на моей памяти он не перечитывал (если не считать детских рассказов Толстого). Очень любил, нежно и родственно любил пушкинскую и особенно лермонтовскую прозу. Такие рассказы, как «Тамань» или «Бэла», он читал от начала до конца наизусть. Любил и хорошо знал Гоголя, Диккенса, высоко ставил прозу Бунина, из современных писателей безоговорочно признавал Зощенко, в последние годы — Солженицына. В Бабеле его что-то отталкивало, хотя говорил и писал он об Исааке Эммануиловиче с неизменной симпатией и уважением.

Тут я должен сказать об одном его необыкновенном свойстве. Читал Самуил Яковлевич не очень много, но каким-то непостижимым образом был всегда не только в курсе литературной жизни, но и обо всем имел свое очень точное и глубокое суждение. Он никогда ничего (опять-таки на моей памяти) не изучал, не штудировал, не делал никаких заметок, выписок, а был при этом очень образован, эрудирован. Достигалось это каким-то, я бы сказал, сверхъестественным способом. Помогала, конечно, его необыкновенная, гениальная память. Казалось, ему было достаточно открыть книгу, а то и просто подержать ее в руках, чтобы иметь полное представление о предмете, который эта книга трактует. Он был хорошо образован философски, знал и античных философов, и англичан, и немецких идеалистов, и русских, и Гегеля, и марксизм, и, к удивлению моему, даже Фрейда, хотя, как я впоследствии выяснил, ни одной книги этого автора он не прочел.

А вообще-то он жил прежде всего в сфере поэзии — главным образом русской и английской. Я уже называл его любимых поэтов: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Некрасов, Фет... Можно было бы, вероятно, продолжить этот список, перечислить всех классиков, все первоклассное в русской поэзии XVIII—XIX столетий. Из поэтов конца прошлого века и начала века нынешнего он любил Бунина, любил позднего Блока, кое-что любил у Ахматовой, у Гумилева, у Инн. Анненского...

Вместе со мной, то есть уже в мое время, на моих глазах он открыл — и для себя и для друзей — Хлебникова и Маяковского. После Пушкина и Блейка Хлебников был, пожалуй, самой большой любовью Маршака. Мне вспоминается, как что-то светлое, как праздник, появление в нашей жизни пяти желтовато-белых томиков собрания творений этого прекрасного, ни на кого не похожего, до сих пор по-настоящему не понятого мастера.

Хлебников мне вспоминается еще и потому, что на его стихах для меня открылось такое удивительное явление, как маршаковская память. Один-единственный раз он пробежал глазами «Ночной обыск», «Эль», «Ночь в окопе» и в тот же день без единой запинки и ошибки уже читал по памяти эти большие вещи. Когда через несколько лет появилась «Страна Муравия» Твардовского и Самуил Яковлевич даже не прочел, а как бы обозрел, окинул взглядом и запомнил ее всю до последнего слова, я уже не так удивлялся. Чудо маршаковской памяти стало привычным.

Колдовская память его помогала ему, конечно, и в овладении языками.

Один англичанин (кажется, лорд Бальфур) сказал однажды, что Маршак знает и чувствует английский язык лучше, чем многие образованные англичане. Английский Самуил Яковлевич знал давно, с юности. Но вот уже в зрелом возрасте он едет в Италию и пишет оттуда моей сестре, что начал изучать итальянский язык. В следующем письме он сообщает, между прочим, что разговаривал сегодня с местным почтальоном, а в одном из писем того же 1933 года имеется упоминание о том, что он читает в подлиннике «Vita Nuova» Данте.

Однажды это удивительное чудо происходило у меня на глазах, то есть я был свидетелем и очевидцем того, с какой непостижимой легкостью он осваивает незнакомый ему язык. Мы ехали в Астрахань. Где-то в Казани или в Саратове на пароход села большая группа узбеков, направлявшихся через Астрахань и Баку в Мекку на поклонение Магометову гробу. Самуил Яковлевич много времени проводил с этими паломниками. И вот на четвертый или пятый день пути я прихожу

туда, где располагались эти люди, и — не верю ушам своим: Самуил Яковлевич разговаривает с узбеками на их языке! Потом он мне говорил, что в этом случае ему помогло некоторое знание арабского, которому он выучился — тоже бегло, на ходу — во время своих юношеских скитаний по Ближнему Востоку...

Было время, когда мне казалось, что он может, если захочет, говорить на любом из существующих на земле языков. И в самом деле — с цыганами он объяснялся по-цыгански. С молочницами в пригородном поезде говорил на финском... И при этом он не видел в своих удивительных способностях ничего редкостного, уникального, был убежден, что и всякий другой при желании может столь же легко и свободно овладеть любым иностранным языком.

Как-то, еще в первые годы нашего знакомства, я провожал его домой. Мы долго стояли у подъезда, и он убеждал, уговаривал меня заниматься английским. Даже предложил, помню, давать мне уроки. Прощаясь, он сказал:

— My kind regard to your mother!..

Если бы фраза эта была написана или напечатана, я, может быть, что-нибудь и понял бы. Но в блестящем английском произношении Маршака я не разобрал ни одного слова. И помню, с каким удивлением и огорчением он опять посмотрел на меня.

— Неужели не понял? Ну, что ты! Это же так просто!..

8

Когда в 1928 году я впервые пришел к А. М. Горькому и он, между прочим, сказал мне: «Любите Маршака, держитесь поближе к нему». — эти слова мне ничего нового не сказали: я уже давно и любил Маршака, и держался к нему так близко, что со стороны это выглядело, вероятно, даже забавно. Над нашей дружбой посмеивались. Молодой поэт Юрий Варшавский, основатель и глава литературного объединения «Послезавтра» (Шкловский называл этих поэтов *послезавтраками*), сочинил большую, строчек на двести, пародию на маршаковскую «Почту», из которой мне запомнилось только одно четверостишие:

И Маршак печально блеет,
Уронив в жилетку нос:
— Где Алеша Пантелеев?
— Улетел вчера в колхоз...

В те годы мы редко разлучались надолго. Если в колхоз я ездил один, то в Москву, например, мы почти всегда ездили вместе. Как это получалось, я сейчас даже не могу и объяснить. И не могу понять, откуда у меня тогдашнего — замкнутого, нелюдимого — хватало душевных сил на эти поездки, во время которых каждый день и чуть ли не каждый час приходилось бывать на людях, видеть людей большей частью незнакомых и большей частью выдающихся, необыкновенных.

В Москве мы часто бывали, а несколько раз и останавливались, у Горького — в первые годы, пока Алексей Максимович сам еще был в Москве гостем, в Машковом переулке в доме Е. П. Пешковой, а позже в особняке на Малой Никитской. Однажды летом мы прогостили у Алексея Максимовича — в Москве и на даче — недели две. В доме Горького я познакомился с Бабелем, с Всеволодом Ивановым, со многими известными деятелями, знаменитыми учеными, в том числе и с Алексеем Дмитриевичем Сперанским, большим ученым и необыкновенной яркости русским человеком, на всю жизнь оставившим след в моей памяти и даже в моей биографии. Все это, однако, скажут мне, уже не о Маршаке. Да, не о Маршаке, но через Маршака. Потому что без Маршака никогда, ни за какие коврижки не поехал бы я ни в Машков переулок, ни в Горки, ни в другие места Москвы и Подмосковья, куда таскал меня за собой мой общительный и уже всемирно известный друг и куда я, признаюсь, даже с ним ходил не всегда безропотно.

Сейчас я, конечно, благодарю судьбу за то, что был в моей жизни Маршак, были эти поездки и были эти яркие, навсегда запомнившиеся встречи. А в то вре-

мя такая перегрузка впечатлениями была мне иногда просто не по силам, и признаюсь, есть на моей совести несколько случаев, когда я манкировал, уклонялся от этих поездок.

...Вот вспомнилось одно такое путешествие в Москву. Мы еще в Ленинграде, на вокзале, спешим к поезду. У последнего, международного вагона Самуила Яковлевича окликает невысокий человек в широкополой черной шляпе. Черные брови, черная с проседью борода. Самуил Яковлевич торопливо здоровается, торопливо знакомит меня. Дергая Маршака за пуговицу, человек этот говорит о чем-то мне совершенно непонятном, говорит пылко, захлебываясь, даже, как мне кажется, с некоторой сумасшедшинкой в глазах. Запомнилась мне только одна фраза:

— Если существует мышление, то почему, скажите мне, не может быть дышления?

Однако в вокзальном гаме я, конечно, мог и ослышаться.

Мы прощаемся, подхватываем чемоданы, спешим дальше.

— Кто это? — спрашиваю я.

— Разве ты не знаком? Академик Марр. Лингвист.

Да, разумеется, я уже знал и читал Марра, хотя в то время человек этот не был еще столь популярен и печально знаменит: еще далеко было до появления сталинских статей «Марксизм и вопросы языкознания».

Не успели добежать до своего вагона — еще одна остановка.

— Здравствуйте, Семен Михайлович!

— Здравия желаю, товарищ Маршак. Мое почтение!

Окруженный военными, краскомами, стоит у входа в вагон пышноусый широкоскулый человек в серой бекеше и в мерлушковой темной папахе. Этого я сразу узнаю. Кто же в нашей стране не знает Семена Михайловича Буденного. Оказывается, и мое имя ему что-то говорит: он не только читал повесть «Пакет», но даже снимался в фильме того же названия, играл — роль Буденного!

И вот наконец мы у себя в вагоне. Разыскиваем купе, заходим. В купе у столика очень прямо сидит красноволосая, стриженная, еще не старая дама в черном закрытом платье.

— О! Марья Вениаминовна! Какими судьбами?!

— Самуил Яковлевич? Здравствуйте. Рада.

Эту я тоже знаю. Видел не раз издали, на эстраде, низко, почти до самой клавиатуры склонившейся над роялем. И тоже никогда не думал, что буду знаком, буду, хоть и заикаясь, разговаривать с Марьей Вениаминовной Юдиной.

Это — за двадцать минут!

А в Москве на другой день — уж и не вспомнить и не сосчитать, сколько было этих ожидаемых и неожиданных встреч, этих мимолетних, приятных и не всегда приятных знакомств...

Вот мы в гостинице, распаковываем чемоданы, а уже звонит на столике телефон, уже спрашивают Маршака. И он крикает, чертыхается, но чувствую — рад, потому что люди, суета, телефонные звонки — его стихия, без них он не может: если бы не позвонили, он, вероятно, был бы расстроен, загрустил и сам стал бы искать в записной книжке телефоны московских знакомых.

Но разыскивать номера телефонов не приходится.

Через час мы на Рождественке, в кабинете заведующего ОГИЗом Артемия Халатова. Вспоминаю этого милого бородатого человека в пестрой восточной тюбетейке с нежностью и с каким-то даже недоверием к собственной памяти. О чем спрашивал молодого писателя руководитель издательства? Спрашивал, как мое здоровье и не нужны ли мне деньги. Да, были такие времена!..

Часа через три мы обедаем у Халатова. Многое меня там поражает: и какая-то удивительная спартанская простота обстановки, и зеленый попугайчик в железной клетке, и то, что Халатов и дома не снимает своей ермолки, и то, что он не женат, что хозяйничает в доме и угощает гостей его мать, которая называет сына почему-то «Халатовым»:

— Халатов, дай-ка мне перец!..

Но прежде чем попасть на обед к Халатову, мы успели побывать в десяти местах. Побывали и в другом издательстве — в детском. Там в коридоре навстречу нам бежал очень высокий, очень худой и шустрый молодой человек с гусарскими усиками. Слегка заикаясь, он поздоровался с Маршаком.

— Что-нибудь новое написали? — спрашивает Самуил Яковлевич.

— Д-да. З-закончил к-книжку.

— Хорошая?

— Оч-чень хорошая.

И, показав белые зубы, помахав рукой, он бежит дальше...

— Кто это?

— Сережа Михалков. Начинающий поэт. Очень талантливый.

В издательстве Самуила Яковлевича ни на минуту не выпускают из тесного окружения. Тут и редакторы, и авторы, и художники. Каждый хочет если не поговорить с ним, то хотя бы условиться о встрече, записать номер его телефона.

— Ура! Салют! Маршак и Пантелеев приехали!..— Чуть-чуть хриловатый и вместе с тем звонкий, совсем еще мальчишеский (и до сих пор еще сохраняющий эту мальчишескую хриплость и звонкость) голос. — Ура! Привет Ленинграду!..

Оглядываюсь. От двери идет, улыбаясь, подняв для приветствия руку, Лев Касиль — высокий, по-модному одетый, в элегантно распахнутой шалыпинской шубе с воротником-шалью. С ним пришел наш старый знакомый, недавно изменивший Ленинграду Ися Рахтанов. У этого стиль другой: в зубах трубка, на голове кожаный картуз. И еще один старый наш питерец и старый-молодой друг — Ваня Халтурин. Тут же молодой, худенький редактор Пискунов. Молодая Агния Барто. Молодая Вера Смирнова. Рудерман. Каневский. Благинина... Не успеваю здороваться и знакомиться.

Перед обедом мы выкраиваем время, чтобы забежать еще к Татлину, посидеть полчаса в его тесном и неудобном жилище на Мясницкой, где-то на задворках или, кажется, наоборот — в подворотне Вхутемаса. Владимир Евграфович рассказывает о Хлебникове и о своих новых планах: построить железную часовенку-ковчег для хранения хлебниковских рукописей.

После обеда едем в гостиницу с намерением полежать, отдохнуть. Но с отдыхом и лежаньем ничего не выходит. Маршак вспоминает, что не позвонил Е. Е. Гвоздиковой-Фрумкиной, звонит, и через полчаса эта удивительная старуха, старая большевичка, подпольщица, появляется в нашем номере. Приходят и другие.

Вечер мы проводим у художников Ефимовых, кукольников, петрушечников. Тут же в тесной комнате, завешанной картинами и засаженной деревянной русской посудой — ковшами, блюдами, братинами, — над пестрой цветастой ширмой ефимовские куклы разыгрывают перед нами «Двенадцатую ночь» Шекспира... Потом мы что-то едим из больших деревянных мисок. А еще позже сидим, пьем чай у старого (по возрасту еще очень молодого) партийного деятеля, давнего приятеля Самуила Яковлевича — наркомпросовского работника Алексинского.

В гостиницу мы возвращаемся глубокой ночью, падая от усталости. Самуил Яковлевич сидит в кресле, держится за сердце, тяжело дышит, охает, даже стонет. И вдруг слабым, измученным, еле слышным голосом он говорит:

— Окунемся?

И вот он начинает читать, набирает высоту и скорость, и вот уже как будто и усталости нет в его голосе. И уже не согнувшись, а прямо сидит он в глубоком гостиничном кресле.

...Что ж молчим мы? Или самовластно
Царство тихой, светлой ночи мая?
Иль поет и ярко так и страстно
Соловей, над розой изнывая?..

На столике оглушительно задребезжал телефон. Снимаю трубку. Самуила Яковлевича спрашивает директор детского театра. Говорит — весь вечер звонил и вот только сейчас дозвонился.

— Попроси, если ему это удобно, прийти завтра утром. Когда? Ну, часов в восемь.

Директор не понял, переспрашивает:

— В восемь?! Утра?

— Да... утра, — говорю я тоже несколько снизив голосом.

А Самуил Яковлевич, дочитав фетовские стихи, уже читает Бунина. Потом по его просьбе я читаю Хлебникова:

Ручей с холодною водой,
Где я скакал, как бешеный мулла,
Где хорошо...

Потом, начитавшись стихов, мы начинаем петь. Самуил Яковлевич затягивает, а я подхватываю:

Для кого весна приятная,
Для меня отрады нет —
Уж такая я несчастна-а-ая
Да уродилась на свет.

Начинаем негромко, вполголоса, а потом забываемся, расходимся и поем уже во всю силу легких:

Злые люди ненавистные
Да хотят молодость сгубить —
Из-за злата, из-за серебра
Да велят милого...

Опять телефон.

— Да! Я слушаю...

— Товарищ Маршак?

— Нет, это не Маршак.

— Товарищ Пантелеев? Говорит дежурная по этажу. Извините, пожалуйста, но устраивать ночью дебоши в гостинице не разрешается...

— Да... да... хорошо. Благодарю вас.

Вешаю трубку.

— Ну, кто еще?

Сказать Самуилу Яковлевичу правду я не могу. Представляю, как он рассердится, рассвирепеет, вскочит, кинется к телефону, а то еще и на площадку побежит объясняться с дежурной. Говорю неправду:

— Дежурная. Просит передать, что два раза вечером звонил директор детского театра... — И сразу же, посмотрев на часы, заявляю: — Знаешь, Самуил Яковлевич, пора, пожалуй, спать! Уже поздно!

— Как поздно? Который час?

— Уже начало четвертого.

— Выдумываешь! Не может быть!

Засыпает Самуил Яковлевич быстро. А я, перенасыщенный впечатлениями, уснуть не могу... Закрываю глаза, и в темноте плывут передо мной заснеженные московские переулки, малиновый ковер гостиничной лестницы... прыгают, раскладываются, воздымают ручки ефимовские куклы в белоснежных брыжах... мелькают, толпятся, толкаются лица всех тех, кого я видел за эти сутки: Татлин... Буденный... Юдина... академик Марр. Бородатый Халатов кормит калачом зеленого попугайчика... Лев Кассиль, вскидывая руку, возглашает: «Салют ленинградцам!»... Я засыпаю.

А ранним утром, еще темным, синеющим московским утром меня будят голоса. Высунув из-под одеяла нос, вижу Самуила Яковлевича, который с папиро-

сой в зубах расхаживает по комнате, бреется безопасной бритвой. А в кресле у письменного стола спиной ко мне сидит какой-то черноволосый, курчавый человек и убеждает Маршака писать детскую пьесу.

9

Была ли наша дружба ровной и безмятежной? Нет, совсем гладкой она не была, хотя Самуил Яковлевич никогда с этим согласиться не хотел, считая, что ничто в наших отношениях не изменилось, не меняется и не может измениться. «Я не теряю друзей, а всегда ношу их с собой, в своем сердце и в памяти», — писал он в одном из поздних писем. И в этом он был, конечно, прав, потому что основа нашей дружбы не колебалась, а тонкостей и оттенков он, может быть, и не замечал, не умел заметить.

— Как и все Маршаки, он очень плохой психолог, — сказала мне как-то Тамара Григорьевна Габбе, самый близкий, самый добрый и самый, я бы сказал, терпеливый друг Маршака, женщина, которой так много был обязан Самуил Яковлевич.

Вскоре после ее смерти он писал мне: «...главное, надо стремиться к тому, чтобы сердце всегда оставалось мягким и нежным... Пожалуй, из всех, кого я знал (а знал я очень много замечательных людей), больше всего этой душевной щедрости было у Тамары Григорьевны. К ней вполне можно отнести слова Толстого о Сулержицком: «Мы хотим быть добрыми, а Левушка — Сулержицкий — добрый». И как эта доброта, это умение вслушиваться в других людей, понимать их во всей их сложности сочетались у нее с остротой мысли и слова...»

Нет, он не всегда был плохим психологом. Иначе он не мог бы так часто болеть чужой болью и «разводить руками» чужую беду. Просто ему, как и всем нам, не всегда удавалось сохранять «мягким и нежным» сердце. И ему временами угрожало то, о чем он писал мне в этом же письме от 22 сентября 1960 года:

«Я вижу, как ссохлись, как очерствели многие из моих знакомых (главным образом писатели), которых я знал когда-то живыми, доверчивыми, легкими на подъем. Жизнь безо всего того, что может тронуть сердце, вызвать в нем восторг, умиление или участие, приводит людей в то состояние, в какое впал Плюшкин — когда-то очень добрый и хороший — по свидетельству Гогсля — человек».

Если Самуил Яковлевич не всегда был добрый (абсолютно добрый, как Лев Сулержицкий или Тамара Габбе), то желание быть добрым, стремление к само совершенствованию не оставляло его никогда. А доброго он сделал в своей жизни очень много. Я имею в виду не денежную щедрость. Этого, быть может, и не было. Но ведь это и не самое трудное: имея деньги, отдать часть их тому, кто нуждается больше тебя. Нет, он действительно чужие беды разводил своими руками — буквально, физически разводил. Сколько раз, когда я попадал в беду (а беды ходили за мной по пятам всю жизнь), он бросал все свои дела, забывал о недомогании, об усталости, о возрасте и часах не отходил от телефона, а если телефон не помогал, ехал сам, а если ехать было не на чем — шел пешком, стучался во все двери, ко всем, кто мог помочь, говорил, убеждал, воевал, бился, дрался и не отступал, пока не добивался победы. И не за меня одного он так бился. Думаю, сотни и тысячи людей поднимут руки, если спросишь: кому он помог? Он хлопотал за больного, за арестованного, за товарища, оказавшегося в нужде, и за товарища, не имеющего квартиры... Он выхлопывал персональные пенсии, железнодорожные билеты, дефицитное лекарство, московскую прописку, путевки в санаторий... Не всегда делал он это с улыбкой, иногда морщился, кричал, покупывал большой палец, но все-таки делал. И только в одном случае он был непреклонен, бескомпромиссен и даже беспощаден — когда дело касалось какой-нибудь неталантливой рукописи, которую издавать, по его мнению, не следовало.

Помню, как в моем присутствии редактор Детгиза уговаривал Самуила Яковлевича дать хороший отзыв о повести писателя Р., представленной на один из

детгизовских конкурсов. Редактор говорил, что Р. терпит нужду, подвергался гонениям, хворает.

— Простите меня, пожалуйста, голубчик,— перебил его Самуил Яковлевич,— в вопросах искусства нет и не может быть филантропии. Помогать людям надо другим способом. А ваш Р. не писатель, а сладкогласый протестантский пастор, принявший почему-то иудейское вероисповедание...

Как его ни уговаривали, он мотал головой и говорил:

— Нет. Нет. Нет.

Всегда ли так было? К сожалению, нет, не всегда. В годы «культы» он не раз давал оценки той или иной книге не по чистой совести, не по велению сердца, а потому, что таковы были требования и установки официальной критики.

Но ведь я пишу сейчас не об этих годах, а о тех давних-давних временах, когда наши сердца были еще мягкими и нежными, когда он мог сказать мне, как сказал однажды, обняв меня и посмотрев мне прямо в глаза:

— Дорогой мой, я так хочу, чтобы ты был как аттический воин — всегда прямой, негибаемый, честный...

10

Собираясь в те далекие годы куда-нибудь в дорогу, прежде чем закрыть свой плотно набитый дешевый фибровый чемодан, он всякий раз клал поверх всего две маленькие потрепанные книжки — английского Блейка и русскую псалтырь.

До чего же ярко и отчетливо вижу и чемодан этот, и диван с кожаными потертыми пуговками, на котором этот чемодан стоит, и шведские застекленные шкафы, и невысокий красного дерева письменный стол, заваленный рукописями, корректурами, книгами, письмами... Вижу и хозяина этой продымленной, прокуренной комнаты, который торопливо и суетливо, как всегда двигаются люди перед отъездом, не ходит, а мечется по кабинету, с усилиями продвигает у себя на шее запонку, чертыхается, охает, крикает, шутит, смеется, откликается на телефонные звонки и при этом успевает еще читать тебе свои последние переводы из Шекспира или из Блейка. Вижу и себя в уютном старом кресле и вижу почему-то пепельницу на потертом кожаном подлокотнике — этот серебряный маленький ящичек, неудобный, невместительный, всегда переполненный, похожий на те ящички для окурков, которые вделываются в стенки железнодорожных вагонов.

...Подумать только, что все это — и стол, и диван, и шкафы, и кресло, и милая маршаковская пепельница-ящичек,— все это и сегодня, сейчас вот, сию минуту стоит в его кабинете на улице Чкалова. А как все это пусто, безжизненно, мертво и как небось тихо, как холодно и тихо там сейчас.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. ШАРОВ

★

ЯНУШ КОРЧАК И НАШИ ДЕТИ

Корчак доходит до нас медленно, долгими годами, действительно «как свет угасших звезд»; когда думаешь о Корчаке, эта поэтическая метафора вновь обретает первоначальный смысл.

Сила его воздействия в том, что он возникает перед нами одновременно сказочным мальчиком, королем Матиушем с зеленым знаменем детства в руках и мудрецом, открывающим детство, как неведомый мир; ведь совсем не все, что рядом, нам доступно... Люди сначала начертили карту Земли, а потом карту своих кровеносных сосудов. Сперва Карл Фриш расшифровал язык пчел, и лишь после него, в удивительной книге Корнея Чуковского «От двух до пяти», мы стали постигать великий и неведомый детский язык, к которому прежде снисходили, как к собранию курьезов.

Восьмилетний мальчик, оторвавшись от сказки Корчака, чувствует себя королем таинственного детского королевства, а мы, взрослые, прочитав заповедь Корчака — «без ясного, пережитого во всей полноте детства искалечена вся жизнь человека», — с какой новой ответственностью и с каким порой чувством невосполнимой, ранящей душу вины глядим на детей — вечный и главнейший источник многоцветности мира.

Януш Корчак — Генрик Гольдшмит — родился в Варшаве в 1878 году в интеллигентной еврейской семье; отец его был известным адвокатом. Литературный псевдоним — Януш Корчак — он принял юношей, в первых своих писательских опытах, и под этим именем стал одним из самых любимых и самых почитаемых мыслителей педагогики и детских писателей не только Польши, но и всего мира.

Продолжатель лучших традиций культуры своей страны, он был теснейшим образом связан с русской литературой, и прежде всего с Чеховым, которого называл любимым своим писателем. Его объединяла с Чеховым не только некоторая общность судьбы: оба они были и писателями и врачами, и призвания эти сливались у них в удивительном единстве, оба очень рано встретились с горем.

Но общность их не только в этих внешних приметах. Мне все кажется, что вот уж кто был действительно и совершенным чеховским человеком — это Януш Корчак. Он, который прошел жизнь с такой болью за мир, с такой чеховской жаждой сажать леса, с таким талантом самоограничивать себя одной правдой — всегда: и у постели больного, и за письменным столом, и в отношениях с людьми. С такой верой, что именно ты до последней секунды должен делать горе мира менее безысходным, что без этого в жизни человека нет разумного смысла.

Он был ребенком, когда отец его, добрый и талантливый человек, безнадежно заболел. Борьба с болезнями и страданиями людей сделалась идеей его жизни. Он был на фронте военным врачом, спас множество людей, бесстрашно рискуя своей собственной жизнью, но и война не отвлекла его от вечной мысли о детях; да и войну с самой войной, как казалось ему, надо начинать в душах детей, реформы в жизни взрослых —

с мудрого устройства жизни детей, уничтожение расового неравенства и гнета — с недопущения его в детские души.

Он написал чудесные сказки, которые во множестве сердец заняли место рядом со сказками Андерсена. Приглядитесь, как читают его сказочную повесть «Король Матиуш» дети: с тем самозабвенным вниманием, с каким слушают они друг друга, читают так — не напрягаясь, — будто слушают самих себя, свою мечту, самый голос детства.

Как в судьбе Ленского пророчески угадывалась судьба Пушкина, так и в Матиуше, короле-ребенке, мечтавшем реформировать мир детства и так трагически столкнувшемся со злыми силами, горько угадывается жизненный путь Корчака.

Он мечтал о зеленом знамени для детей всего мира — зеленом, как лес, как природа, неотделимая от души ребенка, — и под этим зеленым знаменем прошел всю свою жизнь.

«Детские годы — это горы, из которых река берет начало и где определяет свое направление», — писал Корчак. «Что в конце? — спрашивал он себя в самые горькие минуты и отвечал: — В конце — ребенок».

Он, как никто прежде, видел и величие, красоту детства, и его беззащитность.

Он писал: «Однажды я долго сидел в поле и слушал, как пели жаворонки. И я подумал, что сердце жаворонка должно походить на сердце здорового, веселого мальчишки: любит доводить себя до изнеможения и быстро отдыхает».

И в другом месте: «Бедные вы мои лилипутики в стране великанов! Голова у вас вечно задрана вверх, чтобы что-нибудь да увидеть. Окно где-то высоко, как в тюрьме...»

Он писал: в принципе неверен «наш взгляд на ребенка — что его как бы еще нет, он только еще будет, еще не знает, а только еще будет знать, еще не может, а только когда-то сможет».

Сколько из того, что «может» ребенок, мы потом безвозвратно теряем: силу и цельность его чувств, его особое восприятие природы и красоты.

«Это не пустая фраза, когда я говорю: счастье для человечества, что мы не в силах подчинить детей нашим педагогическим влияниям и дидактическим покушениям на их здравый рассудок и здравую человеческую волю».

На фронте первой мировой войны, работая военным врачом в русской армии, среди постоянной опасности, Корчак создает книгу «Как любить детей» — как бы свое завещание — и пишет там:

«Ребенок превосходит нас силой чувств. В области интеллекта он по меньшей мере равен нам, ему недостает лишь опыта».

Так он верил. Впрочем, в это же верили и Пушкин и Толстой. О гениальности детей говорили такие разные художники, как Пастернак, Цветаева, Пискатор, Чуковский. «Если бы глаз человека не был так похож на солнце, он не видел бы солнца в небе», — писал Гёте. Чьи глаза больше похожи на солнце, чем глаза ребенка?

Корчак говорил:

«Мыслей у детей не меньше, и они не беднее и не хуже, чем у взрослых, только они другие. В нашем мышлении образы лишние... чувства тусклые и словно покрытые пылью. А дети думают сердцем, не умом. Поэтому нам так трудно найти с ними общий язык, поэтому нет более сложного искусства, чем умение с ними говорить».

Многие из нас безъязыкость при общении с детьми пытаются заменить привычкой приказывать, требующим ведь так мало слов и так мало таланта.

Корчак приходит сразу, одновременно и к детям и к взрослым, двумя руками, крепко и нежно обнимая мир. «Я исчезну, обнимая вас холодеющими руками», — писал Михаил Светлов. Корчак и сам был одновременно взрослым и ребенком, то мудрой старостью мира, смертельно усталой от войн, горя, несправедливостей, то детством, все видящим впервые.

В книгах своих, говоря о детях, он вдруг — кажется, что незаметно для самого себя, — начинает писать от их имени: «И взрослые любят хорошую погоду, но они думают, рассуждают, а мы словно пьем ее».

Он имел право на это «мы». Часто кажется, что его пером водит рука ребенка, мысль ребенка. Одна из лучших повестей Корчака так и называется: «Когда я снова стану маленьким».

«Создавал ли кто-нибудь до Корчака образ личности, раздвоенной на детство и зрелость?» — спрашивает ученик Корчака, сотрудник его и биограф Игорь Неверли.

В Освенциме, Трешлинке и других фашистских лагерях на вопрос: «Как выйти отсюда?» — отвечали: «Через трубу крематория, дымом».

Корчак вышел из Трешлинки, где был сожжен вместе со своими воспитанниками, ребятами из варшавского Дома сирот, — сказкой и светом. Светом, озарившим по-новому самую затемненную и больше всего нуждающуюся в свете, тепле, добре часть человечества. Светом, который сделал видимым — для тех, кто этого хочет, — невидимое раньше. Светом, бесконечно необходимым нам, чтобы дети не казались «бедными лилипутиками».

Прадед Януша Корчака — Генрика Гольдшмита — был стекольщиком, «помощником солнца» И правнук его навсегда останется в нашей памяти помощником солнца, помогавшим солнцу светить и в черную, кровавую ночь.

После войны мы узнали сперва только о подвиге Януша Корчака, о последних днях его жизни; до того мы почти ничего не слышали об этом великом писателе, педагоге и враче. Каждому из нас было бесконечно важно увидеть настоящего святого на земле, обезображенной лагерной колючей проволокой, под небом, затянутым дымом освенцимов.

По миру прошла легенда о Корчаке, необходимая тогда людям, как воздух; скорбная и правдивая, она на время заслонила от нас невысокого человека с детскими голубыми глазами, застенчивого и одновременно наделенного железной волей, каким был в жизни «старый доктор».

Не святого — он не любил высоких слов, — а просто человека, подвиг которого тянулся не только несколько последних часов или дней, а больше полустолетия, с семи лет, когда он впервые (как все дети, сердцем, а не умом) понял, что сделать мир счастливым без создания справедливой школы нельзя; с семи лет — это не описка.

В его школьном дневнике осталась запись: «Чувствую, во мне сосредоточиваются неведомые силы, которые взметнутся снопом света, и свет этот будет светить мне до последнего вздоха. Чувствую, я близок к тому, чтобы добыть из бездны души цель и счастье».

Позже он писал о себе проще и с каждым годом скупее, но тогда его, видимо, затопило новое — непонятное ему самому, требовавшее необыкновенных, торжественных слов.

Ребенком он порой чувствовал непосильную ответственность реформатора мира, а взрослым, стариком почти, воспринимал окружающее с цельностью ребенка, не анализирующего, а «пьющего» все — природу, воздух, людей, первый снег, луч солнца.

Подвиг Корчака возникает перед нами заново не как чудо, а как естественное продолжение всей жизни — сейчас, когда мы читаем переведенные наконец на русский язык его педагогические труды, сопровождаемые вдохновенным словом о Януше Корчаке Игоря Неверли¹.

Корчак предстает в книге таким же и одновременно другим, чем в легенде, — не только человеком, самим своим существованием утверждающим справедливость и человечность в основе мира, но и непримиримым, теперь уже бессмертным, а значит, неуязвимым для врагов борцом за эту справедливость и человечность; конечно, эти нравственные понятия — в основе всего, но как трудно бывает вновь пробиваться к этой основе, какой это дается ценой.

Прежде всего еще несколько строк о последних месяцах и днях Корчака.

Дом сирот переводили в гетто. Корчак поднялся в свою комнату на чердаке, как всегда осторожно отворив железную дверь, чтобы не вспугнуть воробьев и голубей.

¹ Я н у ш К о р ч а к. Избранные педагогические произведения. Перевод К. Сенкевич. «Просвещение». М. 1966.

Он попрощался с комнатой, где десятилетия жили птицы, и он, и больные дети — такие, как полупарализованная Наця, нуждающаяся в постоянном уходе, — где родились король Матиуш и маленький чародей Койтусь: кто будет кормить воробьев крошками и кто поможет Матиушу, если тот снова попадет на необитаемый остров или ему будут угрожать другие беды?..

В сказки он верил и в чудо верил, может быть, даже до последних секунд жизни, но это не мешало ему ясно видеть все горе той, детской половины мира, ради которой он жил.

Это были не розовые сказки, не те, что заслоняют правду.

Когда-то, в сочельник, переодевшись Миколаем — дедом Морозом, — с седой бородой, в вывороченном тулупе, с мешком дешезых игрушек за плечами, он пришел в каморку к Рыжему — беднейшему из бедных, «потаскухиному ублюдку», как звали его однолетки, и Рыжий спросил Корчака:

— Дедушка, ты в самом деле святой?

— Конечно!

— Тогда возьми меня к себе.

— Тебе так плохо?.. — спросил Корчак.

Самое тягостное заключалось в том, что принести подлинную справедливость в детский мир, где всегда оседает горчайшее горе взрослых, — действительно оказалось бы по силам только святому.

Не было еще созданных им позднее детских домов — Дома сирот и Нашего дома, куда он мог бы взять Рыжего.

Однажды в Нашем доме на уроке он спрашивал ребят: кто кем собирается стать?

— Я хочу сделаться чародеем! — сказал один мальчик.

Сказка тут, в доме, жила полноправно, ее не прогоняли с уроков, как в обычных школах, она не дождалась ночи, чтобы опуститься в детские сердца по лунному лучу.

Мальчик сказал еще:

— Мой отец судья, и я буду судьей. Но хочу я стать чародеем.

Вероятно, лучше было бы, доведись мальчику исполнить свое желание. Судей в мире хватает, а чародеев мало, и они скоро гибнут от руки палача или рано умирают своей смертью. Гитлеровцы расстреляли в Чехии Владислава Ванчуру, чудесного сказочника, в Польше сожгли Януша Корчака.

В Варшаве и сейчас существует Наш дом, им руководят верные последователи Корчака.

Там, вероятно, по-прежнему отмечают праздники, которых нет больше нигде на свете, — например, «День Первого Снега».

И стоят невидимые — в углах, у стен — тени сожженных фашистскими палачами детей, которые, должно быть, вернулись сюда; куда еще?

Двести теней. Или миллионы, если с детьми Корчака пришли и другие дети, которых мир мы все не сумели сберечь.

Детский дом переводили в гетто, и пан Залевский, сторож Дома сирот, решил переселиться за стену вместе с детьми.

Он сказал: «Я и там пригожусь».

«Мы даем вам одно — тоску по лучшей жизни, которой нет, но которая когда-нибудь будет, по жизни правды и справедливости», — говорил Корчак своим воспитанникам. Значит, тоска по правде и справедливости — сильная, сильнее смерти — входила в души взрослых сотрудников Корчака так же, как детей.

Нет, сказки Корчака не розовые, а красные, кровоточащие.

Залевского избили гитлеровцы; полумертвый он пробрался в варшавское гетто, к детям. «Как же без детей. В конце — ребенок». Это была как бы религия, которой жили взрослые в Доме сирот и Нашем доме, единственная религия, не унижающая, а возвеличивающая человека.

«...Юношеское время мира уже прошло, и лучшая пора творений уже прошла, уже миновала, и время почти уже прошло, уже почти миновало». Это строки из книги Баруха, созданной задолго до новой эры. Так рано стало человечество свykаться с темной и безнадежной старостью. В мире ребят, и частице его — корчаковском Доме си-

рот,— не было «конца времен». Там время всегда рождалось, восходило, как солнце. Как ни трудно было там работать, взрослые были счастливы в этом мире; со счастьем, если оно настоящее, остаются до конца.

В августе Залевского расстреляли во дворе Дома сирот.

В царской армии Залевский служил grenадером — значит, ему уже перевалило за пятьдесят. Мертвые не стареют, и сейчас он сверстник людей моего поколения. И сам Корчак сейчас понятнее, ближе, он как бы старший брат поколения, объединенного ненавистью к фашизму, ко всякому кровавому произволу.

Дом сирот жил по-прежнему. Как всегда, действовали суд и сейм-самоуправление, издавалась газета. Стефания Вильчинская, ученица Корчака, оставшаяся в гетто с ним и ребятами, учила детей.

Корчак много раз повторял, что в жизни ребенка драгоценен каждый час и каждая секунда; они драгоценны сами по себе, а не только как звено, подготавливающее к взрослой поре. Он презрительно называл «моралью гицевода» попытки рассматривать ребенка как нечто неполноценное, как «сырье». «Мала рыночная стоимость несозревшего. Лишь перед человеческим законом и богом цвет яблони стоит столько же, что и плод, и зеленые всходы,— сколько спелые нивы».

В книге «Право детей на уважение» Корчак писал: «Берегите текущий час и сегодняшней день... каждую отдельную минуту, ибо умрет она и никогда не повторится. И это всегда всерьез: раненая минута станет кровоточить, убитая — тревожить совесть. Мы наивно боимся смерти, не сознавая, что жизнь — это хоровод умирающих и вновь рождающихся мгновений».

Вся история Дома сирот свидетельствует, как глубока была убежденность Корчака во всем этом. Он делал все невозможное — ничего «возможного» уже не оставалось,— чтобы каждое мгновение было здесь чуть счастливее; нет, не счастливее, а чуть менее страшным. До последнего дня в классах шли уроки, репетировалась пьеса.

Корчак писал в дневнике:

«Пасмурное утро. Половина шестого. Кажется, день начинается нормально. Говорю Ганне:

— Доброе утро.

Она отвечает удивленным взглядом.

Прошу:

— Ну, улыбнись же.

Бывают бледные, чахлые, чахоточные улыбки».

Надо было «извлечь из своей души» силы жить и дать их двумстам обреченным детям; насколько это труднее, чем самому умереть.

Иногда веришь, что, когда забудется самое проклятое имя Гитлера — о нем будут говорить: один из палачей страшных времен,— о Корчаке и его детях помнить будут. Страшно, если и этому суждено исчезнуть из сознания человечества — матерей, детей. В истории палачи либо забывались, либо время обесцветивало кровь, пропитавшую мундиры, и оставались только реляции о победах — почти всегда мнимых, бесполезных народу, ордена, ореолы, прилежно выкованные мастерами поделочных искусств.

Корчак писал в дневнике: «Район осужденных, со дня на день меняется его лицо: гюрма — зачумленные — сумасшедший дом».

Но были у гетто и свои крепости — подполье, где готовилось восстание, и совершенно безоружный, беззащитный Дом сирот Корчака.

Крепости не только гетто, но и всего человечества, как мы понимаем сейчас.

Сотни людей пытались спасти Корчака. «На Белянах сняли для него комнату, приготовили документы,— рассказывает Неверли.— Корчак мог выйти из гетто в любую минуту, хотя бы со мной, когда я пришел к нему, имея пропуск на два лица — техника и слесаря водопроводно-канализационной сети. Корчак взглянул на меня так, что я съехался. Видно было, что он не ждал от меня такого предложения... Смысл ответа доктора был такой... не бросишь же своего ребенка в несчастье, болезни, опасности. А тут двести детей. Как оставить их одних в запломбированном вагоне и в газовой камере? И можно ли все это пережить».

...В комнате Корчака — не той, на чердаке, откуда виден был весь мир, а в гетто, рядом со спальней, — лежали больные дети и отец одной из воспитанниц, умирающий портной Азрылевич. Больных становилось все больше, и ширма, отгораживающая стол Корчака, придвигалась, вжимая хозяина комнаты в стену, надвигалась, как знак приближения конца.

Днем Корчак ходил по гетто, правдами и неправдами добывая пищу для детей. Он возвращался поздно вечером; иногда с мешком гнилой картошки за спиной, а иногда с пустыми руками пробирался по улицам между мертвыми и умирающими.

По ночам он приводил в порядок бумаги, свои бесценные тридцатилетние наблюдения над детьми — их ростом, физическим и душевным, — и писал дневник.

Он писал: «Последний год, последний месяц или час. Хотелось бы умирать, сохраняя присутствие духа и в полном сознании. Не знаю, что бы я сказал детям на прощанье. Хотелось бы только сказать: сами избирайте свой путь».

Он еще верил, что умрет один, дети останутся. Не мог поверить, что есть кто-то, способный убивать и детей.

И думая о детях, он повторял самую свою главную мысль: избирайте свой путь, не давайте подменить его чужими, фальшивыми, навязанными вам путями.

Он писал:

«Я поливаю цветы. Моя лысина в окне такая хорошая цель.

У часового винтовка. Почему он стоит и смотрит?

Нет приказа?

А может, в бытность свою штатским он был сельским учителем или нотариусом, дворником в Лейпциге, официантом в Кельне?

А что бы он сделал, кивни я ему головой? Дружески помаши рукой?

Может быть, он не знает, что все так, как есть?

Он мог приехать лишь вчера, издалека».

Это последняя дневниковая запись.

Значит, когда он писал это, он верил, что во всех людях — и в эсэсовце-часовом тоже — есть человеческое.

Ненависть к злу необходима. Но человечеству необходимы и люди, неспособные испытывать ненависть.

Пятого августа сорок второго года по приказу гитлеровцев Дом сирот — дети и взрослые — выстроился на улице. Корчак и его дети начинали последний путь. Над детским строем развевалось зеленое знамя Матиуша. Корчак шел впереди, держа за руки двух детей — мальчика и девочку. Фашисты невольно сторонились. Казалось, идут победители.

Колонна обреченных детей с детской силой и бесстрашием разрезала самый строй фашизма. Человеконенавистнический фашизм еще жил, он и сейчас не погиб окончательно, но ему не оправиться от этого ножевого удара.

Дети шли на Умшлагплац молча, в полном порядке.

Во главе колонны шел Корчак, больной старик, великий человек, до конца неся на своих плечах и на сердце самую тяжелую ношу на Земле.

Из Варшавы поезд повез детей в Трешлинку. Только один мальчик выбрался на волю; Корчак поднял его на руки, и мальчику удалось выскользнуть в маленькое окошко товарного вагона. Но и этот мальчик потом, в Варшаве, погиб.

Говорят, что на стенах одного из бараков в Трешлинке остались детские рисунки — больше ничего не сохранилось.

Очевидцы рассказывают, что некоторых детей фашисты вешали на глазах у товарищей — для забавы. Другие были сожжены. В одном из фильмов о фашизме — искреннем и талантливым — авторы предупреждают зрителей, что они не хотят запугивать и поэтому самое страшное не показывают. Я смотрел картину, а перед глазами возникало виденное в дни войны: умирающие люди, серый пеленой ползущие по аккуратным асфальтированным дорожкам Освенцима навстречу нашим танкам, свалившим проволочные ограждения лагеря, и нашим полевым кухням, медсанротам и санбатам, ринувшимся в пролом.

И возникает корчаковский поезд и повешенные, сожженные дети.

Вероятно, не наступило и никогда не наступит время амнистировать друг друга от воспоминаний обо всем этом; права на такую амнистию нет ни у кого.

После войны в Австрии один из бывших лагерников — очень больной человек, он вскоре умер — говорил мне:

— Умирать не страшно. Не знаю, как другие, а я каждый вечер расстаюсь со своим дневным существованием, а утром — с существованием ночным. Ночью я еще в лагере — всегда, каждую ночь. И это не Освенцим даже, а лагерь для одних только маленьких детей. Ночью я превращаюсь в такого ребенка, высохшего, сморщенного, не разберешь, сколько лет; такие были и в Освенциме. Я знаю, помню во сне, что мне семь лет, и я как раз должен был пойти в школу, когда все произошло. Помню, что мне покупали книжки, тетради, пенал. И знаю, что никогда в школу не попаду, что вообще больше не будет ничего, кроме лагеря... Если умрешь ночью, в последние секунды представится, что тебя — вот такого ребенка — разрывают собаки или сжигают в печи. А днем, в полном сознании, умирать не страшно. Не так страшно. Днем — умрешь на воле.

Это тяжело, но пусть такие сны время от времени снятся всем нам.

История гибели Корчака — предупреждение человечеству: это не может повториться.

Жизнь его, сказки, педагогические труды, все вместе — одна из самых бескомпромиссных, разумных и человеческих попыток найти пути, исключющие торжество человеконенавистничества.

Есть книги, после прочтения которых мир видится чуть иначе, под другим углом зрения, в ином свете.

Едешь по старой дороге в Михайловское, и оттого, что по этой самой дороге столько раз мчался, торопя коней, Пушкин — то несчастный, то счастливый, всегда полный нетерпенья, — и по ней темной ночью казенная упряжка вскачь несла повозку с телом убитого поэта, и оттого, что дорога как бы проложена по самому гребню земли — по сторонам речки, роши, бескрайняя даль, кажется, если бы не дымка на горизонте, страна открылась бы «от финских хладных скал до пламенной Колхиды», — от всего этого душой овладевает безграничная пушкинская ясность.

Или читаешь Андерсена. Теплый свет заливает мир. В этом свете черной тени не так легко вновь отделиться от своего хозяина, чтобы мучить людей.

Может быть, именно свойство искусства менять все вокруг имел в виду Пушкин, когда писал: «...и сквозь магический кристалл». Эти магические кристаллы не просто расцвечивают окружающее, но меняют его — и всегда в одном, для каждого автора особом, своем направлении, под одним, особым, неповторимым углом зрения. Так возникают новые миры — пушкинский, чеховский. Миры Толстого, Достоевского.

И, как ни странно, так, по-своему меняя окружающее, эти магические кристаллы не мешают, а помогают и нам видеть «по-своему», только точнее, бесстрашнее, чем раньше. Видеть и прекрасное, и далекую еще беду.

Эти магические кристаллы всегда перед глазами, даже если мы этого не осознаем. Существование их отличает наше зрение от зрения первобытного человека. И еще больше от зрения палача.

Создатели «майнкампов» очень скоро приступают к уничтожению магических кристаллов; ненависть к силе искусства преобразать мир всегда отличала нелюдь от человека; как же верно подданный будет созерцать окружающее с единственной точки зрения «майнкампов», если есть и другие углы зрения?

Эти магические кристаллы плавятся в огне костров, сжигающих книги, чтобы твою душу ничто не могло защитить; чтобы между тобой и догмой-«святыней» была пустота.

Есть писатели, обладающие почти безграничной пластической силой. Читаешь страницу за страницей — и видишь, как серебрится река, чувствуешь, как самозабвенно любит женщина.

Но откладываешь книгу — и поразительное ощущение, что мир — весь, сразу — стал другим, светлее, добрее, что в нем прибавилась не бывшая раньше краска или пусть самый слабый оттенок нового, но совершенно нового, — не возникает у тебя. Свет таких

книг, порой ослепительно сильный, освещает только окрестности и только на время. Или — он отраженный, не свой.

Когда читаешь Корчака и потом отрываешься от сказок, дневников, педагогических трудов, которые так различны по жанру и, несмотря на это, все вместе представляют единую исповедь, — многое кажется другим. Ты по-иному видишь и понимаешь детей. слышишь их голоса, не просто «по-иному», а открываешь рядом с обычным, взрослым миром другой, удивительный — детский. Ты видишь детей через магический кристалл, который Януш Корчак принес и оставил людям; даже фашисты не смогли сжечь его в Треблинке.

Окружающее предстает перед тобой как, как оно видится ребенку: «Удивителен этот мир. Удивительные деревья, как удивительно они живут. Удивительные маленькие червяки — живут так недолго! Удивительные рыбы — живут в воде, а человек задыхается в ней и умирает. Удивительно все, что прыгает и порхает: кузнечики, птицы, бабочки. И звери удивительны — кошка, собака, лев, слон. И на редкость удивителен сам человек...

— Что удивительно?

Все. Все, что ты помнишь и о чем забываешь. И как человек засыпает, и что ему снится, и как просыпается, и что было и не вернется, и что будет. И воспоминания, и память, и мечты, и намерения, и решения».

Перед нами — дети; они играют на дворе, в глубокой задумчивости мудреца сидят у окна и неотрывно смотрят на что-то, значение чего почти непонятно взрослому, на лист, облако, воробья, лужу на дворе, шепчутся о чем-то, самим себе шепотом рассказывают что-то, идут, потом бегут, почти летят, превращаясь в тепловоз, в самолет, в птицу — не просто ребята, а поэты, философы, художники.

Понимание этого никто до Корчака так полно и особенно не вносил в мир.

И онс многое изменяет в каждом из нас.

Замечательные школы, руководимые великими педагогами, чаще всего недолговечны; это очень горько, но понятно и объяснимо. Педагог готовит детей для будущего — ведь им только через десять, пятнадцать лет начинать взрослую общественную жизнь, — воспитывает их в высоких нравственных нормах, которые, по его убеждению, должны стать законом будущего. Он создает угопию, но не на бумаге, а в жизни, и силой своего таланта переселяет ее в сегодняшний день. Кругом идет обычная, грудная жизнь, а тут, в детском мире, стрелки часов передвинуты на пятнадцать лет вперед.

Эта утопия постоянно разрушается под ударами окружающего, ей грозит нравственная энтропия, она вызывает ненависть обывателей, как все непонятное, слишком сложное. Какую же надо иметь силу души, чтобы долгие годы сохранять веру в справедливость и жизненность того, что ты создаешь. И сохранять не только в себе самом, но и в сотнях детей, чтобы, не остывая, Гольфстримом течь среди ледяного пространства.

Дом сирот и Наш дом были созданы в Польше Пилсудского, где так сильны были шовинизм, социальное неравенство, и эти детские республики просуществовали при жизни Корчака четверть века.

Само это бесконечно важно как свидетельство того, что человек даже в тяжелейших условиях может жить по-людски, строить разумный мир для других. «Я существую не для того, чтобы меня любили и мной восхищались, а чтобы самому действовать и любить, — писал Корчак в дневнике. — Не долг окружающих мне помогать, а я сам обязан заботиться о мире и человеке».

Бой Корчака и его ребят с предвестниками фашизма и с самим фашизмом начался не в варшавском гетто, а за десятилетия до оккупации Польши гитлеровцами и не прекращался ни на час.

Для торжества фашизма неперенными не только определенные социальные условия, но и непредставимой степени уровень нравственного одичания. Вся суть педагогики Корчака — непрерывное стремление противостоять этому процессу, снижать уровень жестокости, дать возможность детям плыть против самого грозного и мерзкого течения, какое знала история человечества.

В Польше и за ее пределами нарастало несправедливое приговоры, вызревала подлая лагерная идея. «Судебная газета» Дома сирот писала в это время:

«У взрослых есть суды. Эти суды взрослых нехорошие... Они назначают разные наказания: штрафы, аресты, каторжные работы, даже присуждают к смертной казни... И все время люди думают, как бы сделать так, чтобы суды были справедливые. А есть и такие люди, которые думают, как бы сделать так, чтобы совсем не нужно было судов, чтобы люди и без судов не делали ничего дурного».

...В предвоенные годы прогрессивные юристы и писатели отмечали рост преступности и резкое усиление репрессий: числа казней, возрастание сроков тюремного заключения. Общество, потерявшее или теряющее высокие идеалы, пытается силой обеспечить движение в избранном направлении, идеи подменяются фетишизацией палки; так при раке соединительная ткань заменяет нервные и другие высокоорганизованные клетки. В прусских школах детей пороли, выбивая из будущих эсэсовцев, лагерных охранников и лагерных палачей все человеческое.

Дом сирот не отделен от окружающей среды — зло проникает и в него, культ зла, силы. В это время кодекс детского товарищеского суда Дома сирот провозглашает свой, противостоящий фашизму закон человечности:

«Если кто-нибудь совершил проступок, лучше всего его простить. Если он совершил проступок потому, что не знал, теперь он уже знает. Если он совершил проступок нечаянно, он станет осмотрительнее. Если он совершил проступок потому, что ему трудно привыкнуть поступать по-другому, он постарается привыкнуть. Если он совершил проступок потому, что его уговорили ребята, он больше не станет их слушать.

Если кто-нибудь совершил проступок, лучше всего его простить в надежде, что он исправится.

...Суд — это еще не сама справедливость, но он обязан стремиться к справедливости; суд — это еще не сама истина, но он жаждет истины.

Судьи могут ошибаться. Судьи могут наказывать за поступки, которые и им самим случается совершить, и называть плохим то, что и им самим доводится делать (вспомним, что речь идет о ребячьих проступках.— А. Ш.).

Но позор тому судье, который сознагельно вынесет несправедливый приговор».

Начальные сто параграфов кодекса кончаются одним словом: «Простить».

«Простить...», «Простить», «Простить...» — почти как молитва разносится по миру, который все яростнее стремится осуждать — справедливо или несправедливо, — наказывать, пресекать.

Умеренность наказаний часто вызывает недовольство. Мещанин прежде всего жесток, зол и мстителен: это отмечали еще Достоевский, Чехов, Горький. Помните у Чехова: «Опыт научил его (Старцева.— А. Ш.) мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусьиваешь с ним, то это мирный, благодушный и даже неглупый человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти. Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава богу, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал. «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?»

И еще у Чехова:

«Да и не смешно ли помышлять о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом, как разумная и целесообразная необходимость, и всякий акт милосердия, например оправдательный приговор, вызывает целый взрыв неудовольственного, мстительного чувства?»

Воинственное добро встречает сопротивление и среди некоторых ребят в Доме сирот. Корчак пишет:

«...Когда мы проводили беседу о злости, один мальчик написал: «Когда я злюсь, я так и убил бы». Суд никого не убивал, вот ребята и были им недовольны».

И в другом месте:

«Суд не творит чудес, но не творят их ни просьбы, ни угрозы, ни гнев, ни палка. Ведь и там, где есть телесные наказания, некоторые ребята говорят: «Ну и что? Мне совсем не было больно». И не исправляются, а, наоборот, портятся, огрубляются».

Против такого суда, пишет Корчак, выступают те ребята из Дома сирот, «которые не хотят быть свободными, а хотят быть рабами».

Идея насилия заразительна — она привлекает иногда и взрослых, а порой, что самое страшное, даже детей.

Воспитатель вынужден искать сотни решений, различных для каждого случая жизни и для каждого ребенка; это трудно, тут неизбежны ошибки. Однажды взяв в руки палку, он чувствует себя алхимиком, отыскавшим философский камень, или знахарем-врачом, в тигле которого универсальное лекарство, равно действенное и против туберкулеза, и против рака.

Со временем обнаруживается, что философский камень золота не дает, «изленные» знахарем гибнут с еще большими муками, а из нещадно сеченных подростков выходят самые опасные, презирующие и ненавидящие людей преступники, лагерные начальники вроде Гесса.

Но доверие к палке остается, и остается опаснейшая привычка: всегда прибегать к испытанным, пригодным для всех случаев решениям.

Основные положения инквизиции и фашизма предельно элементарны: уничтожай еретиков, инакомыслящих, людей других рас. Этому противостоят вся подлинная мудрость и подлинное искусство, накопленные человечеством за века. Чтобы стать коммунистом, надо овладеть всей культурой прошлого, говорил Ленин.

Но как же это трудно — вобрать в себя все великое, с боем добытое и выстраданное человечеством.

Тогда возникает мысль: сделать мудрость попроще, даже совсем простой, не требующей усилий ума. Есть сказка о Злой и Доброй Королевах. Злая Королева имела войско из серых человечков. Они были одинаковыми, но, чтобы они были совсем одинаковыми, Злая Королева иногда превращала серых солдатиков в серых крыс, выстраивала их, и если у какой-нибудь крысы хвост был чуть длиннее, обрубала его. Одинаковые человечки размножались делением: два, четыре, восемь, шестнадцать — так что с войском ее было почти невозможно справиться.

Добрая Королева решила создать свое войско — таких же совершенно одинаковых, размножающихся делением, но голубых человечков. Она тоже порой превращала своих солдатиков, но, конечно, не в крыс, а в гномиков и подравнивала их, отрубая не хвосты, а подстригая золотые кудри.

В сказке говорится, что голубые солдатики Доброй Королевы вылиняли, стали серыми и перебежали к Злой Королеве.

Творить людей «по образу и подобию своему», убедить их — а если нужно, заставить — мыслить, как ты, без всяких отклонений, — это лежит в основе религиозной философии, это при «благоприятных» социальных условиях порождает и инквизицию и фашизм; именно с этим Корчак прежде всего борется всем своим педагогическим творчеством.

Корчак писал: «Мы требуем стандарта добродетелей и поведения и, сверх того, — по нашему усмотрению и образу, забывая священное право ребенка быть тем, что он есть...» «Не знаю, что больше объединяет людей — сходство или именно различия».

Корчак повторял: идите своим путем, но к верной цели. Сломить легко, но как это страшно — сломить человека, особенно в детстве. Великий натуралист Фабр больше всего гордился тем, что, долгие годы изучая насекомых, сделав величайшие открытия, он не убил и не изуродовал ни одного жука. «Воспитатель, будь Фабром детского мира», — говорил Корчак.

Педагогика Корчака враждебна канонической религиозной морали. Я все время думал об этом, когда смотрел талантливую итальянскую картину Пазолини «Евангелие от Матфея». Христос там показан совсем реалистически: сын человеческий, человек-фанатик. И, может быть, вопреки замыслу автора, образ Христа сливается с Великим

Инквизитором Достоевского, с другими жестокими фанатиками, бывшими в мире; сливается, а не противостоит им.

Конквистадоры говорили инкам:

— Нельзя приносить человеческие жертвы, это жестоко. Мы убиваем вас (а уничтожали они весь народ, миллионы индейцев — мужчин, женщин и детей) за жестокость, чтобы эту жестокость предотвратить.

Христос проповедует: «Не око за око, а если тебя ударили в правую щеку, подставь левую» — но говорит это в фильме так, будто в мыслях повторяет: «А не подставишь щеку, мы тебя убьем, четвертуем».

Во всем поведении Христа из фильма Пазолини — в пренебрежении к матери, в том, как он равнодушно говорит: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов» — добро конкретное, кровно связанное с людьми, уступает абстрактному добру; не знаю, существует ли такое. В словах о милосердии чувствуются отсветы костров инквизиции, зажженных во имя «милосердных» догматов.

Христос в картине предстает как первый великий нивелировщик, первый пророк, мыслящий изменение мира только по образу и подобию своему. За ним пошли другие, но каждый с этой единственной мерой — по образу и подобию своему: во имя универсального единства, не размышляя, пожертвуй всем своим.

Для Корчака главное — это создание коллектива, где единство достигается не отказом от своего, а уважением к особенностям каждого; не просто «уважением», а органическим сознанием того, что без этой пестроты, многоцветности нормальное существование ребят невысказано. Жизнь детских домов Корчака в первую очередь направляют не сильные личности (он очень боится этих сильных личностей среди ребят, так часто подминающих более слабых, робких), а судьи, избираемые по жребию, не иерархия маленьких начальников, а суд. В преамбуле кодекса детского суда есть и такие строки: «...Суд обязан защищать тихих ребят, чтобы их не обижали сильные... Суд обязан заботиться, чтобы был порядок, потому что от беспорядка больше всего страдают добрые, тихие и добросовестные люди».

Для Корчака главнее всего не уставный список запретов, а моральные нормы, сложившиеся среди ребят. Первый детский коллектив, построенный и десятилетия существовавший силой одной морали, — провозвестник будущего справедливого общества. «Вы — никто, и если вы умрете, это будет значить: никто не умер» — этот апофеоз самоотречения провозгласил когда-то Бакунин. Вероятно, не могло быть ничего более чуждого, внутренне враждебного Корчаку, чем каноническая религия и бакунинщина, нечужбина — тоже религиозные в своей основе.

Для Корчака самое важное — дать простор естественному. Не давить.

На читательской конференции в строительном техникуме учительница математики Воля Ивановна Семенова рассказывала:

— В учительскую зашел один наш педагог с кольцом в руке, только что отнятым у школьника. Торжествующе сказал: «Дурацкая мода, у меня уже целая коллекция колец». А я в своем классе спросила мальчика: «Почему ты носишь кольцо?» Он ответил: «Подарок» — и я почувствовала, что не имела права спрашивать.

И еще она рассказывает:

— Мы с ребятами разговорились об одном учителе, года два назад ушедшем из техникума. Это человек, отлично знающий предмет. И я думала, что о нем будут вспоминать добром. А ребята сказали: «Он всегда перед уроком вызывал старосту — только старосту, а не дежурного — и заставлял ее вытирать пол у доски. И нам было совестно, и девчонка садилась на свое место красная. Нет, хорошо, что он ушел».

Я слушал Семенову и подумал, что она — преподаватель корчаковского взгляда на детей.

«Не давить» — это для Корчака основа всей педагогики. В детском суде он был секретарем, а не председателем. Он участвовал во всех дежурствах, даже в дежурстве по уборке туалета. Он следил, чтобы ничто не нарушало равенства в детском доме. Но это было не равенство, достигаемое при подстригании травы, например. А равенство березы и сосны, маргаритки и полевой гвоздики, растущих рядом. Равенство подстри-

ганья всегда требует силы, контроля подстригающей руки, то есть опять-таки заключает неравенство.

Корчак был замечательным педагогом, сказочником и одновременно выдающимся врачом, прошедшим и немецкую школу, подарившую ему методичность, «изобретательность в мелочах и гармонию деталей», и школу парижскую. «Париж,— писал он,— научил меня думать о том, чего мы не знаем, но желаем, должны, будем знать... Париж — это праздник, завтра с его ослепительными предчувствиями, могучей надеждой, неожиданным триумфом. Силу желания, боль неведения, наслаждение поисков дал мне Париж... Великий синтез ребенка — вот о чем грезил я, когда, раскрасневшись от волнения, читал в Парижской библиотеке удивительные творения французских классиков-клиницистов».

Он видел и изучал ребенка сразу во всех трех главнейших мирах, в которых протекает детство: сказочном мире мечты, мире познания и мире физического развития. Эти миры теснейшим образом зависимы друг от друга.

Корчак наблюдал неустанно. В последние дни жизни одной из главных его забот было переправить туда, за стену гетто, результаты многолетних наблюдений.

Как только колонна детей с Корчаком во главе в тот августовский день сорок второго года свернула со Склизкой улицы, где помещался Дом сирот, в опустевшее здание пробрался человек — тень человека, какие только оставались здесь, в гетто. Он прошел через спальни, где стояли аккуратно застеленные кровати, через столовую с чашками из-под кофейной бурды на столах — ребята не успели вымыть посуду — в перегороденную ширмой, пахнущую лекарствами комнату Корчака и собрал все до единой бумаги: таблицы, графики роста детей, дневники; часть из них вошла в книгу, о которой я сейчас рассказываю.

Корчак писал: «Бывают весны удвоенного труда развития и осеннее время затишь. Вот разрастается костяк, а сердце не поспевает... иной химизм угасающих и развивающихся желез... То ему (ребенку.—А. Ш.), так же как дышать, необходимо бегать, бороться, поднимать тяжести... То сильное, непреодолимое стремление действовать, то апатия... Усталость, недомогание, жарко, холодно... сонливость, плохое самочувствие — все это не капризы... Уважайте тайны и ненормальности т я ж е л о й р а б о т ы р о с т а».

...Я выхожу на улицу. За нестарыми еще, красивыми и красиво одетыми родителями плетется подросток лет пятнадцати в мягкой школьной форме. Он сутулится, шаркает подошвами по асфальту, глаза у него тоскливые.

— Лень ноги поднять,— не глядяваясь, раздраженно говорит мужчина.

Женщина поддерживает:

— Лодыр! Отец по десяти часов вкалывает, а этот придет и завалится спать.

Мы забываем о «тяжелой работе роста», о времени, когда создаются миллионы новых клеток, перестраиваются все системы организма, когда порой так трудно жить.

Больше всего Корчак боялся сломить ребенка... Опытный, умный и добрый учитель, который из Москвы поехал на Чукотку и пятнадцать лет преподавал в кочевой школе, учитель-подвижник, рассказывал мне о педагогическом совете в одной из школ подмосковного городка, где он сейчас живет.

Разбирался вопрос о странном мальчике — слово «странный» повторяли все,—который нарочно обмочил пальто одной школьницы. В середине заседания поднялся некий родитель и веско сказал, обращаясь к отцу мальчика:

— Я бы с мальчика кожу спустил! Пороть его надо, живо отучится.

Все молча выслушали энергичную речь. Только когда отец вышел из комнаты, одна родительница заметила:

— Да они его дома и так лупят чем ни попало, каждый день. Не помогает.

И никто не сказал, что мальчика надо — просто необходимо — показать психиатру, лечить. Не сказал, что вероятнее всего проступки «странного» подростка — симптом начинающегося психического заболевания; болезни л е ч а т, а не выбивают палкой.

И оттого, что этого никто не сказал — ни родители, ни педагоги, молчание которых уж совсем непростительно,— жизнь ребенка может быть сломлена.

В одном из ленинградских интернатов случилось такое происшествие: девочка вытащила из тумбочки подружки конфету и откусила половинку. Я случайно зашел к директору интерната, когда обсуждалось ЧП. Большинство педагогов говорило, что вреднее всего было бы поднимать шум, а один воспитатель упрямо повторял:

— Никогда не соглашусь. Этого так оставлять нельзя. Произошла кража, и воровка должна быть наказана для ее пользы.

Слова «кража» и «воровка» он произносил громко и отчетливо.

Потом, когда я разговорился с этим воспитателем, он так же отчетливо, без малейших сомнений в голосе, рассказал эпизод из своего детства, «основополагающий случай», как он выразился:

— Я учился в детсадики. Мальчонка, с которым я дружил, подобрал на дворе цветную пирамидку, правда без единого колечка, и сунул мне в карман — «подарил». Я принес пирамидку домой. Отец сразу дознался что к чему, выпорол — «зачем хватаешь казенную вещь», — пошел на квартиру паренька, который сунул мне проклятую пирамидку; того тоже выпорол. Зато с тех пор я и крошки чужой не трону; стипендию получал, не то что кружку пива — на стакан газировки с сиропом не истрачусь. Вот какой имелся у меня основополагающий случай.

Одна порка изменила человека — не мог же он от рождения быть таким, — исказила его нравственные понятия, смешала ничтожное с важным. И эти искаженные нравственные идеи он стремится пронести в судьбу другого поколения.

Страшно, что в отношении человека порка и предательство по отношению к товарищу остались «основополагающим» моментом.

Очень важно всегда помнить, как живуча жестокость, через сколько лет она может давать сильные отростки, способные глушить вокруг себя живое. И в истории общества, и в существовании отдельного человека средства иногда оставляют более значительные следы, чем цели, вызвавшие их к жизни. Мертвой схоластикой кажется то, что разделяло гугенотов с католиками, но массовые убийства Варфоломеевской ночи, знаки смерти на дверях домов гугенотов в Париже, самая возможность поголовных убийств только за различие в убеждениях остались в памяти французского, и не только французского, народа.

В жизни отдельного человека избиение, несправедливые обиды могут привести к таким же отдаленным последствиям, к такой же ломке души, как Варфоломеевская ночь в истории общества.

Корчак пишет:

«Душа ребенка равно сложна, как и наша, полна... противоречий, тех же трагичных вечных борений: стремлюсь и не могу, знаю, что надо, и не умею себя заставить.

Воспитатель, который не сковывает, а освобождает, не подавляет, а возносит, не комкает, а формирует, не диктует, а учит... переживает вместе с ребенком много вдохновляющих минут, не раз следя увлеченным взором за борьбой ангела с сатаной, где светлый ангел побеждает».

И в той же книге «Как любить ребенка»:

«Теоретизируя, мы забываем, что обязаны учить ребенка не только ценить правду, но и распознавать ложь, не только любить, но и ненавидеть, не только уважать, но и бунтовать».

Творчество Корчака ветвисто, как живое дерево, как все живое. Оно обнимает все стороны жизни ребенка и воспитателя, родителей в мире ребят. Но если попытаться выделить главное, то, что переходит из книги в книгу, повторяется и в счастливые дни, и в самые последние, наполненные непереносимым горем, — это убежденность в силе добра.

Корчак пишет: «...Добра в тысячу раз больше, чем зла. Добро сильно и несокрушимо. Неправда, что легче испортить, чем исправить».

И еще, в книге «Правила жизни»:

«Я часто думал о том, что значит «быть добрым»? Мне кажется, добрый человек — это такой человек, который обладает воображением и понимает, каково другому, умеет почувствовать, что чувствует другой».

Значит, главное. «Добра в тысячу раз больше, чем зла. Добро сильно и несокрушимо».

Мы все много думаем о борьбе добра и жестокости, зла потому, что разные моральные позиции оказывали и оказывают решающее иногда влияние на нашу судьбу — от рождения, от школы и до старости.

Это совсем не абстрактно-философская, а жизненная проблема, может быть, одна из самых жизненных: как люди, воспитанные не в классовом обществе, где существуют, по выражению Ленина, «две нации», две непримиримые морали, выбирают зачастую такие разные дороги: одну — ведущую к жестокости, порой самой крайней жестокости, и другую — эту жестокость отвергающую. Одну — основанную на утверждении, что счастье общества можно построить, только заплатив ценой страданий множества людей, и другую — утверждающую, что на этой базе — на несчастьи множества людей — счастливое общество не возникает.

Этот спор и делает для нас такими засушливыми идеи Корчака в вопросах воспитания.

Он, этот спор, идет во всех областях, но, может быть, непримиримее всего — в педагогике и литературе.

Недавно в «Дне поэзии» было опубликовано стихотворение «Люблю своих детей». Вот некоторые строки из него: «Люблю своих детей. И если что-нибудь случится с вашей дочкой (о, жаль, конечно, не дай бог, конечно, как говорят в народе), я не буду рвать волосы в тоске, и землю грызть в тоске, и падать на нее, и биться грудью... Простите вы меня за бессердечье, но этого не будет ничего, когда бы что-нибудь случилось с вашей дочкой (о, жаль, конечно, не дай бог, конечно! — как говорят в народе)... Люблю своих детей, по ним одним тоскую (а вовсе не по вашему Антошке)... Быть может, я крамолу говорю? Вольны меня судить. В острог меня сажайте... Или за ересь — прямо на костер. Иль колесо? Иль плаха? Иль дыба?.. Вольны меня судить. Но не вольны исправить».

То, что очень многие люди больше всего на свете любят самих себя, а часто — единственно самих себя или самих себя и еще самых близких родных — «своих детей», — этот факт общеизвестен, он не может удивлять. В стихотворении заставляет задуматься лишь агрессивность, с которой автор отстаивает право на равнодушие ко всем вообще «посторонним», в том числе и ко всем «не своим» детям.

Агрессивное равнодушие поражает, когда вспомнишь, что ведь война наложила печать не на одно поколение. И у нас в стране есть даже не сотни тысяч, а миллионы детей, лишенных нормальной семьи: они «не свои дети». Попробуем представить себе, в каком холодном мире очутились бы они, случись идеям, заложенным в стихотворении, распространиться.

Но и поэзия воинствующего равнодушия не занимает крайний фланг в борьбе с вечной проповедью добра, действенной любви к людям. В проповеди этой гордое и прекрасное, обогретенное кровью добро множество раз подменялось — чем-то добреньким, фальшивым; настоящее добро не несет ответственности за подобную подмену. Великое значение таких людей, как Януш Корчак, для истории человеческой мысли, человеческой морали заключается в том, что они силой своего творчества, подвига возвращают главным нравственным понятиям — и добру в том числе — их основной смысл. Без таких людей, писал Игорь Неверли, «в истории человечества не было бы ничего человеческого».

Равнодушие — пассивная позиция. Есть люди, которые находят более действенную форму выражения своих убеждений. Добро кажется им зачастую фальшивым, а снисходительность — опасной. В этом отношении представляет интерес недавно опубликованный рассказ Николая Грибачева «Расстрел на рассвете».

Редко писатели выбирали своей темой смертную казнь, и если писали о ней, то лишь для того, чтобы выразить глубочайшую горечь по отношению к этой, пусть иногда и оправданной обстоятельствами, крайней мере беспощадности; вспомним «Последний день осужденного на казнь» Виктора Гюго.

Деятнадцатого января 1870 года в Париже был казнен Тропман, преступник, который бессмысленно и зверски убил всех членов семьи Кинков, в том числе женщину и детей. Тургенев всю ночь наблюдал за приготовлениями к казни и присутствовал при гильотинировании. 22 января он писал П. В. Анненкову: «Я не забуду этой страшной ночи, в течение которой I have supp'd full of horrors¹ и получил окончательное омерзение к смертной казни вообще...»

«Расстрел на рассвете» написан с иных позиций. По сути это даже не рассказ, а притча — так главенствует в нем поученье, или «физиологический очерк» — в такой холодной аналитической манере написана вещь.

Сюжет прибит к публицистическому остову сотнями деталей, как прибывают обойными гвоздиками драпировку. Детальями, точными только на первый взгляд, а по существу, как мне кажется, произвольными, тоже целиком подчиненными идее поучения.

Но перейдем к сути рассказа.

Трудные военные дни. Командир полнокompлектного, только что пришедшего из тыла батальона молодой кадровый офицер Вадим Шершнев — человек смелый, но безвольный, «бабник», алкоголик — напивается и уходит пьянствовать в деревню к любовнице, покинув часть.

Позорное преступление, за которое человек должен заплатить полной мерой по суровым законам воинской дисциплины.

Автор не случайно в мирное время вспоминает давний эпизод. Желание его ясно: показать, что цепь попустительств всегда, а не только в фронтовой обстановке приводит к неизбежности тяжелых репрессий, даже казни.

Своей волей — вернее, авторским произволом — рассказчик множит результаты преступления Вадима Шершнева так, чтобы и через двадцать лет после войны оно прозвучало фактом не истории, а живой современности. Пьяный Шершнев покидает расположение батальона. Комиссар еще раньше вызван в штаб. На КП остается только адъютант (речь, очевидно, идет об адъютанте старшем, то есть начальнике штаба батальона).

Начштаба точно знает, что командир пьян и ушел пьянствовать. Как должен он поступить, чтобы возможная атака немцев не застала батальон врасплох? Прежде всего — это азбучно ясно — скомплектовать командование: офицеров ведь в батальоне достаточно. Но простое и обязательное решение не приходит в голову начштабу. Он посылает вестового разыскивать комиссара и пьяного, невменяемого комбата. Цепь ошибок нарастает от страницы к странице. Комиссар, к которому прибегает вестовой, казалось бы, должен немедленно вернуться в свою часть. Но и он вопреки логике, все по тому же авторскому произволу, повторяет преступные ошибки начштаба, отправляясь разыскивать комбата. Он делает это, хотя не может не понимать, что присутствие Шершнева на КП сейчас принесет тяжчайший вред, а на воспитание Шершнева или осуждение его хватит времени, когда комбат протрезвеет.

Нелепые действия навязываются комиссару только для того, чтобы «обосновать» еще одно преступление Шершнева: пьяный до невменяемости комбат стреляет в комиссара, тяжело ранит его.

Грубо ошибочные решения начштаба и комиссара служат еще и для того, чтобы объяснить, как полнокompлектный батальон, когда при атаке немцев выбывает из строя начштаба, оказывается беспомощным, неуправляемым, и в результате бесцельно гибнут десятки солдат, почти вся третья рота.

Кровь, обильно льющаяся в рассказе, конечно, не настоящая. Но мне всегда казалось, что обрывать людей на гибель писательской рукой без необходимости, по холодному расчету — хотя эти люди и созданы тобой, — совершенно недопустимо: ведь ты-то сам веришь в свои создания.

Такие неоправданные, «литературные» жертвы обуславливаются не святой и трудной верностью правде жизни, а единственно желанием автора страшное сделать еще страшнее, напугать читателя, потрясти и тем оправдать суровость возмездия.

¹ Я был полон ужаса (англ.).

Это кажется несомненным, что подобная «литературная жестокость» не безразлична для общества. Еще Л. Н. Толстой говорил о великой силе внушения, заложенной в литературе. Кровь, произвольно пролитая в книгах, может в некоторые эпохи вместе с другими обстоятельствами постепенно создавать обстановку, при которой произвольное пролитие крови становится более возможным и в реальной жизни. Литературная жестокость ослабляет естественное для нормального человека отвращение к жестокости реальной.

Репрессии прошедших лет находили порой отражение в литературе. В правовой науке это облегчало процесс замены презумпции невиновности презумпцией виновности: вспомним, сколько горя эта замена принесла стране.

Но вернемся к рассказу. Были, не могли не быть на войне случаи, когда по вине бездарных, или трусливых, или безответственных командиров гибли люди. Но, рассказывая об этом — а утаивать этого нельзя, — писатель, как мне кажется, обязан быть до конца верен фактам, как Юрий Бондарев, автор замечательной повести «Батальоны просят огня», как Василь Быков.

В повести «Мертвым не больно» В. Быкова старший лейтенант Кротов говорит о карьеристе Сарафьянове:

«Приказано было атаковать, ну и атаковал. Пока восемь человек не осталось. Небось его (Сарафьянова. — *А. Ш.*) за это в особый отдел не потащат!.. Да, пожалуй, за это не потащат. Напротив, могут представить к ордену за усердие и настойчивость в выполнении боевого задания. Кому там разобраться, что этот Сарафьянов — набитый дурак и горлопан, что его давно надо гнать из батальона».

...Постепенно, не сразу проявляется внутренний смысл «Расстрела на рассвете». Капитана Шершнева пришлось расстрелять, настойчиво внушает автор, потому, что окружающие, чуть ли не все, с кем соприкасался молодой командир, плохо Шершнева воспитывали, губили снисходительностью, не наказывали за малые и средние вины, пока последняя, непоправимая вина не сделала неизбежной казнь.

Председатель трибунала, «седой полковник», говорит: «В этом вашем Вадиме Шершневе разными величинами, не считая водки и девок, сидят папа, мама, дядя, учитель, приятель, комдив, вы, я»...

Нет, вовсе не один Шершнев интересует рассказчика. Всеми силами он пытается представить судьбу его как типическую, а идею снисходительности к оступившемуся, жалости — как вредную, почти самую вредную — всегда, а не только в дни войны. Вредную, идет ли речь о школе или армии, о ребенке, подростке или взрослом.

«— Знаешь, на одной зимовке в горах человек сам себе резал ногу. Пилой. Представляешь? — рассуждая о судьбе Шершнева, говорит комиссар, «угловатый, крепкий костью и характером сибиряк». — Боль адская, но — резал. Ибо понимал: своя она была, пока здорова, а с гангреней хуже, чем чужая. То же и с людьми теперь. Как ты своих и чужих определяешь? По фамилии?.. Прежде хоть какая-то граница между ними была... теперь и ее нету... Спроси у нашего дивизионного инженера майора Долманова, как ему отступить пришлось: одни умирали, расстреляв последний патрон, другие с полными подсумками поднимали руки и топали в плен. Между прочим, вчера из восьмьсот двадцать восьмого полка командир роты к немцам перебежал — это как?»

...«Границы нет»... «Враг везде». Такие мысли владеют комиссаром из рассказа, но так не говорили и не думали комиссары прошедшей войны. Не могли так думать. Им было совершенно ясно, что идет Отечественная война с фашистской Германией, война, в которой народ един. Они знали, что если командир роты перебежал к немцам, то случай этот из редких редчайший.

Боевые комиссары знали, что и среди попавших в плен подавляющее большинство — честные люди, ненавидящие фашизм: впоследствии это подтвердилось неопровержимо.

Командир батальона в повести «Мертвым не больно», офицер, награжденный высшими воинскими орденами, говорит о штрафниках, которыми командовал на фронте: «Думаешь, преступники? Черта с два! Из плена поприбегали! Не усидели до конца

войны. Вот! Кто сегодня в героях? Брестская крепость и так далее! А я четверых из Брестской крепости на Сандомирском закопал».

Были, конечно, командиры, которым враги мерещились везде, но не они определяли душу фронта. Подлинные, а не литературные командиры, комиссары и солдаты верили своим товарищам; великая эта вера подтверждалась ежеминутно — делами, подвигами, кровью.

Не накажете вовремя за первую провинность — придется проливать кровь. Только система репрессий может охранить от самых тяжких наказаний, — эта мысль звучит в тексте и между строк.

«Сказочку «Пятачок погубил» случайно читать не доводилось? — спрашивает седой полковник. — Мы все новую мудрость днем с фонарем ищем, а старый опыт, цены его не учтя, — побок, побок!»

Какое обидное презренье к новой революционной мудрости: ее ведь не только ищут с фонарем, но добывали и добывают в бою.

Верхом воспитательского искусства полковнику кажется домостроевская сказочка, смысл которой в одном: украл ребенок пятак, не накажешь его, не отстаешь ремнем — стать ему бандитом. Только ремень, репрессии могут выправить человека — большого и маленького. Наказывать! Не будь слюнтяем! «Прощать, добрым быть — полегче, да и ответственности за жизнь человеческую поменьше...»

Но ведь человеческая культура не остановилась на стяжательской ненависти ко всякому, посягнувшему на право собственности — неважно, в большом или в ничтожном. Личная собственность неприкосновенна, но она уж никак не самое священное для нас.

Нет, нельзя согласиться с полковником; быть добрым, не добреньким, а действительно добрым — это, может быть, самое трудное на свете. Для этого нужен особый талант, бесконечное терпенье, готовность, если придется, пожертвовать жизнью.

Корчак создавал детскую республику, государство в государстве. Оно должно было не только отличаться от государственности, окружающей его, — сперва царской России, а потом полуфашистской Польши Пилсудского — но быть противоположным ей: крошечное ядрышко равенства, справедливости внутри мира, построенного на угнетении и неравенстве. Какое надо было иметь мужество, чтобы поставить эту задачу перед собой и вместе со своими учениками, вместе с детьми осуществить ее.

Вначале он попытался воплотить ее в мечте, где, кажется, все дозволено. Детское королевство, управляемое Матиушем — королем-ребенком, — пало в результате собственных ошибок и злобы врагов. Конечно, Корчаку было очень горько писать последние главы «Матиуша», но и сказка имеет свои законы, она должна быть правдива.

Королевство Матиуша, существовавшее в воображении, погибло — реальный Дом сирот вырос и тридцать лет жил во все теснее сжимающемся кольце фашизма, ничем не поступаясь, ни одним своим заветом; он не сдался, не пал, а был сожжен.

В сознании человечества его история станет в ряд с Палмарис — республикой рабов в рабовладельческой Южной Америке, уничтоженной вместе со всеми своими обитателями — мужчинами, женщинами, детьми.

Корчак искал решения задачи у великих утопистов, у философов древней Греции — и не находил. Неверли в воображаемом монологе своего учителя, обращенном к автору «Диалогов», воспроизводит мысли Корчака:

«Платон, ты перерос Афины своего времени на тысячелетия! Ты требовал обязательного всеобщего обучения, воспитания детей государством, равноправия детей... Ты изучал роль привычки и роль игры, поставил вопросы о выработке характера в столкновении с соблазнами, трудностями, опасностями, о приспособлении молодежи к жизни в обществе, о воспитании в интересах государства... Что бы ты делал в Доме сирот?»

Ведь для тебя важны только две касты: стражи законов, то есть философы, и воины, стражи правительства, — это они должны проявлять мудрость и высокое мужество,

Вся система воспитания — воспитание избранных. Вся жизнь мужчин и женщин, их любовь и брачные союзы декретируются сверху, дабы «стада были первосортные». А если появится на свет ребенок-калека или дитя — плод недозволенной связи, служащие супружеского надзора отнесут его «в такое место, о котором не говорят и не очень знают, где оно находится, и положат так, чтобы такому не было пищи»; то есть Нацию следовало бы умертвить, раз она после детского паралича стала калеккой.

Чудовищные методы, хотя цель возвышенная. А кроме того, Платон, материал не выдержит. Человек столько не вынесет даже ради самых совершенных учреждений, совершенных законов и совершенных блюстителей законов».

Корчак точно знает, чего хочет: воспитать хорошего человека — мысль простая, но как трудно ее осуществить: «ведь плохой человек исказит и лучший строй». Школа-коммуна Лепешинского и Пистрака воспитывала нас, детей двадцатых годов, на живых, вновь рожденных революцией идеалах всеобщего равенства, окна наших школ были широко распахнуты навстречу революции. Корчак должен был отгораживаться от внешней среды. Не просто отгораживаться, а как бы строить баррикады, чтобы создать и сделать устойчивой внутреннюю среду.

В книге «Интернат» он писал:

«Ты хочешь, чтобы дети тебя любили, а сам должен втискивать их в душные формы современной жизни, современного лицемерия, современного насилия. Дети этого не хотят, они защищаются...»

«Государство требует официального патриотизма, церковь — догматической веры, работодатель — честности, а все они — посредственности и смирения...»

Дети этого не хотят, они защищаются... Корчак организует идейную оборону Дома сирот — единственный великий детский полководец.

Создать свою особую среду, свои законы, правосудие, систему моральных оценок... Какой она должна быть, эта внутренняя среда?

Перед ним... «сто детей — сто людей, которые не когда-то там... не завтра, а уже... сейчас... люди. Не мирок, а мир, не малых, а великих, не «невинных», а глубоко человеческих ценностей, достоинств, свойств, стремлений, желаний».

Надо вывести ребят из «тюрьмы-казармы, какой иногда является интернат, и из тюрьмы с одиночками, какими для современных детей являются семьи».

И прежде всего в Доме сирот не должно быть насилия, тирании, неограниченной власти — никого, даже воспитателей. «Нет ничего хуже, когда многое зависит от одного, — пишет «Школьная газета» Дома сирот. — Уж такова человеческая натура, что, когда кто-либо знает, что он незаменим, он начинает себе слишком много позволять, а когда знает, что без него могут обойтись, скорее идет на уступки».

Когда в корчаковском детском доме создается суд — о суде дальше я напишу особо, — вскоре предусматривается право детей подавать жалобу и на воспитателя, если тот поступил несправедливо, и право — даже моральная обязанность — самого воспитателя просить суд дать оценку своему поступку, если он считает этот поступок несправедливым или хотя бы сомневается в справедливости совершенного.

Если воспитатель никогда не сомневается в разумности своих действий — какой же он воспитатель?

А если, усомнившись, он скроет свои сомнения, как может он учить правдивости; и все равно не уйдет он «от суда людского»; все равно в спальнях, в темных углах, пусть тайком, шепотом, будет произнесен ребячий приговор, всегда менее обоснованный и более суровый, чем приговор открытого суда.

И с этим общим равенством перед законом в душу ребят и в душу воспитателя — он ведь и самого себя тоже продолжает воспитывать, — в живую душу Дома сирот входит сознание того, что пусть там, за стенами дома, бесконтрольно правят жандармы, войты, большие и маленькие, чиновники, те, кто обладает силой, тут все — обязательно все — подчиняются главным нравственным законам.

Корчак несколько раз подавал оскорбил судью: когда необоснованно заподозрил девочку в краже, когда сгоряча оскорбил судью, когда выставил расшалившегося мальчишку из спальни и т. д.

Он давал показания судьям — маленьким и большим, назначенным по жребию, — слушал выступления судей, принимал приговор. В этом не было и тени позы, это каждый раз было для него серьезнейшей проверкой, важным личным событием, порой очень горьким и болезненным. Это позволяло ему еще и еще раз проверить себя в особых измерениях — в координатах детского мира.

Один раз суд применил к нему семьдесят первую статью: «Суд прощает, потому что подсудимый жалеет, что так поступил». Три раза была применена двадцать первая статья: «Суд считает, что подсудимый имел право так поступить».

«Я категорически утверждаю, — писал Корчак в книге «Дом сирот», — что эти несколько судебных дел были краеугольным камнем моего перевоспитания, как нового «конституционного» воспитателя, который не обижает детей не потому только, что хорошо к ним относится, а потому, что существует институт, который защищает детей от произвола, своевластия и деспотизма воспитателей».

Корчак пишет сказки, книги о воспитании, которые заставляют — и еще многие поколения во многих странах будут заставлять — по-иному, тревожнее, серьезнее, задуматься о судьбе детей.

Он создает «Малый Пшеглэнд», первую в мире печатную газету, делающуюся не для детей — сверху вниз, — а самими детьми, защищающую интересы ребят. На одной из варшавских улиц домовладелец отгородил свой участок колючей проволокой. «Играешь рядом, на пустыре, — пишут ребята, — перелетит мяч за ограду, все на себе изорвешь, сам окровавишься, пока добудешь мяч. Это несправедливо».

В Освенциме Неверли, секретарь «Малого Пшеглэнда», встретил корреспондентов газеты: тогда они были детьми, вступающими в жизнь, теперь подростками кончали жизненный путь. Кругом колючая проволока под током высокого напряжения, небо серое от дыма газовой, все ребята знают, что они обречены.

В гетто во время вспыхнувшего там героического восстания другие корреспонденты «Малого Пшеглэнда» истребляли фашистскую сволочь. Окруженные вдесятеро превосходящими силами, уходили под землю, в ходы подземных коммуникаций Варшавы, и оттуда почти безоружные, вносъ и вновь нападали на врага, пока не погибли все до единого. Педагогика Корчака полна идеей непротivления злу. Она воспитывает людей, непримиримых к насилию, ко всякой неправде. Матиуш был храбрым воином. В сущности, он младший брат Дон-Кихота, с каменистых полей Ламанчи переселившийся в страну детства, извечные ленные владения странствующих рыцарей. Кажется, что Матиуш был среди обреченных на гибель ребят в Треблинке и Освенциме и среди ребят, подростков, которые сражались с немцами в Варшаве.

...Когда-то в Париже Корчак увидел лестницу с двойным рядом перил: повыше — для взрослых и пониже — для маленьких. Тогда он говорил себе: «Что мы изобрели для детей? Вот эти перила и школьную парту? Что мы им дали? Яркие картинки и рукоделия на стенках? Немного. Сказку? Не мы ее выдумали... Архитектура не замечает детей. «Детского стиля» нет. Взрослый фасад, взрослые пропорции, старческий хлад деталей». В книге «Как любить детей» Корчак писал: «Погруженные в свою борьбу и в свои заботы, мы детей не замечаем, как не замечали раньше женщину, крестьянина, закабаленные народы...»

Он мечтал реформировать мир, убедить, что признания в любви к детству пора заменить или дополнить реальным признанием его равноправия. Пусть будет для детей столько же театров, как и для взрослых, во всяком случае не меньше: ведь не меньше же нас они нуждаются в зрелищах. Пусть будут концертные залы для детей, картинные галереи с произведениями детей-художников, пусть жилые дома не сжимают, не душат школьные двory.

И пусть будут не только театры для детей, а самоуправляющиеся детские театры, газеты, редактируемые детьми, как «Малый Пшеглэнд», самостоятельные детские клубы.

Корчак был занят огромными замыслами. широкая просветительская работа стнимала все силы. Почему же он не оставил свои детские дома — Наш дом и Дом сирот, чтобы освободить время для создания книг, необходимых миллионам детей и взрослых?

Вероятно, потому, что не мог так поступить.

Существует легенда о старом учителе, праведнике, который учил всех детей в местечке, лечил больных и провожал в могилу умирающих. Бог услышал о нем, правдивейшем из правдивых, и призвал к себе из нищего местечка.

— Говори! — сказал бог. — Что творится там, на Земле?

— Плохо! — ответил старый учитель. — Богатые издеваются над бедными, судьи судят неправедно, сильный бьет слабого, дети и старики умирают с голоду.

— Говори... Говори... — повторял бог. — Это очень важно, я не знал этого.

А в это время с Земли, из самой нищей хаты нищего местечка, донесся слабый голос больной женщины:

— Неужели я умру одна, не услышав утешения учителя, не передав в его руки детей?

И учитель прервал свою речь и опустился в местечко, к изголовью умирающей.

Легенда кончается грустными и чуть ироничными словами: «Так не был спасен мир».

У Кайсына Кулиева есть строка: «Легко любить все человечество — соседа полюбить сумеи». Связь доброты конкретной, проявляемой в конкретных поступках, с добротой общей, адресованной всему человечеству, исследовалась такими великими писателями, как Сервантес, Диккенс, Толстой, Достоевский, Чехов; в советской литературе она глубже всего изображена, как мне кажется, в последних рассказах Василия Гроссмана, в удивительной повести Андрея Платонова «Джан», в «Жестокости» Павла Нилина, в повестях и рассказах Михаила Зощенко. Реальные добрые дела, предназначенные близким, людям, зависящим от тебя, тянущимся к тебе. — это как бы корни громадного дерева гуманизма, первые этажи, фундамент здания. Если корни засохнут и перестанут питать дерево, если эти первые этажи исчезнут, здание превратится в мертвую конструкцию, ненаселенную, не оживленную человеческим чувством, в мертвый канон доброты, без внутреннего содержания, в мертвый стальной остов, который того и гляди обрушится на людей, воздвигнувших конструкцию, и задавит их. Часто идея, оторвавшаяся от людей, обретающая самостоятельное существование, превращаясь в абстракцию, начинает людей уничтожать, прикрывать убийства и насилия.

Это случилось, например, с христианством на пути от первых общин ессеев, куда в жажде равенства и справедливости бежали рабы, и до инквизиции.

Корчак никогда не порывал связей ни с одним человеком, который нуждался в нем, и, конечно, ни с одним ребенком. Не мог бы порвать.

Ночь в интернате.

«Вот спят дети, — пишет Корчак. — ...Куда мне вести вас? К великим идеям, высоким подвигам? Или привить лишь самые необходимые навыки, без которых изгоняют из общества...»

Тишину сонных дыханий и моих тревожных мыслей нарушает рыдание. Я знаю этот плач, это он плачет. Сколько детей, столько видов плача: от тихого и сосредоточенного, капризного и неискреннего до крикливого и бесстыдно обнаженного.

Неприятно, когда дети плачут, но только его рыдание — сдавленное, безнадежное, зловещее — пугает.

...Редко, но бывают дети, которые старше своих десяти лет. Эти дети несут напластования многих поколений, в их мозговых извилинах скопилась мука многих страдальческих столетий... Не ребенок плачет, то плачут столетия... Я поэтизирую? Нет, просто спрашиваю, не найдя ответа.

...Я подошел к нему и произнес решительным, но ласковым шепотом:

— Не плачь, ребят перебудуишь.

Он притих. Я вернулся к себе. Он не уснул. Это одинокое рыдание, подавляемое

по приказу, было слишком мучительно и сиротливо. Я встал на колени у его кровати и... заговорил монотонно, вполголоса:

— Ты знаешь, я тебя люблю. Но я не могу тебе все позволить. Это ты разбил окно, а не ветер. Ребятам мешал играть. Не съел ужина. Затеял драку в спальне. Я не сержусь. Ты уже исправился... Ты становишься лучше.

Он опять громко плачет. Утешение вызывает иногда прямо противоположное действие.

— Может быть, ты голоден? Дать тебе булку?

Последние спазмы в горле...

— Поцеловать тебя на сон грядущий?

Отрицательное движение головы.

— Ну, спи, спи, сынок.

Я легонько коснулся его лба.

— Спи.

Он уснул.

Боже, как уберечь эту впечатлительную душу, чтобы ее не затоптали в грязи жизни?»

Корчак до последних часов жизни сохранил великую и редкую способность чистых душ — становиться ребенком. Доброта, говорил он, это воображение, умение воображать. Силой своего воображения он проникал в душу детей, мимо которых проходил чуть ли не каждую ночь в течение тридцати лет. И уносил из ребячьих сердец непо- сильное горе. Кажется, и сейчас звучит над миром шепот Корчака, обращенный к каж- дому ребенку и так необходимый каждому ребенку: «Может быть, тебя поцеловать на сон грядущий? Спи. Спи».

А потом вновь становился взрослым, очень усталым человеком. Очень усталым. На последних страницах дневника он писал: «...Мое участие в японской войне. Поражение — крах. В европейской войне: поражение и крах. В мировой войне...

Не знаю, как чувствует себя и чем чувствует себя солдат победоносной армии...

...Журналы, в которых я сотрудничал, закрывались... Издатель мой разорился и лишил себя жизни».

Так сложилась его судьба.

Вероятно, это проникновение в детство и давало ему силы жить. Вероятно, он и умирал в своем воображении с каждым: с Залевским, с Эстеркой, с Стефанией Вильчинской, со всеми детьми Дома сирот, одним за другим — двести раз.

В книгах Корчака почти нет «сильных личностей», зато сколько в ней «недотеп», ребят, в душах которых «столетнее горе». Это история не вождей детского народа, а самого детского народа.

«Защищать ребят от произвола взрослых» — этот корчаковский завет в полной мере не выполнен и нами, его и вообще совсем нелегко выполнить. Ежегодно милиция задерживает в разных городах сотни детей, бежавших из дому. Кроме подростков, дви- жимых вековой ребячьей страстью к путешествиям, и других — распущенных, даже связанных с уголовщиной, среди задержанных есть и такие, кого бежать заставили не- переносимые для человека условия жизни.

— Отчим отстегал ремнем, я и драпнул,— сказал в отделении милиции один из беглецов.— Вернусь, он опять до крови... Я снова убегу.

Мальчик стоял, закусив губу,— маленький, бледный, оборванный, полный отчаяния.

В интернат бы его. Но как лишить родителей их родительских прав? И как за- ставить понять, что бить ребенка — это вовсе не «личная воля», священная прерогатива отцов, долг, как считают некоторые, а преступление, хотя оно и не карается законом.

В «Известиях» была напечатана с гневом и болью написанная корреспонденция Э. Максимовой «Кто бы мог подумать...».

Суть трагических событий, рассказанных Максимовой, в следующем. В 1954 году

майор милиции Виктор Сергеевич Тищенко и его жена Антонина Петровна для семейного уюта усыновили пятилетнего сироту — Толю.

Вскоре обстоятельства переменились: Антонина Петровна ушла от Тищенко, в трехкомнатной квартире майора появилась вторая жена, Анна Григорьевна, а приемный сын оказался отцу обременительной обузой.

С подлым бездушием супруги Тищенко создают для ребенка невыносимые условия. Документы и устные свидетельства, собранные Максимовой, показывают, что Толя был вечно голоден, спал на кухне под батареей на голом полу, а если домашние уезжали за город, ночевал и вообще где придется: ключи от квартиры ему не давали. Липская, врач детской поликлиники, когда Толя после долгих настояний разделся, пришла в ужас: нечистое белье, корка грязи на худом теле.

Очевидно, замысел Тищенко был прост. Пианино, если в нем отпала надобность, возвращают в прокатное бюро; точно так же опекунский совет определит ребенка, «в котором отпала надобность», обратно в детский дом.

И, конечно, опекунский совет обязан был взять Толю из семьи, грубо нарушающей человеческие законы и обманувшей доверие государства.

Но опекуны оказались преступно долготерпеливы и равнодушны к судьбе Толи.

Тогда Тищенко меняет тактику. «Не хотят возвращать в детдом — опеку в колонию». Он пишет доносы на Толю и заставляет его, изголодавшегося, доведенного до отчаянья, подписать саморазоблачение, от которого за версту несет стилем плохого милицейского протокола, совершенно необъяснимым у мальчика: «В ночь с 8-го на 9-е я, зная, что дедушка и бабушка спят, а мама и папа в отъезде, решил проникнуть в закрытый на замок буфет с целью кражи продуктов питания... Изложенное объяснение я написал и дал папе после попытки взлома, в чем и сознаюсь. Толя Тищенко».

«И никто, прочитав это, не вздрогнул», — с горестным недоумением замечает автор очерка.

При чтении позорного документа могут возникнуть только два разумных предположения: либо вся эта история со «взломом» выдумана, подстроена с начала и до конца, либо если мальчик действительно «решил проникнуть в закрытый на замок буфет с целью кражи продуктов питания», то до какой же крайности довели его те, кто прятал от него хлеб — «папа и мама» Тищенко.

Не обременяя себя подобными раздумьями, члены комиссии по делам несовершеннолетних постановили лишить Толю свободы и отправить в исправительную колонию.

Приглядевшись к мальчику — привязчивому, доброму и работающему, — воспитатели колонии предложили выпустить Толю на свободу. Но достаточно было Тищенко заявить, что он не верит в исправление приемного сына, — и Толя остается в заключении до своего шестнадцатилетия: юношей старше шестнадцати лет в колониях просто не держат.

Мне приходится так подробно излагать эту страшную историю, которая, вероятно, и без того запомнилась каждому прочитавшему очерк в «Известиях», потому, что, при всем уважении к автору, я не могу согласиться с некоторыми выводами Максимовой.

В калечении Толиной судьбы, кроме Тищенко, как мы видели, участвовали десятки людей: члены опекунского совета, члены комиссии по делам несовершеннолетних. Каждый из этих людей мог, должен был — и по своему служебному долгу, и по человеческим законам — защитить Толю, но никто из них не сделал этого. Автор пишет: «Поверьте — зловредного умысла не было, во всяком случае у большинства... Не бессердечные же они варвары, у самих дети... Тут иное — полнейшее служебное несоответствие».

«Полнейшее служебное несоответствие» — это бесспорно, но только ли оно одно? Попробуйте пересказать эту историю, не упоминая о возрасте жертвы:

«Некие люди мучили, морили голодом зависимого от них и ни в чем не повинного человека, заставили подписать ложный донос на самого себя, на долгие годы лишили свободы. Жертва выбралась на свободу помимо или вопреки воле своих гонителей».

Каждый, кто выслушает подобный рассказ — юрист и не юрист, — скажет: совершено преступление, виновники его должны отвечать перед законом. Почему же, когда

мы узнаем, что дело идет о ребенке, а не о взрослом, все сразу переводится исключительно в сферу морального осуждения: «До слез жалко, как горько все сложилось...»

Разве тюрьма (или колония) менее страшны для ребенка, чем для взрослого? Годы, злой волей и преступным равнодушием вычеркнутые из жизни, ведь ничем не возместишь. Толя остался хорошим человеком. А если бы в колонии он ожесточился, попал под влияние рецидивистов и потом совершил преступление? Кто бы отвечал за это перед обществом? Один он?

Неужели это еще нужно доказывать, что ребенок — такой же человек, как и мы, взрослые, с теми же правами, дополненными лишь правом на всеобщую нашу забуту, так как сам он беззащитен.

У нас часто говорят о детях и подростках: «Распустились! Оттого и хулиганство, что не наказываем со всей строгостью».

Конечно, хулиганство, детская преступность — огромное зло, в той или иной мере захлестнувшее весь послевоенный мир. Дисциплина, строгое соблюдение законности необходимы; от хулиганов, от «террора злых сил», как писал Корчак, нужно защищать и защищаться. Чем бы ни были вызваны преступные наклонности человека, виновник преступлений должен понести неотвратимую кару. И когда мы встречаемся с людьми разболтанными, не уважающими других, злыми, жестокими — общество должно принять все необходимые меры для того, чтобы антиобщественное поведение одиночек не принесло вреда тем, кто живет по законам чести и совести.

Но административные меры не единственная, а лишь последняя линия охраны общества от нарушителей порядка и моральных установлений. Тот, кого упустила семья и школа, попадает на скамью подсудимых, в тюрьму и колонию, улавливается уголовным миром. Значит, важнее всего — не «упустить».

Порой мы не замечаем, что поступки подростков — в значительной мере отражение нашего взрослого мира: добрые — добрых его сторон, злые — злых. Нечто, упав в детскую душу, иногда разбив ее, незаметно для окружающих — через многие годы — взрывается, как мины, оставленные войной. И мы с удивлением и ужасом спрашиваем себя: как же так оное могло произойти?

В одном московском профтехучилище мне рассказали о судьбе подростка Т. В семь лет Т. бросил отец — уехал на Север и забыл. В одиннадцать — ушла от мальчика мать. Т. совершил какой-то проступок и попал в колонию. Когда мальчика освободили, нашлась добрая родственница, тетка, она пригрела паренька и устроила в училище. Преподаватели старались залечить раны, нанесенные в детстве, выпрямить душу надломленного человека. Казалось, все идет хорошо. Но, на несчастье, накануне окончания училища Т. встретился знакомец, взрослый уголовник, и предложил выпить «для праздника». Денег не оказалось, и на глазах у Т. уголовник взломал двери ларька, где был коньяк. За соучастие в краже со взломом Т. осужден на шесть лет — вначале в колонию (ему еще нет шестнадцати), потом в лагерь.

Государственная точка зрения — это не значит точка зрения, одинаковая у всех. Одно в судебном деле видит прокурор и иное — адвокат. На встрече с писателями ответственный работник милиции, видимо вдумчивый, очень озабоченный судьбами трудных детей человек, с недоумением сказал:

— На комиссиях по делам несовершеннолетних зачастую наблюдаешь странную картину: представитель милиции — за воспитательные меры, а педагог настаивает, чтобы подростка, который совершил даже и незначительный проступок, послали для исправления в колонию. Они как бы поменялись местами.

Работники милиции лишь в самых крайних случаях — за посылку в колонию, потому что опыт показал им: иных заключение — колония, лагерь, тюрьма — исправляет, для других пребывание в местах заключения вместе с рецидивистами становится мостом в уголовный мир.

Чехов писал: «Люди, имеющие служебное, деловое отношение к чужому страданию, например судьи, полицейские, врачи, с течением времени, в силу привычки, закаляются до такой степени, что хотели бы, да не могут относиться к своим клиентам иначе, как формально... При формальном же, бездушном отношении к личности, для

того чтобы невинного человека лишить всех прав состояния и присудить к каторге, судье нужно только одно: время».

Как видим, «люди, имеющие служебное, деловое отношение к чужому страданию», часто сохраняют мудрый общечеловеческий подход к детям и к детской преступности. Как же опасно и неоправданно, когда такую человеческую позицию теряют воспитатели — педагог, писатель.

Один известный детский писатель говорил мне:

— С этим больше нельзя мириться. Надо разом пресечь хулиганство детей и подростков.

— Как?

— Строже наказывать. Строже!

Желание «разом пресечь» детскую преступность так понятно. Но что поделаешь, если есть проблемы, где попытки найти однозначное моментальное решение оборачиваются вреднейшим самообманом. Хочешь мгновенно преодолеть зло, а на деле ничего не решаешь, бесконечное число раз меняя один мгновенный и безрезультатный метод на другой, столь же мгновенный и безрезультатный.

И как надо бы «разом пресечь», но «удаётся» это одним знахарям, а наука идет и еще будет идти к этой великой цели...

Опасность требований жестче воспитывать, беспощаднее наказывать заключена не только в непосредственных практических результатах — законы созданы не на месяц, даже не на годы, а на десятилетия, — но в том, главное, что они позволяют всем нам, ответственным за воспитание детей, родителям, педагогам, авторам детских книг, возложить все надежды на одни лишь административные меры, а самим отходить в сторону. Под высоким давлением убыстряется синтез химических веществ, но не синтез души. За каждого ребенка приходится бороться, и всегда по-особому, находя новые решения, потому что, как много раз повторяет Корчак, нет в мире двух одинаковых детей. Только отмычка открывает все двери. Замки починить нетрудно, а души после попытки взлома часто перестают расти, сжимаются, даже гибнут.

На читательской конференции в Педагогической библиотеке имени Ушинского научный работник, профессионально изучающий детскую преступность, сказал мне:

— Тут говорили, что главный путь в борьбе с неуспеваемостью, с потерей у школьников интереса к учебе, с хулиганством — постепенное, измеряемое годами совершенствование школы. Споры нет, было бы прекрасно, чтобы в классах училось не по сорок пять, а то и пятьдесят ребят, а по тридцать — тридцать пять. И если бы удалось окончательно ликвидировать двухсменность. И если бы все школы имели современное техническое оборудование, спортивные залы, спортплощадки. Но сколько все это займет времени? Годы. И сколько потребует средств? Много миллиардов! Построить спецшколы и колонии в достаточном количестве — гораздо дешевле: мы там, на кафедре, подсчитали.

Последние слова прозвучали так странно, неожиданно и цинично.

Да и дешевизна ведь получается липовая, обманная. Сколько раз в сельском хозяйстве мы искали дешевых, быстродействующих и однозначных решений — сперва травополье во всех климатических зонах, потом кукуруза, ветвистая пшеница и т. д. и т. п., — искали, пока не была осознана необходимость химизации земледелия, комплексной механизации, продуманных севооборотов, восстановления в правах генетики, дальних и свободных поисков биологической науки, справедливой и гарантированной оплаты труда колхозников. Все это потребовало и потребует значительно больше средств, чем недавние магические методы, но в противоположность им даст хлеб, мясо и молоко. Педагогическая алхимия — воспитание насилием — столь же аморальна, как и безрезультатна, практически вредна.

Я уже писал о том, как детские дома Корчака существовали в бюрократическом, милитаризованном государстве Пилсудского своим особым миром. Там, где все двигалось по казенным орбитам, было предельно регламентировано, жило душами казенными идеями. Дом сирот и Наш дом как бы игнорировали всеилие этого высочайше

утвержденного «солнца», управляя другими светилами, излучающими не мнимый, а настоящий свет великих человеческих идеалов.

Это становилось возможным потому, что были в Польше силы, самоотверженно поддерживающие Корчака и его друзей. Старая коммунистка Владислава Глодовская-Сампольская в опубликованных недавно в Польше воспоминаниях рассказывает: Марина Фальская, ближайшая сподвижница Корчака, приехала в 1919 году в Варшаву из России, мечтая построить детский дом на основах социалистических идей и светского (не религиозного) воспитания.

Я учился в эти годы в московской школе-коммуне, созданной Лепешинским. Так хочется думать, что между нашей коммуной, которой все мы, ее питомцы, обязаны самым важным в жизни, и детскими домами Корчака существует внутренняя братская связь. Впрочем, я отлично понимаю, что педагогика Корчака — явление абсолютно своеобразное и неповторимое.

Нашему Дому, как рассказывает Глодовская-Сампольская, помогала Центральная комиссия профсоюзов Польши, где самой активной силой были члены Коммунистической партии Польши. По мере того, как усиливался террор пилсудчины, детей коммунистов, арестованных или ушедших в подполье, Корчак и Фальская брали в детдом.

В двадцатых годах Польшу охватывает тяжелейшая инфляция. Цены растут с каждым часом. Приходится детей в детдомах кормить картошкой и жуrom (похлебкой). Даже и на такое скудное питание средств не хватает. На помощь приходят польская интеллигенция и рабочие. Товарищество «Наш дом» — добровольное общество, опекающее детский дом и собирающее средства для него, — создает новые отделения на газовом заводе, городской электростанции и на других предприятиях Варшавы.

Угрозу голода удается отвести, но на детский дом обрушивается новая опасность — гнев клерикалов и деятелей казенной системы просвещения. Кампанией против Нашего дома руководят Александра Пилсудская и Енджеевич. Впоследствии Енджеевич был министром просвещения, это он уничтожил в польской деревне семиклассную школу, заменив ее четырехклассной.

Янушу Корчаку удается сохранить тот особый идейный мир, в котором живут его детские дома, и потому, что он опирается на поддержку свободолюбивой, ненавидящей насилие польской интеллигенции, на поддержку живых, борющихся за свободу, и мертвых, павших за свободу.

Корчак теснейшим образом связан с лучшим в духовной жизни народа. И идея детского суда, детского правосудия, одна из важнейших для Корчака, возникает из чтения польских хроник 1783 года. «Пусть, — говорят хроники, — ученики, когда не смогут примириться сами, выбирают третейских судей и посредников из среды своих соучеников».

Строя систему самоуправления, Корчак больше всего озабочен тем, чтобы оно было действительно демократичным. В книге «Дом сирот» он пишет: «Собрание (собрание детей, избирающих сейм интерната. — А. Ш.) требует чистоты и достойной моральной атмосферы. Нет более бессмысленной комедии, чем нарочито подстроенные выборы и голосование с заранее известными результатами».

Органы самоуправления, говорит Корчак, должны иметь реальную власть. «В противном случае лучше не организовывать выборов, не вводить в заблуждение себя и детей. Такая игра неэтична и вредна».

Среди ребят легко формируется тип «отрицательного активиста». «Ловкий, энергичный, наглый, двуличный и корыстный, он сам навяжет свою помощь: прогни его — он вернется... вырастет, как из-под земли, по глазам увидит, чего ты хочешь, выполнит любое поручение, возьмется за все. Если недобросовестный, неспособный или просто вымотавшийся воспитатель... передоверит такому дежурному свою власть, тот его... легко заменит. Это не невинный школьный подлиза, это грозный фельдфебель интерната-казармы... В интернате может укорениться террор злых сил, отравляя атмосферу, ширя моральные эпидемии, калеча и опустошая души».

Суд, мудрое и беспристрастное детское правосудие, становится на пути ребячьей тирании, которая иногда не менее опасна, чем тирания взрослых, возвращает справед-

ливости ее права, ставит мораль и право над властью той или иной группы активистов, нейтрализует развращающее влияние власти. «Если я посвящаю суду непропорционально много места, — пишет Корчак, — то это делается в убеждении, что детский гомаршеский суд может положить начало детскому равноправию, привести к конституции, заставить взрослых провозгласить декларацию прав ребенка».

Тысяча статей кодекса детского суда Дома сирот — это произведение сильного и прекрасного ума, обобщающего опыт детского гения. Доверие лишь постепенно, с боем, оглядываясь при каждом шаге, нехотя уступает место суровой необходимости осуждения. Кодекс вновь открывает, какое неисчерпаемое содержание заключено в двух словах: «презумпция невиновности».

Суть первых «прощающих» статей кодекса в том, что они помогают «подсудимому» разобраться в причинах совершенного им проступка и найти верные пути. Делают это без всякой морализации, с необыкновенной простотой, точностью и проникновением в детскую душу. Суд прощает А., потому что он сделал это (сказал) в гневе, он ведь вспыльчивый, он исправится; потому что он сделал это из страха, он будет храбрее; потому что он слабый; суд прощает А., потому что полагает, что на него можно действовать только лаской; прощает — ведь А. этого так страшно хотелось, что не было сил удержаться; прощает, потому что А. в Доме сирот недавно и не может понять порядка без наказания; прощает, потому что А. скоро уйдет из Дома сирот, пусть он не покидает его обиженным; прощает А., потому что считает, что его портили чрезмерной доброжелательностью и поблажками. Суд предостерегает А., что перед законом все равны.

Сколько тут серьезного и значительного, что заставит глубоко задуматься не только детей, но и нас, взрослых!

Есть в кодексе важнейшая девятнадцатая статья: «Суд усматривает в поступке А. не провинность, а пример гражданского мужества». Как важно, что суд независим и обладает правом и обязанностью выступить в защиту товарища, бесстрашно отстаивающего свой взгляд на мир, свои решения, жизненные цели.

Не так давно, когда в науке господствовало антидарвиновское направление, я написал повесть о мальчике, влюбленном в биологию, который, несмотря на строжайшие запреты, на травлю, пытался повторить классические опыты Менделя с растительными гибридами. Мне не пришлось придумывать: такие мальчики были даже в пору, когда иные академики отстаивали то, во что не верили и не могли верить.

На защиту таких ребят и встает девятнадцатая статья.

Начиная с двухсотой статьи, в кодексе появляются гневные и презрительные ноты. Ведь задача детского суда не только воспитание человека, совершившего проступок, но и защита детского общества от людей злых, ребят, обманувших доверие. Статья девятисотая гласит: «Мы потеряли надежду на то, что А. может исправиться сам, без посторонней помощи».

В связи с этим Корчак пишет:

«Приговор как бы говорит: «Мы ему не верим», «Мы его боимся», «Мы не хотим иметь с ним никакого дела». Другими словами, по статье девятисотой виновный исключается из интерната. Однако он может и остаться, если кто-нибудь возьмет его на поруки. И уже исключенный, может вернуться, если найдет опекуна».

Опекун — которым станет либо воспитатель, либо кто-нибудь из ребят — отвечает перед судом за провинности осужденного.

Когда к подсудимому применялась грозная девятисотая статья, в газете Дома сирот печатали извещение:

«Суд ищет для А. опекуна. Если в течение двух дней опекун не будет найден, А. исключается».

За три десятилетия существования Дома сирот из него было изгнано только три или четыре воспитанника. Факт, который должен заставить о многом задуматься сторонников жестких «мер пресечения» и защитников — древней из древних и на мой взгляд, одной из самых низких — теории врожденной преступности.

Женщина, старый педагог, хорошо знавшая Януша Корчака, вспоминает: «На-

сколько со взрослыми он был часто малоразговорчивым, как-то странно замороженным, настолько с детьми он сразу становился ласковым и улыбающимся, то веселым, как они сами, то очень серьезным».

Ко мне пришел старый педагог — Борис Николаевич Романов, учительствующий свыше тридцати лет. В последнее время он работал завучем интерната, а теперь отстранен от этой должности. Борис Николаевич рассказывает историю своего увольнения. В интернате применялись унижительные наказания. Начали со сравнительно безобидных мер воздействия, постепенно усиливая их: ставили на несколько минут, потом на три четверти часа, на час — в угол. Потом заставляли ребят стоять на коленях, организовывали бойкот. Одна девочка стояла на коленях два часа. Разразилась, если применить термин Корчака, «моральная эпидемия». Тут трудно начать, а дальше деспотизм нарастает, как снежная лавина.

Романов пробовал своей властью запретить эти наказания. Учителя и директор выступили против завуча. А репрессии все глубже проникали в быт. Уже не только педагоги, но и некоторые старшие ребята, «железные мальчишки», наказывали маленьких: ставили на колени, раздевали, даже били.

А Романова уволили, предложив освободить казенную квартиру. Какая суровая расправа за доброту и уважение к детству.

И какое горькое чувство безнадежности, господства несправедливости останется в душах ребят, которых он защищал.

Опасная это вещь — моральные эпидемии, потеря критериев добра и зла.

Талантливый писатель, который по обстоятельствам жизни много лет провел в колымских лагерях, работает над циклом рассказов об уголовниках. Рассказы правдивые, беспощадные.

И проходит через них одна мысль: есть среди уголовников значительная прослойка совершенно безнадежных, «нечеловеков». Говорить о «перековке» их, перевоспитании, даже о возможности их утрашения — сладенькая ложь. Они всегда опасны, бандитское, зверское переходит у них от отца к сыну.

Что же делать с такими уголовниками? Если верить автору рассказов — выход один: уничтожить их или возможно раньше навечно изолировать от общества.

Страшный «выход».

Идея о предопределенности преступного пути, о существовании резко обособленных от остальных людей, закрепленных поколениями кланов преступников, очень стара. Она то забывается, то вновь всплывает на поверхность.

«Я ведь сам видел, я знаю», — отвечает автор рассказов тем, кто возражает ему.

Но и Достоевский жил бок о бок с отпетыми преступниками в каторжном «мертвом доме», а выводы, к которым он пришел, совсем иные.

И Катюшу Маслову на каторгу привела не «предопределенность», не «наследственные влияния», а цепь социальных и человеческих несправедливостей.

И эти же несправедливости сделали отверженным Жана Вальжана.

Я беседую с Д., который тоже провел на Колыме в лагерях треть жизни и теснейшим образом соприкасался с уголовниками, в том числе с самыми отпетыми. Он не согласен с автором рассказов:

— Конечно, есть среди рецидивистов люди озверевшие, безжалостные, потерявшие облик человеческий. Но это не от рождения, не «предопределено». Чаще всего сначала какие-либо обстоятельства ожесточают человека; уголовный мир улавливает и по-своему обрабатывает «благодарный материал». Один особенно опасный бандит, с которым я встретился, — говорит Д., — сын раскулаченных родителей. Когда семью увозили, он отстал от эшелона, скитался, голодал, пока не «пригрело» его воровское отребье. Другой подростком попал в лагерь за то, что украл горсть зерна, и в лагере столкнулся с рецидивистами.

Где же тут «предопределенность», мифические «династии неисправимых преступников»? Поверить в такую предопределенность — значит признать самые жестокие кары чем-то неизбежным, тоже «предопределенным», а это уж действительно одна из самых «нечеловеческих идей» на земле.

Это значит позволить себе забыть, что ранняя встреча с жестокостью и несправед-

ливостью — вот что действительно чаще всего и сильнее всего ломает и уродует человека. Девочка, которая простояла на коленях перед классом, на позорище, два часа, поднимется на ноги другим человеком. Лучшим? Быть послушнее — совсем не значит быть лучше, редко когда рабская покорность красит человека. «Запугиванием можно вырастить в ребенке только низость, испорченность, лицемерие, подлую трусость, карьеризм», — писал Ф. Э. Дзержинский.

Можно воспитывать «отнятием», удалением, подавлением того, что не нравится педагогу. Один фашист, с которым я встретился в Австрии, сказал: «Моя бы воля, я бы удалял любовь к прекрасному и всякую гуманистическую дребедень в детстве, как вырезают аденоиды и гланды». У Корчака из книги в книгу повторяются слова, выражающие прямо противоположное — **с и н т е з р е б е н к а**.

Больше всего он боялся что-то нечаянно подавить в ребенке, убить; убивать можно сразу, а иногда убивают, омертвляют постепенно, одну часть сердца за другой. Он придавал огромное значение всем чувствам ребенка и особенно — детской любви. Это вовсе не «полулюбовь», не подготовка к настоящей взрослой любви, а, может быть, самое всеобъемлющее, чистое и беззаветное чувство. Каждый возраст рождает свою **н а с т о я щ у ю** любовь.

О себе он писал: «От семи до четырнадцати лет я был влюблен. Все время в другую девочку».

Он был влюблен в мир вообще, в девочек вообще, в людей вообще — это осталось до смерти.

Он изучал свое детство, как ученый: не потому, что его ребячья судьба интереснее других, а потому, что она ближе, доступнее. Ее можно увидеть яснее всего, в ней ничего не скрыто. Она — единственный путь к пониманию других детей, ход в мир детства. Тот, кто забыл свое детство, позволил засыпать этот ход, будет оторван от детства, как спутник Земли от Земли, на которую ему никогда не вернуться.

Среди других анкет Корчак проводил в Доме сирот и такую: «Что бы я сделал, если бы стал волшебником?» Он как бы тренировал в детях «волшебнический» дар, стараясь сделать его реальным, как был он реальным для него самого.

Эмануэль Рингельблюм, замученный впоследствии немцами, руководил подпольным архивом варшавского гетто. В архиве сохранился рассказ очевидца о последних часах жизни Дома сирот. «...Нам сообщили, что ведут школу медсестер, аптеки, детский приют Корчака... Стояла ужасная жара. Детей из интернатов я посадил на самом конце площади, у стены. Я надеялся, что сегодня их удастся спасти, уберечь до следующего дня... Стоял и с дрожью в сердце смотрел, удастся ли мой план. Я все время спрашивал себя, все ли вагоны заполнены. Погрузка шла без перерыва, но места еще оставались. Люди шли огромной толпой, подгоняемые нагайками. Вдруг пришел приказ вывести интернат. Нет, этого зрелища я никогда не забуду! Это не был обычный марш к вагонам, это был организованный немой протест против бандитизма!.. Началось шествие, какого никогда еще до сих пор не было. Выстроенные четверками дети. Во главе — Корчак с глазами, устремленными вперед, держа двух детей за руки. Даже вспомогательная полиция встала смиренно и отдала честь. Когда немцы увидели Корчака, они спросили: «Кто этот человек?» Я не мог больше выдержать — слезы хлынули из моих глаз, и я закрыл лицо руками.

На следующий день Януш Корчак погиб вместе со своими детьми в одной из газовых камер лагеря смерти в Трехлинке».

Накануне гибели своих детей Корчак писал: «Если бы можно было остановить солнце, то это надо было бы сделать именно сейчас».

Солнце остановить нельзя.



В МИРЕ ИСКУССТВА

Ю. ПИМЕНОВ

★

НОВЫЕ КВАРТАЛЫ

Я увидел тебя, красавица, и теперь ты принадлежишь мне, кого бы ты ни ждала, даже если я никогда тебя больше не увижу, думал я. Ты принадлежишь мне, и весь Париж принадлежит мне, а я принадлежу этому блокноту и карандашу.

Э. Хемингуэй.

Совсем рядом с Москвой есть леса и рощи, где вовсе не чувствуется соседство города,— только большие самолеты проходят по своим трассам высоко в небе; в перерывах между гусьим их гулом в тишине слышны и стук дятла, и разный птичий разговор, и шуршание на земле среди старых листьев и молодой травы.

В этих рощах, в оврагах бегут ручьи с чистой водой по мелким камням и песку. В них попадаются обрывки старых газет и консервные банки. Тишина,— и только иногда, по ветру, издалека, доносится шум огромного города.

Узкие лесные тропинки сходятся к большим дорогам, по которым идет все больше и больше людей: рабочих, хозяек с сумками, детей. Дороги подходят к окраинам города. Его новые кварталы появляются между тонких белых берез, между серых стволов осин.

Я люблю эти новые кварталы больших городов — в их незаконченности, даже в их неполадках, живет молодая душа новизны.

Эти новые дома и кварталы не только архитектурные планы и фотографии в журналах — это устройство людей по-новому, это свадьбы и новоселья, это утренние часы дорог на работу, часто трудные и неудобные, это толпы детей на еще не убранных дворах, это новые соседи, среди которых много хороших людей, часто просто очаровательных, а есть и всякая шпана, пьяницы, сутяжники и сплетницы, это белье на балконах, пронзительные звуки радио в летних окнах, теплые июльские вечера у подъездов и пронизывающие декабрьские ветры между высоких домов. Словом, это обыкновенная, в новых местах развивающаяся жизнь.

Без этих строящихся районов старые города кажутся семьями без детей, без завтрашнего дня. Но и города, которые теряют свою старину, теряют с ней и драгоценное чувство своей биографии, чудесное свойство воспоминания. Города, как и люди, живут своим настоящим, прошлым и будущим.

Иногда кажется, что жизнь совсем прожита, что ты уже живешь сверх меры,— тогда чувство реальности становится каким-то прозрачным и видимость назад, на прожитые года, делается удивительно ясной, как в хороший морозный день видны далеко уходящие рельсы железнодорожного пути.

Издательство «Советский художник» выпускает в 1967 году альбом Ю. Пименова «Новые кварталы». Мы публикуем текст, которым художник сопроводил свои работы.

Иногда же чувствуешь, что все еще впереди, прошлое заматывается летней пылью от грузовых машин, дорога бежит вперед, а впереди развертывается что-то необыкновенно новое, необыкновенно интересное и энергичное. Тогда ты — мальчишка и юноша и думаешь не о том, чтобы закончить какое-нибудь дело, а о том, чтобы начать много новых.

Работа художника всегда складывается из этих разных чувств — из чувства взволнованности завтрашним, из трудного и напряженного сегодня и из задумчивого, покрытого воспоминаниями прошлого.

...Снег, тихий, мягкий снег ложится на булыжник замоскворецких улиц, на тротуарные плиты, на голые липы старой Ордынки. Из маленьких окон нашей квартиры, квартиры моего раннего детства на той же Ордынке, виден этот снег, ломовые обозы, извозчики на плохоньких лошадях, небольшие дома Замоскворечья. В квартире низкие потолки, мебель в старинную обивку, тишина. Моя мслодая мама, легкая и стройная, отец в студенческой форме, с мягкими светлыми усами, милая Роза Мартыновна, которая давала мне первые уроки и стала моим другом на всю жизнь,— я даже не знаю, помню ли я это действительно или старые фотографии подсказали мне видения детства. С тех пор прошла жизнь.

Позднее снег шел на другой улице Замоскворечья, куда мы переехали,— уже было время школы, школьного озорства, вечерних уроков, драк в раздевалке,— «мне четырнадцать лет», начинаются первые революционные годы, замерзающая Москва, сугробы на и так узких улицах, дороги посреди мостовых, в квартирах печки разных доморощенных систем, жестяные банки, подвешенные к трубам, очень голодно, холодные квартиры, дров почти нет,— мы ломаем старые деревянные дома, ездим за мукой и картошкой, учимся в средней школе — и, еще полудети, служим в разных учреждениях, разгружаем продовольственные эшелоны, везем на санках с трудом добытые дрова. И чувство необыкновенной новизны жизни перекрывает все ее трагедии и тяготы.

Искусство нельзя придумать, как нельзя придумать биографию: его, как и биографию, можно направить, улучшить и наполнить, но развиваться оно будет по сложным законам жизни, по сложным законам действительности.

Искусство, как и жизнь, нельзя задержать на месте, оставить его чувства и формы неизменяемыми и неизменяющимися. Березовую рощу сегодня мы видим иначе, чем Саврасов или Левитан,— мы очень благодарны им за то, что они показали высокое искусство и высокое чувство времени, но наши чувства и наша пластика обязательно будут другими, это не выдумка и не мода — это реальность жизни. Те, кто этого не понимает, никогда не сделают настоящего искусства.

Хемингуэй здорово написал, что есть люди, которые не знали, что новый классик не бывает похож на своих предшественников.

В том-то и сила настоящего искусства, что каждый его шаг вперед наполнен жизнью, подкреплен жизнью, наполнен всей суммой новых мыслей, новых чувств,— и отсюда настоящее живое искусство не может быть не новым, эта новизна души — просто его естественное состояние.

Я должен обязательно сказать, что, по-моему, художник не может и не должен, говоря об искусстве, брать за пример или за доказательство свои работы,— они всегда, или большей частью, являются недореализованной мечтой. Но идея мечты, так сказать, ее душевный заряд всегда хоть сколько-нибудь просвечивает в вещи, и это-то дает художнику какую-то надежду и какое-то право показать свои работы людям.

...Если бы мои дети захотели заняться искусством, я бы постарался найти самые разумные доводы, чтобы их отговорить,— и это не потому, что я не люблю свою профессию, наоборот, я ее люблю чрезвычайно. Но это профессия капризная, полная непрерывного труда, огорчений и разочарований, и идти на это нуж-

но только с безоговорочной одержимостью. А тогда мои дети и не обратили бы никакого внимания на мои убеждения и обязательно стали бы художниками. Но мне не пришлось их уговаривать — у них появились свои увлечения и страсти, и я могу только пожелать им в их работе такой же одержимости, какой должен обладать художник.

Искусство — всегда любовь, любовь не всегда бывает удачной, но всегда остается любовью. Сколько выхаживаешь за образами жизни, которые тебя увлекают, — это известно только душе и подошвам.

Очень трудно изобразить жизнь — художественно, конечно, — и очень интересно. Все очарования открытий ждут вас на каждом шагу и все огорчения неудач. Свет неожиданно так подсветит обыкновенное лицо женщины с сумкой и узлом, ее голова станет почти классической и одновременно сверхсовременной — кажется, ничего очаровательнее вы не видели в жизни, — но она повернется, свет уйдет, вы не успеете или не сумеете это сделать, набросок окажется пустым, останется горький вкус неудачи.

Девушка со стеклом, — она попала мне на улице года два тому назад, — и эти два года среди других дел я ходил с памятью об этой девушке по улицам Москвы, воображая, как она проходит то по этому, то по другому району, что просвечивает сквозь ее кусок стекла или что в нем отражается.

Сколько стаяк девушек из магазинов в одинаковых цветных формах и модных прическах я видел на улицах Москвы, — они то перебежали на перекрестках, то покупали апельсины в ларьке, то не обращали на меня никакого внимания, когда я хотел что-нибудь купить в их магазине: они мне очень нравились, мне очень хотелось их изображать, я думал, они принадлежат мне, а они принадлежали себе, им было наплевать на мои рисовальные попытки, и мне эти девушки стоили большого труда.

На дорогах Подмоскovie работает много дорожных бригад — они или ремонтируют шоссе, или расширяют дорогу, — в жару лета и горячего асфальта, как в мареве, движутся фигуры рабочих, и почти в каждой бригаде есть дочерна загорелая молодая женщина в измазанном комбинезоне, в низко повязанном платке и с обязательной яркой полоской бус, кокетливо сверкающей на загорелой шее. Этот образ так активно входит в сознание, он так много несет с собой подтекста и смысла, что попытка изобразить его делается необходимостью.

Эти образы жизни набегают ежесекундно, и художник просто обязан их запечатлеть.

Главный вопрос — это формирование личности художника, без этого никакая игра в формы не в состоянии создать искусства.

Новаторство нельзя надеть на себя как новый фасон костюма, который носят или не носят сегодня. Новаторство заложено в самой природе настоящего искусства, и возникать оно может из всей жизни художника, из его опыта, из его ежесекундных соединений с жизнью, из всей его биографии человека. Свое новаторство художник должен заработать очень трудным путем.

«Всему виной то, что пишут, когда нечего сказать, когда вода в колодце иссякла». Это тоже написал Хемингуэй.

Откуда же появляется вода в колодце? И когда она появляется?

Эта живая вода всегда находится рядом, и найти ее всегда очень трудно для художника.

В предисловии к книге стихов Пастернака Корней Чуковский пишет, что, по убеждению Пастернака, «реализм отнюдь не литературная школа, но высшая степень писательской точности». Мне кажется, что это очень верно и в отношении безграничного развития реализма как необыкновенно высокой формы искусства, постоянно меняющейся во времени.

И если говорить о точности, то мне кажется, что в реализме надо понимать точность не как точность изображения мира, а как точность отношения художника к явлениям жизни и к своей художественной задаче.

Каждый день нас охватывает пток жизни, порой он накрывает нас целиком энергией больших событий действительности, порой только задевает тихим краем — мокрой от дождя веткой, розовым облаком в вышине.

Все, что встречается за день, огромно и поразительно разнообразно.

Один день будет наполнен как будто ничем — мягким шорохом травы на лесных полянах, стрекозами в воздухе, горячим летним солнцем, теплым летним дождем.

Другой начнется нервным звонком телефона, торопливым утренним завтраком, потом день завертится в своем сложном беге, картина за картиной пройдут перед вами: суeta магазина, толпы людей в метро, больница, где лежит близкий вам человек, — от больницы останется острый смешанный запах лекарств и горя, казенные одеяла, грубоватое белье, изможденные лица больных, обтянутые белой формой круглые бедра санитарок.

Потом вдруг улица и дождь, узкий туманный переулок с высоким домом, сырой воздух — и изящная женская фигура на тонких каблуках, переходящая дорогу, — за ней в сыром воздухе остается тонкий запах духов.

А за углом пронзительный и сварливый крик продавщицы в киоске, опять суeta покупательниц, суeta в автобусе — обыкновенный прозаический мир, — а в автобусе двое совсем молодых, они держатся за одно кольцо, за одну ручку и ничего-ничего не видят, кроме друг друга.

Потом вечерний ужин, сон или бессонница, и в конце концов все-таки сон.

А утром солнце, свет солнца через занавески, широкий городской пейзаж, много выстроено, много строится — город меняется прямо тут, перед глазами. Книги по искусству, — хорошее искусство действует очень сильно, после него всегда страстно хочется работать. И оно удивительно живое — живой Вермеер, живой Дега, живой Федотов, таинственный и живой Врубель.

Потом дорога к метро через стадион, масса молодости, здоровья, спортивного азарта. А у знакомой, к которой вы пришли, слезы на глазах: тяжелая, очень тяжелая болезнь сына — семнадцать лет и подозрение на рак, — напряженное, ужасное в своей напряженности лицо матери, еще молодой и красивой.

Потом опять многообразие жизни — цветы и грязь на мостовой, особая интеллигентность многих современных лиц, особая тупость застарелых бюрократов, усталый тембр стариков, особый жаргон молодежи, ее серьги и бусы, обручальные кольца почти у детей, — наше поколение очень остро чувствует эти колебания внешности и души, — оно прожило сложную, интересную и трудную жизнь — так сказать, между обручальными кольцами наших родителей и обручальными кольцами наших детей.

Кипение огромной страны, высокий темп ее жизни, самый разный характер окружающего — иногда грубый, иногда задушевный, остроумный или вульгарный, но всегда полнокровный до предела.

Пустыри, которые заливаются новостройками, пустые парки под осенним мелким дождем, под солнцем и в дождь переполненные стадионы, города и дороги, вагоны, в разное время свободные или набитые до отказа, запах пота, дешевых духов, водки, тихие пенсионеры, активно стучащие в домино на затененных скамейках бульваров, иногда перстни уже на мужских, не очень отмытых руках, мороженое, таящее от жары и капающее на потные руки, недорогие украшения женщины, усталость немолодых, активная и очень направленная грация и красота молодых девчонок. Ветер в окнах электрички, пролетающей пригороду, вперемежку роши и стройки, пыль и станции, запах хвойных лесов и запах навоза больших свинарен, вагончики строительных бригад, свежий асфальт новых дорог.

Такая полнокровная жизнь может быть только в энергичном, активно живущем организме, в стране, которая непрерывно работает, непрерывно делает какие-то большие и сильные вещи, что-то изобретает и что-то отвергает, работает в слякоть и мороз, гуляет в жару и в метель, просыпается ранними утрами и опять шумит своими поездами, дымит дымами всех цветов над своими заводами, мелькает бесконечными нитками текстильных фабрик, выливает тонны бетона, косит траву, пахнущую, как лучшие духи,

гремит бидонами молока, смотрит в своих музеях Врубеля и Рембрандта, отражает старинные люстры в современном лаке концертных роялей, гоняет своих футболистов по всем стадионам мира, грузит свои морские суда, выгружает вагоны, скупает в тысячах магазинов товары всех видов и сортов, пьет пиво в тяжелых литых кружках, чокается белым и красным грузинским вином, крепкой «московской» и «столичной», уходит на утренние смены, приходит с ночных, уезжает на стройки по всей огромной стране. Большие самолеты поднимаются с широких взлетных полос, тысячи поездов отходят от перронов — в окнах смеются, плачут, машут платками, — платформы с провожающими быстро отходят вдаль, рядом по шоссе бегут огромные светлые рефрижераторные грузовики, тяжелые автобусы дальних рейсов — в пыли, в угаре тяжелого топлива, в раскаленности летних дорог. По обочинам лежат большие листья лопухов, цветут белые русские ромашки и разные желтые, синие запыленные цветы.

Надо какое-то новое искусство, чтобы понять, открыть, изобразить эту мощную многообразность мира, эту явную демократичность жизни, с ее интеллигентностью и тонкостью, с мешанством и банальностью, с напряжением ума и труда, с мусором паразитизма и иждивенства, со смесью поэзии и вульгарности.

Все эти сложные, противоречивые, часто неожиданные соединения и есть жизнь с большой буквы, и чем больше в ней плоти, чувства и ума, тем сложнее и тоньше должно быть искусство этой жизни.

...Опять воспоминания, опять снег на улицах Москвы, на мокрых досках пригородных перронов — мокрый снег военной осени, трагедия и печаль в стране. Темные хлебные очереди, пестрые рисунки «Окон ТАСС», замерзающие на кистях краски, которыми мы пишем декорации в единственном тогда московском театре, куда приходили люди с близкого фронта, из холодных городских квартир, с дежурств на заснеженных крышах. Все время очень холодная зима, бомбежка, очень голодная зима и очень голодная весна — суп из лебеды; была даже издана такая книжка — что можно приготовить из дикорастущих растений. Сухая земля подмосковных пустырей, огороженные на ней сотки земли с заборами из ржавого железа, из обломков шифера, из старых остовов металлических кроватей — вся эта серая, бедная земля засажена картошкой, хилые стебли которой покрыты придорожной пылью и окучены городскими женскими руками, в том числе и руками моей жены, сменявшей все то нарядное, во что она наряжалась, и одетой в полумужское одеяние тех суровых лет. Эти городские женщины оказались прекрасными рабочими людьми.

Воспоминания уходят к поездкам на Северо-Западный фронт, к его разбитым станциям, сгоревшим деревням, к первым дням темного послеблокадного Ленинграда — и опять к затемненным московским улицам, к стоящим с ночи хлебным очередям, к тому особому напряжению души, с которым слушался дикторский текст военных радиопередач. Воспоминания тяжелых военных и послевоенных лет не могут оставить нас, и они не должны нас оставлять. Вот они-то особенно заставляют меня любить эти новые светлые кварталы и их простую жизнь.

Жить так интересно, так необыкновенно остро видение окружающего, что это даже трудно для художника, какие-то душевные струны так напрягаются, что кажется, что они не выдержат, — они иногда и не выдерживают.

Но художник работает всегда.

Тот поток жизни, который ударяет в него, он встречает со своей точкой зрения, со своим душевным строем, и эта встреча и есть реальность искусства, потому что она наполнена реальностью мира и отношением человека к нему.

Художник отбирает и выбирает — выбирает то, из чего он старается сделать искусство, образ сложного, противоречивого мира. Один берет горькую тему, тему человеческого горя, и пестрые краски и цвета не будут темой его души. Другого захватит доброе чувство жизни и сумрачное состояние оставит его равнодушным. Третий

соединит все в синтез действительности и т. д.— сколько настоящих художников встретится с настоящей жизнью, столько необыкновенно разного и необыкновенно сложного появится в искусстве.

Каждый сегодняшний день приносит поток нового, надо только не быть равнодушным. «Я не живу ни в прошлом, ни в будущем. Я — в настоящем. Я не знаю, что будет завтра. Для меня существует только истина сегодняшнего дня. Этой истине я призван служить и служу ей с полным сознанием».

Эти слова написал Игорь Стравинский, и я думаю, что это надо понимать как настоящий, острый и страстный интерес к действительности, которая никогда не прекращается и движется вместе с художником.

...С движением жизни движется и память, она перетекает из прошлого в настоящее и помогает смотреть вперед. Когда на мою руку ложится рука ребенка, я и вспоминаю детство, и мне кажется, что я смотрю в будущее. И в загородном автобусе, на скамейках, рядом со мной и впереди, непоседливая, как ртуть, компания мальчишек с торчащими волосами, с озорными мордами, в поношенных рубашках и джинсах — кроме джинсов, все было такое же давно, и такие же мальчишки особым свистом вызывали меня из-за забора деревянной подмосковной дачи к мокрому песку маленькой речки, к вершам, и старым плоскодонкам. Я бы сказал, что девочки изменились, — они стали мальчишестей и озорней, а мальчишки остались такими же озорными.

Изменились места жизни, ее характер: целоваться стали на улицах, посреди толпы, на парапетах набережных и автомобильных дорог — и по-старому, на скамейках парков, среди кустов сирени, только эти скамейки и сирень тоже окрасились цветом своего времени.

Это время широко раздвинуло пределы города, — далекие окружные дороги с их «клеверными» разворотами стали городскими границами Москвы. Ее большие новые стройки, горизонталы и вертикалы домов непрерывно движутся вширь, перемалывая свалки в молодые бульвары, превращая рощи дубов в дворовые парки, обходя старинные кладбища с их мрамором памятников и литым решеткам.

Живая художественная жизнь всегда наполнена окружающей ее реальностью и одновременно вносит в эту реальность ее объяснение, формирует ее образы и своим настойчивым и горячим отношением оказывает на жизнь прямое влияние.

Делать искусство очень трудно — это требует полной человеческой отдачи. Но и работать с искусством, помогать ему во всех стадиях его развития — это, по-моему, тоже требует особого таланта и особого призвания. Иначе можно очень попортить живой рост живого дела.

Сейчас происходят сложные процессы развития искусства. Чтобы лучше в них разобраться, надо лучше и шире все знать. Мне кажется, надо показывать в музеях и ранние годы советского искусства: многое из этих лет взято западным искусством и доведено до полного абсурда, а многое вошло органически в живое развитие нового реализма, не того псевдорезализма, который скучно имитирует окружающее, а того, который является подлинным искусством жизни, искусством умным и душевным, тонким и глубоким.

Мне кажется, что надо устраивать в Москве больше выставок, и не только больших, манежного типа, но и таких, где художник или группа творчески близких между собой людей показывает свои трудные опыты в решении образа мира. Что плохого в том, что люди, искренне и серьезно работающие в искусстве, находят себе близких товарищей по ощущению, по мысли, по идеям? Если эти идеи действительно серьезные и глубокие, то появляются «передвижники», «импрессионисты», «Мир искусства», то есть появляются серьезные общественные и художественные движения.

Искусство — большая часть культуры народа. Оно делается ежедневно, но вспоминает прошлое и надеется на будущее. Поэтому для всех, кто работает сегодня по настоящему, прошлое и будущее интересны необыкновенно.

В последние годы в нашей профессии было много интересных персональных выставок — и чем индивидуальнее и своеобразнее художник и его отношение к миру и современности, тем реальнее его искусство.

Мне, да, я думаю, и всем, кто интересуется искусством, очень интересно увидеть выставки, где показывают свои работы и молодые, которые обязательно, по законам жизни, должны делать что-то интересное. Много художников всех возрастов идет к одной большой цели разными путями, и на параллелях, и на пересечениях этих путей возникает много хороших вещей.

Искусство всегда движется вперед, — движется жизнь, движется искусство. И настоящее искусство всегда имеет крепкий тыл — сложную и большую культуру. Эта культура прошлого не мертвый хлам, а покрытое поэзией и открытое для души богатство.

Этой поэзией и этим богатством бросаться нельзя.

Сейчас много и правильно пишут и говорят о тех нелепых разрушениях старины, которые были сделаны в нашей культуре. Но ведь это еще не остановлено. Этого не должно быть ни в большом, ни в малом. Нельзя, чтобы разрушались старые города и не надо при восстановлении церквей заканчивать купола какими-то палками, а не крестами. Ведь все же знают, что это церкви, а архитектурная красота, русская красота силуэта становится совершенно иной.

В Москве так мало остается хороших старых районов — кусочки уютных арбатских или замоскворецких переулков все-таки хорошо было бы сохранить в их старомосковском характере. Я всю жизнь люблю душу новостроек и новых кварталов, но рядом с поэзией старого поэзия нового чувствуется сильнее и глубже.

Это относится и к названиям: я родился в Москве, мне жалко слов «Остоженка», «Якиманка», «Плющиха» — ведь кругом развиваются широкие новые проспекты, и, честное слово, к ним больше подходят имена Метростроя, Димитрова и всего, что связано с новой жизнью.

...Новые города, новые районы и кварталы рождают свою особенную поэзию, свой особенный характер жизни, — с того времени, когда на новом месте начинает разворачиваться земля, на строительных площадках появляется медленное и неуклонное движение огромных кранов, утренние и вечерние приливы и отливы рабочих людей — простая, обычная и прекрасная картина созидания, картина человеческого труда.

Сколько потом разной жизни приходит в эти новые дома — смех и плач детей, усталые шаги по лестнице после работы, ночная страсть, утренняя глазунья на сковородке, пестрый букет полевых цветов на фоне чистой голубоватой стены.

Эти новые комнаты знают уже хорошие детские игрушки, модную обувь и нарядные платья, хозяйек в бигуди, распаренных предпраздничной готовкой, поездки в старинные театры и новые кино.

Жители этих домов знают еще и неподведенный газ, и неналаженное отопление, еще не открытые магазины и еще не работающие лифты.

Но эти дома не знают ночных бомбежек и ночных арестов, не знают накрест заклеенных бумагой окон, замороженных комнат, обвалившихся от близких разрывов потолков, — они не знают войны и страха, — и дай бог им никогда их не узнать.

Душа искусства — тонкая душа, и чем сложнее и умнее будет становиться человек, тем богаче и умнее будет становиться его искусство. Искусство — дело интеллигентное, оно требует не умения ремесленника, а особого, сложного строя души. Его берега закрыты для некультурности и ремесленничества, зато в поисках настоящего в познании мира оно не имеет берегов.

* * *

Шестидесятые годы. Я много хожу по окраинам Москвы — мне просто это очень интересно. Поля и луга, темные бревна изб, у кольев забора свалено всякое старье, мимо бабы возят навоз, — у них пронзительный разговор с крепкими мужицкими словами. Из этих изб к вечеру выбегают девчонки с высокими модными прическами, на тонких каблуках. В выбоинах разъезженной дороги — лужи дождливого лета. Сквозь тонкие стволы берез — на горизонте высокие белые дома, их очень много, они заполняют горизонт и напоминают конструктивистские мечты нашей юности. В раскисшей глине буксуют тяжелые грузовики. В небе очень часто, один за другим поворачивают к аэродрому большие пассажирские лайнеры — при поворотах солнце сложно и красиво показывает их новую форму. Шестидесятые годы. Неповторимая и неповторяющаяся жизнь.



ПУБЛИЦИСТИКА

ЛЕОНИД ВОЛЫНСКИЙ

★

ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ

1

«Исторический памятник. Охраняется государством. Повреждение карается по закону. Ключ находится в сельсовете».

Нарушенную временем и дождями самодельную надпись на фанерной таблице я увидел над входом в монастырскую пещерную церковь близ села Бутучены в Молдавии. На дощатой двери, ведущей внутрь, висел амбарный замок.

Было первое воскресенье второй половины апреля, день поминовения, и единственно трезвыми на селе оказались дети. Они играли в пятнашки неподалеку на сельском кладбище, мелькая меж кустов расцветающей сирени, а один стоял, словно аист, на верху покосившегося надгробного креста, каменного, серо-седого, в зеленоватых пятнах лишайника.

Паренька звали Филипп, он и повел нас к председателю сельсовета.

Когда попадаешь в места, где виноградная лоза — давняя жительница, не надо быть чересчур строгим в суждениях. День поминовения есть день поминовения, лишней кувшин вина тут не в счет. Вокруг было удивительно тихо. Дома у председельсовета оказалась только старая бабка; говорить ей, видно, не хотелось нисколько. Хотелось молчать, вспоминая о чем-то далеком. Председателя наш Филипп все же разыскал, принес ключ. Амбарный замок шелкнул, мы углубились в толщу скалы.

В Кишиневе я видел материалы проведенного в 1946 году обследования пещерного монастыря Бутучены. Монастырская скальная церковь была обмерена, зарисована и описана приехавшими из Москвы специалистами. В приложенном к описанию паспорте значилось, что церковь эта «является выдающимся культовым и архитектурно-художественным памятником старины». Среди материалов хранилась также датированная 1946 годом акварель архитектора Наумова, там изображена внутренность церкви с резными «царскими воротами». Теперь я надеялся увидеть эти ворота в натуре. Однако над местом, где им полагалось быть, я увидел смело набросанный углем контур великанской ступни на белом известняке, а внутри этой выразительной рамки — деловой текст: «Здесь были монтажники из Страшены...» Дальше следовал перечень имен, среди которых насчитывалось три Жоры. И недавняя, вполне свежая дата.

На белом камне стен, столбов и невысоких сводов чернело еще немало автографов углем и карандашом, с указанием различных дат, городов и профессий, но ребята-монтажники перешибли всех оформлением. Что ни говори, придумано лихо: след человека есть след, это было выражено графически с завидной наглядностью.

Мой попутчик Кир Дмитриевич Роднин — любитель и знаток местной древности, научный сотрудник Музея искусств Молдавии — вздохнул, сокрушенно пожал плечами. Куда делись резные ворота и все прочее, он не знал. Мы помолчали, заглянули в изваянные внутри скалы часовенки, вышли сквозь синеватый синевой неба проем на тропу, повисшую высоко над рекой.

Берега Реута здесь необыкновенно красивы (хочется сказать — живописны). Река причудливо вьется среди крутых складчатых гряд, негусто поросших зеленью, с меловыми пролысынами известняка.

Камень этот — по-здешнему «котелец» — пластичен, его можно пилить, как пилят древесину; затем он как бы закаляется на воздухе, отвердевает, становится из белого сероватым. Его податливость позволила монахам найти в толще хребта укрытие от религиозных гонений оттоманской Порты. Козья тропа, на которой мы стояли, служила тогда единственным путем сообщения пещерных келий с монастырской церковью.

Отсюда, как из недвижно повисшего вертолета, все видно в заманчивом уменьшении: слева под крутизной — птицеферма, прямо внизу — колхозный сад шеренгами вдоль русла реки, с побеленными стволами яблонь, а дальше — узкий длинный мыс, где под кровом земли скрыт Старый Орхей, один из древних центров Молдавии. Там несколько лет, начиная с 1947 года, велись интереснейшие раскопки, о чем, как можно догадаться, и сообщали мемориальные доски, привинченные в свое время к стоящей на мысу деревянной пирамидке. Я говорю «догадаться», потому что теперь чугунных досок с текстами нет. Они сорваны — неизвестно кем и зачем; из четырех осталась лишь одна, безгласная, с отлитой в чугуне эмблемой, частью старинного герба Молдавии,— головой быка.

Через территорию раскопок недавно пролегла новая шоссейная дорога; почти весь археологически ценный камень-котелец, стройматериал раскопанных древних сооружений, взял предколхоза из заречного села Трибужены — на сооружение моста через Реут и на строительство телятника. Оставшееся постепенно разобрали на домашние нужды окрестные жители.

2

«Охраняется государством»... Какова же сила, каков действительный смысл этих слов, которые я встречал едва ли не повсюду, где приходилось бывать — в Москве и на Ладого, за кавказскими горами, на берегах балтийских и черноморских? Встречал отличными в бронзе, чугуне, четко награвированными, выбитыми на мраморе и вот наконец увидел неумело выписанными самодеятельной рукой на фанерной таблице в Бутученах.

А что, если это самая верная, меткая из всех виденных где-либо охранных досок или таблиц — несмотря на неверность правописания (или благодаря ей)? Ведь понятие памятника происходит от понятия памяти, и бутученский предсельсовета, возможно, и сам того не ведая, напомнил своей простодушно-неправильной орфографией, что речь идет не о сторожевой лишь охране того или иного строения, а о чем-то гораздо более существенном. Может быть, именно об охране исторической памяти, памяти всеобщей, без которой человечеству жить было бы так же трудно, как трудно жить человеку, у которого тем или иным способом повредило или отшибло напрочь обычную, обиходную память?

Вот о чем я задумался, возвращаясь из Бутучен в Кишинев, куда приехал, чтобы познакомиться с памятниками культуры Молдавии и посмотреть, как обстоит дело с их охраной.

3

Двустворчатый канцелярский шкаф стоит в кабинете начальника отдела кадров Госстроя. Стоит потому, что другого места ему пока не нашлось; да и надежнее, пожалуй, хранить безнадзорные документы за прочной дверью отдела кадров.

Когда открываешь створки шкафа, документы пытаются высвободиться. С верхних полок напирают длинные свитки чертежных «синек», наваливаются перевязанные тесемками разбухшие папки, рушатся альбомы в ледериновых переплетках. Пахнет застарелой архивной пылью; хозяин кабинета недовольно косится на выросшую у шкафа гору.

Трудно винить хозяина кабинета: у него свои дела, свои шкафы, свои бумаги. Он вчитывается в них неторопливо, молча делает какие-то пометки; заботливо согревает дыханием кружок печати. Приложит, спрячет бумагу на место, щелкнет ключом, возвращается к столу грузноватой неторопливой походкой немолодого отставника.

А я тем временем листаю альбомы, разворачиваю пыльные свитки, роюсь в папках, лья на себе изредка взгляд молчаливого хозяина.

В шкафу собрано все, что касается памятников культуры, вся документация; все, что сделано за последние двадцать лет.

Тут покоятся труды группы аспирантов и дипломников московского Архитектурного института, прибывшей в Молдавию сразу же после войны для изучения и фиксации важнейших памятников зодчества. Хранятся труды Молдгипростроя, проведенного в 1959 году обследование «с целью создания типов жилья для будущего сельского строительства» (тогда силами четырех архитекторов было обследовано, обмерено, зарисовано, сфотографировано жилье четырнадцати районов в северной, центральной и южной частях Молдавии). В отдельной папке — работа В. П. Меднека «Малые архитектурные формы Молдавской ССР»: описания, чертежи, рисунки, фотографии каменных сельских ворот, навесы и обрамления источников, входы в погреб с фронтонами и резьбой (в Молдавии это — любопытнейшая страница народного зодчества, тут разговор особый). Вразброс лежат дареные офорты и акварели художников, приезжавших сюда отовсюду, — руины древних крепостей, архитектурные пейзажи с деревянными и каменными церквушками.

Разобраться во всем этом — задача нелегкая. Документы никак не систематизированы. Лишь в некоторых папках имеются подшитые к делу паспорта — это касается памятников, которым были присвоены «охранные номера». Таких я насчитал в шкафу двадцать девять. Но в натуре кое-чего не досчитался (скажем, под номером 2 тут значится Старый собор в Кишиневе, в охранном паспорте записано: «Является одним из выдающихся памятников архитектуры Молдавской ССР». Как выяснилось, эта церковь — самая древняя в городе — не так давно снесена).

Однако вернемся к шкафу. Перелистывая папки, вчитываясь в описания, разглядывая чертежи, рисунки, фотографии, я пытался обнаружить следы деятельности людей, которым были вверены многолетние труды, мысли, а может быть, и мечтания. Мои поиски увенчались некоторым успехом: в нескольких папках обнаружались акты передачи дел, освященные фиолетовыми инвентарными штампами и подписями: «Сдал — Смирнов Т. Г. Принял — Луцки» ..

Не знаю, кем были товарищи Смирнова и Луцки; скорее всего это фамилии сменившихся инспекторов по охране памятников культуры, — существовала такая должность в Госстрое республики. Я говорю «существовала», потому что теперь такой «штатной единицы» в Госстрое нет. Она упразднена в связи с передачей функций охраны памятников Министерству культуры.

Функции переданы недавно — но без исчезнувшей «единицы». Дело решено способом, я бы сказал, канцелярски-мнемоническим, то есть бумажно-словесно, с легкостью чисто волшебной. Издано соответствующее постановление, и впредь отдел изобразительного искусства Министерства культуры велено именовать: «Отдел изобразительного искусства и охраны памятников культуры».

Отдел находится этажом ниже Госстроя, в одной из множества комнат нового здания правительственных учреждений, — здания весьма представительного, современного, хоть и с неумеренным обилием стеклянных поверхностей, отчего в обращенной на юг комнате отдела очень жарко. Здесь работают четверо доброжелательных молодых людей — инспекторы, ведающие изобразительным искусством и музеями. Кто из них будет заниматься памятниками, пока неизвестно. Архитектора или реставратора, знающего дело специалиста среди них нет, и они, не стесняясь, признаются в этом. Может быть, потому и не перенесен еще сюда двусторчатый канцелярский шкаф, хоть нести и недалеко. Торопиться с этим явно не хочется: и поставить его некуда, и неохота брать на совесть нелегкий груз. Но хочешь не хочешь — придется, и вскоре, наверное, в пахнувших лежалой бумагой папках появятся новые акты передачи дел, оснащенные надлежащими штампами и подписями.

4

С кем бы ни приходилось говорить в Кишиневе о памятниках культуры, разговор непременно заканчивался напоминанием: «Не забудьте побывать в Каушанах». И вот едем — на юго-восток, через Бендеры, по шоссе среди круглящихся до горизонта холмов с оживающими под весенним солнцем виноградниками, молодыми фруктовыми садами, чисто вспаханными полями и цветущим кое-где по обочинам терновником.

О Новых Каушанах я много слышал. Точнее — о церкви Успения, числящейся едва ли не на первом месте среди художественных памятников молдавской древности.

Церковь эта строилась во времена турецкого владычества, когда христианам не разрешалось выводить стены церковных зданий выше общепринятого в молдавских селениях уровня каменных оград. В Новых Каушанах зодчие нашли своеобразный выход: заглубили сооружение, как бы погрузили нижней третью в землю.

До сих пор как-то не случилось мне видеть зданий, где намеренный контраст между наружным и внутренним видом так отчетливо выражал бы упорство сопротивления — особенное, крестьянское упорство. Кир Дмитриевич показывал фотографии, рассказывал о находящихся внутри церкви фресковых росписях; теперь не терпелось увидеть все воочию.

Новые Каушаны — районный центр на пересечении оживленных шоссе дорог. Как и повсюду, дороги эти содержатся в добром порядке — но лишь до въезда в районный центр. Тут заботы дорожного ведомства внезапно и решительно обрываются; выбоины, колдобины, лужи как бы возвещают о въезде в населенный пункт. Поразительно, до чего постоянен и повсеместен этот разрыв между чистой благоустроенностью машинной дороги и беспорядком вокруг человеческого жилья.

Сбавив скорость, мы проехали мимо старых и новых домов районного центра, мимо районного универмага, мимо дома культуры, школы-десятилетки, мимо кинотеатра недавней постройки — к подножию холма, у которого стоит Успенская церковь.

Скажу сразу: увиденное не то чтобы удивило — потрясло меня. Из рассказов Роднина я знал уже, что памятник этот находится в запустении. Знал, что внутри тут был сперва склад, затем — цех мокрой сульфитации фруктов. Знал, что фрески тут повреждены временем, сыростью, сернистыми испарениями. Но все же к такому я не был готов.

На фотографиях, которые показывал Кир Дмитриевич, здание рисовалось в полукруглом просвете ворот; соотношение между высотой каменной ограды и высотой стен выразительно напоминало о давней и тяжелой странице истории. Теперь я остановился в изумлении — не было и в помине ни ворот, ни ограды; заглубленное, как бы вросшее по колено в землю продолговатое сооружение с башенкой-куполком на черепичной крыше стояло сиротливо среди груд мусора и пересыхающих луж с налившимися куриными перьями. Куры лениво бродили вокруг, вкоча и поклевывая; чуть повыше виднелись зады какого-то жилья, по всей вероятности недавно возникшего. Между молодыми деревьями сохло на веревке белье, на склоне холма желтел свежими досками одноместный сортир.

Кажется, Кир Дмитриевич тоже был поражен картиной, хоть и не казал вида. Мне нравился этот человек — его умение и готовность выслушать и рассказать, растолковать. Нравилась его ненавязчивая вежливость, сипловатый негромкий голос, даже то, как спокойно и ловко управлялся он беспалой кистью правой руки с авторучкой и фотоаппаратом. Но все же странной и непонятной казалась его молчаливая сдержанность — и в Бутученах и здесь. Притерпелся? Или попросту остерегается бесцельных эмоций?

Мы спустились по каменным ступеням к двери, ведущей внутрь. Она оказалась приотворенной; не было ни замка, ни даже копеечного крючка.

Внутри пахнет неистребимой погребной сыростью. Каменные плиты пола на добрый вершок покрыты вязкой непросыхающей грязью. Свет вместе с дуновениями ветра проникает сквозь окна с выбитыми стеклами. Окна невелики; Кир Дмитриевич открывает пошире щелястую дверь.

Говорить о культурно-исторической ценности сооружения, рассуждать о его художественных достоинствах кажется мне в таких обстоятельствах неуместным. И все же должен сказать о неожиданном чувстве, какое испытываешь, входя внутрь.

В оценке произведений зодчества едва ли не основным критерием остается правдивая выраженность внутреннего пространства в наружных формах сооружения. Для данного случая всеобщий критерий архитектоники оказывается непригодным; здесь художественная сила произведения, его высшая правда как раз в обратном. Эта высшая правда — непокоренность; она и выразилась в очевидном контрасте между вынужден-

ной заземленностью, между обдуманной обыденностью наружного вида, где только башенка-куполочек над алтарной частью на черепичной крыше говорит о назначении здания, — и нутром, неадекватно величественным.

Не могу подобрать другой эпитет взамен этого захватанного, хотя здесь и не пахнет общепринятыми признаками величия, богатством форм или отделки, и абсолютные размеры вовсе не велики, скорее напротив. Величие тут в пропорциях, в простоте и — главное — во внезапности контраста, о котором я говорил. Под обыденной четырехскатной крышей (край на уровне подбородка человеку среднего роста), за невысокими стенами (карниз не выше ограды) скрыт конструктивно смелый каменный свод с парусами и подпружными арками, скрыто заглубленное на семь ступеней трехчастное пространство, умело расчлененное, со своеобразной килевидной аркадой, отделяющей притвор от церкви. Впечатление простора, даже обширности усиливается еще и тем, что все внутренние поверхности (включая и толщу стен в оконных проемах) сплошь покрыты фресковой росписью.

Даже в полусумраке, в нынешнем своем состоянии, каушанские фрески сразу же впечатляют строгим, чуть суровым колоритом; тут преобладают беловато-серые, черные, ржаво-красные тона с небольшими охристыми вкраплениями. Их строй напоминает об излюбленных цветосочетаниях молдавской одежды (я имею в виду старинные образцы, не испорченные пестрой яркостью турецких влияний) — сочетания отбеленного холста с красной вышивкой, обилием черных тканей и скупым поблескиванием строчек золотого шитья.

Но стоит ли рассуждать о тонкостях колорита или рисунка, когда поверхность росписей покрыта мокнувшей экземой плесени? Повсюду, куда можно дотянуться, фрески исцарапаны чем-то острым — должно быть, остриями гвоздей. В притворе, где, на мой взгляд, сосредоточено самое ценное (там изображены не евангельские персонажи, а люди, как говорится, конкретные — ктитеры, то есть жертвователи на постройку храма), почти на всех глядящих сквозь два столетия лицах, на удивительных этих портретах здешних людей, тщательно выковыряны глаза.

Родник нагибается, поднимает отпавший кусок штукатурки с росписью, осторожно протирает палец поверхность; в зернисто-белом изломе виден еще один промежуточный пигментированный слой. Возможно, под этими фресками скрыты и более древние — кто знает...

Кир Дмитриевич хмурится, кладет отпавший кусок на выступ стены, — кладет так бережно, словно это единственное тут повреждение и не завтра, так послезавтра появляться реставраторы.

Выходим наружу, огибаем здание со стороны закругленной алтарной абсиды; ищу взглядом доску со знакомой формулой: «Охраняется государством». Но доски нет. Она, оказывается, была прикреплена у входных ворот к наружной ограде; вместе с воротами и оградой в одночасье исчезла по мановению районных властей.

Зачем, почему, для какой надобности велено было уничтожить ограду, Кир Дмитриевич сказать не может. Кажется, он и не знал, что она снесена, когда мы собирались в Каушаны.

Возвращаемся мимо дома культуры, универсама, школы — одной из двух здешних школ. Дорого бы я дал, чтобы побывать тут невидимкой — посидеть на уроке истории, послушать, как рассказывает учитель о столетиях турецкого ига, о народном сопротивлении. Как выговаривает классный руководитель какому-нибудь пареньку за нерадивость, за грубость. Как в учительской обмениваются мнениями о состоянии ребячьих умов, о неуважительности, о каком-то даже, страшно сказать, неверии. Как рассуждают об «эстетическом воспитании». Как на очередном совещании районные руководители говорят об отливе молодежи и журят работников народного просвещения за неумение воспитывать в ребятах привязанность к родным местам.

Но вот Каушаны исчезли за увалистыми холмами. Вдалеке слева на одной из округлых вершин — поросшая травой насыпь. Это, говорит Кир Дмитриевич, земляной городок-крепость, тут Суворов практиковал своих солдат перед боями, перед решающей победой над турецкими поработителями.

Нам еще предстоит пересечь Днестр, чтобы взглянуть с левого берега на один из памятников тех времен — Бендерскую крепость с ее глухими высокими стенами, боевыми башнями, с двумя наружными обводами земляных укреплений. А перед глазами стоят Каушаны.

5

Несколько цитат:

«...Среди наиболее интересных построек 16—18 вв. — монастырь Рудь, церковь в с. Новые Каушаны с замечательными фресками...»

(БСЭ, второе издание, т. 28, стр. 101, статья «Молдавская Советская Социалистическая Республика»)

«...Это единственный образец фрескового письма во всей Молдавии».

(Архитектор Батов, из описания, приложенного к обмерам церкви Успения в Новых Каушанах, 1945. Хранится в Госстрое, в упомянутом шкафу)

«...Церковь открыта, нет даже замка на двери, иконы и утварь расхищены, и если не принять решительных мер, драгоценный памятник архитектуры будет скоро разрушен».

(Архитектор Батов, там же)

«...Нужно положить конец такому безразличному отношению к этому замечательному памятнику молдавской старины. Такие произведения архитектуры надо беречь».

(Из описания каушанской церкви, сделанного архитектором Калинковым в 1946 году. Хранится в том же шкафу. Засвидетельствовано в 1947 году инвентарным штампом, записью: «Рукопись на одиннадцати страницах» — и подписью: «Смирнова Т. Г.»)

«...Такие памятники, как Сорокская, Бендерская крепости, Успенская церковь в селе Новые Каушаны, имеют всесоюзное значение... В текущем году будут начаты реставрационные работы...»

(Из статьи архитектора И. С. Эльмана «Об архитектурном наследии молдавского народа»)

6

С 1945 по 1956 год в Молдавии работало пять экспедиций по обследованию памятников архитектуры. Было обследовано и, как выразился один из работников Госстроя, «охвачено фиксацией» более шестисот различных сооружений. Из этого количества лишь двадцать взяли под государственную охрану.

О том, каково бывает с охраной, читатель может судить и без новых примеров. Скажу лишь, что список подлежащих охране памятников впоследствии сократился до восемнадцати — по причине окончательного исчезновения двух охраняемых объектов с лица земли.

Не причислен к заслуживающим заботы ни один памятник деревянного молдавского зодчества. Между тем есть такие, которые следовало бы сохранить (скажем, деревянная церковь восемнадцатого века в селе Городишта) — хотя бы для сохранения памяти о временах, когда эта земля была богата лесами.

В начале тридцатых годов прошлого века Пушкин писал о дубравах лесистой Молдавии. Истребление здешних лесов, когда в течение каких-нибудь двадцати пяти лет подрядчики-хищники вместе с монастырскими казначеями оголили землю, — особая тема, и я не стал бы касаться ее мимоходом, если бы не ощущал глубокую взаимосвязь явлений. Мне кажется, есть нечто среднее между людьми, велящими сбрасывать ядовитые заводские воды в чистое озеро или реку, и теми, кто велит снести прочь древний памятник зодчества.

К этой взаимосвязи еще вернусь, а пока — несколько слов о традициях молдавской народной архитектуры.

Кто бывал в селах Молдавии, не мог не заметить характерную особенность — тенистые галереи по фасадам жилых домов; они образованы сильным выносом крыши, лежащей на каменных столбиках-колонках.

В многовековом опыте тут выработался некий своеобразный ордер; число колонок (четыре, шесть, восемь), их расстановка, форма, пропорции — все это освящено традицией и будто повторяется неизменно. Но взгляните — и увидите множество вариаций: контуры капителей, рисунок резьбы — едва ли не в каждом доме своя подробность. Тут снова сказывается естественное стремление к разнообразию, какое наблюдаешь повсюду.

Тем же природным стремлением рождена еще одна особенность молдавской народной архитектуры — каменные резные навершия дымовых труб. Диву даешься, глядя на крыши где-нибудь в Брочештах, Пересечине, Бутученах — там возвышаются почернелые, сквозной резьбы сооружеица, похожие то на уменьшенную до игрушечности крепостную старинную башню с бойницами, то на башенки-«пинакли» готического собора, то еще на нечто фантастическое, чему и не подберешь названия.

Резьба по камню — местная специальность; пластичность молдавского «котельца» способствовала ее развитию. Резьбой украшены каменные столбы деревенских ворот, ведущих в ухоженные чистые дворики; столбы обычно завершены каменным резным цветком-«бутоном» или же вазонами, рисунком похожими на вазоны молдавских гладкотканых ковров. (В Брочештах я видел столбы с раскрашенными маскаронами — слева голубоглазая женская голова, справа мужская, с подфабранными черной краской пышными каменными усами. Наверное, это давние поргеты хозяина и хозяйки.)

Граненые каменные колонки с насечкой резьбы, с плоскостными капителями, словно выпиленными из дерева (еще одно напоминание о молдавских дубравах); каменные обрамления-навесы над источниками, колодцами (знак особого здешнего почтения к воде), разноликие арки с фронтонами (входы в погреба) — веками нажитое богатство разумного опыта, фантазии, вкуса зафиксировано, обмерено, описано — и, как известно уже читателю, заключено в канцелярский шкаф.

Бродя по улицам неузнаваемо изменившегося Кишинева, где не был двадцать пять лет, я безуспешно искал следы использования этого богатства. Размах новых проспектов, тенистый покой внутригородских парков, зелень старых и юных чинар, зацветающие каштаны — все это будит воспоминания о несущем печать захолустной окраинности городе, где не было ни троллейбусов, ни телевизионной вышки, ни веющего прохладой Гидигичского водохранилища, ни шири новых кварталов на холме за тесными улочками старой Рышкановки.

Но растущие на глазах кварталы эти обидно похожи на многие другие «массивы» с повсеместной однородностью домов-коробок, расставленных так, что, попадая сюда, как бы теряешь чувство местонахождения и уже не различаешь, в Кишинева ли ты, в Кременчуге, Саратове, Вологде или еще где-нибудь. Вот разве что материал — здешний камень-котелец — напмнит о Молдавии. А вместе с тем и о неиспользованном богатстве народного опыта.

Когда глядишь на обращенную к палящему солнцу гладко-серую стену нового дома в Кишинева, нельзя не думать о тенистых галереях с расщеченными колонками, о прохладной синеве южных стен деревенских домов.

Цвет играет в молдавской народной архитектуре действенную роль. Тут главенствует гамма сине-голубых тонов — она усиливает ощущение прохладной тени, так необходимое потрудившемуся на жаре человеку: А что сказать о затененных окнах? О неброском разнообразии каменной резьбы? Ведь это тоже не последнее дело — свой дом, чем-то чуточку не похожий на соседние, как не похожи между собой люди.

Разве мастерство косоуцких камнерезов — из поколения в поколение переходящее мастерство — обречено умереть? Разве какая-нибудь характерная подробность, какое-нибудь частное отличие на манер деревенской капители или резного навершия как уж удорожила бы строительство? Разве не придали бы дорогие пластические элементы, в соединении с геометрически простыми формами современной архитектуры, свое звуча-

ние здешним зданиям? Разве старинный опыт типизации так уж непригоден опыту сегодняшнему?

О наследии веков, об исторических памятниках, о народных обычаях у нас теперь стали писать охотно и много. Выступают в газетах и журналах, на съездах и конференциях, по радио и телевидению. Признаться, иные выступления вдруг настораживают. Порой вспоминается высмеянное Козьмой Прутковым прекраснотуши поэта Щербины: «Красота, красота, красота! — я одно лишь твержу с умиленьем»... А иной раз с грустью задумываешься о людях, всерьез предлагающих ввести в обиход обращение «сударь—сударыня» или хороводы и в этом видящих надежное средство укрепления нравственности и национального самосознания.

Нет, не бесплодные восторги, не велеречивость, не маскарады — нечто иное необходимо, чтобы нить исторической памяти не петляла, не обрывалась.

7

А ведет эта нить далеко, и вот уже забираешься во времена, когда на землях между Днестром и Прутом жили кимвры и скифы, когда сюда пришли легионы императора Траяна, когда упоминаемые Нестором славянские племена — лутичи и тиверцы — строили тут свои города и заложили крепость Белгород, названную так потому, что сложена была она из белого камня.

Все это — и многое другое, полузабытое — вспоминаешь в просторной, тихой, окна-ми в сад, комнате ученого секретаря историко-краеведческого музея Молдавии Георгия Павловича Сергеева.

Наверное, на свете было бы куда скучнее без таких вот болельщиков своего дела и таких чудацки-занятых комнат, где на посторонний взгляд все будто смешалось в беспорядке: легионерский шлем со следами ударов боевой палицы, греческие солдатские поножи времен Александра Македонского, застежки-фибулы, прикрытые стеклянными колпаками птичьих чучела, какие-то черепки, обломки амфор, глиняные фигурки; — а поговорите с хозяином, и все обретет свое место, свой смысл.

Георгий Павлович называет междуречье Днестра и Прута археологической кладовой всемирной ценности; эта область никогда не подвергалась оледенению; тут был оазис прадавнего времени с массой животных. Гряды скал с пещерами и гротами — подходящее жилье для населения времен палеолита. Позднее — рай для первых земледельцев, для кочевников эпохи бронзы. Короче, эта земля хранит в обилии вещественные следы человеческой жизни начиная с древнейших времен.

Археологи не раз переживали здесь счастье находок; скажем, таких кладов, как открытый близ села Ланешты клад древнегреческих доспехов, не было пока на европейском континенте.

Когда на открывающиеся в той или иной стране археологические выставки прибывают молдавские коллекции, они вызывают сенсацию; вот и теперь немалая часть экспонатов кишиневского музея отправлена для обозрения во Францию, Бельгию, Голландию. Георгий Павлович упоминает об этом с понятным удовлетворением; но тут же с нескрываемой горечью говорит о разрушенной, замусоренной, загубленной палеолитической стоянке Выхватинцы на Днестре, вблизи Рыбницы.

Молдавия усилиями своих тружеников превращается в цветущий сад, это верно. Повсюду видишь ухоженные ряды молодых фруктовых деревьев, виноградники зеленеют на южных склонах холмов. Но значит ли это, что плантажные плуги (они пахут в глубину на девяносто сантиметров) должны заодно выворачивать, кромсать, калечить археологическую начинку этой земли? Надо ли непременно распахивать вместе с естественными холмами могильные курганы? (Вблизи Оргева в одном из таких курганов наткнулись на половецкое погребение — подвески, браслеты, височные кольца; стали ковырять, пробовать на зуб... Георгий Павлович показывает одно из колец, бессмысленно поврежденное.)

Когда узнаешь, что пещерное жилье времен верхнего палеолита взорвано, использовано в качестве карьера для добычи камня-котельца, думаешь не только о том, что такая пещера где-нибудь во Франции оберегалась бы как научная святыня (и вместе с тем как источник постоянного дохода от туристических посещений). Думаешь и о неиз-

бежом ушерб, какой наносит подобное небрежение окружающим людям, их нравственной структуре, их отношению к действительности.

Грубый утилитаризм ни к чему доброму привести не может; нельзя безнаказанно переселять идеи в желудок. Тракторист, «выпахавший» клад с монетами Александра и Филиппа Македонских и принявшийся рубить метровые золотые гривны, чтобы удобнее торговать (пишу об одном из действительных случаев), не кажется мне более ответственным (или безответственным), чем высокопоставленное лицо, занятое сиюминутными делами и на этом основании отмахивающееся от назойливых музейщиков-археологов с их черепками, шлемами, светильниками Артемиды Эфесской и тому подобной трухой. (Георгий Павлович с грустной улыбкой рассказывал, как безуспешно кланчил в Министерстве культуры машину для неотложных выездов на места находок, как письменно жаловался прокурору республики на происходящее и как в конце концов получил решительный нагоняй с подтекстом: не путайся, братец, под ногами...)

И все же путаются, не отстают. Вот, скажем, Георгий Дмитриевич Ременко, здешний журналист, писал, писал о печальном положении дел с охраной памятников — и «дописался»: рекомендовали секретарем добровольного общества.

Учредительная конференция была в декабре; избрали, как принято, председателя с именем, академика. Теперь конец апреля. И вот Георгий Дмитриевич сидит у меня в гостиничном номере, рассказывает.

А рассказать есть о чем. До сих пор общество существует лишь на бумаге. Простили дать пять тысяч взаймы, на первоначальное обзаведение, — не дали. В Литве, говорят, правительство ссудило на эти цели пятнадцать тысяч, здесь — ни гроша. Не на что издать устав. Рассчитывали до конца учебного года привлечь хоть немного школьников на местах, — нет тридцати рублей, чтобы размножить положение о юношеских секциях. Значок общества хотели выпустить для распространения, требуется шестьдесят килограммов меди, в Госплане республики сказали: «Подайте заявку, в будущем году рассмотрим».

О зарплате и говорить не приходится, — в командировки и то приходится пока на свой кошт ездить. Вот и сегодня Георгий Дмитриевич собирается в Каларашский район — что поделаешь, надо выезжать на места, проводить районные учредительные конференции, иначе не сдвинешь дело с мертвой точки...

Если бы такое рассказывалось с чужих слов, пожалуй, не поверил бы. Но секретарь общества самолично сидит передо мной, и вид его не оставляет сомнений, что вот уже скоро полгода он работает, не получая зарплаты, и не дают шестидесяти рублей на машинистку-счетовода, и хорошо еще, что помещения пока не дали, а то и вовсе конфуз получился бы.

Вспоминаю Грузию, где добровольное общество существует вот уже шесть лет. Недавно мне прислали из Тбилиси очередной выпуск ежегодника общества «Друг памятника» — хорошо изданный, с цветными и черно-белыми иллюстрациями, со статьями серьезными и разнообразными: о памятниках зодчества и археологии, о практике научной охраны и восстановления, о состоянии дел за рубежом, о собственных достижениях и недостатках. Из помещенной в сборнике хроники узнаешь, что за прошедший год общество смогло выделить из своих средств на дело охраны и реставрации сто тысяч рублей — в дополнение к отпущенным по бюджету республики. Сумма в масштабах Грузии не так уж и велика; но главное тут измеряется не рублем.

Устав грузинского общества начинается словами: «Все находящиеся на территории Грузинской ССР памятники культуры, имеющие научное, историческое или художественное значение, являются неприкосновенным народным достоянием и состоят под охраной государства». Наверное, осознанной действительностью этих слов, их соответствием действительности и определяется все.

В 1961 году литовским «друзьям памятников» досталось: с высокой трибуны прозвучали слова о руководителях, которые взялись за восстановление из руин дворцов и замков феодалов. Люди, пожелавшие восстановить знаменитый замок Тракай в Литве, были прямо названы растратчиками народных средств.

И поскольку тут же было осуждено и даже осмеяно увлечение реставрацией «многих ненужных объектов старины» еще и в Подмоскowie (где, к сожалению, и по сей день большинство ценнейших усадебных ансамблей находится в запустении), речь обрела явно расширительный смысл.

До чего трудно творить с помощью слов и как легко разрушать! И как ретиво подхватывается порой брошенное сверху слово! На Украине сумма годичных ассигнований на охрану и восстановление памятников культуры была после упсманутого выступления тотчас «срезана» с четырехсот тысяч до восьмидесяти. От лиц подчиненных требовали немедленно сократить число находящихся под охраной памятников, причем речь шла не о значении, а именно о числе.

Помню рассказ одной из сотрудниц республиканских научно-реставрационных мастерских, как «сокращали» Львов. Там на Рынке — на древней центральной площади — стоят плечом к плечу пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый века, один из немногих сохранившихся в стране городских старинных ансамблей, сорок четыре древних здания, каждое из которых — произведение зодческого искусства, живая страничка истории. Хитроумные девушки из реставрационных мастерских нашли выход — объединили все дома на Рынке под одним номером; так они и числятся по сегодняшней день в официальном списке охраняемых памятников архитектуры — под № 326. Так и была сокращена итоговая цифра по Львову на сорок три «единицы», и никто свыше этого не заметил — или не пожелал заметить; дело ведь было вовсе не в сути, а в цифре...

Но в иных случаях, когда хитроумием невозможно было обойти твердость начальства, приходилось действительно сокращать, пока не достигли намеченной загодя «контрольной цифры» — 35 процентов.

Не стану приводить перечень исключенных объектов; что было, то сплыло, и если я, скажем, назову церковь семнадцатого века в Русском Поле (Тячевский район Закарпатской области) или похожую на плывущий корабль церковь Анны в селе Лишня (один из немногих памятников деревянного зодчества восемнадцатого века на Киевщине), от этого ничего не изменится — ни для читателя, ни для погибших сооружений. Будем говорить о том, что покуда живо. Что уцелело в списках и числится ныне под охраной государства.

9

Неподалеку от площади Рынок во Львове стоит «каплица Боимов» — фамильная усыпальница-капелла знатной купеческой семьи. В недавно вышедшей книге Г. Островского «Львов» (издательство «Искусство». Л.—М. 1965) сказано об этом сооружении так:

«Каплица Боимов — произведение необыкновенное, не имеющее себе подобных во львовской архитектуре. Весь фасад сверху донизу сплошь покрыт скульптурами, рельефами, декоративной резьбой. Здесь статуи апостолов, медальоны с пророками, евангельские сцены, барельефы, горельефы и круглые фигуры, маскароны, картуши — настоящий калейдоскоп декоративных мотивов. В них нетрудно найти отголоски влияний и форм готики, итальянского Возрождения, нидерландского и немецкого искусства, наконец местных художественных традиций, высокого искусства украинских и польских скульпторов и мастеров декоративной резьбы».

Цитирую не за отсутствием собственных слов или мыслей; небольшая, как бы задымленная дыханием веков каплица, с купорсной прозеленью двухъярусного купола, с живой игрой светотени на почернелых рельефах стен, с большеглазыми, круглоголовыми, чуть неуклюжими мужичками-апостолами, вросла в память так же нерушимо, как встали в гущу города средневековые здания. Цитату я привел, чтобы показать, как не согласованы бывают иной раз движения правой и левой руки.

Книга Г. Островского вышла в отлично издаваемой, успевшей завоевать популярность серии книг-путеводителей по наиболее примечательным памятникам зодчества городам страны. Каково же должно быть заинтересованному читателю, купившему по пути во Львов эту книгу и пришедшему с ней в руках на место, к необыкновенной каплице Боимов, не имеющей себе подобных во львовской архитектуре? Что должен думать он, увидев заколоченные изнутри некрашеной фанерой окна с решетками и везде-

сущий амбарный замок на дверях? Ведь в книге сказано еще, что внутренность капеллы, ее интерьер, по своим художественным достоинствам куда ценнее фасада, что скульптура интерьера — «одно из высших достижений Пфистера и всей львовской пластики эпохи Возрождения»...

Должен сказать, мне повезло: я располагал некоторыми полномочиями и вдобавок заведующая расположенного рядом с каплицей магазина «Маятко» оказалась на месте. Сезам открылся, и я получил возможность увидеть ту часть высших достижений Пфистера и всей львовской пластики эпохи Возрождения, какая не была в данный момент скрыта от посторонних взглядов складскими стеллажами, ящиками, тюками, стопками полушерстяных одеялец и прочим скарбом промтоварного магазина «Маятко», что в переводе на русский значит «Малыш».

Свет яркого дня проникал сквозь выбитые окна подкупольной башенки-барабана; в дождливые дни тем же путем проникает и влага, о чем свидетельствуют следы на бесчисленных скульптурах купольного свода, глядящих как бы удивленно из своих углублений-кессонов на происходящее. На случай вечерней надобности магазин устроил тут свое подсобное освещение, а также антиворовскую сигнализацию; у входа изнутри приколочена к стене громоздкая распределительная коробка, от нее тянутся куда следует разноцветные провода.

Что современные торговые работники в отличие от похороненных здесь купцов несколько не богобоязненны — не беда, скорее напротив. Но какова мера общности атеизма с невежеством, с неверием в какую бы то ни было ценность культуры, с бездумным презрением ко всяким «художествам»?

Впрочем, что говорить о купцах сегодняшних — им сдали «необыкновенное произведение» под склад (или, как говорится, подсобку), они соответственно и пользуются. Арендную плату вносят исправно. Попросят уйти, освободить помещение — освободят, а что дальше — не их забота. Об этом позаботится начальник областного отдела по делам строительства и архитектуры Андрей Михайлович Шуляр.

10

На Украине в отличие от Молдавии функции охраны памятников культуры остались за Госстроем. В центральном аппарате этим делом (имею в виду повседневное руководство и контроль) занимаются два человека (я не оговорился — именно два на всю республику). На местах соответствующие обязанности возложены на областные отделы.

Поговорите в Госстрое УССР о практическом положении на местах, и вам непременно назовут Шуляра. В самом деле, этот образованный, энергичный архитектор выгодно отличается хотя бы тем, что относится к памятникам зодчества с живым интересом и занимается ими не по одной лишь обязанности, лежащейся дополнительным грузом поверх других неотложных дел и задач.

В Госстрое республики я испытывал некоторую неловкость, сидя в кабинете начальника одного из отделов; на стене висела карта-схема, от Карпат до Черного моря темнеющая значками: старые и новые города, заводы, фабрики, электростанции, рудники, огромный фронт строительства. В кабинет то и дело заглядывали работники отдела, звонил телефон, вызывали на срочное совещание. Начальник говорил со мной подчеркнуто терпеливо; и все же неловкость витала вокруг, и я не мог отделаться от ощущения, что отнимаю у начальника драгоценное время.

Ничего похожего я не испытывал в кабинете Андрея Михайловича Шуляра, хоть и здесь все уставлено и увешано картами-схемами, перспективами и макетами новых жилых комплексов, санаториев, промышленных предприятий, а хозяин, говоря со мной, то и дело поглядывал на часы.

О том, что Андрею Михайловичу приходится нелегко, что стычки с областным начальством нередки, что за ним укрепилась — пусть как бы полушутливо — репутация едва ли не защитника церковников (или по меньшей мере церквей), об этом я знал уже со стороны. Да и сам Шуляр не скрывал этого, говоря о трениях и трудностях хоть и с улыбкой, но вполне серьезно.

Кому охота вступать в постоянные стычки, «зарабатывать» выговоры? Недавно молодежь села Стоянов Львовской области обратилась с просьбой отдать бездействующую церковь под сельский музей; даже Андрей Михайлович не взялся поддержать просьбу где следует.

В дельной статье М. Ю. Брайчевского «Сохранить памятники истории» (журнал «История СССР», № 2, 1966) справедливо говорится о небесспорности для многих самого тезиса о необходимости сохранять, охранять. Конечно, теперь вряд ли кто-либо решится выступить открыто против охраны памятников культуры. Но скрытая, подспудная полемика — то под флагом бережливости, то под соусом атеистическим — ведется. Продолжается, и последствия забытой речи сказываются на деле.

М. Брайчевский напоминает в своей статье об изданном в октябре 1918 года декрете Совета Народных Комиссаров «О регистрации, взятии на учет и охране памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений». В статье приведены сведения: с 1918 по 1923 год (то есть во времена, хозяйственно очень трудные) в России было взято под государственную охрану 2350 древних церквей и монастырей и 520 помещичьих усадеб, представляющих художественную или историческую ценность.

Казалось бы, излишне толковать сегодняшнему читателю о социально-исторических причинах, в силу которых зодческий гений народов на протяжении многих веков находил материальное воплощение лишь в строительстве храмов и сооружении замков, дворцов. Но, быть может, в таком разъяснении нуждается кое-кто.

О том свидетельствуют автографы на стенах бутученской церкви, выколотые глаза ктиторов в Каушанах, проволочные сетки на окнах костела Бернардинцев во Львове.

Об этом сооружении начала семнадцатого столетия (оно было построено за городскими стенами, а теперь оказалось в самом центре) упомянутая книга-путеводитель Г. Островского говорит как об открывающем новую эпоху в архитектурной истории Львова. И правда, от черно-седого с песчаниковой желтишкой фасада, где уравновешенность Возрождения так выразительно встречается с беспокойным духом эпохи барокко, не оторвешь глаз. Взгляд скользит кверху по туго свитым изгибам волют, по волнистым уступам высокого фронтона с мощными рельефами и статуями — к необыкновенно изящным очертаниям купола с видными издали башенными часами. Но, вернувшись от неба к земле, взгляд вновь упирается в ржавые проволочные сетки.

— Бьют окна,— кратко пояснил г. Березко, областной инспектор по охране памятников.— Камнями. Мальчишки, хулиганье...

Как ни стараюсь, не могу вспомнить случая, когда самые шкодливые хулиганы швыряли бы камни в окна действующего музея, театра, выставочного зала. Но за всю жизнь, кажется, не видел столько выбитых окон — стрельчатых, полукруглых, широких, узких,— сколько пришлось повидать теперь в Молдавии, на Львовщине, на Черниговщине.

Боюсь, что вывод о заразительности примера может показаться стандартной моралистикой. Но, как ни верти, трудно было бы убедить паренька с рогаткой, что заколоченное наглухо (или, напротив, настезь распахнутое), намертво заброшенное строение есть памятник культуры, который надо беречь. Охранная доска на таком сооружении лишь укрепит паренька в смутном сознании: не верь глазам своим...

11

Кроме издавна принадлежавших костелу Бернардинцев резных скульптур (они уходят ярусами под высокие своды), тут полно статуй из других мест, из других костелов, церквей и соборов. Пришельцы стоят, прислоненные к стенам, к четырехгранным столбам-колоннам, лежат в золоченых своих одеждах на каменном полу, запрокинув бледнокожие лица с воспаленными веками и чуть приоткрытыми в улыбке или сградании бескровно-розовыми губами.

Деревянная раскрашенная скульптура эпохи барокко всегда поражала меня умением ее мастеров удержаться на тончайшей грани между искусством и банальностью. Блеск позолоты, сочетание «натуральной» раскрашенности с условной изыскан-

ностью поз и жестов, чрезмерный как будто интерес к подробностям — до волоска, до ногтя на пальце, — словом, все, что, казалось бы, противопоказано искусству (а искусству скульптуры в особенности) — тут дает неожиданный результат; дает волнующее, острое чувство движения по кромке, по самому пограничному краю.

Католическая церковь хорошо знала свою аудиторию; но ее художники знали кое-что и сверх того. Если они и снижались, то лишь с тем, чтобы протянуть руку — и приподнять.

Не стану, однако, задерживаться на описаниях; тысячи слов, как известно, не заменят одной картины. Глядя на свезенные отовсюду статуи, я подумал, что «Бернардины» (так называют костел во Львове) могли бы стать единственным в своем роде музеем (или, если угодно, выставкой) монументальной скульптуры барокко, где зритель сам нашел бы ответ на свои вопросы и унес бы собственные впечатления.

— Верно, мы об этом думали, — сказал Андрей Михайлович, когда я поделился с ним нехитрой мыслью. Согласился он и с тем, что каплица Боимов тоже достойна открытого обозрения, как и многие другие здешние памятники. Но пока удалось добиться разрешения лишь на устройство музея атеизма в Доминиканском костеле.

Костел этот, названный в книге-путеводителе самым грандиозным сооружением львовской архитектуры, построен в восемнадцатом веке по проекту военного инженера и архитектора, коменданта Каменец-Подольской крепости Яна де Витта. Его купол напоминает очертаниями купол римского собора святого Петра, а мощные пучки колонн и напряженный изгиб фронтонов фасада приводят на память другие, не менее знаменитые произведения южноевропейского барокко.

Внутри, однако, господствует нарядное рококо. Под гигантским эллипсом купольного белого свода блещат золотом восемнадцать декоративных скульптур. Сонмы других статуй будто соревнуются в прихотливом разнообразии поз и ракурсов. Высоченный резной алтарь поражает роскошью клубящихся форм. От сияния позолоты как бы светится воздух. Благодетием и не пахнет.

В эту моцартовскую праздничность траурной нотой вкраплены стоящие в боковых капеллах надгробия — шесть смертельно-белых алебастровых воинов (перенесены сюда из древнего готического костела, на месте которого построен Доминиканский) и несколько более поздних скульптур, одна из которых (надгробие Дунин-Борковской) изваяна Торвальдсеном.

На протяжении долгой своей истории Доминиканский костел дважды горел, трижды его реставрировали (последний раз в 1956—1958 годах). После печально памятной тирады о растратчиках народных средств тут был устроен склад сахара.

Склад существовал до позапрошлого года, последствия теперь должна устранить новая реставрация. Дело движется покуда ни шатко, ни валко: под сводом стоят леса, рабочих что-то не видно. Но зато видны и слышны другие труженики — в обширных подвалах находится база Плодоовощторга, оттуда с натужным гиканьем выкатывают на поверхность бочки с соленьями, вытаскивают какие-то корзины и ящики, грузят в подъезжающие к боковому фасаду грузовики.

12

Увидев такое, не знаешь, кем возмущаться, кого обвинять; Андрей Михайлович Шуляр, я убедился, был бы рад «изгнать торгующих из храма»; но где взять тогда тот минимум денег, без которого все вообще полетит в тартарары?

Пора внести ясность: то немногое, что могут сделать во Львове (или других местах) для хоть какого-нибудь поддержания памятников зодчества, делается за счет так называемых «спецсредств», то есть, говоря проще, за счет получаемой от нанимателей арендной платы. Из областного бюджета на эти цели не отпускается ни гроша. А из республиканского даются такие крохи, о которых не стоило бы и говорить.

На все находящиеся под охраной памятники зодчества Украины (числом 864) отпущено на 1966 год из республиканского бюджета 190 тысяч рублей. А годовой план восстановительных и консервационных работ по одной лишь Львовской области превышает 100 тысяч (действительная потребность значительно выше).

М. Брайчевский в своей статье справедливо говорит о необходимости использовать помещения памятников зодчества под музейные экспозиции, выставки и т. п. Однако заканчивается рассуждение настораживающим абзацем: «Памятники культуры при правильном подходе не только не потребуют от государства каких-либо специальных затрат, но, напротив того, могут быть источником определенных доходов».

В самом деле, литовские «растратчики» не поддались натиску, восстановили замок Тракай, и теперь, говорят, доходы от туризма с лихвой окупили затраченное. Наверное, и во Львове многочисленные туристы (в прошлом году здесь побывало двести пятьдесят тысяч, в этом ожидается до полумиллиона гостей) охотно платили бы по гривеннику за возможность войти в каплицу Боимов, посмотреть выставку монументальной скульптуры в «Бернардинах» и т. д. и т. п. При всем том нельзя рассматривать вопрос лишь с точки зрения утилитарно-коммерческой (или, по-нашему, хозрасчетной). Народное просвещение требует иного взгляда на вещи, действительный доход тут не измеришь рублими.

Взяв на себя охрану памятников культуры, государство тем самым берет и определенные материальные обязательства — такова логика. Успокоительно-извиняющиеся заверения о возможности вести дело без каких-либо специальных затрат лишь затуманивают вопрос.

Но беда в том, что далеко не все склонны рассматривать дело охраны памятников культуры как часть народного просвещения. Напротив, докучливая возня с церквями, костелами, соборами представляется кое-кому занятием едва ли не вредным. И если уж нельзя избавиться раз и навсегда от этих «пережитков», то спокойнее, пожалуй, держать их на замке.

Рядом с площадью Рынок во Львове стоит один из памятников такого рода — Армянский собор. К наружной стене привинчена литая охранный доска: «Костел XIV века» Уже одна эта надпись — свидетель канцелярского равнодушия; что скажет она неосведомленному прохожему о сооружении, которое вовсе не костел, а собор, к тому же имеющий многовековую историю? А ведь история стоит внимания — перед нами единственный памятник армянской архитектуры на украинских землях, где многие тысячи «харитов»-изгнанников находили убежище от преследований завоевателей.

Очень хотелось попасть в уютный, веющий неожиданным дыханием Востока соборный дворик с тенистой каменной аркадой, с могильными плитами древнего кладбища, — но на решетке-ограде со стороны Армянской улицы висел вездесущий замок.

Внутрь собора я все же попал; мне давно говорили, что нельзя не побывать там. И верно — я получил редкую возможность заглянуть в холодную, полусырую сокровищницу, где собраны произведения украинского искусства за пять столетий — с четырнадцатого по восемнадцатое.

Скажем точнее: в Армянском соборе заточена первоклассная, единственная в своем роде коллекция иконной живописи, декоративной резьбы и скульптуры — десять тысяч экспонатов, густо заполнивших стоящие в главном нефе и на хорах стеллажи.

Директор Львовского музея украинского искусства т. Якущенко без тени надежды говорил о возможности выставить хотя бы часть прозябающей коллекции для обозрения, — на это нет ни средств, ни помещения, ни санкции свыше. Подобная выставка рассматривалась бы тут едва ли не как открытая религиозная пропаганда.

Слов нет, иконы есть иконы, даже если они написаны такими своеобразными художниками, как Иван Рудкович или Иов Кондзелевич. Но как быть в таком случае с Андреем Рублевым, с Феофаном Греком, с Дионисием, с многовековой историей живописи, с Рафаэлевыми мадоннами?

Смешно, казалось бы, говорить об этом всерьез — а приходится. Недомолвками тут не обойдешься.

Атеистическая пропаганда, как и любая другая, не может быть основана на недоверии к разуму. На деревенском кладбище в Бутученах я видел полдюжину старинных придорожных крестов; выразительные, как только могут быть выразительны так называемые примитивы, наивные творения безвестных резчиков свезены были со всей ближней округи (спасибо, что не уничтожены). Теперь вдоль тамошних дорог стоят бетонные

олени, медведи с медвежатами из разряда массовой продукции Художественного фонда. Не знаю, возросло ли от этой замены число неверующих.

Когда в селе Тухолька Львовской области бабы поколотили председателя сельсовета за то, что изрубил и сжег «начинку» бездействующей церкви — алтарную резьбу, живопись, — тут, наверное, сказала не одна лишь оскорбленная религиозность. Тут были оскорблены и другие чувства. Естественные чувства уважения к труду и умению, к человеческой памяти.

Чем склад сахара или квашеной капусты, пусть уж лучше музей атеизма с непрежненным «маятником Фуко» и поучительными витринами-стендами; но сражение за человеческие души трудно выиграть на таком узком плацдарме. Мне кажется, атеистическая пропаганда как обособленная, ведомственная, что ли, отрасль деятельности вообще лишена смысла.

Как-то мы с главным архитектором Львовских научно-реставрационных мастерских Иваном Романовичем Могитичем отправились поглядеть на деревянную церковь восемнадцатого столетия, привезенную когда-то из села Кривки и поставленную на северо-восточной окраине города, на краю лесопарка, в качестве образца «бойкивского» стиля. Теперь в лесопарке намерены (если отпустят средства) устроить «скансен» — музей на открытом воздухе с образцами народного зодчества Львовщины — хатами, церквями, мельницами, клунями, заезжим двором, с предметами быта, прикладного искусства — словом, такой, какие существуют у нас в Прибалтике, на Кижях (а существовал одно время и в селе Коломенском, пока не заглох от небрежения).

Деревянная церковь из Кривки, серебриющаяся на старости чешуйчатым тесом, внятно говорит об истоках стиля: ее стройный, уступчатый очерк тотчас напоминает характерную стройность «смереки» — карпатской ели.

В отличие от северо-русских деревянных церквей с подвесными дощатыми потолками («небо») на Украине оставляли внутреннее пространство открытым (тут, наверное, сказались климатические различия). Смелость конструкции, таким образом, предстает наглядно. Еще одна особенность — живопись; тут писали прямо по внутренней обшивке, по доскам, и здешние старые росписи, прозрачно-смуглые, с просвечивающими прожилками древесной структуры, необыкновенно красивы (и, замечу в скобках, малоизвестны).

Не знаю, была ли расписана Кривчицкая церковь; при переносе сменили внутреннюю обшивку, и хотя это было давно, внутри сохранилась восковая желтизна и запах смолистой стружки, всегда казавшийся мне самым приятным из всех земных запахов.

Пока мы с Иваном Романовичем поднимались на звонницу, внутрь вошли любопытства ради трое парней спортивного вида. Задрав головы, они поглядели вверх, походили молча вдоль стен, заглянули в алтарную часть. Затем один деловито сплюнул и проговорил:

— Вот стадион тут построим — мировая раздевалочка будет, верно?

Пока, за отсутствием стадиона, ребята гоняли мяч на вытопанной лужайке неподалеку. Ворота у них были обозначены сброшенными наземь пиджаками.

13

Тут я вспомнил другие ворота — из могильных каменных плит на краю старого Лукьяновского кладбища в Киеве, где спортивного вида парни с мотоциклетного завода вот так же гоняли мяч под хрипловатые судейские свистки.

За кладбищем загибался дугой длинный овраг, по-украински — яр, обрывистая расселина, глубокий шрам на теле земли, из тех, что сами по себе не сглаживаются, не заживают. Теперь его «замывали» — закачивали пульпой, смесью воды с песком из Днепра; здесь было предназначено вырасти новому жилому массиву.

Сентябри в Киеве стоят иной раз такие, когда, кажется, не может стрястись ничего дурного. Такой день и синел над золотом кленов и тополей, над бледно-желтой изломистой крутизной оврага, где внизу недвижно зеленела мутноватая вода.

Замыть столь глубокую расселину — дело нескорое; в длинном озере, видно, успела завестись рыба, а где рыба — там и рыбаки. Они терпеливо сидели с удочками внизу на глинистых выступках. А наверху, на крошке, стояли другие; с первого взгляда

можно было подумать, что пришли они посмотреть, клюет ли. Постоят, поглядят молча, уйдут, подойдут новые. Но время от времени вдруг слышалось проглоченное рыдание, какую-нибудь женщину в черном платке уводили под руки, и снова делалось тихо до следующего вскрика.

Голенастая девочка в коротком платьице, лет одиннадцати — двенадцати с виду, появилась тут, когда я собрался уже уходить. Какие-то были у нее свои дела, свои мысли: может быть, она радовалась, что рано кончился школьный день и можно без особых забот попрыгать на одной ноге, поджав другую и время от времени оглядываясь, бежит ли вслед кудлатая собачонка.

— Альма, Альма! — позвала она, когда та замешкалась у какого-то кустика.

— Послушай, — спросил я, — ты не знаешь, о чем здесь люди плачут?

Девочка поглядела на меня недоуменно, затем на стоящих у кромки оврага, пожала плечами.

— Не знаю. Постреляли тут кого-то в войну...

Закинув пшеничные косицы за спину, она поскакала дальше, собачонка за ней. Со стороны Сырца донесся дискантовый свисток, пыхтенье, перестук вагонных колес. Там, за желтеющей под солнцем листвой, за последним отрогом Бабьего яра, на детской железной дороге учили пионеров нести путевую и станционную службу, водить поезда.

14

Может быть, все и начинается с заброшенного, оскверненного кладбища, с позабытой могилы?

В Чернигове архитектор А. А. Карнобед показал мне копию посланного в одну из московских газет письма под выразительным заголовком «Кошунство». Там речь идет о проекте новой улицы в районе урочища Рашевщина, трасса которой намечена, как сказано в письме, «по братским могилам советских граждан, замученных и расстрелянных в 1941—1943 гг. фашистами, хотя этого легко можно было бы избежать, сместив трассу улицы-дороги с глубоких, заросших ценными деревьями оврагов и братских могил».

Письмо это было не первой попыткой исправить ошибку. В статье «Зодчий и природа» (газета «Радянська Україна», 23 ноября 1965 года) говорилось уже о необходимости скорректировать проект Ново-Громадской улицы (в переводе на русский это значит Ново-Гражданская). Требование было выдвинуто и поддержано на собрании архитекторов Чернигова. О результате свидетельствуют заключительные слова письма: «Странно, но факт — кошунство над ландшафтом и братскими могилами в урочище Рашевщина продолжается. Доколе?»

Андрей Антонович Карнобед, тридцатисемилетний архитектор, человек с доброй улыбкой и прозрачно светлыми глазами, во взгляде которых странно соединились доверчивость с настороженностью, показался мне фигурой чрезвычайно характерной и любопытной. Поговорив с ним раз-другой, проведя вечер в его тесной комнатенке, сплошь и беспорядочно заваленной книгами, фотографиями, набросками, свертками чертежей и прсч., я подумал, что не зря-таки в его фамилии сошлись кара с бедой; благополучной жизни ему, наверное, не видать. Во всяком случае пока он еще ее не видел.

— Ах, Карнобед, как же, как же... — слышал я не раз впоследствии и в Чернигове и в Киеве, — да, конечно, знающий, образованный архитектор, ничего не скажешь, но... Понимаете ли, хлебом его не корми, дай только покритиковать...

Пожалуй, зряшным делом было бы искать человека, искренне обрадованного критикой в свой адрес. Но какая картина откроется перед исследователем-художником или социологом, когда он обратит взгляд за кулисы скрытой борьбы с критикующими! Долгий опыт выработал тут свою стратегию и тактику, свои испытанные присмы, ей-богу же, достойные изучения.

Приемы, примененные против А. А. Карнобеда, поначалу не выходили за рамки стандарта. Раз-другой бросить тень на собраниях, предложить уйти с работы «по собственному желанию» — все это должно звучать, как гуманное предостережение. Ну,

а что, если человек продолжает свое: пишет письма, публикует в газетах статьи — словом, путается под ногами?

Вот новинка — «черниговский вариант»: А. А. Карнобед спроектировал студенческое общежитие и решил оживить здание наружными рельефами, выложенными в кладку из обычного и лекального кирпича (прием, замечу, имеющий давнюю традицию в украинском и русском зодчестве). И вот — чрезвычайное происшествие: некто усмотрел в рельефе орнаментального фриза повторяющуюся букву «А»...

Спешу рассеять недоумение читателя: тут было усмотрено не что иное, как попытка увековечить себя, возвысить свое «я» (виноват, «А») чуть ли не над народом.

Погодите, однако, смеяться: вскоре А. А. Карнобеду пришлось сменить место работы.

Следующий шаг «тайной войны»: неудобного человека отчислили из заочной аспирантуры в Киеве. Руководитель института, сообщая об этом, счел возможным пояснить в разговоре с глазу на глаз: «Там, знаете, мнение о вас сложилось, с руководством ссоритесь...»

Как развернется дело дальше, сказать трудно: 17 апреля с. г. в «Строительной газете» появилась статья «Разочарованная Десна», где резко (и, на мой взгляд, убедительно) критикуются черниговские руководители за решение построить крупный завод силикатного кирпича в зоне отдыха, в живописнейшем уголке над рекой-красавицей, рядом с пляжем, прибрежными рощами и пионерскими лагерями. Под статьей три подписи: А. Карнобед, А. Зря, Ю. Полонский.

— Нет, не работать ему в Чернигове...— сказал, прочитав статью, один из тамошних моих собеседников.

15

Тема несостоявшейся аспирантуры А. А. Карнобеда — «Некоторые особенности реконструкции исторических городов», то есть, говоря проще, проблемы сосуществования нового и древнего. Контуры темы очерчены в статье «Застройка Чернигова и памятники архитектуры» («Деснянская правда», 14 января 1958 года). От этой даты можно бы повести отсчет неприятностей: в статье содержалось несколько критических замечаний, в частности по поводу планировки и застройки улицы Трудовой.

Улица эта (теперь имени Героя Советского Союза Сережника) справедливо названа в статье экскурсионной аллеей; она как бы связывает архитектурный комплекс черниговского детинца-кремля с редчайшим образцом зодчества Древней Руси, посадской Пятницкой церковью.

Сухие слова, быть может, мало скажут читателю — древние памятники Чернигова надо увидеть. Сколько ни читал я ученых книг и статей, сколько ни пересмотрел фотоиллюстраций, как ни был подготовлен, вид черниговских соборов и монастырей над весенним разливом поразил меня едва ли не больше, чем все виденное прежде, — может быть, особенным чувством истока, первоосновы.

Кажется, не сыщешь другого места, где так явственно обозначилось родство культур, их первоначальное единство, где так дружески соседствовало бы зодчество Древней Руси и Украины, где так наглядны были бы взаимовлияния. В современном мире, где многие все еще предпочитают перегородки единству, такие примеры звучат особенно выразительно.

Пятница на торгу звучит в этом аккорде особой нотой. Тут была сделана первая попытка преодолеть византийскую крестово-купольную систему (а вместе с тем, быть может, впервые сказалось неосознанное стремление освободиться от нравственных оков византизма). Сложенная из кирпича-плинфы на цемяночном растворе, — стремительный взлет вертикалей, через всплески полукруглых ступенчатых закомар, к последнему всплеску округлой главы над прорезью узких высоких окон подкупольного барабана, — красно-розовая церковь-башня поднялась далекой предвзвешенницей таких строений, как храм Вознесения в Коломенском. Она осталась последним свидетельством подъема, оборванного нашествием и неволей.

При восстановлении в семнадцатом веке (и в последующих перестройках) Пятница

на торгу, как и другие сооружения Древней Руси, утратила первоначальные формы, — они были скрыты под круто изогнутыми фронтонами, под новой системой кровли, под грушевидными главками украинского барокко. В годы Отечественной войны церковь была разрушена прямым попаданием авиабомбы. Вскоре после освобождения Чернигова сюда приехал из Москвы ученый-археолог и реставратор П. Д. Барановский. Его настойчивости, его долготелней самоотверженности мы и обязаны возрождением Пятницы в ее древнем виде.

А. А. Карнобед показал мне свой узкоплечный фильм о памятниках Чернигова, там есть несколько уникальных кадров, касающихся восстановления Пятницы. «Вон, видите, Барановский», — сказал Карнобед, указывая на худощавого человека в кепке, отличавшегося от рабочих-реставраторов разве что возрастом.

О П. Д. Барановском в Чернигове рассказывают как о чуде, отказавшемся жить в гостинице, — он жил в колокольне восемнадцатого столетия, предпочитая всем блюдам тюльку с халвой и превращая постепенно свое жилье в музей восстановления Пятницы.

Дальнейшая судьба колокольни и собранной Барановским коллекции — разговор особый. А пока несколько слов о возрожденной Пятнице.

Наверное, в любом, даже самом тщательном, восстановлении неизбежен урон — некоторый привкус повторности, что ли. Однако при всем том восстановленная на основе изучения обнажившихся в руинах древних частей здания, Пятница остается единственным в своем роде памятником.

Понимая значение этого сооружения в общем строе черниговских древностей, Карнобед задолго еще до окончания восстановительных работ напоминал о необходимости соблюсти наиболее выгодные масштабно-пространственные соотношения при застройке улицы-аллеи между кремлем и Пятницей.

Чтобы сделать это, требовалось лишь одно — прислушаться, отступить от непродуманного решения. Но есть ведь неписаное правило, отождествляющее авторитет с незыблемой твердостью...

Улицу Трудовую, тогда еще не построенную, отказались расширить и скорректировать ее перспективу по оси Пятницы, как того требовали интересы дела. А для строптивого Карнобеда началось время кар и бед.

16

Киевский архитектор Николай Вячеславович Холостенко, знаток зодчества Древней Руси, участник восстановления Пятницы, рассказывал о реставрации другого черниговского памятника — Борисоглебского собора.

Сооруженный в 1123 году как усыпальница черниговских князей, собор понатерпелся за восемь столетий: в тринадцатом веке его разграбили ордынцы, в семнадцатом он горел в большом черниговском пожаре, затем был передан доминиканскому монастырю... Во время Отечественной войны собор жестоко пострадал от бомбежек.

При подготовке к восстановлению (1947—1948 годы) тут были найдены под слоем земли древнейшие образцы белокаменной резьбы (капители, угловые камни) — очевидное свидетельство происхождения жизнелюбивых владимиро-суздальских рельефов. В дальнейших поисках внутри собора была обнаружена часть первоначального шиферного пола, а ниже уровня пола раскрыт терем десятого—одиннадцатого столетия; находка исключительная, если вспомнить, как мало найдено образцов тогдашнего жилья.

У Николая Вячеславовича дрожали руки, когда он говорил о складе сахара, который был устроен в восстановленном Борисоглебском соборе. (Какое однообразие, не правда ли? Снова сахар!) Пятипудовые мешки сбрасывались с плеча на шиферный пол двенадцатого века, каждая плитка которого была сто раз ошупана, оглажена, обдута от пыли времен.

Теперь, правда, сахара в Борисоглебском соборе нет; тут хранится подсобное имущество черниговского парка культуры и отдыха.

Слово «культура» звучит своеобразно перед лицом сваленных под сводами собора отслуживших плакатов, бочек, обломков парковых «аттракционов», качелей-лодочек, катальных горок. Подойдя к раскопанному терему десятого века, я увидел торчащие из

захлавленной ямы колья, доски, порожние ящики, обрывки веревок и размалеванных тряпок.

Снаружи Борисоглебский собор светится белизной, так идущей к строгой чистоте его форм; к стене привинчена охранный доска; в узких окнах почти все стекла выбиты. Рядом, на Спасо-Преображенском соборе (старший брат Софии Киевской!), двое маляров красят зеленью шатры угловых круглых башен. Внутри свалены ржавые «финские» сани и еще кое-какой скраб; где-то тут сохранился фрагмент росписи одиннадцатого века — самый ранний образец фрескового письма Древней Руси.

В сущности, черниговский детинец с его памятниками семи столетий в течение долгого времени использовался как хоздвор городского парка культуры и отдыха.

Принадлежащую этому учреждению зеленую территорию на холме над Стрижнем тут привыкли называть по-старинному: «Вал». Название пошло от крепостных укреплений, окружавших когда-то детинец. По юго-западной кромке холма длинной цепью расставлены пушки послепетровских времен.

Черниговцы издавна любят гулять «на Валу»; по вечерам тут полно народу — прохаживаются в аллеях, сидят на скамьях, едят мороженое, пьют пиво в дощатом павильоне на южной оконечности над обрывом, откуда открывается вид на Стрижень и неоглядный разлив Десны.

17

Как легко, выйдя сюда, забыть под звуки транзисторов и смех молодежи о белеющих за стволами деревьев соборах, о старинном «Коллегиуме», где разместились теперь какие-то сельхозучреждения. Как легко избавиться от навязчивых мыслей о чудаках-реставраторах, древних фресках, об архитекторе Карнобеле с его бедами и заботами!

Настырные музейщики отвоевали в стоящем на Валу здании (памятник гражданского зодчества семнадцатого века) две комнаты под экспозицию живописи. Но тот, кто ведал в пределах города вопросами культуры, воздал должное упорству музейщиков, пришел на открытие, экспозицию осмотрел. Попутно предложил устроить в свдчатом подвале пивную. Обескураженные музейщики так и не поняли, в шутку было сказано или всерьез.

Черниговская картинная галерея была разрушена немецкой бомбой в 1941 году. Много холстов погибло. Оставшиеся — числом около ста — томилась после войны в каком-то запаснике. За двадцатилетие город вырос вдвое. Построены крупные предприятия. Полно молодежи. Можно, оказывается, расти и без картинной галереи, ничего страшного.

Другой здешний музей, историко-краеведческий, ютится на окраине в двух обветшалых строениях, дореволюционных загородных дачах. Вот несколько отрывков из «книги впечатлений»:

«...вопиющая нехватка места», «тесно...», «низкие потолки...», «арктический холод...», «угар...», «Неужели городские власти бессильны сделать что-либо?..» «Черниговские градоправители не уважают историю своего города...», «Такое положение позорно...», «Нельзя ли было отремонтировать для музея хоть один из древних соборов?..» «А. С. Пушкин (ему вчера открыли памятник в Киеве от украинского народа) писал: «Только невежество не уважает прошлого». Посочувствуем по этому поводу некоторым черниговским руководителям...»

Запись датирована 7 июня 1962 года. В это время один из черниговских руководителей строил рядом с музеем стадион. Он страстно любил футбол и не боялся строить на свой страх и риск без ассигнований свыше, за что ему было строго указано. Но дело сделано, и теперь новые руководители, приезжая на очередной матч, оставляют свои машины вблизи домика, где в убогие запасники втиснуто огромное количество старинных тканей, серебряной утвари, 12 тысяч украинских народных вышивок (коллекция, получившая в 1904 году Большую золотую медаль на Парижской всемирной выставке и с тех пор никому не показываемая).

За отсутствием экспозиционной площади черниговцы вынуждены держать в Кисском институте археологии научно обработанные коллекции из стоянки Пушкарки (эпоха позднего палеолита, раскопано П. Борисковским), из Мизинской стоянки (уникаль-

ные раскопки И. Шовкопляса). Увезены из Чернигова раскопанные тут Б. Рыбаковым сокровища времен Древней Руси, в их числе редкостный мозаичный пол из Благовещенского собора. Нет возможности экспонировать коллекции периода освободительной борьбы Украины и воссоединения. Короче, из 130 тысяч музейных экспонатов показывают меньше одной двадцатой.

Но вот, оказывается, город жив-здоров и без всего этого. Люди ходят на работу, читают газеты, смотрят телепередачи, бывают в кино, и по вечерам на Валу бормочут в аллеях транзисторы, и молодежь топчется вволю на огороженной танцплощадке, построенной впритык к Екатерининской церкви (один из первейших пятикупольных образцов на Украине), где за ржавой запертой дверью тоже свалено чье-то пыльное барахлишко — кажется, городского театра.

Напрасно А. А. Карнобед с товарищами трудился в 1961 году над проектом благоустройства территории Вала, напрасно предлагал убрать отсюда «аттракционы», перенести их в нижний парк. Напрасно убеждал, что архитектурно-художественный комплекс черниговского кремля, в сочетании с парком и сохранившимися здесь гражданскими строениями, с прозябающими в запасниках коллекциями, дает возможность создать один из интереснейших в стране культурно-исторических заповедников. На такие проекты и сегодня, пожалуй, посмотрят, как на докучливую маниловщину. «Проживем пока и без этого, есть дела поважнее», — что скажешь в ответ на такое?

18

Я хотел бы сказать, что захламленный древний терем, ядовито дымящий завод вблизи пионерского лагеря и улица, проложенная поверх братских могил, кажутся мне явлениями одного ряда. И что нельзя называть такую улицу Ново-Гражданской, если действительно думаешь о новых гражданах.

Я хотел бы сказать, что понимаю А. А. Карнобеда и перестаю понимать Г. Н. Логвина, когда он пишет в недавно вышедшей книге («Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль». «Искусство». М. 1965), что знаменитая Черная Могила и сейчас оставляет неизгладимое впечатление мощью и простотой силуэта. Да, верно, этот могильный курган десятого века, о котором вы можете прочесть в любом вышедшем у нас (да и не только у нас) учебнике, которому посвящены страницы в любом курсе истории искусств, оставляет теперь неизгладимое впечатление, — но не мощью и простотой силуэта, а чудовищным небрежением. Он возвышается во дворе молодежного общежития строителей и зажат с одной стороны железобетонной танцплощадкой стройтреста, а с другой — врезавшимся в тело кургана забором и дощатой уборной «на два очка».

Археолог Д. Я. Самоквасов (он раскопал когда-то в Черной Могиле сокровища, составляющие теперь гордость наших музеев) поставил в 1873 году на свой счет памятный обелиск на вершине кургана. Выбитое в граните лицо древнего предка глядит с печальным удивлением на стриженных под машинку, до пояса голых парней из стройучилища, загорающих под майским солнцем на вытоптанной траве, усеянной окурками.

Напрасно было бы обращаться к этим ребятам с нравоучениями; они ведь сами строили тут свою танцплощадку и наверняка знают, что врезавшийся в тело Черной Могилы забор с уборной принадлежит областному суду. По другую сторону забора в судейском дворе покуривают в перерывах между заседаниями юристы.

Статья 207-я Уголовно-процессуального кодекса УССР грозит тремя годами заключения (или исправительно-трудовыми работами, или же штрафом) «за умышленное уничтожение или повреждение памятников культуры или природных объектов, находящихся под государственной охраной». Я не знаю ни единого случая применения этой статьи на деле; но знаю, как была снесена в Чернигове колокольня Пятницы (та самая, где жил Барановский и где находилась собранная им коллекция).

Это было сделано вопреки многим протестам и отсутствию должного разрешения в сентябре 1962 года, тотчас после отъезда зарубежной делегации искусствоведов (только этим и задерживалось осуществление задуманного). Сделано среди бела дня, силами заключенных, отбывавших исправительно-трудовые работы за хулиганство и другие провинности. Сделано по настоянию (нет, приказанию) председателя горисполкома.

Колокольня значилась в списке охраняемых памятников культуры по Черниговской области под № 5. Стало быть, налицо преступление. Каково же было наказание? Сняли с работы инспектора по охране памятников культуры Призанта. А председатель горисполкома т. Дусь вскоре был избран в Чернигове секретарем горкома.

Теперь Пятница стоит сиротливо в центре города посреди зеленого газона, не позволяющего подойти к ней поближе. Правда, в глади травы протоптана любопытствующими «народная тропа»; она обрывается у запертой двери. Внутри здания прозябают заляпанные цементом леса, под ними — строительный мусор.

Возвращаясь по тропе мимо кустов можжевельника, посаженных на месте исчезнувшего кургана-могильника, где похоронены были защитники города времен Батыевой осады 1239 года. В декабре 1959 года, когда заканчивалось восстановление Пятницы, все тот же наскучивший Карнобед обратился «в инстанции» с письмом, где предлагал поставить на кургане памятный камень с отрывком из Ипатьевской летописи, рассказывающим о лютом бое у Чернигова. Ответом было решение снести прочь курган.

Мертвым, как известно, не больно. Но когда бульдозер крошит давным-давно истлевшие кости, наносится неизмеримый ущерб живым.

Несколько времени назад я прочел в «Известиях» статью В. Сиснева «Беречь красоту», там автор снова напоминает о первом декрете Совета Народных Комиссаров. об отношении В. И. Ленина к памятникам культуры, справедливо говорит о сегодняшних недостатках в деле их охраны. Название статьи заставило меня задуматься: что же, собственно, мы бережем? Вернее, что обязаны беречь? Седые старые камни? Или нечто еще сверх того?

Понятие красоты не раз менялось в сознании человека, в определениях эстетиков и философов. Для меня самым простым и неизменным остается сжатое до прозрачной ясности определение Аврелия Августина (хоть он и не принадлежал к мыслителям-материалистам): «Красота — это сверканье истины».

Беречь истину, охранять правду — вот мысль, с которой яснее думается об охране памятников культуры как о деле, касающемся всех и каждого — от высокого руководителя до рабочего паренька, наслаждающегося майским солнцем на замусоренном могильном кургане.

19

С этой мыслью перелистываю снова книгу Г. Н. Логвина, отлично изданную на мелованной гляцевитой бумаге, в изящном переплете, с четкими фотоиллюстрациями, где памятники Чернигова, Новгорода-Северского, Глухова и Путивля выглядят так, как им должно бы выглядеть. Понимаю благородное предназначение таких изданий, но не могу понять, что должен думать читатель, сопоставляя книгу с действительностью.

Г. Логвин приглашает читателя подняться к кургану Гульбище в Чернигове, откуда открывается прелестный вид на Болдины горы, поросшие березовой рощей. Там над заречными просторами покоится под старым дубом прах писателя Михаила Коцюбинского, а внизу под горой, как пишет автор, «приютился у входа в древние пещеры небольшой Ильинский храмик, возведенный в конце XII — начале XIII веков... Памятник почти полностью сохранился... Поставленный на небольшой площадке под откосом горы, храм Ильи производит яркое впечатление и вместе с пейзажем с раскидистыми дубами создает прелестный уютный уголок».

Последовав приглашению, я спустился от могилы Коцюбинского вниз к уютному уголку. Здесь мы условились встретиться с новым, недавно назначенным инспектором по охране памятников Гришей Мищенко, симпатичным молодым человеком, не расстающимся со своим мотоциклом. Он должен был привезти из горисполкома ключ и теперь стоял у входа в Ильинскую церковь обескураженный: ключ, оказывается, утерян.

Мы с огорчением подергали ржавый замок, обошли вокруг здания, посмотрели на охранную доску и собрались было удалиться, как откуда то снизу послышалось:

— На другую дверь!... На другую идите!..

Обернувшись на голос, мы увидели прихрамывающего человека — он поднимался со стороны белеющих между зеленью приречного склона домишек.

Ларчик, оказывается, открывался куда как просто: дверь бокового притвора была вовсе не заперта, и мы с Гришей Мищенко вошли внутрь. Навстречу нам что-то метнулось, затрещало множество крыльев, на какую-то долю секунды стало страшно, — но то были попросту голуби, здешние жители; они тотчас вылетели прочь сквозь пустые окна подкупольного барабана. Пахло птичьим пометом. Утерянное на лету сизое перо, кружась, улеглось на загаженный пол. Посреди нефа свисало из-под купола на длинной цепи позеленевшее паникадило с обломанными рожками.

«..Интерьер Ильинской церкви очень гармоничен, он не поражает размерами, но достаточно светел и хорош. В нем нет ничего такого, что подавляло бы человека...»

Пока я освежал в памяти строки из книги Г. Логвина, появился наш неизвестный доброжелатель в расстегнутой у ворота линялой клетчатой рубашке, сдвинутой на затылок темно-синей кепке, с приветливой улыбкой и множеством стальных зубов. Поступившая чуть торчащей из-под штанины окованной деревяшкой, он пробрался сквозь дыру в зелено-золотом барочном иконостасе и остановился рядом с нами.

— Вот что делается, — проговорил он, — и это называется культура...

Он рассказал о папанах, катающихся на паникадиле, как на качелях, и о завалившемся входе в расположенные рядом пещеры, где, судя по книге Логвина, «особенно удачны интерьеры двух восьмигранных в плане залов-храмиков; они миниатюрны по размерам и очень масштабны по отношению к человеку».

Нам так и не удалось посмотреть эти подземные творения, на которых, если верить автору, «лежит печать стиля эпохи украинского барокко». Но достаточно было и увиденного на поверхности.

— Ведь не только же хлебом... — проговорил на прощание наш озабоченный доброжелатель. — Неужели нельзя по-культурному сделать, чтобы человек мог зайти, иметь впечатление?

Он успел рассказать, что в Чернигов переехал недавно, что на Отечественную ушел из Киева еще совсем молодым, что в бога, конечно, не верил и не верит, но на такое свинство глаза бы лучше не глядели. Гриша Мищенко слушал молча, с выражением безвинно виноватого. Такое выражение я замечал на лицах у многих причастных к этому занятию — к охране памятников культуры.

20

Но испытывают ли чувство вины (или хотя бы неловкости) приезжавшие год назад в Чернигов художники? Их прислали из Киева, из редакции Украинской Советской Энциклопедии, сделать копии фресок в Успенском соборе Елецкого монастыря.

Лишь немногие фрагменты древних росписей уцелели тут после нашествий, войн, пожаров, — но тем больше их ценность. «Уцелевшим ликам из «Страшного суда» пока не удалось подыскать аналогий, — пишет Г. Н. Логвин, — настолько они самобытны».

Посланные художники скопировали фрески акварелью, уехали, энциклопедия обогатилась еще одной цветной репродукцией; осталось бы добавить, что в Успенском соборе выбиты окна, что в главном нефе устроен склад медикаментов, а в нартексе двенадцатого века с расчищенными кусками росписей и глубокими трещинами в коробовом своде облздравотдел держит железные бочки с соляжкой, списанные с учета канцелярские столы и стертые автопокрышки.

Оставим, однако, сличение книг с действительностью; мало что прибавится к общей картине, если я расскажу о трапезной Троицкого монастыря (первоклассный образец украинского барокко), где находится склад черниговского хозторга и пахнет, как на всех таких складах, олифой и рожжами. Или о колокольне Елецкого монастыря, где устроили было гараж и выкопали, как положено в гаражах, яму для удобства шиферов-ремонтников.

Пожалуй, единственное из поэтически описанных в книге Логвина монастырских строений Чернигова, содержащееся в приличии, это стоящий рядом с колокольней-гаражом «палатный корпус», где теперь находится контора научно-реставрационных мастерских.

Мастерские существуют на Украине давно — центральная в Киеве, межобластные филиалы — во Львове и в Чернигове (Киев, Львов и Чернигов причислены к историческим городам всесоюзного значения).

В архиве Госстроя УССР я видел десятки объемистых папок — плоды многолетнего труда научных сотрудников мастерских: зарисовки, обмеры, описания памятников зодчества. Начиная с 1949 года на Украине было обследовано более 2 тысяч объектов. Из них в 1956 году числилось под государственной охраной 1491 сооружение. К 1963 году количество охраняемых памятников сократилось до 864.

Поддержание этих памятников (ремонт, научная реставрация) — вот основная задача мастерских.

Я говорю «основная» — потому что в положении о мастерских есть маленькая подробность: они существуют на хозрасчете, имеют производственный план, и для выполнения его наделены правом принимать работы «со стороны», то есть не имеющие прямого отношения к памятникам культуры. Тут-то и начинается закавка.

Поговорите с администрацией мастерских, и вам убедительно объяснят, что это неизбежно: средств на ремонт и реставрацию отпускают немного, а план велик. Что же делать? Ведь надо загрузить рабочих, специалистов, к тому же загрузить равномерно, постоянно — и летом и зимой, когда реставрационные работы затруднены...

Вот некоторые показатели 1966 года: общий объем производственного плана мастерских по Украине — 2600 тысяч рублей, из них на реставрацию и ремонт памятников культуры всего 390 тысяч (190 тысяч из республиканского бюджета и 200 тысяч «спецсредств», то есть арендной платы от всяческих складов, баз и т. п.).

Во Львове я заглянул в итоги прошедшего года: план перевыполнен, получены премии. В графе «прочие» — такие клиенты, как мединститут, Укропбкакаля, Облснабсбыт и даже контора похоронного обслуживания. В черниговских мастерских среди прошлогодних заказчиков значатся: база Расжирмасло, общество «Спартак», контора пчеловодства, химико-механический техникум в Харькове, какое-то ЦКБ... Центральные научно-реставрационные мастерские строят в Киеве мебельную фабрику.

Не берусь винить ни администрацию, ни тем более работников мастерских: план в рублях есть план в рублях, его надо выполнять, и нигде не указано, каков именно должен быть процент посторонних работ. А уменьшить план — значит снизить и без того невысокие должностные ставки. Вот вам очередной заколдованный круг.

Перелистывая в архиве Госстроя содержимое бесчисленных папок-альбомов, я думал о многолетней самоотверженности младших научных сотрудников, добравшихся, как попало, до самых дальних карпатских селений, ночевавших неделями, где придется, влезавших без лесов или подмостей на самые высокие верхотуры, чтобы взглядеться, обмерить, зарисовать, описать. Тут надо быть энтузиастом, к тому же и бескорыстным: оклады специалистов научно-реставрационных мастерских, ох, как невысоки (существует четыре категории проектно-строительных организаций; мастерские отнесены к четвертой — «прочие» — наравне с ремонтными конторами, занимающимися побелкой или наклейкой обоев).

Рабочие-реставраторы должны работать по ремонтно-строительным нормам, на обычной сдельщине. Невероятно, но факт: скажем, надо деликатнейшим образом, с хирургической осторожностью удалить слой позднейшей штукатурки с поверхности древних фресок; прораб располагает строкой общестроительной нормы: «Обивка штукатурки — 8 коп. за кв. метр». Реставратор-каменщик, работающий на восстановлении утраченных частей восьмивекового сооружения, должен давать по норме пять кубов кладки в день, как на строительстве стандартного жилого дома.

Не мудрено, что и прорабы и рабочие охотнее берутся за постороннее: тут можно и темпы дать сверх нормы, и простоев поменьше, есть материалы и средства, да и требования другие — гони объем, и все тут.

Самый живой энтузиазм хиреет в неблагоприятных условиях. Многие из научных сотрудников мастерских ушли в другие проектные организации или институты. А пополнения что-то не видно; ни одно учебное заведение республики (ни высшее, ни среднее) не готовит специалистов по реставрации — ни архитекторов, ни художников, ни методистов, ни рабочих. Было ремесленное училище в Киеве — готовили альфрейщиков, рез-

чиков, живописцев,— было и нет: Госстрой перевел на обычный строительный профиль. Все тот же Госстрой, в чьем ведении находятся мастерские. Можно было бы сказать, что находятся на положении пасынка или нахлебника, если б не удобная возможность поручать реставраторам строить мебельную фабрику, административное здание или другой какой-нибудь срочный объект, на который нет под рукой подрядчика.

Вот и пойми, что тут основное, а что «прочее».

21

По дороге из Киева на Чернигов стоит на виду Козелецкий собор, строение Андрея Квасова, вошедшее в учебники истории русской архитектуры,— барокко, восемнадцатый век. Который уже год (девятый или десятый?), проезжая мимо, видишь строительные леса: тут ведут реставрацию черниговские мастерские, это их основной объект. Сперва ремонтировали купол; затем принялись за соборную колокольню. Дело движется потихоньку — в меру отпускаемых средств. Вот и в этом году надо «освоить» очередную порцию, тысяч около двадцати восьми; когда наконец исчезнут леса — сказать трудно. Покуда заканчивается колокольня, приходит в негодность соборный купол; окна в подкупольном барабане, как водится, выбиты, и находящийся внутри огромный резной иконостас (тоже вошел в учебники, редчайшее произведение искусства, готовился для Исаакиевского собора в Петербурге) сверху донизу загажен птичьим пометом.

Но что внутренность — тут дай бог наружность хоть как-нибудь привести в порядок, очень уж на виду стоит собор, у самой магистральной дороги.

Двадцать восемь тысяч рублей — сумма относительно немалая, если учесть, что составляет она едва ли не пятую часть всех средств, отпущенных из бюджета на все про все памятники зодчества Украины.

Сто девяносто тысяч рублей отпущено на год на 864 сооружения, из которых 125 находятся в угрожающем, катастрофическом состоянии. Эту последнюю цифру назвали мне в Госстрое, и я не уверен, соответствует ли она действительности; командировочные тут отмеряются скупой, да и могут ли два человека бывать всюду, охватить проверкой и наблюдением всю огромность республики? Смотрителей на местах практически нет. На всю Черниговскую область Госстроем даны четыре «единицы», да и то по полставки. Что возьмешь с какой-нибудь тетки, подрядившейся за двадцать целковых в месяц (именно такова половина ставки) присматривать в свободную минуту за Козелецким собором, или за дворцом в Батурине, или за древними строениями Новгорода-Северского? В крайнем случае она закричит «караул!» слабым голосом, увидев, как пацаны пуляют камнями в окна, или же, если грамотная, напишет в черниговскую контору, что еще кусок стены обрушился, а крыша еще более прохудилась. Описанный А. Солженицыным Захар-Калита покажется тут надежнейшим и образованнейшим хранителем.

Вот плоды ложно понимаемой экономии: 190 тысяч рублей можно, в сущности, считать выброшенными из бюджета на ветер; даже в сумме с двумястами тысяч «спецсредств» они не могут дать в масштабах республики сколько-нибудь реальный эффект. Это и есть распыление в прямом смысле, действительная растрата народных денег.

Никто не возьмется объяснить, почему именно 190 тысяч, а не 100 или 200,— тут нет не то чтобы научного, но и вообще никакого расчета, никакого обоснования. Просто вот так — отпущено, да и только. А затем разверстано между областями по нехитрому способу: «сорока-ворона кашку варила, деток кормила...»

Так и тянется дело годами — одно кое-как подлатают, другое валится, до третьего и вовсе руки не доходят. Так и получается, что из 864 состоящих под государственной охраной объектов лишь очень немногие содержатся в достойном виде. А такие жемчужины, как, скажем, Мгарский собор (Полтавская область, один из лучших памятников украинского барокко), или церковь шестнадцатого века в селе Сулимовка на Киевщине, или деревянная церковь в Подгорцах (Львовщина), год от года все больше разваливаются и мало чем отличаются от снятых с учета и не охраняемых — таких, как, например, казачья деревянная церковь в древнем Седневе на Черниговщине (почему ее сняли с охраны, никто растолковать не смог).

У директора Черниговских научно-реставрационных мастерских хранится в сейфе недавно принятое постановление областных организаций об улучшении дела охраны памятников культуры. Общие веяния коснулись и Чернигова; в тексте постановления все звучит как надо. Но стоило бы напомнить, что и в прежних постановлениях все звучало как надо и что сами научно-реставрационные мастерские существуют на основе постановления Совета Министров СССР № 3898 от 14 октября 1948 года, начинающегося словами: «Совет Министров СССР отмечает, что в деле охраны памятников культуры имеются серьезные недостатки».

За истекшие годы жизнь должна бы научить нас улавливать связь между силой слов и действительностью экономических и нравственных условий. Черниговское постановление принято 23 марта с. г., и уже после принятия тут разыгралась одна из нередких историй: вопреки закону и протестам общественности была снесена находящаяся под государственной охраной северная башня Троицкого монастыря.

Директор Черниговского исторического музея А. Филлин дал мне прочесть копию письма, с которым он обратился к заместителю Председателя Совета Министров УССР и председателю Госстроя,— там говорится о культурно-исторической ценности ансамбля, о недопустимости (и даже практической ненужности) сноса. И все же башню снесли. Слово «ансамбль», видно, все еще вызывает презрительную усмешку.

Такова нравственная атмосфера. Что до экономических условий, то вот цифры: чтобы привести в наружный хотя бы порядок памятники одного лишь Чернигова, требуется примерно 100—120 тысяч рублей. А отпущено из бюджета на всю область (включая Козелец) около 50 тысяч.

Но, кроме наружности, есть ведь еще и то, что принято называть «интерьером». Что же делать с отреставрированными наконец объектами? Забыть о неоконченном, замусоренном нутре, держать там неснятые заляпанные леса, как в Пятнице? Или сдать в аренду еще какой-нибудь базе, складу или торгу, чтобы пополнить «спецсредства»? Тут стороны экономическая и нравственная сплетаются окончательно.

Действующее положение об охране памятников культуры (приложение к упомянутому постановлению Совета Министров СССР) разделяет архитектурные памятники в отношении их использования на три группы (цитирую):

«...а) памятники архитектуры, не могущие быть использованными в практических целях (древние стены, триумфальные арки, монументы, художественные ограды, мосты, фонтаны, надгробные памятники и проч.);

б) памятники, могущие быть использованными, но исключительно под научные и музейно-показательные учреждения, с сохранением их художественно-исторического облика, обстановки и внутреннего убранства (музеи-дворцы, музеи-церкви, музеи-монастыри, музеи-крепости и т. д.);

в) памятники, могущие быть использованными в хозяйственных целях без ущерба для их сохранности и без нарушения их историко-художественной ценности путем предоставления этих памятников в пользование учреждений и организаций на началах аренды».

Толкование принадлежности памятников к той или иной категории оставлено местным органам; насколько оно бывает произвольно и как блюдет историко-художественная ценность, мы видели.

Чем использовать церковь-памятник под музей или выставочный зал, не проще ли сдать под склад? Хлопот меньше, да и безопаснее вроде бы. (Министерство культуры УССР давно запретило музеям принимать церковные помещения под экспозицию.)

Но только ли церкви да соборы, только ли музеи да выставки? В Батурине (Черниговщина) стоит на живописном раздолье дворец Разумовских, невезучее творение Камерона. Разумовские в нем почему-то не жили, классицистский дворец стоял десятилетиями пустой, словно замок с привидениями. В Отечественную войну он был разрушен, теперь восстановлен снаружи научно-реставрационными мастерскими. И вот уже четыре года снова ждет хоть какого ни есть хозяина; отличный был бы дом отдыха или санаторий! А хозяина все нет да нет, и дворец потихоньку вновь разрушается.

Республиканский совет по туризму днем с огнем ищет место в Чернигове для туристской базы — так вот же оно, Троицкий монастырь, над самой рекой, среди зелени, окруженный древними стенами, с двухэтажными жилыми корпусами, с красавицей трапезной, где в обеденном зале теперь пахнет хозторговской олифой и рогожами.

В Олесках на Львовщине я видел замок четырнадцатого столетия. Он стоит высоко над полями и перелесками; под холмом — кармелитский монастырь семнадцатого века, пруды — укромнейший уголок. Замок с башнями, с внутренним двором, с таинственными переходами восстановлен львовскими мастерами. Облсовет по туризму в 1965 году обратился в обком и облисполком: с просьбой передать олесковский комплекс под базу-гостиницу. В самом деле, найдешь ли более подходящее место — у автомагистрали (Львов — Москва), да еще с такой дозой красоты и романтики!

Областные организации решили, однако, иначе: устроить здесь училище механики. На твердость решения не повлияли никакие доводы — ни насчет роста туризма, удобства, красоты, ни тем более насчет ансамбля. И вот теперь те же реставрационные мастерские, что восстанавливали с научной осторожностью замок и монастырские строения, будут ломать, перестраивать, рядом поднимется стандартный учебный корпус, и вся красота с романтикой пойдет побоку.

В упомянутой выше статье В. Сиснева сказано, что, по примерным подсчетам специалистов, при использовании архитектурных памятников под музеи, гостиницы для туристов и т. д. квадратный метр полезной площади обойдется в два-три раза дешевле, чем при новом строительстве. Если прибавить возможные доходы от использования, то выгода делается еще очевиднее. Однако хотелось бы повторить: не в одной очевидной прибыли дело. Понятие использования памятников нуждается в уточнении.

Не знаю, как скоро окупилось бы в рублях приведение в порядок Шлиссельбургской крепости. Но помню чувство, с каким вошел два года назад сквозь крепостные ворота в заросший по развалинам дикой порослью двор, где над могилой Александра Ульянова доцветала яблонька, посаженная стариками политкаторжанами, а в окнах разрушенных корпусов поскрипывали на ветру полуоторванные решетки.

Забвение всегда печально — здесь оно было печальнее втрое. За Королевской башней над невской водой — гранитная плита с именами погибших в крепости народовольцев, рядом — остатки артиллерийской позиции 1941 года. С другой стороны, за истоком Невы, — рукой подать — девятьсот дней не остывали гитлеровские артбатареи, полно было немецких солдат, и не понимаешь, какой силой могла держаться в крепости горстка людей, чьи имена, чей подвиг ничем тут не отмечены, кроме как поросшими быльем развалинами и глубокими выбоинами в крепостных стенах.

Быть может, в наше время людям более чем когда-либо нужно чувство устойчивости, постоянности бытия. Чувство нераспадающейся связи времен. Вера в долговечную ценность человеческого труда и таланта.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

С. ШЕРВИНСКИЙ

★

В ГЕНУЕ, В РИМЕ

На первый взгляд у Генуи нет своего лица. Но для туриста первый взгляд — это и последний.

Если представить себе страну или город как круг, в центре которого бьется сердце народа, то туристическая поездка окажется лишь касательной. И все же осуждать туризм за мимолетность, пожалуй, не следует. Туристическое восприятие — это особый метод освоения.

В необходимости схватывать на лету есть своя прелесть, воспоминание выигрывает в яркости. Но о каком-либо познании туристу думать нечего. Тем более это относится к такой «насыщенной» стране, как Италия.

В Генуе не так легко ориентироваться среди улиц, улочек и переулков, бороздящих, а иногда и пронизывающих насквозь ее приморские холмы.

Генуя в основной своей части — город без уровня, если не считать уровня моря. Оно, впрочем, почти не участвует в городском пейзаже. Море так загромождено портовыми сооружениями, что его лишь угадываешь по дыханию влажного ветра. Порт был доступнее и свободнее, когда я впервые увидел Геную много лет назад.

Жители города, его транспорт и сам город как таковой вот уже два тысячелетия всходят и сходят по своему естественному амфитеатру. Утром из окон нашей гостиницы видно, как хозяйки с платками на плечах, с корзинками, груженными купленной на рынке рыбой и редиской, привычно взбираются вверх по чуть ли не вертикальной ступенчатой улочке.

В нашей гостинице есть тоже своя вертикальная жизнь: по пятиэтажной лестнице с самого утра грохочут здоровенные башмаки доброй полусотни коротко остриженных парнишек — это воспитанники духовной школы. Не успели одни прогреметь вниз, как другие уж топают вверх, а разгневанная горничная, то глядя вверх на их каблуки, то вниз на круглые черные головы, клянет их на всю лестничную клетку:

— O maledetti bambini! O maledetti!

А «maledetti bambini» веселы, толкают друг друга, скачут через ступеньки, смеются, но всё молча — на то дисциплина. При них два молодых священника в длинных черных одеяниях, с футбольным мячом под мышкой, с фотоаппаратом у пояса и с такими свежими, улыбающимися лицами, что, видно, пища духовная принимается не в ущерб телесной.

Они очень разговорчивы, оба молодых священника. Везут они свое незрелое стадо поклониться святой Марии Рапалльской — в то самое Рапалло, где заключен был известный «рапалльский договор». Везут издалека, из Неаполя, — благочестивая экскурсия парсходом, с недолгими мессами, с горячими футбольными таймами. Я уверен, что сами патеры отстаиваются спортивных венцов в качестве вратарей.

Незрелое стадо и его энергичные пастыри, однако, не единственные представители духовенства в нашем отеле. Чтобы попасть в ресторан, надо пройти через небольшой зал; здесь расположилась группа монахинь. У одной, весьма пожилой, на руках годо-

¹ O проклятые ребята! O проклятые! (Итал.)

валый младенец. Монахини тоже не скупы на разговор. Они знают, что мы из Советского Союза, но не чуждаются. Оказалось, что на руках у старухи девочка-подкидыш, которую сестры взяли на воспитание. Сами они из Алжира.

Неизвестно, что сделают в дальнейшем с маленькой арабкой ее христоролюбивые воспитательницы, но главное, с их точки зрения, совершенно: ислам потерпел урон.

А маленькая прозелитка пока что ест кашу, решительно безразличная к тому, откуда каша: из рук мадонны или из организации общественного питания; смею думать, что подобное безразличие свойственно всякому голодному человеку.

Гостиница наша — у самого вокзала, рядом с другой, фешенебельной, рассчитанной на американцев. Чуть наискось — небольшая площадь с аптекой и памятником Христофору Колумбу. Эта площадь и памятник хорошо знакомы каждому — кто же не читал «Сказок об Италии» Горького? Именно на этой площади генуэзцы в порыве подлинной пролетарской солидарности принимали детей своих бастующих товарищей из других городов.

Скучный памятник — изделие прошлого века — окружен вокзальной суматохой, и вряд ли кто, озабоченный чемоданами, плачущий в объятиях встречающих родственников, остановит хоть на миг свое внимание на стандартной фигуре того, кто перебрал европейскую культуру через все бури океана.

Сами итальянцы жалуются на небрежение к Колумбу господ генуэзцев. В Генуе нет даже специального посвященного ему музея. Правда, 12 октября ежегодно отмечается его память, но лишь в узком кругу Городского института имени Христофора Колумба. Институт давно перестал заниматься собственно Колумбом и, по выражению одного итальянского журналиста, «ограничивается присуждением премий русским скрипачам и американским космонавтам».

Да и был ли Колумб на самом деле генуэзцем?

Однако был или не был, а остатки дома, где он якобы родился, до сих пор показывают туристам. За ним на подъеме неровной, тесной площади маячат средневековые Верхние ворота (Porta Soprana). Их стрельчатая арка, выводящая на узенькую улицу, сжата двумя высоченными круглыми башнями. Руина домика сплошь завита плющом. Сохранились два окошка второго этажа и входная дверь. Над окошками — доска с надписью, поддерживаемая барочными кариатидками.

Но был ли Колумб вообще итальянцем?

Недавно было высказано мнение, что он испанский еврей.

Да и он ли открыл Америку?

Теперь выходит, что будто бы и не он, а скандинавские викинги. Они еще в начале XII века высаживались в Гренландии и на северных островах. Однако можно ли это считать открытием Америки?

Странный для Италии город — Генуя. Почти без музыки, почти без живописи.

В этом беспокойном городе не мог бы родиться Моцарт или Верди, но ему к лицу, что на одной из его недоверчиво искривленных улиц увидел свет Паганини.

Что же до живописи, то Геную прославил в XVIII веке — слишком поздно в общем развитии итальянского искусства — нервозно-эффектный, экзотический, с коричнево-оливковым колоритом Алессандро Маньяско, художник, лишь за последние десятилетия привлечший к себе внимание ценителей. Маньяско не одинок в своих живописных особенностях — другие генуэзские художники его времени тоже отражают беспокойную атмосферу своего города.

Русские писали о Риме, Флоренции, Венеции, Неаполе, но у нас никогда не было Генуи как темы. Герцен в одном из своих «писем из Франции и Италии» упоминает, что Генуя ему полюбилась, а Рим разочаровал. Но это характерное признание высказано лишь вскользь.

И русские поэты не посвящали Генуе стихов.

Но искусству Генуи все же есть чем гордиться: это ее дворцы.

Генуэзскую архитектуру не замечают, конечно, деловые люди, ни местные, ни приезжие. Дворцы Генуи меньше импонируют снаружи. Банкиры и аристократы расставили их по городу как ларцы: их драгоценности — внутри. Я имею в виду не художе-

ственные коллекции, я разумею внутренние дворы. Они с их вестибюлями и лестницами обычно открыты для обозрения. В них попадаешь с той восхитительной случайностью, какую часто дарит Италия путешественнику, не прикованному к путеводителю.

В первый же день приезда мы пошли по сравнительно широкой главной улице города, на углу которой наш отель, — по виа Бальби. Тотчас оказались в здании университета, построенном архитектором Бианко в XVI столетии, со знаменитым внутренним двором. Его спаренные колонны, его плавная лестница, украшенная лежащими львами, запечатлеваются в памяти как образцы свободы и стройности.

Университет был построен на средства знатных генуэзцев Бальби, давших имя и всей улице. На ней по другую сторону стоит и дворец Бальби с внутренним двором, не менее гармоничным.

В Генуе есть короткая, но почетная в истории города улица, носящая теперь имя Гарибальди. Сплошные стены дворцов, впритык друг к другу. Мы поднялись на улицу Гарибальди, когда уже стемнело. Массы дворцов сливались. Дошли до конца, повернули обратно, чуть в сторону — и вдруг остановились от неожиданности: за широкой застекленной дверью мы увидели мягко освещенную обширную крытую лоджию. Потолок ее сиял золотом и пестрел живописью. Мифологические фигуры и сцены с академическим удобством вмещались в охваченные тяжелым золотом миогоугольники и квадраты. Вдали по-праксителевски изгибалась в нише статуя обнаженного юного бога среди легкой декоративной живописи.

Мы приникли к стеклу, как ребята к витрине с игрушками. Тотчас отошли, но искушение заставило вернуться. Мы постучали.

Нам открыл средних лет привратник в пиджаке и без малейшей настороженности впустил вечерних посетителей.

— Что это за дворец?

Он назвал одну из древнейших фамилий Генуи:

— Палаццо Паллавичини, синьор.

— А какое в нем сейчас... учреждение?

— Здесь живут, синьор.

— Живут?.. Кто же?

— Маркизы Паллавичини, синьор.

Привратник провел нас в глубь лоджии, к мраморному юноше, и мы поднялись по одной из расходящихся в обе стороны лестниц. На площадке второго этажа желтели и алели по стенам мужские портреты во весь рост. Обтянутые ноги, короткие штаны с буфами, с прорезями в тяжелом атласе, окаменелые от крахмала воротники, бледные, бескровные лица типа испанских Габсбургов — все это изобличало XVII век.

— Это предки владельцев дворца. Простите, дальше нельзя — там жилые апартаменты.

Некоторые древнейшие фамилии Италии до сих пор сохранили внушительное имущество и не собираются сходить со сцены. Известно, что кинорежиссер Луккино Висконти — потомок Дезидерия, последнего короля лангобардов, и знаменитого Джан Галеаццо Висконти, основателя миланского собора.

С другой стороны, бывает, что в капиталистической Италии какое-нибудь семейство из самых знатнейших плачевно доживает свой век где-нибудь в забытом замке Сицилии или Калабрии. Старики вздыхают в своих пудовых креслах с продранной тисненой кожей, не знают, как сводить концы с концами. Счастливы, если при каком-нибудь еще уцелевшем европейском дворе вспомнят, что где-то в забросе успела расцвести поздняя геральдическая роза в лице наследницы всей этой знатности, всей этой бедности. Выдать ее замуж за еще не призрачного принца — значит освободиться от морального гнета опустевшей сумы.

Но много ли их осталось, не призрачных принцев?

Рассказывают, будто лишившийся трона последний король Египта ныне покойный Фарук сказал, что скоро в мире останется только пять королей: четыре карточных и английский (это было сказано еще при жизни Георга VI).

Генуэзское средневековье несколько раз успело мелькнуть у нас перед глазами,

хотя в этом городе, наполненном по край деловой жизнью, пленяющие художника старые кирпичи мало приметны.

Но вот мы проезжаем мимо замка Сан-Джорджо, иначе называемого палаццо дель Марэ,— здесь надо приостановиться. Суровые стрельчатые арки в нижнем этаже, необычно широкие готические окна на втором и третьем. Одна лишь сторона, обращенная к порту, перестроена и расписана в эпоху барокко.

Росписи почти погублены неустойчивой генуэзской погодой. она так же скачет вверх и вниз, как и сам город. Генуя, окруженная лучшими климатическими курортами,— город нездоровый, изобилующий легочными заболеваниями.

Замок Сан-Джорджо знаменит не красотой — у него совсем другие основания для славы. Еще в средние века весьма автономный в республике Дом святого Георгия содержал флот и протягивал щупальца далеко на Восток. Именно Дом святого Георгия вывозил на своих галеотто под парусами с алым крестом «варварскую» пшеницу из степей Украины и Крыма. Макиавелли предостерегал, что Каза Сан-Джорджо скоро поглотит всю Генуэзскую республику, но предсказание великого политика не успело сбыться.

Глядя на суровые стены палаццо дель Марэ, вспоминаешь генуэзские укрепления Феодосии, Судака, Балаклавы. Еще на моей памяти Феодосия носила приметные черты былой зависимости. Одна из главных улиц называлась Генуэзская. На другой, Итальянской, до самой мировой войны достоял дом с венецианско-генуэзскими арочками.

Дом святого Георгия меж тем перерождался; после утраты черноморских колоний торговые операции постепенно сменились чисто финансовыми. В 1586 году учреждение перестало называться Домом, а приняло название Банк святого Георгия. Это уже был настоящий банк в современном значении термина, с выполнением многообразных финансовых операций — эмиссионных, кредитных и других. Святому Георгию удалось опередить евангелиста Марка: банк Риальто в Венеции был учрежден годом позже.

О вековой борьбе Генуи и Венеции за обладание ближними морями и дальними рынками говорят не только архивы и книги: на стенах замка Сан-Джорджо до сих пор виднеется трофейный рельеф с крылатым венецианским львом.

Однако в 1875 году городское управление Генуи решило снести знаменитый замок Сан-Джорджо. Зачем, почему? Ради облегчения уличного движения — аргумент, увы, слишком нам знакомый. Против дикого постановления выступило министерство культуры. В общественную комиссию вошли поэт Кардуччи, композитор Бойто и ряд других видных людей Италии. Замок отстояли. Более того, на рубеже XX века палаццо дель Марэ был восстановлен в главной своей части с достойной тщательностью. К этому времени самый банк уже давно перестал существовать: его финансовое могущество было, как землетрясением, разрушено французской революцией и политикой Наполеона

Подъезжали мы и к другому свидетелю средних веков, к собору Сан-Лоренцо. У него на фасаде только одна башня; другая, парная, осталась в зародыше. Случай не редкий в готическом зодчестве, но к Генуе это по-своему идет — ведь она на своих холмах все время припадает на одну ногу.

Собор весь от основания до вершины исполосован горизонталями из белого мрамора и черного камня. Он полосат снаружи, полосат внутри — только алтарную часть перегрузило своей роскошью неуважительное к прошлому барокко.

Хоть Сиена и Флоренция тоже исполосованы пристрастием ранних итальянцев к разноцветному камню, но в Сан-Лоренцо прием кажется уж чересчур настойчивым.

Как раз когда мы подъезжали к portalу собора, туда направлялись в сопровождении старших юные первопричастницы. Белые кисейные наряды, белые вуали и митровые веночки на голове придают им вид невест. Быть невестами им еще рано, но никто уже не назовет их девочками. Личики сияют празднично, на каждом полуосознанность счастливых предчувствий.

Худошавая, полная достоинства женщина — видно, из тех, что населяют еще не благоустроенные окраинные районы города,— тоже ведет к первому причастию свою дочку. На девочке, ибо она кажется еще девочкой, линиялое платье, и сама она изжелта-бледная, болезненно-костлявая, очень может быть, что и злая в домашней обстановке, но и это некрасивое личико освещено радостью. Девочка горда шелковым

платочком, повязанным на голову. В вытянутой руке у нее один цветок, белая с голым стеблем калла. Но девочка несет свою каллу с таким торжественным видом, словно сейчас готова протянуть ее самому святому Лаврентию.

Современных сооружений Генуи мы видели мало, но они как будто и не очень достойны внимания. Генуэзцы кичатся своим новым (относительно) морским вокзалом, но в нем нет ничего привлекательного. XX век как будто вовсе не обогатил этот город сколько-нибудь значительными зданиями.

Как раз в день нашего приезда, совпавшего с одной из военных годовщин, вечером возле арки памяти убитых воинов на новой просторной площади состоялось нечто среднее между политической демонстрацией и народным гулянием. Народу собралось много, но разошлись скоро. Сама арка — во вкусе тридцатых годов века. В ее древнеримских формах сквозит та мания империалистического величия, которая при фашизме бросила итальянские полчища на Абиссинию.

У Генуи, как у всякого мирового порта, есть свое «дно». Для Генуи это улица Прэ. Древняя, узкая, со своим средневековым храмом, она протянулась параллельно набережной, носящей теперь имя революционного деятеля Грамши, и нашей улице Бальби. От нас на нижележащую Прэ можно спуститься по любой из улочек, которые, «как трещина — жилище змея», устремляются вниз, к порту. Улочки узки до удивления. Дома высокие, почти без окон.

Неприглядна она, эта улица первородного греха со своими весьма специфическими «забегаловками». С наступлением темноты улица Прэ становится колоритнее, но никому неохота оказаться побитым в чужой драке. Весьма вероятно, что среди здешних жертв социального несовершенства есть и Кабирии и Филумены, но внешнее впечатление от этих крепких молодых особ — что они просто уверенные в своей профессиональной квалификации, практичные, циничные существа. Они стоят поодиночке или по две-три около облупленных, как везде в Италии, домов и не нарушают благопристойности. Накрашены, но этим не удивишь. Курят, постукивают каблучками о каменную, выдавшую виды мостовую. Одеты без всякого вызова, только желтые от химикалий копны причесок больно уж вульгарны.

Много страшнее те, что сидят на скамьях и стульях возле стен. Вялые, грузные, грязные. Борются с толщиной смолду было невыгодно, учитывая голодный вкус моряка, а позже стало уже невозможно. Не исключено, что иные из них просто отдыхающие торговки.

Мы зашли на улице Прэ в кино. Шел фильм «Боккаччо» на темы нескольких новелл «Декамерона». В последнем эпизоде — Софи Лорен. Она великолепна в роли сицилийской крестьянки, обворожительно некрасивой, с огненным темпераментом, в обстановке сельской ярмарки. А публика ровно такая же, как и во всяком захудалом кино на захудалой улице: мальчишки-подростки, люди вообще без особых примет, две-три почтенные старушки. Жертв социального несовершенства не было вовсе — приближался вечерний час, а им, людям дела, видимо, некогда терять время на кино.

На улице Прэ, чуть подальше, — рыбный рынок. У него унылые темные крыши, на которые смотришь поневоле с террас Королевского дворца, бывшего палатцо Дураццо, — красно-желтое многоэтажное здание, возведенное заново в XVIII столетии, нависает своими боковыми крыльями и цветником над самым рынком. Веселый Королевский дворец с вельнодумством, достойным века пудренных париков, смотрит всеми своими многостекольными окнами на самую подозрительную улицу города. На самую ли?

Сравнительно с мюзик-холлами, кабаре, ночными клубами той же Генуи «страсти-мордасти» улицы Прэ воспринимаются как примитив, в одном ряду с моряцким ругательством или приятельской зуботычиной.

Многого, даже почти ничего не успевает увидеть в Генуе турист. Но одно впечатление его не минует: Кампо Санто.

Приехать в Геную и не побывать на Кампо Санто — то же самое, что быть в Париже и не видеть Эйфелевой башни. Вот уже сто лет как его посещает — непременно, неукоснительно — каждый, хотя бы ненароком заехавший в Геную.

Кампо Санто, или, точнее, кладбище Сеньяно, расположено повыше города, на послугоре. Мы подъехали сверху, с возвышения Риги, куда приезжих возят смотреть

«общий вид» Генуи. Он, кстати, маловыразителен. Море с большой высоты становится нейтральным, его голубизна теряет полноту цвета. Рельефы гор не лучше и не хуже множества других. На амфитеатр города интересней смотреть снизу. В то утро на Риги было неприветливо, дул сильный и холодный весенний ветер.

Тотчас за нами в главные ворота въехал продолговатый катафалк, черный, с черной короной наверху, влекомый лошадьми в черных пополах, сопровождаемый людьми в черных ливреях.

Из киосков справа и слева высунулись физиономии торговков с тем же интернациональным выражением сердобольно-жадного любопытства, как и у наших баб, глазеющих на похороны. А уж не этим ли увесистым синьорам, подрабатывающим у въезда в Кампо Санто продажей надгробных венков и лент, казалось бы, не привыкнуть к постоянно прибывающим кладбищенским «постояльцам».

Кладбище делится на два класса по имущественному признаку. Мраморные крытые галереи, где «захоронения» богатых, охватывают с трех сторон кладбищенское поле. Вне этих галерей в вечной зелени белеют склепы и капеллы.

На галереях — целая выставка беломраморных скульптур, одна другой пышнее; на поле — кресты и плиты, тоже беломраморные; чувствуется, что до знаменитых каррарских копей рукой подать.

Тому, кто привык уяснять явления социальные по образцам искусства, генуэзское Кампо Санто даст обильную пищу. Вот где она — настоящая ярмарка тщеславия. Вот где с бесстыдством выставляется напоказ суррогат чувства.

Если даже почтенный господин Драго искренне горюет о смерти жены, то его аффектированное горе становится просто ложью в антураже мраморного лицемерия.

Вот он стоит, господин Драго, во весь рост, в настоящий человеческий рост, в пиджаке. Обнаженная голова с седой шевелюрой — никто не усумнится, что беломраморная шевелюра седа, — прислонена к мрамору громадной вертикальной плиты. Лицо прикрыто рукой. В смысле подражания натуре изваяние безупречно. Да, господин Драго стоит, «как живой». Но в этом и весь цинизм. Многие, впрочем, еще будут умиляться, видя в образе господина Драго подсказ для выражения своей печали.

Но не думайте, что памятник Драго — худшее, что есть на Кампо Санто. Наоборот, это одно из наиболее прочувствованных, наиболее естественных его украшений.

Куда хуже вот эта мраморная семейка, обступившая умирающего господина Раджо. Заметьте, он еще не умер. Натурализм изображения таков, что кажется, будто господин Раджо даже тихонько посапывает. У его постели с красиво драпирующимся покрывалом — три женщины и двое мужчин. Один плохо вписался в композицию, — я готов спорить, что его по каким-то соображениям сначала не поместили вовсе, а потом приваляли дополнительно, как это делается на фотогруппах с опоздавшими.

На переднем плане стоит пожилая дама, видимо жена, и демонстративно отдает себя на волю божию. Она отвернулась от умирающего, а глазами как бы уже ищет его или местечка для него там, на небеси. Ее поддерживает высокий молодой мужчина, тщедушный, с усами на границе между Мопассаном и Прустом, с галстуком бабочкой. На лице его не написано ничего, кроме нетерпеливого желания, чтобы она перестала так демонстративно отдаваться на волю божию.

И это в стране, где создано столько гениальных «плачей» — правда, над телом Христа, а не господина Раджо.

Гробница Раджо обошлась без внучат. Но вот на одной из соседствующих — целый выводок мраморных детей в бантах, кружевных воротничках, тоже в оборках и оборочках, в высоких мраморных башмачках на мраморных пуговичках.

Наряду с группами словно из семейных альбомов по Кампо Санто в изобилии летают, порхают, присаживаются всякие банальные гении, ангелы и души, порою в виде хорошеньких танцовщиц, обвитых прозрачной тканью; тупо сидят босоногие старики, неумело держащие косы, — Сатурн, Время, Вечность.

Когда я еще юношей был в Генуе, однажды вечером на одной из окраинных улиц я увидел скромную католическую процессию. В несколько рядов шли молоденькие девушки в возрасте первопричастия, одетые ангелами. На головах золотые венцы, в руках толстые витые свечи, горевшие в голубеющем воздухе темно-желтым пламенем.

Пел хор. Пусть мишура. Но мне на всю жизнь запомнилась эта минута боттичеллевской красоты. А здесь, на Кампо Санто, под ангелов работают такие на редкость грубые, такие рыночные натурщицы.

А вот безносая Смерть вцепилась в молодую голую даму в расцвете пышных форм. Я заметил, что у голой дамы характерные черты лица, это, несомненно, портрет умершей.

Есть на Кампо Санто один монумент, мимо которого нельзя пройти, не остановившись с особым, притом противоречивым, чувством. Стоит он в одном из самых парадных мест кладбища, в угловой нише. Во весь свой небольшой рост из мрамора изваяна старушка. У нее короткое платье с бахромой на подоле, фартук, на плечах косынка. Нет сомнения, что это самая простая старушка, из самой гуши народной. Мало того, в своих сморщенных руках она держит ни более ни менее, как бублики.

Удивление только возрастает, когда вы узнаете историю этого памятника, а узнать ее вы можете тут же: на постаменте выгравированы стихи на народном диалекте — язык так отличается от литературного, что понимается не сразу. Однако основное усваивается.

Старушку звали Катарина (Каттаина) Камподонино. Она всю свою жизнь продавала плоские генуэзские корзинки, венники, бублики, торговала ими «в Аквасинта, и у Карбо, и у святого Киприана, так и состарилась у моря», как гласит надпись. И всю жизнь откладывала свои жалкие сольди, чтобы к старости — нет, не к старости, а к смерти! — накопить сумму, которая позволила бы ей, топтавшейся на самой низкой ступени социальной лестницы, выполнить единственную мечту жизни: купить место на знаменитом Кампо Санто и обеспечить себе мраморный памятник, чтобы «навсегда остаться живой».

Это ли не ренессансное великолепие?

Детское честолюбие простой души не перерастает ли в философское самоутверждение, в социальный протест?

С пышных галерей мы спустились на обычное, впрочем, достаточно буржуазное кладбище.

Здесь на одном из перекрестков — могила нашего советского солдата Полетаева, сражавшегося против германских фашистов в рядах итальянских партизан. В юбилейные дни здесь собираются, вспоминают о днях совместной героической борьбы. Возле этой так безусловно ухоженной могилы невольно думалось о тех бесчисленных и безымянных, которых ни родина, ни чужая признательность не могли почтить врезанной в мрамор эпитафией. Участие Полетаева в боевых действиях итальянских партизан — случай, счастливый только лишь для памяти о нем, погибшем, как миллионы других. Но его смерть — крепкое звено в дружбе итальянского и русского народов.

Отходя от могилы Полетаева, мы обратили внимание на странный беспорядок посреди этого образцового некрополя. Какие-то доски, залепленные подсохшей землей, какие-то бесформенные груды. Подошли.

Мы слышали и раньше, что кладбище Сеньяно платное: прах состоятельного человека имеет хотя бы юридическое право пользоваться комфортом, а за это надо платить. Увы, семейная память коротка. Отец и мать — это конкретно. Но дедушка и бабушка уже подернуты туманом. А прадед, прабабка? О них вспоминают только под ветвями крепко укоренившегося генеалогического дерева. На Кампо Санто договор на оплату могилы возобновляется через определенное число лет (кажется, десять). Заплатить за папашу и мамашу естественно. За бабушку и дедушку — трогательно. Но платить за прадеда и прабабку — это уже либо геройство, либо дармотратливость. И вот останки выкапывают и сваливают в общую могилу, а в освободившуюся «квартиру» погружается новый «постоялец».

Кладбище Сеньяно осталось в памяти как эстетический приговор итальянской буржуазии конца прошлого века и первой половины нашего. Но только ли эстетический?

Впечатления Кампо Санто лишь на следующее утро были смыты волнами моря — мы поехали на побережье, в Портофино. Эта поездка и была лирическим финалом нашего посещения Генуи «по касательной».

* * *

С Флоренцией я прощался из нашего окна на пятом этаже ничем не примечательной гостиницы. Но вид из-под приподнятого жалюзи запечатлелся навсегда, стал для меня как бы эмблемой, профилем Флоренции, ее удостоверенным личности.

Окно выходит во двор, замкнутый стенами домов. Посередине двора — огромная, высотой до пятых этажей, веерная пальма. Несколько пожухлых лопастей склонилось вдоль ствола, готовые отпасть. Молодые устремились напрямик навстречу апрельскому солнцу.

Глубоко под нами расставленные среди кустарников столики и стулья ожидают подновления перед бойким сезоном.

Из нашего окна видны лишь задние фасады с той единственной живописностью, какую создают солнце и жизнь. Между домами прорезаются кажущиеся черными щели проходов. Дома под различными углами примыкают друг к другу, и высота их различна. Маленькие квадратные беспорядочно расположенные балконы выводят на весенний воздух домашний быт. Там стирают белье, там развешивают брюки и майки. Где канистра, где пустая клетка, где велосипед между растениями в горшках и бочечках. По тоненькому столбику вьется роза.

Черепичные кровли итальянских городов были всегда пристрастием художников. Их декоративность особенно пленяет в Венеции, где они уставлены к тому же множеством труб с характерными расширениями, увековеченными еще кистью Якопо Беллини и Карпаччо. Но и здесь передо мною кровли разных наклонов и разного цвета, смотря по свежести черепиц, образуют непредвиденные сочетания, прелестью своей обаянные случая.

А вдали над кровлями поднимаются знакомые очертания.

Выше всех буро-черный купол Санта Мариа дель Фиорэ, создание Брунеллески. По этому куполу учился Микеланджело, на него оглядывались все архитекторы Европы. Вровень с ним Кампанилэ — колокольня, на целый век опередившая купол. Ее воздвиг еще средневековый Джотто, тот самый, чья живопись была предвестницей всей драматической выразительности европейского реализма. Издали не видно многоцветной — черно-белой, красной и зеленой — облицовки собора. Нельзя издали оценить и масштаб здания, хоть оно и царит над городом. Для этого надо оказаться у самых стен Санта Мариа и еще раз убедиться, что голова твоя не доходит и до верхнего уровня цоколя. Собор возвышается, как гора, вся разделанная мраморными прямоугольниками, полосами и углами.

Утром и вечером к нам доносится, проплывая над кровлями, могучий, низкий, хрипловатый голос колокола. Он гудит неспешно, с большими интервалами, — вероятно, это с колокольни Джотто.

Направо от собора с гордой феодальной стройностью выпрямился дозорный страж Флоренции — башня палаццо Веккио, а ближе ко мне два невысоких, тоже черепичных купола напоминают о том, что я живу в соседстве с величайшими творениями человеческого гения: это Сан-Лоренцо — церковь, построенная Брунеллески, и примыкающая к ней капелла Медичи.

Там из века в век спит «Ночь» Микеланджело. О ней особенно думается в ночные часы, когда из капеллы уже извержены толпы туристов, превращающие даже это святилище в проходной двор. Ночью, когда в капелле Медичи тишина, мраморы Микеланджело оживают для своей настоящей жизни, той жизни, которая доступна лишь неторопливому созерцанию, которая когда-то вдохновила Листа на одно из лучших его созданий...

Однако я собирался писать о моих римских впечатлениях, а сам задерживаюсь у флорентийского окна. Я как турист привык спешить, но теперь мне уже некуда опоздать, память не стесняется временем, не подчинена воле «Интуриста».

Итак, мы едем из Флоренции на юг поездом.

Мягкими видами разворачивается Тоскана, без слишком яркой красоты. В такой природе могло закономерно созреть искусство, в котором человеку по себе, где он не теряется, где чувствует свое достоинство.

Трудно вообразить себе эти холмы, эти виноградники ареной убийств, предательств, насилий — всего, чем изобилуют итальянские хроники от древнеримских до новых времен. Впрочем, нам, пережившим вторую мировую войну, все бедствия древнеримской и итальянской истории кажутся теперь лишь трагическими миниатюрами.

И как могла впитаться в эту почву средневековая церковность, впитаться так, что выкорчевать ее корни было бы так же трудно, как разметать эти пригорки, запечатленные на полотнах Мантеньи и Беллини? Но встает и образ Франциска Ассизского, смиреннейшего отшельника, проповедовавшего птицам небесным.

Нелегко разобраться в итальянских противоречиях — остается любоваться Италией из окна быстро мчащегося вагона.

Когда я в молодости ездил по Италии, на каждой платформе официанты предлагали готовые завтраки — бутерброды с мясом, виноград и непременно бутылку кьянти, оплетенную, как положено, тростниковой соломой. Теперь их не видно. Станции в Италии стали скучнее, потеряли свою интимность.

Шоссеиные дороги — среди них много великолепных автострад — суетливы от массы машин, перегоняющих наш поезд. Из всей Италии, кроме разве глухого заолустья, автомобилизм изгнал прежнюю тишину.

Проезжаем мимо Кортоны, последнего города области этрусков, загадочного народа, научившего римлян строить арку и оставившего нам в наследство тайну своего языка.

Кортону взобралась на холм, как большинство здешних городков. Каждый раз колокольни и крепостные стены позволяют догадываться о драгоценностях, притаившихся в россыпях на склонах апеннинских предгорий.

Вот слева, не так далеко от полотна, — бледно-голубое Тразименское озеро, где когда-то слоны Ганнибала затоптали римские легионы.

Весенние работы закончены, летние еще не начались. Земледельческий труд мало приметен — солнце и апрельская влага сами заботятся о плодородии.

Белые гладкие дороги убегают куда-то в глубь страны. У их начала или крутого поворота — обычно два дерева, как бы столбы ворот. В здешних местах это пинии.

За Кортоной вскоре начинаются песчаные возвышенности со скудной бесцветной растительностью. Близ самого полотна цветут ирисы, белые и синие. Пустынные холмы — случайность. Италия в цвету. Устаешь восхищаться лиловыми гроздьями глициний на серых, еще безлистных стволах-змеях — глициниями увита вся страна.

В течение двух-трех часов слева от нас мы чувствуем более, чем видим, Умбрию, край Перуджино и юности Рафаэля. Где-то там, среди холмов и долин, совсем близко, — благочестивое Ассизи и суровая, ветреная Перуджа, город-крепость одной из самых удивительных фамилий Ренессанса — герцогов Бальони, которых судьба наделила ангельской красотой и сатанинским нравом. История этой семьи — одна из интереснейших глав итальянских хроник.

Вот плоская гора из тех, какие обычно называют «столовыми». Над ее обрывами, скалистыми, отвесными, снова старинный город, впрочем, здесь каждое человеческое гнездо помнит еще орлов Рима. Читаю надпись на станции — Орвиэто!

Самый город и его знаменитый собор не видны там, на горе.

Но вот поезд бежит вдоль узкой, невзрачной речки. Однако это Тибр.

Скоро — Рим.

* * *

Если Гёте уже в XVIII столетии создал свои «Римские элегии» и «Итальянское путешествие», то Россия должна была дожидаться Гоголя, Волконских и Сильвестра Щедрина.

Гёте подъезжал к Риму с благоговением, испытывал удовлетворение «всех грез юности», успокоение на всю жизнь.

И для Гоголя Рим был местом благоговейных и плодотворных созерцаний. Со скорбью следил он, как, сидя в кафе, современный итальянец погружается в суетность газеты, как это мешает художническому духу отдаваться высоким размышлениям.

При Гоголе оксло Колизея еще паслись стада. Натурщицы в народных нарядах

поджидали художников, и только все так же плескались фонтаны на площадях и гудели колокола — они гудят и сейчас в новом, политически активном, коммерческом и интеллектуальном Риме.

Приближаясь к Вечному городу, теперешний турист не испытывает ни благоговения, ни успокоения на всю жизнь. Современный человек не склонен погружаться в прошлое, а ведь именно Рим, переживший кризис рабовладельчества и язычества, должен был бы много говорить свидетелю и участнику великих перемен нашего века.

Турист, разумеется, отвесит поклоны семи римским холмам, выполнит по трафарету осмотр «достопримечательностей» под руководством привирающих и перевирающих гидов — в чем я мог убедиться самолично, — но его восприятие обездолено отсутствием историзма. Однако и современный Рим имеет немало оснований привлекать путешественника.

В Риме наших дней много внешнего блеска — в его отелях, кафе, магазинах. Он манит приезжих и новинками кино с прославленными «звездами», и спортом, а иных и жизнью ночных клубов, процветающих рядом с мессами и колоколами.

Большинство туристов теперь и не подъезжает к Риму, а приземляется, ничего по дороге не видав, на фешенебельном аэропорте Фиумичино.

От вокзала до горда переезд не длинен. Едем автобусом.

По этой самой дороге, конечно, грохотали когда-то римские возы и колесницы, однако вы менее всего думаете в эти минуты об античности. Вы развлечены совсем иными впечатлениями.

Поминутно мелькают автозаправочные станции, чистенькие и прямоугольничные, на столбах то и дело шестипалая собака с повернутой назад головой, извергающая пламя из пасти, — реклама могучей итальянской фирмы, торгующей горючим, — эта собака преследует вас по всей Италии.

Тут же десятки англо-американских надписей предлагают автомобилистам свои услуги.

Но над всем царит назойливая энергия таинственной кока-колы. Станный напиток с привкусом камфары и ореха, он распространен в западных странах, в частности в Италии, эпидемически. Рекламы кока-колы, большие, поменьше и совсем маленькие, всюду: на домах, на автострадах, в вагонах, на автобусах для катания ребят, в печатных проспектах и меню. Их увидишь и в глухом переулочке возле какого-нибудь очередного «санто». близ самой двери с расписанием служб и исповедей.

Я сам, столько лет жизни посвятивший поэзии древнего Рима, начинаю беглый очерк своих римских впечатлений с американской кока-колы — разве это не постыдно?

Так среди реклам, итальянских и заокеанских, подъезжали мы к Городу — древние называли Рим просто «urbs», то есть город.

Что-то мраморное, как будто древнеримское, мелькнуло слева. Но я сижу у окошка справа, я не успеваю поймать взглядом, что именно. Впрочем, для туриста все мелькает, он все время не поспевает, голова его мечется в разные стороны, да еще сосед загоразживает фотоаппаратом.

Но вот наконец и наш отель «Импéро» — неподалеку от вокзала Тёрмини и знаменитой церкви Санта Мариа Маджорэ.

Бывали времена, когда город превращался в пустырь. Но римское величие не теряло никогда своей притягательной силы. Люди возвращались, город возрождался из нищеты, чумы, безлюдья. Только развалины так и оставались развалинами — теперь их берегут как сокровища.

История Рима читается простым глазом на его улицах и площадях: остаток античности, палатцо Возрождения, церковь барокко и многоэтажный стеклянный шеголь наших дней. Менее всего отражено средневековье.

Домов модерн в Риме сравнительно немного, не то что в Милане, где они грозят стать характерной чертой города. Я не говорю о римских окраинах, где ведется строительство новых кварталов. Строят изобретательно, избегают скуки однообразия.

Некоторые здания самых современных форм привлекательны. их громадность облегчена стеклом и металлом, изяществом конструкции — таковы уже упомянутый

мною Фиумичино и особенно железнодорожный вокзал Термини, длинный и низкий, образец новейшего вкуса и техники.

Но лицо города, в общем, остается барочным, у него сохраняется то выражение, какое он приобрел в эпоху подъема католицизма, в пору контрреформации.

Вскоре мы оказались на Форуме. Восстановить его воображением при беглом посещении — бесполезная попытка.

Лучше, если на знакомство с Форумом имеешь всего каких-нибудь полчаса, поглядеть повнимательней на его целостный ансамбль, на живописные, спускающиеся к нему склоны с купами деревьев, на розоватую при закате желтизну его исчербленных временем колонн и триумфальных арок, на кустарники среди развалин, на траву между мраморными плитами — ей не препятствуют здесь вольно пробиваться.

Несколько минут простоял я перед Колонной Траяна. На ней, как известно, изображены победы императора, в частности над даками, тогдашними обитателями Прикарпатья и Придунайских областей. Имя Траяна связано с русской и румынской стариной, со «Словом о полку Игореве». Но как разобраться в этих заполненных человеческими фигурами спиральных поясах, уходящих в небо? Ведь фигур на Колонне Траяна две с половиной тысячи. Обнаружить среди них даков не в возможностях туриста, которого уже зовут садиться в автобус. Все же Колонну Траяна нельзя не оценить, это одно из лучших произведений поздней античности.

В «Вергилиев час», то есть когда солнце начинает снижаться, мы как-то взойшли на холм, где «сады Цицерона». Здесь, по преданию, жил и работал первый общественный деятель и интеллигент Европы. Но о нем, в сущности, ничто не напоминает, воображение питается справкой.

Вообще Рим, более чем какой-либо другой город мира, не для быстрого «освоения». Нужно много времени, чтобы постичь все его недоговоренности, все его тайны, чтобы инные места, не сохранившие ничего, кроме остатков кирпичной кладки, вызвали живые исторические образы.

В прошлую поездку мы с женой бросили заветную монетку в бассейн фонтана Треви — и вот через год опять стоим в апрельскую теплую ночь перед его освещенной громадой. Фонтан Треви околдовывает шумом своих вод, от него невозможно оторваться.

Над изломами целого нагромождения каменных глыб — обнаженный бородатый гигант. Морские кони с чешуйчатыми хвостами в окаменелом порыве устремляются в бассейн, сопровождаемые струями и водопадами. А дно усеяно кружочками — милое местное суеверие всем доставляет удовольствие.

Мы опять бросили монетки — может быть, придется и еще когда-нибудь постоять над его шумящими каскадами.

Когда представляешь себе фонтан Треви по фотографиям или гравюрам, кажется, что он рассчитан на большой простор. Наоборот, это барочное сооружение, общий замысел которого принадлежит Бернини, примкнутое к фасаду старинного палаццо. водоемом своим выходит на маленькую, совсем маленькую площадку, стесненную старыми, еще «гоголевскими» домами.

Туристы сидят на парапетах, густо заполняют ступени, ведущие к воде. Много и местных жителей. Толпа не шумит — то ли уединение площадки, то ли журчание каскадов заставляет молчать или говорить вполголоса.

К нам подошел молодой человек.

— Я слышу, вы говорите по-русски, — по-русски же сказал он.

— Да, мы из Москвы.

Хотя в Италии привыкли к советским туристам, но это сообщение вызывает обычно особую приветливость, большую частью смешанную с долей завистливого любопытства, — это наблюдается и на улицах, и на рынках, и в гостиницах.

— Я как раз учусь русскому языку. — Видно было, что молодой человек гордится своим знанием, кстати, уже достаточным, чтобы свободно объясниться.

— Это чудесно! Но что вас побудило заняться именно русским языком? Вы хотите приехать к нам в Советский Союз?

— Нет, я не имею такой прямой цели... Хотя, конечно, это было бы для меня

большим счастьем...— Он приостановился, видимо, стесняясь признаться, что у него для такой поездки не достало бы денег.— Я учусь потому, что русский язык теперь просто необходимо знать. У меня цель скорее практическая.

В палатце Поли, к которому примкнул гигант с морскими конями, жили когда-то князья Волконские. Здесь был салон одной из самых просвещенных женщин первой половины XIX века — княгини Зинаиды Александровны. Именно в этом доме состоялся печальный для Гоголя вечер, когда княгиня собрала аристократическую публику послушать в авторском чтении комедию «Ревизор». Гоголь чувствовал себя не в ударе среди этой чуждой ему публики. Будучи превосходным артистом, он читал на сей раз вяло, гости стали постепенно расходиться, не дождавись конца. Гоголь был расстроен, Зинаида Александровна огорчена.

Самых апартаментов Волконских теперь нет — эта часть дворца перестроена.

Банальный, всем известный фонтан Треви остается в памяти как одно из самых ярких впечатлений Рима. И, однако, он далеко не лучший.

Фонтану Треви предшествовало сооружение — в XVII веке — других многочисленных фонтанов, выводящих на площади и в парки города воды его обильных родниками окрестностей. Фонтаны Рима — одна из главных черт его городского пейзажа — чуть ли не все связаны с именем Бернини, выполнены по его замыслам с помощью учеников.

Самый примечательный — Фонтан четырех рек посреди площади Навона, перед фасадом барочной Сант Аньезе.

Фонтан служит постаментом египетскому обелиску. Это искусственная скала со сквозной полостью внутри — Бернини не мог не учитывать эстетического воздействия скал, образующих встающую из моря арку (такая есть у берегов Капри, есть и у нас под Карадагом — одна из прекраснейших).

Скала аллегорически изображает четыре части света — Австралия еще не в счет. На скале сидят по углам четыре гиганта — олицетворение четырех великих рек: Европу представляет Дунай, Азию — Ганг, Африку — Нил. К трем прославленным с древности рекам присоединилась американская Рио-де-ла-Плата, одно название которой, говорящее о серебре, полно духом конквистадорства. Скульптурные фигуры барокко постоянно принимают позы, нестерпимые для продолжительного пребывания, — гиганты того гляди соскользнут со своих острых влажных сидений.

Морской ветер обдувает группу — гигант справа закрывается от него с головой. У самого проема в скале — мраморная финиковая пальма, метелка ее листьев согнулась под ветром. А из проема выступает беломраморная фигура льва. Это лев не геральдический, не героизированный античной мифологией или библией. Это лев натуральный, если не натуралистический, лев той эпохи, когда европейский человек по-новому стал относиться к природе.

В Фонтане четырех рек выражено то, что есть в барокко от нового мироощущения: радость предприимчивости, расстояний и покорений и ее черная изнанка — колонизация, обращение в рабство миллионов человеческих существ, ради дивидендов вест-индских и ост-индских торговых компаний.

Недаром соседний фонтан на той же площади Навона украшен колоссальной фигурой африканца.

Бернини, определивший своим дарованием основной облик Рима, бывал обычно строг, когда дело касалось архитектуры. Ученик Микеланджело кажется даже суховатым в зодчестве, несмотря на смелую ломку классических фронтонов, но в скульптуре он без оглядки отдавался своей фантазии, и она не знала удержу.

Да и нечему было ее удерживать в тот век, когда требования контрреформации уживались с безответственностью личной и общественной, с легкомысленнейшей распушенностью, в век, когда, забыв о Данте и Петрарке, итальянские толпы устраивали триумфы такому проходивцу от литературы, как Джанбаттиста Марини. Этот многословный приспособленец к вульгарным вкусам находит, конечно, лишь в известной мере аналогию в Бернини, авторе рассеянных по всему Риму бесчисленных статуй с их истерическим экстазом и слащавыми херувимчиками. Когда мы ходили по нижнему этажу виллы Боргезе, мне хотелось отвернуться от таких его творений, как «Аполлон и Дафна» или «Похищение Прозерпины». И если Марини мог написать поэму в сорок пять тысяч

строк, почему Бернини, такой же виртуоз в иной области, не мог выпустить из своих мастерских полки святых, речных божеств и голых атлетов?

Но Бернини был и древним римлянином, и современным неаполитанцем (в Неаполе родился и Марино). Он создал ряд действительно великолепных портретов в реалистической традиции далеких предков эпохи Юлиев, Флавиев и Антонинов. С другой стороны, его знаменитые фонтаны — оригинальнейшее из всего, что было создано им в скульптуре, — не должны отрекаться от своего простонародного родственника — рыбного рынка в Неаполе.

На этом рынке каждая открытая лавчонка, кишащая живыми угрями и выставяющая напоказ всякие, иногда страшноватые «фрутти ди марэ», украшена крупными продолговатыми перламутровыми раковинами со всей свойственной Неаполю театральностью.

Скульптуры фонтанов Бернини грубоваты, как жители Неаполя. Они рассчитаны на площадь, на восприятие народной толпой — от этого у них такая сила и свежесть. В них нет места смазливим личикам ангелочков. Неаполитанец Бернини наполнил исконно сухопутный Рим тритонами, дельфинами, раковинами, запахом, ветром, плеском своего родного моря.

* * *

Мы прибыли в Рим в канун Первого мая. По неосведомленности своей я не представлял себе, как оно празднуется в стране, где у кормила власти стоит Христианско-демократическая партия. Оказалось, что повсеместно, но по-разному.

Мощные народные демонстрации состоялись в тот день в Риме, но нам не пришлось быть их свидетелями.

Наше краткое римское пребывание сложилось весьма своеобразно, что и дает мне повод о нем подробнее рассказать.

Первого мая Рим перестает быть самим собой. Закрыты учреждения, конторы, магазины. Даже городской транспорт выходной. Но к нашему туристскому автобусу это не относилось, и мы смогли поехать по Риму и в этот день.

С утра нас повезли к собору святого Петра. Волнуется каждый, кто подъезжает к нему в первый раз, взволнованы и те, кто бывал здесь раньше. Как только оказываешься в охвате полукруглых колоннад, возведенных все тем же Бернини, возле обелиска и двух одинаковых фонтанов, как тебя захватывает — прежде всего своим грандиозным масштабом — этот чуждый, но объективно величественный мир римского католицизма.

Известно, что собор святого Петра, в создании которого принимали участие и Микеланджело, и Рафаэль, и Браманте, — не лучший образец так называемого «высокого Возрождения»: неоднократные переделки плана привели к искажению первоначального проекта. Купол, возведенный по чертежу Микеланджело, виден теперь во всей своей стройности только издали. Ольга Осиповна Смирнова-Россетти, приятельница Пушкина, увидав собор святого Петра с фасада, имела смелость сказать, что он похож на комод.

Я переносусь на несколько лет назад.

Когда в октябре 1962 года мы были в Риме, шла первая сессия Вселенского собора. Кроме того, это как раз был день годовщины интронизации папы Иоанна XXIII. Он должен был говорить.

Мы стояли между колоннами святого Петра. Площадь запружена народом. Все взоры устремлены на ватиканский дворец, на крайнее окно пятого этажа со свешивающейся с подоконника темно-алой тканью — из этого окна своих личных апартаментов папа по традиции обращается к народу.

Около тринадцати часов действительно в окне отдернулась белая занавеска, обозначилось какое-то движение. Минут через пять появился Иоанн XXIII, но черт лица из-за отдаленности рассмотреть было невозможно. Раздался голос скорее высокий, довольно еще крепкий — папе было за восемьдесят, — усиленный громкоговорителем. Папа произнес молитву по-латыни, но никакой речи не последовало. Пояснили, что папа утомлен. Впоследствии мы узнали, что в это время он уже носил в себе смертельную болезнь, которая вскоре свела его в могилу.

Рядом с нами между колоннами стояла группа девочек-подростков в одинаковых темно-синих костюмах, сопровождаемая монахиней под черным, поверх белого, покрывалом. Уже в Генуе мне пришлось наблюдать, что современные воспитатели из монастырей и церковных школ в Италии не проявляют в обращении с учениками никакой аскетической суровости. Девочки вели себя выдержанно, но без стеснения, весело обращались к своей еще молодой наставнице — один из признаков общей тенденции в католицизме, попытки осовремениться.

А в нескольких шагах от нас у основания одной из колонн стояла, тоже не отрывая глаз от папского окна, совсем другого типа девочка, бедно одетая, с гладко зачесанными белокурыми волосенками. В этом бледном, истощенном личике, в этом смелом одиночестве среди толпы узнавалась если не настоящая, то будущая уличная грешница.

Между тем в заседании Вселенского собора начался перерыв. Святые отцы стали съезжать из главного портала. Трудно определить на глаз, сколько их тысяч — в Рим съехалось более двух тысяч.

Шли группами, парами, по одному, не спеша спускались по просторным ступеням. Почти все в лиловых одеяниях, в широкополых епископских шляпах. Выделялись в небольшом числе ярко-красные рясы, — говорили, что это ученики духовных семинарий из ФРГ. Еще меньше власяниц, францисканских, бенедиктинских. Среди князей церкви немало «экзотических». Шествовали японцы, негры, «отцы» неопределимых национальностей, в таких же лиловых шелках, с драгоценными панаягами на груди. Международный лик католицизма демонстрировался с наглядностью.

Епископы непринужденно разговаривали между собою, некоторые смеялись сытым смехом Боккаччо. Мимо обелиска и фонтанов делегаты направлялись к своим машинам. Фиолетовые шелка быстро скрывались в черном лаке автомобилей, тотчас высовывались руки с фотоаппаратами, как бы украдкой щелкали затворы.

Здесь, перед этим великолепнейшим из христианских святых, среди этих многочисленных «владык», таких уверенных в себе, невольно вспоминалось, что когда-то пап возводила на престол прихоть каких-нибудь распутных Марозий.

Католицизм выдержал пышное, чувственное безбожие папского Ренессанса, он сумел ответить рассудочной революции протестантов экстазами и лукавством незуитизма — и дивисься, как могло устоять это дуплистое, казалось, насквозь прогнившее дерево под столькими бурями веков.

Часа через два, когда разъехавшиеся в своих «фиатах» и «роллс-ройсах» священные особы еще отдыхали, мы снова очутились на площади Петра, пользуясь тем, что здание собора на короткое время было открыто до возобновления заседания.

Вдруг разнесся слух, что папа через несколько минут должен выехать из Ватикана в приход. Путь его лежал как раз мимо того места, где мы случайно остановились, то есть опять-таки у колоннады Бернини. Долго ждать не пришлось. Из проезда появилось несколько молодых швейцарской гвардии в полосатых желто-красно-синих мундирах. Опустились на одно колено, ударили раза три древками алебард по камню мостовой.

Автомобиль первосвященника выехал медленно, обычный, черный. В окошке мелькнуло бледное полное лицо того, кто за время своего короткого правления демократическими своими тенденциями и особенно приверженностью делу мира снискал уважение и за пределами католических кругов. Показалась холеная старческая рука и благословила стоявших в проезде.

А вечером того же дня мы были свидетелями незабываемого зрелища.

Часов в девять, уже в темноте, поскольку был конец октября, мы подъехали к Капитолию, нисколько не подозревая, что случай доставит нам еще одно редкое впечатление католического Рима.

К площади Капитолия, на которую выходят фасады зданий, возведенных самим Микеланджело, где посередине мозаичной звезды возвышается бронзовая конная статуя императора-философа Марка Аврелия, ведет мраморная лестница — в машине въехать на Капитолийский холм нельзя.

В правом от лестницы здании окна ярко освещены: в этот вечер у мэра Рима прием в честь участников Вселенского собора. Мы об этом ранее не знали.

Вскоре на площади появились какие-то юноши в обтягивающих черных костюмах с жердями-факелами в руках.

И началась фантасмагория.

Юнши стали быстро пробегать вдоль парапетов и балюстрад; вот их длинные тени замелькали над карнизами, у самых кровель и еще выше — и всюду зажигались ранее нами не замеченные плоски. Вот факелы взметнулись около мраморных колоссов с конями по обеим сторонам лестницы — гиганты озарились желтоватым пламенем. Не прошло и нескольких минут, как плосками заполыхали все архитектурные линии микеланджеловских зданий до самого верха, до венчающей центральный дворец башни со статуей Ромы, богини города и его олицетворения.

Вот когда можно было оценить все волшебство живого огня. Никакие электрические эффекты не в силах заменить этого трепещущего, движущегося от малейшего колебания воздуха пламени, этого теплого, непостоянного, таинственного в своей изменчивости желтого света, обливающего мраморные ступени и мраморные фигуры и скользящего по бронзовому лицу державного философа.

Мы как зачарованные глядели на загоревшийся живыми огнями Капитолий, но тут же пришлось перекинуть внимание в другую сторону: к лестнице стали подкатывать машины приглашенных.

Епископы выходили из машин и медленно поднимались по ступеням. Всякий любитель театра, всякий ценитель архитектуры понимает, что значит величественная лестница, по которой всходят человеческие фигуры. И какие фигуры!

Опять перед нами колыхались фиолетовые шелка, опять поражали коричневые, лимонные, черные лица азиатских и африканских князей церкви. Долго одни за другими всходили они на Капитолий.

Прием еще не начинался, и гости вольными группами толпились на площади. Наплывы пламени и черные тени превращали их в фантастические образы какой-то еще не сочиненной оперы. И казалось совсем невероятным, что это не опера, не композиция художника, а жизнь — пусть уходящая, но еще не ушедшая.

Впечатление было настолько сильным, что на некоторое время устранило все другие и даже помешало рассудку сорвать сразу этот фантастический покров с подлинной сущности развернувшегося перед нами зрелища. Итальянцы говорили нам, что подобное можно увидеть разве лишь один раз в столетие.

Но возвращаюсь в год 1964-й.

Видеть римского папу не так уж существенно, но все же это редкость. Нам повезло и в этот приезд, а ведь туристы из далеких стран, чтобы увидеть наместника Петра, иногда тысячами устремляются в какой-нибудь отдаленный городок, куда он отправляется в паломничество.

Итак, мы в первомайское утро оказались в соборе святого Петра.

Едва мы вошли в это грандиозное, но почему-то не кажущееся грандиозным здание, как были поражены не свойственными храму звуками: под классически холодными, блещущими великолепием сводами как раз в этот момент разразились «бурные аплодисменты». Они заполнили своим плеском всю неимоверную по масштабам внутренность собора; впрочем, аплодисменты в соборе Петра не новость, о них говорил еще Золя в своем «Риме». Невольно вспоминается античное «*plaudite quirites*».

Мы заметили, что взоры всех устремлены к бронзовой сени на главном перекрестье собора. Это папский алтарь, творение все того же Бернини. На алтаре — свечи, перед алтарем спиною к свечам среднего роста человек, видимо епископ, что-то произносит перед микрофоном.

— Это папа! Это папа! — вдруг вскричала наша римская руководительница.

Она была в подлинном восторге. Оказалось, что эта девушка лет под тридцать, живя всю жизнь в Риме, никогда не видела папу — и вдруг посчастливилось. Надо же было для этого попасть в группу советских туристов.

Павел VI выступал не в торжественном облачении, какое было на нем во время только что окончившегося богослужения; он уже сменил его на свою обычную «мозетту» — шапочку вроде тубетейки — и белую «столу», род епитрахили. Толпа слушала, как один человек.

Папа говорил на тему труда, это была первомайская проповедь, скорее речь.

Но неужели Международный день трудящихся так-таки прямолинейно празднуется под сенью святого Петра?

Нет, у католического руководства нашелся выход: день Первого мая — это одновременно и день памяти Иосифа, мужа Марии, назаретского «artigiano» — плотника, как обычно переводят это слово. Папа только что отслужил мессу в честь святого ремесленника. Иосиф — официально патрон всех трудящихся.

Кстати сказать, католическая церковь приспособила святых к каждому трудовому цеху — средневековые связи земного и небесного поддерживаются и в середине XX столетия.

Известно, что из двух благочестивых сестер, к которым иногда приходил Христос, Мария предавалась душеспасительной беседе, а Марфа хлопотала по хозяйству, — так вот Марфа и была избрана авторитетным решением церкви в патронессы содержателей гостиниц, стало быть, в нашем современном контексте и ресторанов и кафе — не хватает только ночных клубов, где кухня тоже не на последнем месте.

У суетливого племени газетных работников есть тоже свой покровитель — святой Франциск Салезский, не знаю, по какому признаку сначала причисленный к лику святых, а потом к суетному цеху корреспондентов.

Святая Франциска Римская — патронесса автомашин. Именно ее призывают, когда перед зданием Колизея происходит «освящение автомобилей».

А про святого Иосифа папа так и сказал на одном из первомайских приемов представителям автомобилестроительной компании «Фиат»:

— Как будто сам святой Иосиф сияет над этим священным собранием...

В Назарете, где на рубеже двух эпох плотничал Иосиф, сейчас существует маленькая часовенка, сооруженная в его память, — один итальянский журнал дал недавно ее фото, а рядом поместил статейку о современном кино.

Расслышать речь папы я не смог. Я прочел ее потом в «Оссерваторэ романо». Папа заверял трудящихся в понимании церковью их тяжелой жизни, предлагал «слово веры» в качестве «социальной поддержки». Он констатировал, что мысли трудящихся все более уклоняются от религии, называя это по привычке «искушением». Он сетовал, что впечатление от разочаровывающегося во всем современного трудящегося «тяжко, как свинец».

Говорят, что Павел VI — аскет. Возможно. Во всяком случае у него хватает решительности трезво и мрачно характеризовать положение трудящегося католика в Италии. Однако девиз «ога ет лабога» остается в силе.

Если б не искусство гипнотического воздействия на массы, трудно было бы представить себе, что думает, слушая папу, стоящий слева от меня рабочий человек, взобравшийся с ногами на скамью для делегатов собора, вскинувший на плечи своего мальчонку, и почему он так истово рукоплещет пессимистическому оратору в первосвященнической столе.

Папа закончил, под аплодисменты сошел с алтаря, скрылся из виду. Однако через несколько минут мы снова увидели Павла VI, на сей раз совсем близко. Его несли на уровне голес в золотом кресле с округленной спинкой. Он бледно-смугл, худощав, черноволос, весь в белом. Для папы он еще не стар — ему шестьдесят семь лет.

Проплывая мимо нас в кресле, папа не благословлял толпу. Он поднимал обе руки и легко потрясал ими в воздухе, приветствуя народ, поздравляя его с праздником.

На одной из множества фотографий, отражающих ватиканскую жизнь, он таким же светским жестом приветствует собравшихся на Флумичино перед его отлетом в Святую землю. В тот день было ветрено, папа любезно предложил тогдашнему премьеру Сеньи и другим высоким лицам надеть шляпы. Но никто не надел. Папа улетел на «белых крыльях в страну Иисуса» и вскоре был сфотографирован за молитвой в своем «салончико» в ДС-8, делающим девятьсот километров в час.

А рядом с папским воздушным кораблем на белых крыльях и с ватиканским гербом на фюзеляже неслись, по два с каждой стороны, реактивные самолеты итальянских

ВВС. В другом самолете мчались следом сто тридцать четыре журналиста, из них несколько священников, захвативших с собою походные алтари.

С тех пор энергичный Павел VI еще не один раз покидал пределы Европы — перелетал океан, чтобы произнести речь на заседании ООН, посетил Индию.

Но вернемся в собор.

Когда папу наконец унесли, в храме началось довольно беспорядочное движение. Мимо нас сквозь толпу протискивалась группа юношей в голубом. Это молодые спортсмены. Папа должен был зажечь для них факел, им предстояло нести его за семьсот километров в свою спортивную капеллу.

Сочетание церковности, с которой в Италии встречаешься на каждом шагу, и современности в ее самых светских формах не может не вызвать улыбки. Их эстетическое и ассоциативное расхождение кажется неразрешимым. Все же старина и модерн уживаются в своем неестественном симбиозе. Я однажды подошел спросить дорогу к двум монахам, босым и во власяницах, а потом увидел, как они сели в машину и один из них оказался за рулем.

Впрочем, это явление повсеместное. Даже в исконно религиозной Испании ухитряются теперь молиться в архисовременных угловатых капищах.

Когда после отбытия папы мы выходили из собора, мы шли и мимо придела, где стоит «Пиэтá» Микеланджело. В прошлый приезд мы видели прославленную группу на своем месте, теперь ее заменил гипсовый слепок. Подлинная «Пиэ́та» была отправлена в Америку, в Нью-Йорк, на Международную выставку — украшать павильон Ватикана.

Великие произведения искусства следует, конечно, перевозить в другие страны, нельзя, чтобы целые народы были лишены возможности их созерцать. Но что-то грустное есть в этих отрывах от привычной почвы. К лучшим созданиям человеческого гения относиться как к вечно живым существам, совершаемое над ними насилие воспринимается как нечто кощунственное.

В итальянской прессе можно найти подробности отправки «Пиэты» за океан. Потревоженная со своего места группа была вынесена на соборную площадь, где ее поместили в светлоокрашенный контейнер, водрузили на грузовик. На каждой стороне контейнера крупная надпись: «Пиэ́та».

Странно представить себе лицо Микеланджеловой мадонны, склоненной над мертвым сыном, — такое красивое, мужественно-скорбное лицо — в тесноте и темноте контейнера. В этой одиночной камере отправилась святая Мария в Новый свет, где ее наряду с консервными банками и зубоорудными аппаратами будет оглядывать любопытная выставочная публика.

Сначала повезли «Пиэту» по Дороге солнца в Неаполь, а там погрузили, как всякий груз, на белоснежное, новенькое судно «Кристофоро Колумбо» — мне удалось видеть его в генуэзском порту. Это лучшее судно итальянского гражданского флота — в самом деле превосходное.

А в Нью-Йорке для «Пиэты» было уже приготовлено на выставке обширное помещение вроде огромного алькова, довольно безвкусное, с дешевыми эффектами освещения.

По случаю отплытия «Пиэты» в Америку Ватикан выпустил особые почтовые марки различного достоинства — более дешевые с лицом Павла VI, подороже — с ликом мадонны. Эти марки должны были иметь хождение до 31 октября 1965 года, но стоит ли всему этому удивляться, когда в Риме существует фирма «St Paolo film», принадлежащая «Обществу святого Павла»?

Когда мы выходили из собора, шел дождь, несильный, весенний. Что-то есть особенно привлекательное в сочетании дождевой сетки и мокрой мостовой с архитектурой римского барокко, с его темными фасадами и беспокойными статуями.

В такой же серый день — а может быть, и в тот же день, ведь темпы туризма заставляют подчас путать дни — были мы наверху, у церкви Санта Тринита деи монти (Святой Троицы нагорной). От нее под гору, к Пьяцца ди Спанья, ведет знаменитая лестница, иррозванная итальянцами царицей лестниц. Под ее многоступенчатыми барочными изгибами обычно торгуют цветами.

В пору нашего тогдашнего посещения Италии в ряде мест происходили выставки цветов. При нас уже открылась выставка в Турине, во Флоренции только подготавливалась. Более южный Рим опередил Флоренцию. Лестница Тринита деи монти была превращена в целый водопад азалий. Оставляя достаточно широкий проход пешеходам, тщательно подобранные азалии, все одного цвета — малиново-розовые, пенились в своем необозримом изобилии. Конечно, это было редкое по красоте зрелище, но я не мог не пожалеть, что цветы скрывают архитектурные формы царицы лестниц.

По ступеням вверх и вниз бродили группы японцев, немцев, поляков — в этой разноязычной толпе каждый малс обращал внимания на другого, все были приобщены к беспочвенному и восторженному племени путешественников.

Среди малиново-розовой пены спустились и мы на площадь — опять-таки к фонтану Бернини, к так называемой «Лады», где затейливость уже обертывается нелепостью.

Писать об общеизвестных памятниках Рима, о его художественных сокровищах незачем — о них написаны целые библиотеки. Все же поделюсь отдельными впечатлениями.

Сан Пиетро ин винколи — святой Петр в оковах — скромный сравнительно храм со строгими колоннами внутри. В нем — Моисей Микеланджело и кандалы апостола Петра. Эти кандалы прислала в подарок папе Льву I императрица Евдоксия — церковь была построена ради их хранения в 442 году. В их подлинность меньше всего верят, конечно, сами служители церкви, что не мешает им рассказывать, будто их разорванные звенья «чудом» спаялись.

А ведь именно к этим железкам, то есть к памяти бедного иудейского пропагандиста, распятого вниз головою, век за веком стекались народы, от нищих до королей.

Рядом с кандалами, у стены справа, — надгробный памятник папы Юлия II: Сан Пиетро ин винколи был приходским храмом Юлия, когда тот был кардиналом. Не здесь, а на самом наивиднейшем месте в соборе святого Петра — в том, ватиканском, — мечтал воздвигнуть себе гробницу этот человек, претендовавший стать «хозяином и повелителем мира». Он заказал ее Микеланджело в 1505 году, за восемь лет до своей смерти. Но громадное сооружение не было осуществлено. А потом дело обернулось так, что гробницу поставили не там, где могила апостола, а возле его цепей, в уединенном Сан Пиетро ин винколи.

Из многочисленных статуй, предназначавшихся для гробницы, здесь три: Моисей и — изваянные не самим Микеланджело — Рахиль и Лия. Некоторые считают, что в грозном образе Моисея художник отразил неукротимый дух заказчика.

Но какая катастрофа человеческого тщеславия! Нижний ряд пристенной композиции, где в середине Моисей, еще богат, хотя и неизящен. А выше — чуть ли не прямое издевательство над волей величайшего из честолюбцев Ренессанса. Жалкая фигурка Юлия II лежит как-то бочком на своем слишком высоко вознесенном ложе, — бородатый мужичок, словно хворый и, главное, никому не нужный. А еще выше — выхолощенная схема архитектурной декорации, художественная «отписка».

И наконец в качестве трагикомического постскриптума: Юлий здесь никогда и погребен-то не был — его прах был обнаружен под плитами ватиканского собора святого Петра в 1926 году.

О росписях Микеланджело в Сикстинской капелле и Рафаэля в апартаментах папы знает каждый культурный человек. Они изучены до деталей. Мы осмотрели их бегло. Они прошли перед глазами как видения. Осталось счастливое сознание, что эти творения вот и сейчас, когда я пишу эти строки, там, на своих местах, во всем своем величии.

«Страшный суд» Микеланджело теперь подсвечивается. В наше время подсвечивание применяется широко и у нас и за границей. Большой театр, Колизей, Нотр-Дам нравятся публике в таком приукрашенном виде. Но в электрическом освещении, скажем, Колизея есть что-то непочтительное. Колизею все-таки лучше безмолвствовать при луне и звездах, даже просто в темноте. Американцам, которые составляют сейчас наибольшую и наивыгоднейшую часть посетителей Рима, это, конечно, нравится.

Однако все сказанное не относится к «Страшному суду». В данном случае подсвечивание применено не ради эффекта, а для помощи зрителю, и применено тактично. Сикстинская капелла плохо освещена, фрески ее стен и плафона трудно разглядеть. При подсвечивании «Страшный суд» раскрывает многие свои тайны — кроме глазной, тайны титанической силы создавшего их человека.

Сцены «Страшного суда» при слабом освещении казались лишь запутанными узлами, сгустками, гроздьями человеческой плоти — причем грешников легко было спутать с праведниками, — теперь, при достаточном свете, обрели разграниченное бытие и окружающее пространство. Все эти скопления фигур движутся, возносятся и ниспровергаются в бездонном голубом небе. Этот густой голубой цвет, как известно, не первоначальный. Иные считают, что его теперешняя голубизна неудачно сочетается с благородно-сдержанным общим сероватым колоритом плафона. Мне этого не показалось, я был благодарен электричеству за обнаружение воздушного объема.

Человек господствует в росписях Микеланджело — об этом знаешь заранее, но впечатление все же поразительно. Обнаженный Христос поднимает мускулистую длань штангиста. К нему — так подчиненно, так второстепенно — приникает молодая мадонна, вся уже изогнутая едва нарождающимся маниеризмом. Говорят, что Микеланджело намеревался и мадонну изобразить обнаженной, но даже ренессансная светскость пап не могла с этим примириться и не позволила.

А над всей этой массой нагих тел (немногие ткани были приписаны позже учениками мастера) выступают вперед голые ноги гигантского пророка Ионы, молодого раба с лицом не столько вдохновенным, сколько вызывающим. Ноги Ионы опираются как бы на весь страшный суд, фигура его доминирует — то был век Человека, то был Рим Юлия.

Саваоф носится по плафону Сикстины тоже в человеческом облике. Лицо у него даже индивидуально. Это человек, решивший организовать первозданный хаос. Бог творит с энергией хозяина. Так мог бы создавать вселенную сам Микеланджело. Так он и создал с напряжением, едва постижимым, мир своего искусства.

Из Сикстинской капеллы мы непосредственно перешли в «Станцы» Рафаэля. Гармония его желто-голубых, светлых композиций неопровержима. В них — закон самой природы. Они еще не потревожены нервозностью барокко. Но создатель умиленных женских образов даже рядом с Микеланджело заявляет о себе как о великой мужественной силе, только силе приемлющей, а не протестующей. Я долго и как-то по-новому вглядывался в мощные образы простых людей на малопопулярной фреске «Пожар в Борго». Иногда приходится слышать, что произведения Рафаэля сохраняют в наше время лишь познавательный интерес. Откуда подобное отношение? Сейчас, когда я полон впечатлений от «Станц», я с боязнью спрашиваю: неужели это оскудение душ?

Из Рима мы улетели тотчас после посещения Сикстины, насыщенные впечатлениями: на всю жизнь.



К 800-летию со дня рождения Шота Руставели

СИМОН ЧИКОВАНИ

★

ПЕСНЬ ЛЮБВИ, ДРУЖБЫ И ДОБЛЕСТИ

Автор этой статьи — недавно скончавшийся грузинский поэт Симон Чиковани, без чьих стихов и поэмы «Песнь о Давиде Гурамишвили» нельзя составить верного представления о грузинской поэзии — и шире — полного представления о советской поэзии вообще.

Поэзия Чиковани — живописная, образная, одухотворенная живой и значительной мыслью, — поэзия философская по своему складу. От этого свойства неотъемлемо и другое — присущее Чиковани острое чувство истории. Каждое явление или событие существует для него не в моментальном его состоянии, но соотносено с движением во времени. История для него — не отдельная область знания, а ключ к пониманию действительности как звена исторического процесса.

Историю — и прежде всего грузинскую — Чиковани знал увлекательно, точно, подробно. И не только по летописям и книгам. В молодые годы он пешком обошел всю Грузию, побывал в самых удаленных, труднодоступных местах. И об исторических памятниках рассказывал с такой очевидностью, словно не поэзия и даже не история, а историческая география Грузии была его действительной специальностью. При этом он жил и дышал сегодняшним днем, с увлечением вникая в его дела и заботы. И если знакомство со стихами современного талантливого поэта вызывало в нем интерес и к личности, и к судьбе его, и к характеру, и к поэтическим замыслам, то творения великих писателей прошлого, их жизнь, образ, их поэтический подвиг составляли особую часть души Чиковани. В прославленных произведениях, известных чуть ли не каждому, он улавливал не замеченные другими достоинства и умел прочесть вещь по-новому. Этому помогало в немалой степени и то обстоятельство, что Симон Чиковани постоянно был в курсе последних достижений исторической и литературной науки и поддерживал гипотезы, даже самые смелые, если только чувствовал в них присутствие исторической правды.

Поэму Руставели «Витязь в тигровой шкуре» он знал досконально и всегда говорил и писал об этом творении с присущим ему блеском.

Предлагаемая вниманию читателей статья С. Чиковани (она печатается с небольшими сокращениями) посвящена символике образов в поэме Шота Руставели.

И. Андроников.

Целью этой статьи является выяснение внутренних духовных коллизий «Витязя в тигровой шкуре», а также краткая характеристика художественных особенностей поэмы. Очерк этот призван коротко ознакомить читателя с художественной структурой «Витязя в тигровой шкуре» и выявить общественный характер его замысла. Главная наша задача — показать, что обусловило то великое моральное и эстетическое влияние, какое поэма оказала на грузинскую литературу последующих веков и на духовную жизнь грузинского народа в целом.

Давид Гурамишвили считал, что стих, подобный руставелевскому, впоследствии не удавался никому. Начиная с XIII века «Витязь в тигровой шкуре» стал более любим народом, нежели Ветхий и Новый завет, которые ученые-монахи древних веков так превосходно переложили на грузинский язык. Поэму Руставели было приятнее слушать, чем песнопения, мастерски сложенные гимнографами. Приключения Таризла оказались ближе народу, чем жития святых, — блестящие образцы грузинской агиографии. С глубоко содержательными и звонкими строками Руставели не

могли соперничать даже виртуозные по форме творения Чахрухадзе, а размеренные, проникнутые христианским духом оды Шавтели не входили в сознание народное с такой силой.

«Витязь в гигровой шкуре», несмотря на свой широкий интеллектуальный горизонт, поэтическую сложность и отточенность, сохранился в памяти простого народа, не говоря уже о том, что грузинские поэты — Арчил, Нодар Цицишвили, Теймураз I, Вахтанг VI, Давид Гурамишвили, Григол Орбелиани, Николоз Бараташвили, Илья Чавчавадзе, Акакий Церетели и Важа Пшавела — были заворожены художественным мышлением Руставели и поэтическим накалом его стиха. Вместе с народом писатели земли грузинской провозгласили творение Шота Руставели сокровищницей поэтической мудрости, а его самого — основоположником грузинского стиха. «Я — основа стихотворства» — такие слова вложил в уста Руставели Арчил в своей поэме, определив тем самым неизмеримое его значение в развитии грузинской поэтической культуры.

В поэме читатель почувствовал тончайшие движения человеческой души, услышал песнь земной жизни, гимн дружбе, любви и мужеству. Поэт поставил любовь к ближнему выше любви к богу и утвердил в грузинской поэтической мысли новые устои гуманизма, человеколюбия. Таким образом, эта книга всегда пробуждала в народе высокие, благородные чувства, она сделалась наставником, благозвучно проповедующим нравственное возвышение, воспитывающим художественный вкус. Вплоть до XX века «Витязь в тигровой шкуре» входил обычно в приданое невесты и сообщал особое очарование вступлению молодой девушки в семью мужа. Жених с большой гордостью принимал под свой кров девушку с таким бесценным приданым. Надо думать, что в семье книга эта была источником духовного богатства, показателем высокой эстетической культуры ее членов. Книга была как бы движущейся академией. Если мы вспомним стариков, которых еще застало наше поколение, и состязания их в чтении поэмы на память, их споры вокруг афоризмов Руставели, всем нам станет еще яснее, чем являлась поэма на протяжении веков в духовной жизни народа.

Большинство руставелевских афоризмов так прижилось в народе, что часто забы-

вается их автор, и слушатель воспринимает их как народную мудрость. Особую любовь заслужили три высказывания Руставели. Эти три поэтические сентенции, оставленные автором как завещание, известны повсюду. Вот они: «Возвышает человека лишь любовь», «Кто друзей себе не ищет, самому себе он враг», «Лучше славная кончина, чем постыдное спасение». В самом деле, все движение повествования в поэме не что иное, как сюжетное развитие названных строк, их художественное обоснование, проповедь этих трех заветов, исполненная с несравненным мастерством. Вооруженная такими идеями, поэма выдержала монгольское нашествие, набеги Тамерлана, Шах-Аббаса и Ага-Магомет-хана, разгромы и поражения, феодальную смуту; она навечно осталась в памяти народной, чтобы донести до сегодняшнего читателя духовные устремления человека, жившего на рубеже XII—XIII веков, как первый отзвук раннего Ренессанса.

Руставели умел живописать человеческие переживания чарующими красками, с несравненной музыкальностью. Поэт обладал десницей мастера, равной кисти мастеров Ренессанса; под рукой у него была палитра, подобная палитре венецианских художников, и игра красок и сочетания цветов в поэме беспредельно разнообразны и неисчерпаемы. Поэтика и художественное мышление Руставели глубоко самобытны и национальны. Поэт метафорически передал в поэзии раннюю историю Грузии, отдав дань своеобразной романтизации своего времени. Как искусный ювелир, отшлифовал он поэтическую картину, заставил грузинское слово заиграть на солнце всеми цветами. Это великое искусство слова, как мы сказали, поэт использовал для выражения высоких и сложных чувств. Любовь и дружба в поэме показаны с вдохновенным волнением и изображены с неслыханным дотоле поэтическим мастерством. И народу поэма справедливо казалась гимном любви, дружбе и героизму. Грузинский народ отождествлял личность Руставели с рыцарем — носителем этих трех качеств.

«Возвышает человека лишь любовь», — сказано в завещании Автандила. И действительно, любовь в поэме — основной стержень человеческой мысли, двигатель всей духовной жизни человека.

1

Любовь в поэме связана прежде всего с именами Таризела и Нестан. Таризела автор облачил в тигровую шкуру, откуда и название поэмы — «Витязь в тигровой шкуре». Эта художественная деталь достойна пристального внимания. Внешний облик главного героя определил внешний и внутренний характер произведения. В «Шах-Наме» у Рустома на могучее тело накинута шкура тигра, которая служит панцирем воину, вышедшему на бой; в античных мифах «божественного Париса» (образ которого является символом любви и страсти) при первом его появлении украшает плащ из шкуры пантеры или тигра; Язон, явившийся в Колхиду, тоже облачен в тигровую шкуру. Очевидно, шкура тигра в античности символизировала доблесть и страстность, но в «Шах-Наме» и упомянутых греческих легендах облачение героев не несет такой художественной и смысловой нагрузки, как в грузинской поэме.

В творении Шота Руставели тигровая шкура — метафорический образ, символ мужества и любви, а для Таризела это не только напоминание о красоте возлюбленной, но и отражение многоцветной природы. Когда Таризел видит разгневанную Нестан, она напоминает ему «на выступе утеса громоносную тигрицу», а после исчезновения Нестан эта картина-метафора остается в памяти миджнура, и Таризел представляет возлюбленную «громоносной тигрицей». Чувствуя вину перед любимой, он облачается в тигровую шкуру, которую отождествляет с красотой девушки, чтобы ежедневно иметь ее перед глазами и терзаться мыслью о потерянной возлюбленной.

Образ пламенной тигрицы сходен с девою
моей,
Потому мне шкура тигра из одежд всего
милей¹. —

говорит витязь. Автор и герой этим сравнением рисуют нам Нестан как часть природы, отблеск нетленной ее красоты. К природе бежит отчаявшийся Таризел, и в ней ищет он образ своей любимой. Он облачается в шкуру тигра и не расстается

с ней, как с собственными военными доспехами. Этим он как бы оправдывает слова Руставели об обычае миджнуров:

У влюбленного миджнура свой единственный закон:
Затаив свои страданья, о любимой грезит он.

Как неоднократно отмечалось, Шота Руставели — поэт необычных метафор. Метафора для него не только украшение стиха, она — способ и средство понимания действительности, оружие проникновения в тайны мира. Шкура же тигра — образ красоты возлюбленной — одновременно является символом многокрасочности и разнообразия мира. Таризел словно ищет в природе отклик на свои переживания. Облаченный в тигровую шкуру витязь повергает свою сердечную боль метафорически увиденной природе, и в душе его рождаются неожиданные мысли и видения. В результате этих странных видений Таризелу начинает казаться, что он сливается с прелестью Нестан, и метафора становится неразлучным спутником его души, своего рода путеводителем для Таризела. Художественное содержание образа тигровой шкуры в поэме постепенно развивается, становясь основой драматического развития повествования. Так рождается один из самых замечательных эпизодов — схватка Таризела со львом и тигрицей. Однажды витязь увидел льва и тигрицу, играющих друг с другом, но вскоре лев начал преследовать тигрицу. Таризелу не понравилось такое отношение льва (рыцаря) к возлюбленной, и он убил его. Красота тигрицы тотчас напомнила ему любимую, и ему захотелось поцеловать ее: «Я искал ее лобзаний ради той, кого любил». Так мир метафоры стал реальным миром. Таризел захотел приласкать ззерея, но тигрица начала сопротивляться.

Ничего не мог я сделать с тварью той
неукротимой,
Я ее ударил оземь, гневом яростным
палимый.
И припомнил я внезапно, как я ссорился с
любимой,
И едва в тот миг не умер от тоски
невыносимой.

Носитель рыцарских черт и нравов — Таризел не потерпел дурного обращения льва с возлюбленной, но спасенная им тигрица не поняла сердечного порыва витязя, и разгневанный герой убил ее. Тогда

¹ Шота Руставели. Витязь в тигровой шкуре. Перевод Н. Заболоцкого. Гослитиздат. М. 1962. Все цитаты из поэмы — по этому изданию.

же он вспоминает о невольно погубленной им Нестан и впадает в отчаяние. Из мира, созданного воображением, он возвращается в горькую действительность. Таким образом, автор обрисовал духовное волнение, тревогу, увиденные Тариэлом в природе и пережитые им самим. Как легко поймет читатель, этот случай представляет развернутую метафору и напоминает о прежнем раздоре между Тариэлом и Нестан.

Описанные два случая (происшедшее в действительности реальной и метафорической) объединяет сокрытый знак равенства. Каждое явление действительности предстает и как отклик бытия природы, его своеобразное эхо. То, что красота природы и прелесть Нестан взаимосвязаны, Тариэл осознал и прежде, витязю Нестан всегда казалась частью природы, и он пустился в скитания, чтобы там найти след возлюбленной и обрести покой на лоне природы. Кажущуюся ему двойником Нестан шкуру тигра он сделал своей неизменной одеждой и таким образом словно растворился в природе. «Я брожу, подобно зверю, там, где бродят злые звери», — говорит нам взволнованный витязь.

Герой поэмы Низами Гянджеви «Лейли и Меджнун» Канс, из-за любви повергнутый в отчаяние, также пускается в скитания. Он потерял всякую способность к действию, и ничто не может вернуть его к жизни. Тариэл в отличие от Канса потому и облачился в тигровую шкуру, что для него она — память о любви и в то же время символ отваги и доблести. Правда, и Тариэл часто теряет надежду, но ему нужен лишь небольшой толчок, чтобы вернуться к жизни и обрести готовность к подвигу. Он не беспомощный созерцатель, а борец за будущее, личность активная, выразитель внутренней динамики природы. Каждому появлению Тариэла облачение его придает необычность и вызывает удивление других действующих лиц. Остальные герои поэмы почти сразу покоряются ему и становятся исполнителями его воли.

Так же, как не спокоен и мятежен сам мир, так же взволнован и неукротим Тариэл. Природа не смогла успокоить витязя, пустившегося в скитания, ибо краса природы — Нестан — заключена в Калжетской крепости и томится в плену у злых сил, словно «луна, драконом проглоченная».

Итак, тигровая шкура в поэме является двойником Нестан и символом всей природы, она — повторение образа возлюбленной, а также непостижимой красоты природы. Автор как бы охватил этим символом все содержание поэмы, превратил ее в поэтический образ всего произведения.

И внешний фон описываемых событий, и внутренний мир героев поэмы, подобно тигровой шкуре, красочны и солнечны. Солнце заливает вселенную, расцветивает землю, подобно пестрому облачению Тариэла. Ночью небо усыпано звездами, а днем весь мир играет и переливается под лучами солнца. Такая красочность нужна Руставели, чтобы любое событие — трагическое или драматическое — изобразить на фоне мира, осиянного солнцем, показать злоключения влюбленных в органической взаимосвязи с природой — носителем животворных красок. Сам драматический сюжет так освещается животворящими лучами, что не теряет оптимистического звучания. В самом деле, ни в одной поэтической сцене, даже выражающей отчаяние, автор не лишает мира солнечности. Выбранные поэтом страны — Индия и Аравия, — страны метафорические, ибо для развития любовного повествования автору нужны экзотические края с яркими, знойными красками. Из поэмы изгнаны темные ночи, дождливые дни, печаль в природе. Яркое солнце неизменно сопровождает героев.

По утверждению лексикографов, слово «цвет» в поэме употребляется в значении образа, рода, подобия и соответствия. Это слово и его многочисленные вариации встречаются в тексте до пятидесяти раз. Действительно, в поэме слово «цвет» используется и в смысле «образ», и в смысле «подобие», но чаще оно употребляется в том же значении, что и в современной грузинской речи. В значении «краска» («окраска») и вообще зрительного образа слово это употреблялось еще в древнем грузинском языке. Его семантическое значение со временем не изменилось, и в поэме это слово употребляется в его сегодняшнем значении чаще, чем это представляется некоторым исследователям. В эпоху Руставели чисто живописное значение этого слова было чрезвычайно распространено. В «Висрамиани» оно употребляется в том же значении. Об одном герое там сказано: «От тяжкой обиды цвет его лица стал шафран-

ным». Таким образом, в поэме Руставели слово «цвет» сплошь да рядом обозначает «краску» или же служит для определения оттенков драгоценных камней.

В «Витязе» мы наблюдаем слепящую игру самоцветов, виртуозное сочетание красок и мастерское владение цветом. В поэтических картинах Руставели чувствуется особая любовь к живописи, увлечение колоритом. Картины, нарисованные поэтом, многоцветны и перекликаются с красками, запечатленными на тигровой шкуре, и со всем колоритом природы. Через посредство драгоценных камней — изумруда, бирюзы, рубинов, яхонтов и других самоцветов — в поэму врываются синий, голубой, зеленый, белый, красный и желтый цвета — то существующие независимо друг от друга, то сливающиеся в яркое сияние. Это живописное видение мира пленяет читателя и дает ему уверенность, что добро непременно победит. Распределение цветов в поэме и весь ее живописный колорит основаны на гамме цветов, отраженных на тигровой шкуре, и потому поэма Руставели представляется нам в первую очередь своеобразной симфонией красок.

Созданный поэтом мир, расцветенный подобно шкуре тигра, — показатель его оптимистического мировоззрения. Если в творении Гомера щит Ахилла — символ частей, составляющих мир в представлении тогдашних людей, то в творчестве Руставели шкура тигра — метафорическое изображение мира, исполненного животворящих красок. Как уже было сказано, метафоричность одежды Таризла — одновременно двойник красоты Нестан и отблеск природы, отражение существующих в ней красок. Такое толкование одежды Таризла дает нам возможность выявить в поэме традиции античности, оно еще раз подтверждает, что философия Руставели перекликается с эллинистическим художественным мышлением.

Таким образом, развивающаяся в недрах живой многокрасочной природы любовь Таризла и Нестан отмечена первозданной красотой. Героям свойственна непосредственность чувств, искренность и сила переживаний. Согласно взглядам Руставели только с помощью непритворной и чистой любви можно проникнуть во все уголки души человеческой, постичь самое сокровенное, увидеть ее красоту. Только природой освященная любовь награждена непо-

средственной, сильной, первозданной красотой.

Слезы у героев Руставели вовсе не говорят об их слабости и душевном упадке. В «Илиаде», в «Шах-Наме» и «Витязе» герои плачут, чтобы показать ту духовную энергию, которую они еще не истратили по ходу действия. Плач в поэме — показатель непосредственности и силы характера. Доверившись природе вычитать закон, прокладывающий им путь в этом мире. Они любят предметы и вещи, как явления, раскрывающие характерные черты действительности. Если Таризл считал тигровую шкуру отражением прелести Нестан, то самой Нестан подаренная возлюбленным вуаль напоминает о милome. Нестан, изгнанная своей воспитательницей Давар и перенесшая, подобно Одиссею, множество испытаний на суше и на море, заключенная в Каджетскую крепость, не растает с вуалью, подаренной Таризлом. Вуаль значит для нее то же, что тигровая шкура для рыцаря.

Пишешь ты, что знак любви я послать ему
должна.
Шлю ему кусок вуали, тяжелой горести
полна.
Та вуаль отбита милым у хатавов, и она,
Всюду странствуя со мною, как судьба моя
черна, —

пишет Нестан из Каджетской крепости Фатьме. В послании к Таризлу Нестан еще более нежно, интимно говорит о его подарке: «Шлю тебе кусок вуали — это чудо из чудес». Она посылает возлюбленному край вуали как память о встречах и любви, как частицу счастливой поры любви. Так герои Руставели одушевляют предметы и ищут в природе отзвук и отблеск красоты любимого существа. Если Таризл нашел в природе образ, уподобляемый им Нестан, то для самой Нестан превыше всего в мире — солнце. Подобно философам античности, Нестан представляет солнце главной живительной силой, а любовь — высочайшим из чувств, которое исходит от солнца. Таризл, по убеждению Нестан, неотъемлемая часть солнца. «Без тебя не светит солнце, ибо ты — его частица», — пишет она своему рыцарю.

Драматическое развитие чувства любви выражено в поэме вполне реалистически, и грузинскому поэту не приходится поить своих героев заколдованным любовным зельем, чтобы завлечь их в сети любви.

перед нами как прекрасные, гармонически развитые существа. Руставели вскрывает внутреннюю жизнь героев, как опытный хирург. Не менее искусно рисует он и женскую красоту.

Поэт увлечен игрой драгоценных камней и самоцветы всех родов использует для создания женских портретов. Дорогими камнями и диковинными тканями украшены в поэме образы Нестан и Тинатин. Умелым распределением света и тени поэт мастерски оживляет картину и таким образом представляет читателю предмет любви своих героев. Все это реализовано и в сцене свидания Автандила с Тинатин, в описании красоты Тинатин:

Грудь заботливо ей кутал мех прекрасный
горностая,
С головы фата спадала, тнанию сладостной
блистая,
Мрак ресниц впивался в сердце, словно
черных копий стая,
Шею локоны лобзали, с плеч коса вилась
густая.

И далее:

И луна в ее блистанье проклинала свой удел.

А прелесть Нестан разлита по всей поэме подобно лунному свету, и ее красота встает как светило над всем миром, воссозданным в поэме:

«Я ее увидел косы и не мог не подивиться.
Что могло на белом свете с красотой ее
сравниться!
Перед блеском этих молний потускнела б и
денница»,—

рассказывает Фридон, очарованный красотой Нестан. Раб усиливает в своем рассказе впечатление от красоты Нестан, явившейся среди мрака ночи:

«Все лицо его в тумане, точно молния
сверкало.
Это дивное виденье всю окрестность озаряло.
И хотя едок учтивым не старался быть
нимало,
Он склонял свои ресницы, как агатовые
жвала».

Стыдливость и скромность тенью ресниц прикрывает лица Тинатин и Нестан, и они оживают в поэме, как драгоценные камни в руках волшебника.

Духовный мир героев раскрыт в поэме с помощью богатейшего арсенала поэтической образности. Часто поэт с драматической на-

пряженностью начинает любовную сцену, а затем переходит на лирический монолог, прибавляет тем самым новые краски к описанию вечного чувства. За лирическим монологом следует песнь героя или же общая картина мира, и так создается несравненный гимн в честь любви.

...Если в изображении любви Руставели многокрасочен и возвышен, то таков он и в характеристике дружбы героев. Удивителен тот поэтический накал, благодаря которому рождаются самые неожиданные сочетания красок и чувство дружбы является нам все в новых и новых обличьях. Получив послание Нестан и лоскут ее вуали, Автандил спешит к Тариэлу. Погруженный в раздумья о судьбе друга, Автандил видит пещеру — укрытие миджура:

Увидав вдали пещеру, он сказал: «Мой друг
любимый
Здесь живет вдали от мира, лютым
пламенем палимый.
Мой рассказ его излечит от болезни
нестерпимой.
Если ж нет его на месте, что я сделаю,
гонимый?»

Далее: «Громко кликал он собрата, чтоб свое поведать дело».

Завидев друг друга, друзья «скрестили выи», «и, открывшись, роза розе сладостный привет». «Сладостный привет» (дословно «голос стал подобен сахару») придает встрече витязей особый оттенок. Таким неожиданным сравнением Руставели достигает тонкой передачи внутреннего состояния героя и создает нюансированную художественную картину.

Тариэл — обезумевший миджур, отвергнутый в отчаяние потерей возлюбленной, казалось бы, он не в силах оказать другу особое внимание, но вспомним, как самоотверженно он сражается с недругами Фридона. А если вспомнить, с какой любовью в своем рассказе Автандилу говорит он о доблести Фридона, станет ясной верность Тариэла в дружбе. Тариэл же говорит Тинатин: «Твой супруг — мой брат названный», и он всегда готов подтвердить свою преданность другу. Автандил и Фридон и вовсе далеки друг от друга, но из любви к Тариэлу они делаются преданнейшими друзьями и одинаково переживают сердечные невзгоды витязя. Дружеским союзом трех героев Руставели побеждает зло, утверждает добро.

Мы не должны забывать, что три витязя — представители разных народов. Каждый из них гордится красотой и мощью своей державы. У Руставели с большой любовью описаны разноплеменные герои, словно самородки, вышедшие из недр родной земли. Описывая, как Автандил привел друга в чувство, поэт пишет: «Таризл очнулся, шевельнулись ресницы — отряд племени индов». Здесь Руставели не только характеризует красоту Таризла, но и представляет ее читателю как пластическое выражение военной мощи Индии и силы индийского народа.

Чувства дружеские углубляют чувства патриотические. У героев — сыновей разных народов — рождается общая цель — освобождение Нестан из Каджетской крепости, уничтожение злых сил на земле. Такое изображение чувства дружбы трудно найти в литературе того времени, характеризующейся изощренным украшательством. И с этой стороны трудно обнаружить параллели «Витязю» как в восточной, так и в западной литературе. Правда, Тристан нашел себе друга в чужом краю, но по сравнению с дружбой, описанной у Руставели, их отношения бледны и бесцветны. Не столь совершенна и дружба Роланда с Оливером в «Песне о Роланде», ибо дружба в «Витязе» не только программа действий и основа земного бытия героев, но этим благородным чувством пропитана вся поэма, являющаяся бессмертным гимном дружбе. Руставели демонстрирует отношения своих героев в битве, любви, на пиру; их дружба значительно многообразнее и общечеловечнее, нежели братство, изображенное во французском эпосе. Объединенным чувством дружбы, герои Руставели берут неприступные крепости и грядущим поколениям завещают самоотверженную любовь к ближнему.

Надо другу ради друга не страшиться
испытаний,
Откликаться сердцем сердцу и мостить
любовью путь,—

говорит поэт, и это не просто лирический возглас идеального рыцаря, это программа действий, выработанная в результате мудрых наблюдений над жизнью.

Как уже было сказано, дружба, изображенная в «Витязе в тигровой шкуре», является жизненной философией Руставели. Дружба — не просто интимное чувство,

она — орудие переделки мира. Духовные устремления поэмы Шота Руставели противопоставляются церковной литературе того времени. В духовных писаниях вмешательством бога, а чаще — во имя бога вершились благие дела, то есть в победе добра над злом человеку непременно нужна была божья помощь. У Руставели же преимущество отдано людям, которые говорят «благие дела» без божьего вмешательства. Таким образом, Руставели поднял человека на высочайший нравственный уровень и почти исключил промысел всевышнего из причин героических подвигов. По убеждению поэта, человек — существо высокоорганизованное, он сам — бог в природе и способен облагородить мир, насаждая в нем высокие человеческие качества с помощью просвещения и образования, сделать земную жизнь более совершенной, нежели мир потусторонний. Шота Руставели — проповедник народного гуманизма, его стремления направлены к улучшению жизни. По его утверждению, божественное таится в душе человека. Пример тому — подвиг трех героев, воссозданных искусной рукой мастера, объединенных дружбой, взявших Каджетскую крепость, освободивших «светило, плененное драконом», вернувших природе ее красу.

Рост государственной мощи Грузии в XII веке, расширение культурного горизонта и распространение рыцарского культа должны были явиться почвой для гениального творения Руставели.

Во времена Руставели рыцарство вошло в быт, что должно служить для нас показателем высокого культурного уровня Грузии той поры. «Нравы и обычаи [рыцарские], победы и успехи отцов и дедов за границей, поощрение всяческой доблести и развитие искусства ратного...», по свидетельству летописца, были характерны для эпохи царицы Тамар.

Рыцарский культ, выработанные в ту эпоху физические и нравственные устои оказали на творческий гений Руставели большое влияние. На основе этой высокой культуры Руставели сумел создать роман в стихах обобщающего значения и тем самым опередил самых передовых поэтов средних веков и раннего Возрождения. В полных жизни обаятельных образах по-

эт изобразил новый мир и необычайно обогатил духовную культуру грузинского народа. Развернутые в поэме принципы дружбы, любви и доблести следует искать в условиях усилившейся в XII веке грузинской государственности.

Если дружбу и любовь поэт обрисовал с психологической убедительностью и счит ее основой гармонии бытия, не меньшее мастерство и вдохновение проявил он, описывая и воспевая героические подвиги. В том же завещании Автандила начертана программа действий для рыцарей, дана характеристика их качеств и обязанностей. Герой, как рыцарь и проповедник рыцарства, в афоризмах, четких, словно резной орнамент, подводит итоги: «Лучше славная кончина, чем постыдное спасенье». (В другом переводе: «Лучше смерть, но смерть со славой, чем бесславных дней позор.») Позоря трусость, он возглашает, чтоб слышали его и последующие поколения:

Есть ли кто презренней труса, удрученного
борьбой.
Кто теряется и медлит, смерть увидев пред
собой?
Чем он лучше слабой пряжи, этот воин
удалой?
Лучше нам гордиться славой, чем добычею
иной.

У героев Руставели — целый рыцарский кодекс. Выходя на арену жизни, они поступками своими подтверждают свои взгляды. Слава и доброе имя для витязей обязательны, но они должны быть результатом подвигов и добрых дел. Долг рыцаря, по мнению Руставели, — бескорыстная любовь к ближнему и борьба за победу добра на земле. Витязь должен быть бесстрашным и всегда готовым встать на защиту отечества, — перед возлюбленной он должен проявить свое мужество. Поэтому Автандил осмеливается состязаться в охоте со своим воспитателем, Тариэл сражается с хатайцами, чтобы продемонстрировать доблесть перед Нестан и выполнить воинский долг перед родиной.

Героизм — основа полноценной жизни. И герои Руставели в поэме смолоду действуют героически. Автандил побеждает Ростевана. Тариэл при первом же появлении расправляется с двенадцатью слугами, пушенными за ним в погоню, и так исчезает. С Фридоном мы тоже знакомимся в тот момент, когда он, раненный, скачет по берегу

моря, «издавая гордый клич». Герои в «Витязе в тигровой шкуре» вступают в жизнь с боевым кличем, и автор сохраняет им героические черты на протяжении всей поэмы. Каждый из действующих лиц при появлении подтверждает свое рыцарское звание делом и откликается на призыв Автандила: «Лучше нам гордиться славой, чем добычею иной». Добыв славу, Тариэл как бы летит на своем коне по пространству всей поэмы и оставляет за собой героические дела, словно следы от копыт скакуна. Автандил находит его, следуя по этим следам.

Герои «Витязя в тигровой шкуре» любят вспоминать свое прошлое. Тариэл с гордостью вспоминает подвиги, совершенные им в юности, и с большим воодушевлением рассказывает Автандилу о битве с хатайцами:

—Увидав густые толпы, прямо к ним
рванулся я.
«Он безумец!» — закричали люди, в грудь
себя бия.
Я пронзил передового, но сломал конец
копья.
Меч! Хвала руке, которой сталь наточена
твою!

Но не только свои подвиги любит вспоминать Тариэл — восторженно рассказывает он Автандилу о героизме Фридона:

Мне понравилась в сраженье доблесть юного
героя:
Храбр — как лев, лицо — как солнце, стан —
как дерево алоэ.

Наряду с мужеством и отвагой Руставели наделяет своих героев и внешней привлекательностью. Поэт не любит выдвигать на передний план уродливых людей и тратить на них краски. Внешнюю красоту героев поэт передает изысканными и сдержанными средствами. Часто поэт обращается к описанию, чтобы передать внешность героя:

Сын вельможи — полководца, сам
прославленный спасет,
Автандил — военачальник был в расцвете
юных лет.
Стройный станом, почитался он соперником
планет...

Внешность Тариэла изображена пластическим приемом, она дана в удивительном освещении:

Стройный станом незнакомец тихо двигался
в тумане.
Лик его светился светом, конь ярился, как
Мерани...

Или же:

Тариэл открыл зеницы и увидел вновь
спасета,
Луч луны казался синим в блеске
солнечного света.

А о Фридоне подданные его говорят:

Нурадин-Фридон отважный правит в этой
стороне,
Витязь щедрый и бесстрашный, горделивый
на коне.
Никакой ему противник не опасен на войне.
Нам он с самого рожденья светит с солнцем
наравне.

Воистину прекрасными описаны герои поэмы, но красоту свою они выражают действиями, проявляют красоту — в рыцарских подвигах и отваге. Все три героя наделены внешней привлекательностью, красота их расстилается по всему повествованию, словно «солнце по равнине». Каждый из них — носитель особых черт, присущих его стране, и все втроем они безо всякой риторичности проповедают необходимость дружбы между народами. Единение этой троицы — залог победы добра над злом.

Появление витязей у стен Каджетской крепости написано непревзойденно. Автор сам восхищен достоинствами своих героев, он говорит нам:

Видел этих я героев, лучезарных, как
светило.
От семи планет небесных к ним сиянье
нисходило.
Вороной под Тариэлом в нетерпенье грыз
удило.
Как сердца они сжигали, так оружие их
грозило.
Этих витязей отважных с горным я сравню
потоком:
После яростного ливня мчит в ущелье он
глубоком,
И ревет он, и грохочет, и, уже не зримый
оком,
Успокоенный, смолкает только на море
широком.

Шота Руставели — великолепный мастер батальных сцен. Как мастер стиха, он блестящий эвфонист, и эвфоническую обработку строки он превосходно использует в батальных сценах. Строки Руставели, стремительные, как реки, сорвавшиеся с горных круч, с рокотом влекут нас на поле брани. Такова оркестровка картины битвы за Каджетскую крепость:

В скакуна вонзая шпоры, под веселый свист
кнута,

Каждый бросился к воротам под прикрытием
щита.
Стража пала бездыханной, не успев закрыть
ворота.
Бил набат, ревели трубы, начиналась суета.

Женщины Руставели вменяют в обязанность своим миджнурам героические подвиги и требуют подтверждения любви доблестными делами. Нестан пишет Тариэлу:

Жалкий обморок и слабость — их ли ты
зовешь любовью?
Не приятней ли миджнуру слава, купленная
кровью?

Далее она наставляет его:

Вот совет тебе разумный: объяви войну
хатавам,
Заслужи почет и славу в столкновении
кровоавом.

Тинатин, убежденная в героизме Автандила, гордится им:

Ты, во-первых, славный воин, одаренный
духом львиным.

Именно поэтому считает Тинатин, что Автандил должен еще больше проявить себя и отыскать неизвестного витязя в тигровой шкуре. Женщины в поэме назначают рыцарям своего рода испытания, и те с радостью выполняют задания, полученные от возлюбленных. По убеждению руставелевских героинь, первый шаг долг витязя — любовь к родине и готовность положить ради нее голову. Нестан, заключенная в Каджети, терзаемая любовью, не забывает об отечестве и вместе с любовными переживаниями сообщает Тариэлу о разорении Индийского царства. Она просит миджнура поспешить в Индию, дабы вернуть царству былое величие. Витязи также исполнены сознания важности своего гражданского долга. Все трое — горячие патриоты своих стран, и во всех троих зарождается единое желание добиться победы доброго начала. Герои Руставели — обладатели возвышенного патриотизма, взаимные дружеские чувства они подтверждают верностью друг другу. Это одна из основ, на которых зиждется гуманизм Руставели.

Было бы ошибкой думать, будто герои Шота Руставели — немудрящие дети природы, здоровые и сильные, и будто героизм их вытекает только из их физических возможностей. Это вовсе не так. Они — искусные воины, снаряженные лучшим для свое-

го времени оружием, прекрасно владеющие ратным делом, каким оно было в XII веке. Сами они вносят в военное дело свою долю, изучают боевое искусство арабов и греков. В сражении они обнаруживают удивительную проницательность, сноровку и знание военной стратегии в целом. Военная подготовка героев Руставели и их вооружение не ниже военного опыта и оружия рыцарей средневековой Европы. Достаточно вспомнить совет витязей перед взятием Каджетской крепости. В этом совете особенно выделяется Тариэл. При приближении к Каджети перед ним раскрывается арена действий, дающая возможность проявить себя перед возлюбленной. Он оказывается проницательнее своих друзей. Его предложение — внезапно с трех сторон напасть на крепость — принято, и объединенными усилиями герои берут замок и находят Нестан: «Луна, устремившаяся к солнцу, от дракона спасена». Витязи освобождают Нестан и возвращают земле плененное светило. Так герои похищают у темных сил красоту природы — Нестан — и украшают земное бытие.

По представлению Шота Руставели, в мире идет борьба светлых и темных сил. Передовые люди общества стремятся к уничтожению зла и утверждению человеческого благоденствия. Для поэта человек — венец природы, повелевающий ею и украшающий ее. Поэт — поклонник творческого начала в людях. Освобождение Нестан — утверждение могущества человека. Так раз-

вязывается драматический узел поэмы и начинается торжество победителей. Поэма — песнь о рыцарях, об их дружбе и доблести, мужестве и внешней красоте.

Внутренние духовные устремления поэмы и отраженные в ней общественные идеалы характерны для Ренессанса и проникнуты истинным гуманизмом. Ее художественные принципы — новаторские, а художественное мышление Руставели в целом предвосхищает поэзию — эпическую и лирическую — эпохи Возрождения.

...Поэма Шота Руставели в целом — образец поэтического совершенства. Поэт четко выразил передовые идеи своего времени и благородные чувства запечатлел в бесподобных поэтических образах. Он первый выявил неисчерпаемые богатства грузинского языка и, виртуозно владея поэтическим чоганом¹, создал нерукотворное чудо. Поэтому строки «Витязя в тигровой шкуре» пережили века, покорили поэтов следующих поколений, стали нестареющим оружием в борьбе с любым мракобесием и регрессом. «Витязь в тигровой шкуре» — выражение богатой души грузинского народа, доказательство его благородства, достояние его духа и показатель универсальности его природы, вечная песнь о любви, дружбе и героизме.

*Перевод с грузинского
А. Беставашвили.*

¹ Ч о г а н — ракетка для игры в мяч.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ДЕМЕНТЬЕВ

★

НА ПЕРВОМ СЪЕЗДЕ ПИСАТЕЛЕЙ

По страницам стенографического отчета

Закрывая Первый съезд советских писателей, А. М. Горький сказал: что следует обработать «огромнейший и ценнейший материал выступлений на съезде», дабы он и в дальнейшем служил всесоюзной литературе. Обращение к опыту Первого съезда советских писателей особенно своевременно в связи с предстоящим Четвертым съездом писателей Советского Союза.

Публикуя обзор «На Первом съезде писателей», мы надеемся, что он привлечет внимание читателей «Нового мира», тем более что стенографический отчет съезда является библиографической редкостью и стал труднодоступен.

I

Первый Всесоюзный съезд советских писателей начал свою работу 17 августа 1934 года. Вступительную речь произнес А. М. Горький, появление которого на трибуне было встречено овацией. «С гордостью и радостью открываю первый в истории мира съезд литераторов Союза советских социалистических республик, обнимающих в своих границах 170 миллионов человек», — сказал Горький под бурные аплодисменты делегатов съезда.

С чувством гордости и радости выступали на съезде и другие писатели. Многие делегаты говорили о грандиозных переменах, которые произошли в стране со времени Октябрьской революции и сражений гражданской войны до победоносного шествия пятилеток, о величии социалистического социализма.

«Товарищи, — говорил Л. Леонов, — нам дано удивительное счастье жить в самый героический период мировой истории. Я отваживаюсь повторить это, уже произнесенное здесь, не только потому, что повторение есть самая сильная из риторических фигур, но и потому, что это самая существенная предпосылка ко всякому выступлению с этой трибуны в эти торжественные дни. От-

сюда вытекают и наши обязанности, и наши права, и наша гордость, и трудности наши, и наше будущее гражданское удовлетворение, что в конце концов мы одолеем эти трудности... Наш возраст позволяет нам надеяться, что мы еще будем свидетелями очень больших событий. Этот век, может быть, самый емкий исторический период из всех, через которые проходило человечество. На наших глазах будут образовываться все новые советские республики, в грозе и буре будет просыпаться самосознание колониальных стран, будут создаваться все более совершенные формы человеческого общежития.

Товарищи, мы еще будем участниками мировых конгрессов социалистической литературы, которые уже не уместятся в этом зале. В том большом доме, где мы встретимся еще не однажды, мы будем пожимать руки делегатов Африки, Австралии, Южной Америки. На повестке дня будут стоять уже не только вопросы, трактующие рождение нового человека, но и вопросы могущественной борьбы со стихиями, все большего расширения деятельности человека в космосе.

Наш век — это утро новой эры. Но эта наша песенная пора, юность мира, когда народы только начинают вступать в великое

социалистическое русло, не повторится больше никогда».

Были и другие причины для радости и гордости. Съезд с необычайной наглядностью показал, как изменились в результате революции отношения между литературой и читателями, писателями и народом. Съезд продолжался пятнадцать дней, и каждый день у подъездов Дома союзов собиравались большие толпы москвичей. Сквозь плотные ряды трудно было пробраться. Читатель-друг, о котором страстно мечтали дореволюционные писатели, следил за работой съезда с интересом и вниманием. Двадцать пять тысяч читателей посетили съезд. Все это производило неизгладимое впечатление не только на иностранных гостей. Грузинский поэт Паоло Яшвили сказал: «Многие ораторы отмечали радость, которую Москва — столица нашего Союза — испытывает в эти дни. Я сам наблюдал эту радость в трамвае, на улице, в кафе, на заводе, на фабрике — всюду говорят о писателях...

Товарищи, если говорить о радости народа, то позволите говорить и о радости писателей. Сегодня, сдавая телеграмму на главном телеграфе, я заметил необычайную улыбку той, которая принимала телеграмму. Она мне сказала: «Вы — писатель?» Я немного смутился, но не нашел нужным скрыть свое родное ремесло. «Удивительно, — сказала она, — за последние дни телеграммы очень похожи друг на друга. Писатели пишут своим родным, женам, детям все одно и то же, — они пишут о той большой радости, которую они все испытывают на съезде».

А если это так, то со дня сотворения мира не было случая, чтобы столько писателей радовались вместе.

Мы все чувствуем огромное внимание, которое нам оказывает наша страна».

От Центрального Комитета ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров СССР съезд приветствовал А. А. Жданов. С приветствиями на съезде выступали делегации донецких шахтеров, рабочих крупнейших московских заводов, колхозного крестьянства, Красной Армии и флота, железнодорожников и метростроевцев, инженеров и учителей, ученых и студентов, бывших политкадетов, старых большевиков и пионеров.

«Перед литераторами Союза социалистических советов встала вся страна, — встала

и предъявила к ним — к их дарованиям, к работе их — высокие требования», — сказал Горький в заключительном слове.

О том, как воспринимали эти встречи и приветствия делегаты съезда и какая атмосфера царила на съезде, можно судить по выступлению Б. Пастернака. «Двенадцать дней я из-за стола президиума вместе с моими товарищами вел со всеми вами безмолвный разговор, — сказал он. — Мы обменивались взглядами и слезами растроганности, объяснялись знаками и перекидывались цветами. Двенадцать дней объединяло нас ошеломляющее счастье того факта, что этот высокий поэтический язык сам собою рождается в беседе с нашей современностью, современностью людей, сорвавшихся с якорей собственности и свободно реющих, плавающих и носящихся в пространстве биографически мыслимого.

Среди нас есть члены с решающим и совещательным голосом и гости, проходящие по билетам.

Поэтический язык, о котором я вам напомнил, звучал здесь всего сильнее в выступлениях людей с наиболее решающим голосом — гостей без билетов, членов делегаций, нас посещавших. Поэтический язык во всех этих случаях достигал такой силы, что раздвигал границы действительности и уносил в ту область возможного, которая в социалистическом мире есть вместе с тем и область должного. Тогда пионеры из детей вообще превращались в ваших собственных, и вы открывали переливы вашего собственного голоса в словах курсанта Ильичева».

Праздничная атмосфера царила на съезде еще и потому, что со времени Октября советскими писателями была создана новая литература, какой не знало человечество, литература с новым содержанием, новым героем. Это было настолько очевидно, что не требовало перечислений имен и произведений в докладах и содокладах или в специально подготовленных «материалах».

Первый же выступивший в прениях оратор, грузинский прозаик М. Джавахишвили сказал: «...Мы должны отразить в литературе новый мир, нового человека и создать новый стиль. «Стиль советик» уже существует — это неоспоримый факт, признанный всем буржуазным миром. В этом отношении мы уже достигли очень крупных успехов».

Эту мысль развивали и другие ораторы.

«...Белинский был прав, когда в 1834 г. писал, что «у нас нет литературы». Но прав

и наш съезд, когда утверждает, собственно говоря — просто констатирует, что у нас есть своя, советская художественная литература — разноплеменная, если употреблять выражение Алексея Максимовича, разноязычная, но не разноголовая... — говорил на съезде И. Луппол. — Советская литература властно заняла свое особое, специфическое место во всей мировой литературе».

«...Мы стали большой силой, — заявил А. Фадеев. — Если бы мы не были такой реальной силой, то тогда бы мы не встретили такого исключительно теплого внимания, такой любви миллионов масс рабочих и колхозников, которой они окружили наш съезд».

«Это десятилетие дало литературе не меньше, чем любое десятилетие в любой стране, но ни над одним десятилетием не реяло молодое знамя коммунизма, какое веет над нами и над нашей литературой», — сказал Вс. Иванов.

Ни А. Фадеев, ни Вс. Иванов, ни другие делегаты съезда, разумеется, не утверждали, что у нас появились свои Пушкины и Львы Толстые, Шекспир и Бальзаки. Главное достижение советской литературы они видели в том, что сформировались ее особые черты и принципы, определилось ее идейно-художественное направление — социалистический реализм. Становление и утверждение советской литературы на путях социалистического реализма действительно было ее важнейшим успехом.

Здесь необходимо сделать некоторое отступление.

Известно, что среди литературоведов буржуазных стран распространено мнение, что социалистический реализм будто бы навязан советской литературе «сверху» как некая директива. Сошлемся для примера на объемистую книгу «Советские литературные теории 1917—1934 годов. Происхождение социалистического реализма», выпущенную в 1963 году в США Калифорнийским университетом и принадлежащую перу некоего Германа Ермолаева. Как и его учитель Г. Струве и другие американские «кремленологи» и «советологи», Г. Ермолаев утверждает, что социалистический реализм — это свод политических указаний, а не литературное явление, что он был провозглашен и предписан литературе Коммунистической партией.

Однако рассуждения Г. Ермолаева ли-

шены убедительности. Понятие «социалистический реализм» обобщало реальные особенности нашей художественной литературы, выявившиеся в творчестве Горького и Маяковского, Серафимовича и Фурманова, Вс. Иванова и Фадеева, Тихонова и Багрицкого, А. Толстого и Шолохова. Иначе говоря, еще до своего теоретического определения социалистический реализм на практике был основным методом советской литературы.

Да и само понятие «социалистический реализм» не было результатом чьего-либо единоличного открытия и явилось не сразу, а в результате довольно длительных исканий и литературных дискуссий. Известно, как много почти с первых своих шагов в литературе размышлял об особенностях литературы пролетариата и возможности синтеза реализма и романтизма Горький. Известно и то, что многие наши писатели и критики стремились найти определение, которое отразило бы главные особенности советской литературы, ее новаторство. Большинство сходилось на том, что основное направление советской литературы — реализм, то есть правдивое отражение действительности. При этом, желая определить новое качество реализма в советскую эпоху, А. Луначарский называл его «социальным», А. Толстой — «монументальным», В. Маяковский — «тенденциозным», Ф. Гладков и Ю. Либединский — «пролетарским». Появились термины: «революционный реализм», «героический реализм», «романтический реализм», «диалектический реализм» и т. п. Все эти определения в той или иной мере нащупывали и обобщали реальные черты советской литературы.

Таким образом, определение «социалистический реализм» выражало то, к чему уже подошли советская литература и критика к тому времени, когда образование Союза советских писателей и объединение всех советских писателей в единую организацию потребовало общей творческой платформы. Рапповский лозунг «за диалектико-материалистический метод в искусстве» подвергся справедливой критике, так как он не учитывал эстетической природы литературы и не соответствовал запросам советского литературного движения. С весны 1932 года вопрос о творческой платформе советских писателей, о художественном методе советской литературы стал предметом активного обсуждения на встречах

у Горького, в Оргкомитете Союза писателей, на совещаниях с писателями в Центральном Комитете партии. В результате и возникло определение: «социалистический реализм». Творчество Горького, достижения и опыт всей советской литературы дали убедительный материал для решения вопроса. Опорой служила материалистическая эстетика Маркса, Энгельса, Ленина. Как известно, Маркс и Энгельс отстаивали в литературе реализм, говорили о том, что литература будущего достигнет соединения «осознанного исторического смысла... с шекспировской живостью и действительностью», а Ленин, высоко ценивший правду в искусстве, утверждал, что свободная литература, которую создаст пролетариат после своей победы, будет проникнута идеей социализма и станет служить массам трудящихся. И именно потому, что определение «социалистический реализм» обобщало реальные, выжившие на практике черты советской литературы и было достигнуто в процессе коллективных теоретических исканий, оно получило одобрение со стороны писателей и завоевало широкое признание.

В принятом Первым съездом «Уставе Союза советских писателей» говорилось:

«За годы пролетарской диктатуры советская художественная литература и советская литературная критика, идя с рабочим классом, руководимые коммунистической партией, выработали свои, новые творческие принципы. Эти творческие принципы, сложившиеся в результате, с одной стороны, критического овладения литературным наследством прошлого и, с другой стороны, на основе изучения опыта победоносного строительства социализма и роста социалистической культуры, нашли главное свое выражение в принципах социалистического реализма».

Нужно сказать, что единство советских писателей на общей основе социалистического реализма было достигнуто не сразу и не легко.

В двадцатые годы среди советских писателей были люди, сомневающиеся и колеблющиеся, предпочитающие быть сторонними наблюдателями, а не участниками революционной борьбы, защищающие аполитизм и беспартийность искусства. Постепенно под воздействием успехов социалистического строительства, под влиянием идей и политики партии эти писатели все решительнее

переходили на позиции советской власти, все сознательнее и активнее включались в борьбу за построение социализма. Выступления некоторых ораторов на съезде дают об этом весьма яркое представление.

«Я утверждаю,— говорил Вс. Иванов,— что все без исключения подписавшие и сочувствовавшие декларации «Серапионовых братьев» — против тенденциозности — прошли за истекшие 12 лет такой путь роста сознания, что не найдется больше ни одного, кто со всею искренностью не принял бы произнесенной т. Ждановым формулировки, что мы — за большевистскую тенденциозность в литературе».

«В моей жизни я много раз ошибался,— заявил И. Эрэнбург.— Вполне возможно, что я ошибаюсь и теперь. Мне трудно себе представить путь писателя как ровное, гладкое и хорошее шоссе. Одно для меня бесспорно: я — рядовой советский писатель. Это — моя радость, это — моя гордость».

«Да, у многих из нас был длительный период перестройки, задержавший нас,— сказал В. Луговской.— Но я горжусь тем, что прошел через этот суровый, трудный период. Он дал мне простор чувства и ясность мироощущения. Он творчески привел меня к чувству ответственности и партийности в литературе, привел не только политически, но и поэтически. И здесь уместно будет сказать, что партийности в поэзии, в самой человеческой лирике только увеличивает во много раз силы и возможности поэта».

Большое впечатление произвела на делегатов съезда речь Ю. Олещи, который с потрясающей искренностью рассказал о том, как его сознанием овладела мучительная тема нищего, никому не нужного, жалкого, одинокого человека, и как он преодолел и страдания и сомнения и стал молод: «...вырос во мне ужасный образ нищеты, образ, который меня убивал. А в это время молодела страна... Мир стал моложе. Появились молодые люди. Я стал зрелым, окрепла мысль, но краски внутри остались те же. Так произошло чудо, о котором я мечтал... Так ко мне вернулась молодость».

Социалистический реализм и единство советских писателей в процессе своего утверждения должны были преодолеть и еще одно препятствие — существование в советской литературе обособленных, враждующих

щих между собой объединений и группировок. В двадцатые годы все советские писатели разделялись на «пролетарских писателей», «попутчиков», «крестьянских писателей». Но очень скоро это разделение утратило всякий смысл. Сами понятия эти лишились содержания и устарели. «Попутчик» Маяковский с полным основанием протестовал: «Я считаю себя пролетарским поэтом, а пролетарских поэтов ВАПП — себе попутчиками». Тем более изжили себя различные замкнутые, узкие литературные группировки. Их отношения между собой выродились в групповщину, в беспринципную грызню и склоку. Горький писал А. Халатову 30 сентября 1930 года: «Кружковщину, дробление на группы, взаимную грызню, колебания и шатания я считаю бедствием на фронте литературы... Мне кажется, что ЦК должен бы принять меры к прекращению излишнего и вредного шума... Нужно созвать «врагов» под одну крышу и убедить их в необходимости строгого единства». Неоднократно выступала с резкой критикой групповой замкнутости и разъединенности в литературе партийная печать.

Особенно большой вред литературе нанесла деятельность РАПП. В свое время партия помогала созданию и укреплению пролетарских организаций в литературе, и они играли положительную роль в борьбе с чуждыми идеями и теориями. Но в литературно-политической линии РАПП все сильнее обозначались серьезнейшие ошибки и недочеты. Руководители РАПП подменили идейное руководство литературой администрированием, сектантством, сведением групповых счетов, расправами над литераторами. Печально известные «лозунги РАПП» носили, как правило, вульгарно-социологический и схоластический характер.

Двадцать третьего апреля 1932 года ЦК ВКП(б) вынес постановление «О перестройке литературно-художественных организаций» — о ликвидации РАПП и создании единого союза «всех писателей, поддерживающих платформу Советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве». Постановление имело поистине историческое значение и было с удовлетворением встречено писателями.

Когда собрался Первый съезд писателей, и групповщина и рапповщина были уже позади. «Литературное движение» пере-

стало зависеть от групповых перебранок, оно освобождено от случайных вымыслов полуграмотных людей в вопросах теории, выдававших свое невежество в марксизме и в литературе за последнее слово науки», — заявил на съезде П. Юдин в докладе об Уставе Союза советских писателей.

Объединение всех писателей, стоящих на позициях советской власти, было большой победой. Победа эта являлась тем более значительной, что речь шла не только о русских писателях, но и о писателях всех советских социалистических республик. Советская литература выступила на съезде как всесоюзная — единая в своем социалистическом содержании и многообразная по своей национальной форме.

На съезде, кроме русских писателей, присутствовали деятели литератур пятидесяти братских национальностей СССР. Они составляли почти две трети всего состава съезда. На съезде были заслушаны доклады об украинской, белорусской, грузинской, армянской, азербайджанской, узбекской, таджикской, туркменской, татарской литературах. Егише Чаренц сказал на съезде: «Самое знаменательное явление, раскрывшееся перед нами на настоящем съезде, это, на мой взгляд, доклады о национальных литературах, открывших перед нами многообразный, доселе неведомый для нас мир. Это один из самых крупных положительных результатов нашего съезда, все значение которого сейчас еще не может быть оценено в должной мере». То же самое можно было сказать и о многих выступлениях писателей братских республик.

Как литература дружбы и братства народов, литература революционная, литература социалистического реализма, советская литература завоевала мировое признание и приобрела мировое значение. Об этом свидетельствовали выступления иностранных гостей съезда. Их было на съезде более сорока человек, и среди них Арагон, Мальро, Жан-Ришар Блок, Альберти, Бредель, Незвал, Толлер, Джерманетто, Якуб Кадри, Костас Варналис, Мартин Андерсен Нексе, Гофмейстер, Новомеский и другие.

«Вековые литературные традиции научили нас искусству ловко и с легкостью делать различные трудные вещи: роман, пьесу, рассказ... — сказал Жан-Ришар Блок. — Вы, советские писатели, обладаете секретом, который один был бы равноценен

всем таким: секретом жизни... Почти все ваши книги переведены у нас и читаются с увлечением. Ваши имена так же знакомы, как имена лучших из нас. Мы восхищаемся и любим вас».

О сильном влиянии советской литературы говорили и писатели Азии. Японский писатель Хиджикато сообщил:

«Почти все значительные советские литературные произведения, как, например, все произведения М. Горького, «Железный поток», «Бронепоезд», «Бруски», «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Цусима» и т. д., уже переведены на японский язык, очень популярны и пользуются большой любовью у рабочих и крестьянских масс».

Как новый шаг в развитии искусства человечества была осмыслена литература социалистического реализма Луи Арагоном. «Советские писатели,— утверждал он,— заложили фундамент не только своей собственной работы, но работы тех писателей, которые во всем свете борются совместно с пролетариатом; фундамент настоящей материалистической литературы, единственной, которая может служить делу пролетариата и тем самым — всего человечества».

II

Первый съезд советских писателей вовсе не был, однако, лишь ярким праздником или политической демонстрацией. Атмосфера, царившая на съезде, не мешала обсуждению насущных вопросов художественного творчества. Выступления на съезде, как правило, были проникнуты сознанием исторической ответственности и отличались серьезностью и смелостью мысли.

Одним из важных вопросов, которого так или иначе касались многие делегаты съезда, был вопрос о полном преодолении рапповщины и новых отношениях, которые должны были сложиться в советской литературе после ликвидации «особых пролетарских организаций» с их теорией и практикой.

«Еще сохранились многие рапповские замашки,— говорила Л. Сейфуллина.— У нас есть писатели с заподозренной репутацией, и восстановление их писательских прав дается им иногда с большим трудом». Оснований для подобных сетований было более чем достаточно. Даже на съезде некоторые ораторы не могли удержаться от «рапповских замашек». Один из них отнес к разряду «двурушников» Остапа Вишню, другой

зачислил в лагерь «врагов» Н. Заболоцкого, третий призывал вскрыть «срывы и болезни» Маяковского, четвертый намекал на необходимость быть бдительными по отношению к таким поэтам, как М. Рыльский и Т. Табидзе, так как они сохраняют поэтические приемы из арсенала символической поэтики, что мешает им здраво и трезво воспринять объект своей поэзии.

В отдельных случаях на съезде звучали даже мотивы пролеткультовщины и комчванства. В. Бахметьев утверждал, что совсем не беда, «если мы не будем иметь гениев», что мы находимся на рубеже преодоления самого понятия писательства как профессионализма: «уже теперь мы имеем ряд замечательных произведений, созданных товарищами, еще не остывшими от пламени доменных печей». Ф. Березовский полагал, что «Анна Каренина» никак не может «помочь современной женщине в разрешении мучащих ее вопросов» и советским женщинам гораздо ближе его, Ф. Березовского, роман «Бабы тropy».

Однако подобные суждения не имели успеха на съезде, не делали на нем погоды. Съезд шел в ином, прямо противоположном направлении. Он выступил не только против политических наветов на писателей, но и против командования, администрирования и «вождизма» в литературе, бюрократизации и оказывания литературного движения. Съезд был проникнут духом гуманизма и стремился к демократизации литературных отношений.

Горький в своем докладе и выступлениях призывал истребить все остатки групповых отношений, которые, по его словам, «смешно и противно похожи на борьбу московских бояр за местничество — за места в боярской думе и на пирах царя ближе к нему... Надо,— говорил Горький,— встать выше мелких личных дрязг, выше самолюбий, выше борьбы за первое место, выше желания командовать другими,— выше всего, что унаследовано нами от пошлости и глупости прошлого».

Одной из наиболее зловердных болезней мешанства Горький считал «вождизм» — стремление возвыситься над окружающими, чтобы ими командовать, властвовать над ними. У нас, отмечал он, в качестве наследия мешанства «еще остались кое-какие прыщи, не способные понять существенное различие между «вождизмом» и руководством, хотя различие совершенно ясно: руко-

водство, высоко оценивая энергию людей, указывает пути к достижению наилучших практических результатов при наименьшей затрате сил, а «вождизм» — индивидуалистическое стремление мещанина встать выше на голову товарища, что и удается весьма легко при наличии механической ловкости, пустой головы и пустого сердца».

«Партийное руководство литературой должно быть строго очищено от всяких влияний мещанства... — утверждал Горький, — партийное руководство должно явить всем своим поведением морально авторитетную силу».

Весьма сурово отозвался Горький о литературной критике: «...Критика наша не талантлива, схоластична и малограмотна... пользуясь все одними и теми же цитатами из Маркса, Энгельса, Ленина, — критика почти никогда не исходит в оценке тем, характеров и взаимоотношений людей из фактов, которые дает непосредственное наблюдение над бурным ходом жизни... Из всех чужих мыслей, которыми пользуются критики, они, видимо, совершенно забыли ценнейшую мысль Энгельса: «Наше учение — не догма, а руководство к действию»... Критик не может научить автора писать просто, ярко, экономно, ибо сам он пишет многословно, тускло и — что еще хуже — или равнодушно, или же слишком горячо, — последнее в том случае, если он связан с автором личными симпатиями, а также интересами группки людей, заболевших «вождизмом», прилипчивой болезнью мещанства».

Критики касались на съезде и другие писатели. Слишком памятны были рапповские критические проработки, державшие писателей в страхе и трепете, и слишком важную роль могла сыграть критика в установлении новых, гуманных и здоровых литературных отношений. «Вместо серьезного литературного разбора, — сказал И. Эренбург, — мы видим красную и черную доски, на которые заносятся авторы, причем воистину сказочная легкость, с которой их с одной доски переносят на другую (*аплодисменты*). Нельзя, как у нас говорят, поднимать на щит писателя, чтобы тотчас же сбрасывать его вниз. Это не физкультура (*аплодисменты*). Нельзя допускать, чтобы литературный разбор произведения автора тотчас же влиял на его социальное положение. Вопрос о распределении благ не должен находиться в зависимости от литературной критики. Нельзя наконец рассматривать неудачи и срывы

художника как преступления, а удачи — как реабилитацию (*аплодисменты*)».

Н. Погодин говорил, что, за редким исключением, критические статьи о драматургии «написаны в наставническом тоне, в манере понукания», что критику характеризует «казенщина, чиновничий стиль». «Жив и продолжает жить вреднейший метод критики — неприкосновенность, — говорил Погодин. — Что это такое? Это значит: «Осторожно — окрашено». К данному писателю нельзя притрагиваться, потому что «осторожно — окрашено».

На практике в литературной жизни это выглядит, простите, некрасиво, неопрятно и — что хуже всего — никому не нужно».

Мысль о вреде неприкосновенности была поддержана С. Кирсановым: «Не имеет никакого смысла устройство заповедника, где бы, освященная «табу» — «Осторожно, не трогать!..», — находилась некоторая часть писателей, этакие священные животные. Очень вредно ограждать эти заповедники от всей литературы, где охота на диких зверей разрешена во всякое время года».

И «неприкосновенность», и любые другие тенденции антидемократического характера, проникавшие в литературу и вносящие в отношения между писателями мертвый дух казенщины, подверглись на съезде безусловному порицанию.

Горький в своем докладе пошутил: «Не следует думать, что мы скоро будем иметь 1500 гениальных писателей. Будем мечтать о 50. А чтобы не обманываться — наметим 5 гениальных и 45 очень талантливых. Я думаю, для начала хватит и этого количества».

М. Кольцов подхватил шутку Горького, заострил ее, и она приобрела оттенок, отразивший характерные для съезда умонастроения: «Я слышал, что в связи с тем, что Алексей Максимович открыл 5 вакансий для гениальных и 45 для очень талантливых писателей, уже началась дележка (*смех, аплодисменты*)».

Кое-кто осторожно спрашивает: а как и где забронировать местечко, если не в пятерке, то хотя бы среди сорока пяти? Говорят, появился даже чей-то проект: ввести форму для членов писательского союза... Писатели будут носить форму, и она будет разделяться по жанрам. Примерно: красный кант — для прозы, синий — для поэзии, а черный — для критиков (*смех, аплодисменты*). И значки ввести: для про-

зы — чернильницу, для поэзии — лиру, а для критиков — небольшую дубинку. Идет по улице критик с четырьмя дубинами в петлице, и все писатели на улице становятся во фронт...»

То, о чем М. Кольцов говорил в стиле ироническом и юмористическом, Б. Пастернак облек в формы лирические и патетические: «Есть нормы поведения, облегчающие художнику его труд. Нужно ими пользоваться, — сказал он. — Вот одна из них:

Если кому-нибудь из нас улыбнется счастье, будем зажиточными (но да минует нас опустошающее человека богатство). Не отрывайтесь от масс, — говорит в таких случаях партия. Я ничем не завоевал права пользоваться ее выражениями. Не жертвуйте лицом ради положения, — скажу я в совершенно том же, как она, смысле. При огромном тепле, которым окружают нас народ и государство, слишком велика опасность стать литературным сановником. Подальше от этой ласки во имя ее прямых источников, во имя большой, и дельной, и плодотворной любви к родине и нынешним величайшим людям (*продолжительные аплодисменты*).»

Без всякого риска можно предположить, что, говоря о «нынешних величайших людях», Б. Пастернак имел в виду прежде всего И. В. Сталина. Без подобных концовок или зачинов обходился на съезде мало кто из ораторов. Но все же словословия в адрес Сталина еще не были столь неумеренными, как позднее. Съезд исходил из ленинского понимания законов и норм общественной жизни. Достаточно напомнить о выступлении Горького против «вождизма» и сходных речах других делегатов съезда.

Горький считал проблему «вождизма» очень важной. Неожиданно попросив слово во время прений, он сказал: «Уважаемые товарищи! Мне кажется, что здесь чрезмерно произносится имя Горького с добавлением измерительных эпитетов: великий, высокий, длинный и т. д. (*смех*).»

Не думаете ли вы, что, слишком подчеркивая и возвышая одну и ту же фигуру, мы тем самым затемняем рост и значение других? Поверьте мне: я не кокетничаю, не рисуюсь. Меня заставляют говорить на эту тему причины серьезные...

Разумеется, я не склонен проповедовать «уравниловку» в стране, которая дала и дает тысячи героев, но требует сотен тысяч их. Но я опасаясь, что чрезмерное расхва-

ливание одних способно вызвать у других чувства и настроения, вредные для нашего общего дела, для нормального роста нашей литературы...

Тов. Соболев — автор «Капитального ремонта» — сегодня сказал очень веские и верные правде слова: «Партия и правительство дали писателю все, отняв у него только одно — право писать плохо».

Отлично сказано!

К этому следует прибавить, что партия и правительство отнимают у нас и право командовать друг другом, предоставляя право учить друг друга. Учить — значит взаимно делиться опытом. Только это. Только это, и не больше этого».

Конечно, рассуждая так, Горький вовсе не имел в виду тех явлений, которые в наше время конкретизированы как последствия культа личности Сталина, но, несомненно, он ощущал в литературной жизни (а может быть, и не только в литературной) наличие таких тенденций, которые возбуждали у него большое беспокойство.

Тенденции эти осуждались и другими делегатами съезда. Приведем еще только один пример. На съезде выступил О. Ю. Шмидт. Недавно завершилась эпопея зимовки и спасения челюскинцев, и, естественно, ему было предоставлено слово в самом начале съезда. Рассказывая о челюскинцах («У нас был обыкновенный коллектив, люди в нем обыкновенные, и в этой его обыкновенности и есть их необыкновенность»), Шмидт, между прочим, подверг критике фильм об одной из его экспедиций в Арктику: «В этом фильме изображено, как в тяжелых условиях работает коллектив. И вот слышен чей-то голос, подозрительно похожий на голос начальника экспедиции, хотя я этого совершенно не говорил. И вот этот начальник все время кричит: «Вперед! Быстрее! Еще быстрее! Вперед, вперед!» (*Смех, аплодисменты*). Не такими методами мы руководили (*аплодисменты*). Наше руководство, наша работа не нуждается в подстегивании, в нажимах, возгласах, не нуждается в противопоставлении вождя остальной массе. Это совершенно не наши методы. Я не хочу употребить слова, но это заграничные методы одного из соседних государств (*аплодисменты*).»

Вполне естественно, что на съезде встал вопрос о гуманизме. «На нашем съезде, — констатировал А. Сурков, — получило все права гражданства одно слово, к которому

мы еще недавно относились с недоверием или даже враждебностью. Слово это — гуманизм. Рожденное в замечательную эпоху, это слово было запакосено и заслонявлено... Мы должны были и мы имели историческое право презирать и ненавидеть людей, произносивших это слово. А вот сейчас принимаем это слово в свой обиход».

Взволнованную речь в защиту гуманизма произнес Ю. Олеша. Он говорил, что «коммунизм есть не только экономическая, но и нравственная система», что «новое, социалистическое отношение к миру есть в чистейшем смысле человеческое отношение», что «мир с его травами, зорями, красками прекрасен и что делала его плохим власть денег, власть человека над человеком. Этот мир при власти денег был фантастическим и превратным. Теперь, впервые в истории культуры, он стал реальным и справедливым».

Об утилитаристском, антигуманном характере эстетики лефовцев и конструктивистов напомнил В. Шкловский: «Мы недооценили человечности и всечеловечности революции,— теперь мы можем решать вопрос о человечности, о новом гуманизме».

Обратиться к гуманистическим традициям и обязанностям искусства призывал советских писателей Мартин Андерсен Нексе: «Народы Советского Союза пережили тяжелое время. Не раз они вынуждены были подавлять в себе обыденные человеческие чувства, ибо хирург не должен быть сентиментален. Но дело художника взять народное сердце в свои руки и снова согреть его, чтобы человеческие чувства, как прежде, зазвучали в нем... Вы должны дать массам идеалы не только для борьбы и для труда, но и для часов тишины, когда человек остается наедине с самим собой... Писатель существует не только для того, чтобы участвовать в борьбе и воспевать победу... Художник должен давать приют всем, даже прокаженным, он должен обладать материнским сердцем, чтобы выступать в защиту слабых и неудачливых, в защиту всех тех, кто, все равно по каким причинам, не может спеть за нами».

Нечего и говорить о важности обращения Первого съезда к проблемам гуманизма. Слово «гуманизм» входило в литературный обиход в связи с успехами социализма и уничтожением эксплуататорских классов, с ликвидацией РАПП и стремлением писателей к демократизации общественных и ли-

тературных отношений. Но исторические условия заставляли особо подчеркивать воинствующий характер социалистического гуманизма. Дело в том, что съезд собрался в то время, когда над миром нависла черная тень свастик и наша страна вынуждена была собирать силы и крепить оборону против неминуемой фашистской агрессии. Это накладывало сильный отпечаток на всю работу съезда писателей и во многом определяло ее направление и самый тон¹.

В этой обстановке некоторые выступления на темы гуманизма, прозвучавшие на съезде, требовали, как говорится, известных дополнений и поправок.

«Друг мой Олеша и все идущие за ним...— сказал Вс. Вишневский,— вы пишете о хрустале, о любви, нежности и прочем. Но при этом всегда должны мы держать в исправности хороший револьвер и хорошо знать тот приписной пункт, куда надлежит явиться в случае необходимости. Это полезно и необходимо».

«Некоторым товарищам,— говорил А. Сурков,— гуманизм представляется в образе русоволосой девушки в белом платье, шагающей по солнечной, напоенной ароматом весеннего цветения земле, девушки в венке из сверкающих метафор, девушки с восторженными глазами, устремленными в Будущее с большой буквы».

Я хочу принять этот красивый образ, но не могу. Что-то восстает у меня внутри против него. Что-то заставляет рисовать себе образ нашего гуманизма другим, может быть более грубым, но в своей грубой плоти более прекрасным...

Наша молодежь выходит на демонстрации с букетами цветов в руках. Но за плечом девушки в белом платье, идущей мимо мавзолея, покоится винтовка. И строгая тень штыка падает через плечо на мостовую, указывая линию движения...

Давайте не будем забывать, что не за горами то время, когда стихи со страниц толстых журналов должны будут переместиться на страницы фронтовых газет и дивизионных полевых многотиражек.

¹ И. Эренбург вспоминал позднее: «Съезд собрался накануне чрезвычайно трудного десятилетия. Мы видели звериный оскал фашизма. Как бы ни были велики наши художественные раздоры, порой связанная с ними неприязнь, мы показали тем, кто хотел это понять, что боевая выручка для нас — не абстрактное понятие. Это дал съезд, и большего, я думаю, он дать не мог».

Будем держать лирический порох сухим! (Продолжительные аплодисменты.)»

На съезде доминировало горьковское понимание гуманизма. Открывая съезд, Горький сказал. «Мы выступаем как судьи мира, обреченного на гибель, и как люди, утверждающие подлинный гуманизм, гуманизм революционного пролетариата, гуманизм силы, призванной историей освободить весь мир трудящихся от зависти, подкупа, от всех уродств, которые на протяжении веков искажали людей труда».

III

В центре внимания Первого съезда писателей, как уже говорилось, были вопросы социалистического реализма.

В Уставе Союза советских писателей, единодушно принятом съездом, было сказано: «Социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии».

Горький в своем докладе так определил цели и задачи социалистического реализма: «Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого — непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека, ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле, которую он сообразно непрерывному росту его потребностей хочет обработать всю, как прекрасное жилище человечества, объединенного в одну семью».

Не ограничиваясь обобщенными определениями социалистического реализма, делегаты съезда провели самое активное обсуждение его основных принципов. Смысл обсуждения заключался в том, чтобы, отталкиваясь от общих формулировок метода советской литературы, более широко осмыслить и более конкретно представить себе его содержание и характер. При этом съезд стремился предостеречь литературу и критику от различных опасностей, которые могут возникнуть на пути развития социалистического реализма.

Многие писатели выступили против схоластического понимания социалистического реализма и превращения его в мертвую догму. «Еще недавно нас мучили диалекти-

ческим материализмом как методом художественного творчества», — сказал М. Джавахишвили Социалистический реализм, по его мнению, ясная, живая формула. «Но, — добавил писатель, — схоласт оказался живучим, он опять мудрит, извивается, смущает неопытные умы. Он отлично знает, что литературная категория не укладывается в химические формулы, но все же упорно требует ее, формулу социалистического реализма. как вещь, которую можно было бы подержать в руках, обнюхать, измерить, оценить».

В том же духе говорил Н. Погодин: «Мы к самой формуле «социалистический реализм» пытаемся привязать, прицепить, как-нибудь привесить цепочку формул. Судя по тому, что приходится читать, люди занимаются только тем, что формулируют социалистический реализм. Возникает какой-то книжный, догматический стиль».

Делегаты съезда справедливо протестовали против ограничительного сведения социалистического реализма к неким единокобразным художественным формам, к некоторым сюжетным и стиливым приемам.

В принятом съездом Уставе Союза советских писателей говорилось: «Социалистический реализм обеспечивает художественному творчеству исключительную возможность проявления творческой инициативы, выбора разнообразных форм, стилей и жанров».

Решительно отвергали писатели и другие попытки навязать социалистическому реализму те или иные догматические «нормативы». Так, А. Фадеев возражал тем критикам, которые доказывали, что социалистический реализм основан исключительно на утверждающем героическом пафосе, и пытались при этом ссылаться на Горького.

«Алексей Максимович, — говорил Фадеев, — отметил старый реализм как реализм критический, а наш, социалистический, реализм — как реализм, утверждающий новую, социалистическую действительность. Это правильно. Но статья Добина в № 4 альманаха «Год XVII», которая определяет наш социалистический реализм как реализм героический, как реализм, изображающий героев, это — уже схематизация, потому что социалистический реализм, утверждая новую, социалистическую действительность, новых героев, в то же время является наиболее критическим из всех реализмов... Не следует догматизировать правильное положение Алексея Максимовича, ибо если све-

сти это положение к догме, то люди начнут писать вещи сусальные».

Фадеев был поддержан П. Юдиным: «Нельзя противопоставлять социалистический реализм как метод и как мировоззрение, утверждающие действительность, его критическому существу».

Вопрос, который поднял Фадеев, был чрезвычайно важным. Об опасности для советской литературы сусальности, облегченного или приукрашенного изображения жизни предупреждали многие делегаты съезда. «Восторгаться у нас есть чему,— говорил Л. Кассиль.— Но часто из-за неверной редакционной указки получается неприятная слащавость, то, что мы называем сахаринном... Мы любим приукрашать действительность. В то время как действительность на самом деле глубоко, волнующе интересна, очень сложна и прекрасна, мы навешиваем на нее виньетки, мы играем как бы в «хороший дом».

У нас писатель поставлен в прекрасные условия, сказал И. Эренбург, но «легкость пути действует на некоторых писателей расслабляюще. Мучительный процесс творчества они подменяют умелым лавированием. Они тщательно обходят темы, которые им кажутся трудными. «Да что вы, разве об этом можно сейчас написать!..» Другие — попроче — ухипряются, оставаясь якобы в русле главных тем, до неузнаваемости их оскопляют. Они отмахиваются от правдивого изображения всех трудностей нашей борьбы, всей запутанности психологии людей, у которых новые чувства часто переплетаются с ветхими страстями и страстишками».

С возражениями против упрощенно-догматического толкования утверждающего характера социалистического реализма связаны и суждения некоторых делегатов съезда по поводу оптимизма нашей литературы.

«Кому придет в голову сомневаться в том, что наша литература оптимистична? Никому. Наш основной тонус — это радость», — утверждала В. Инбер. Но должна ли радость выражаться так, как она выражается, например, в поэзии Жарова? «Для Жарова, — по словам Инбер, — характерны следующие заголовки его стихов: «Наш праздник», «Радость жизни», «Первомай», «Новый май», «К весне», «Юность», «Чудесный миг», «Наши песни» и т. д. Но эта радость обычно дальше заголовков не идет.

Это только на витрине, а на полках совсем другое (*смех*)».

Поэт Я. Городской призывал обрушиться на «воспеванчество», на поэзию «рифмованно-казенной молодости и бодрости», на «зарифмованные передовицы и инструкции». У многих молодых поэтов, огорчался он, «один словарь. Он не велик: республика, ровесники, ветер, побратимы, молодость, песня, утро, осты, весты... Все это устанавливают по своим местам — и получается стихотворение».

«Часто драматург полагает, — говорил Ю. Юзовский, — что если у героя умер ребенок, то он должен бодро по этому поводу улыбаться, а когда девушка не любит какого-нибудь юношу, то этот юноша должен смеяться как идиот, потому что он бодряк (*смех*). Товарищи, нужно прекратить этот идиотский, позорный, неприличный смех, недостойный искусства в пьесе (*аплодисменты*)... Я помню пьесу, где показана северная фактория. На эту факторию нападают враги. Паника. Все хватаются за оружие. Но руководитель-коммунист ходит и все время улыбается. Я сидел и думал: почему этот дурак улыбается? Потом я понял: он ведь знает, что пьеса окончится благополучно...»

Наконец в связи с вопросом об утверждающем и критическом пафосе социалистического реализма возник на съезде разговор о месте сатиры в литературе социалистического реализма. Яркую речь в защиту сатиры произнес М. Кольцов.

«...К одному почтенному московскому редактору, — рассказывал он, — принесли сатирический рассказ. Он просмотрел и сказал: «Это нам не подходит. Пролетариату смеяться еще рано; пускай смеются наши классовые враги». (*смех, аплодисменты*).

Это, товарищи, вам кажется диким. И мне тоже. Но я вспоминаю, и не только я, а многие здесь вспомнят, как на одном из последних заседаний покойной РАПП, чуть ли не за месяц до ее ликвидации, мне пришлось при весьма неодобрительных возгласах доказывать право на существование в советской литературе писателей такого рода, как Ильф и Петров, и персонально их.

Теперь как будто ничего не слышно о редакторах, которые утверждали бы, что пролетариату смеяться рано. Но мне хотелось бы сказать, товарищи, о наличии других мнений, которые неискушенным челове-

ком могут быть поняты в том смысле, что пролетариату смеяться вроде как бы уже поздно...»

Речь М. Кольцова вызвала отклики. «О роли сатиры прекрасно сказал Кольцов, и мне к его словам нечего добавить,— заявил Н. Никитин.— Но показательно, что эти слова исходят от Кольцова — писателя-журналиста. А драматург предпочитает ходить по другим темам, не замечая тех явлений, против которых он призван бороться как художник, как гражданин, наконец — как коммунист.

Давайте скажем прямо: советская обличительная комедия — дело тяжелое, трудное и ответственное. И здесь возможны различные опасения, но тем необходимее заняться нам этим ответственным и политическим делом...

Почему же в нашей комедии все так безоблачно, все так чудесно, кисельные берега и молочные реки, и в молоке, очевидно только для контраста, плавают какая-нибудь черная запутавшаяся муха, да и та в конце концов «перестраивается».

Как видно, и «ограничительные», и упрощенные истолкования социалистического реализма встретили на съезде справедливые возражения. Выступали делегаты съезда и против сведения принципов социалистического реализма и партийности литературы к ведомственным запретам и заказам.

«Там и сям еще раздаются голоса о заперенных гемах,— сказал М. Джавахишвили.— А по-моему, в плане социалистического реализма можно писать обо всем: о любви, о семье, стройке, прошлом, настоящем и будущем, но писать прежде всего убедительно, т. е. правдиво, искренно и с полным знанием материала».

Среди вопросов социалистического реализма, поднимавшихся на съезде, особое место занял вопрос о положительном герое советской литературы. Галерея образов, созданных советскими писателями — от Чапаева до Давыдова,— была у всех перед глазами и говорила сама за себя, но известны были и сопутствующие успехам трудности и неудачи.

«...Перед нами возникает один из основных творческих вопросов нашей литературы — вопрос о положительном герое,— говорил украинский писатель И. Кириленко.— Ведь это же факт, что большинство героев наших произведений выходят подстриженными, приглаженными, затянутыми в тес-

ный мундир ходячих формул. Часто эти герои говорят канцелярским языком. Развлекаются они не иначе, как в день 1 Мая или в годовщину Октябрьской революции.

Надо ли говорить, что эти герои-формулы не похожи: на настоящих, живых героев наших дней, на сотни тысяч славных сынов нашей родины».

Почти всю свою речь посвятил проблеме положительного героя азербайджанский драматург Д. Джабарлы.

«Некоторые товарищи наивно считают, что от этой проблемы можно отделаться методами медицины и прописыванием определенных рецептов. Даже у нас на съезде позавчера один товарищ читал один из этих рецептов: «Герой нашего времени ясен: он смел, культурен, честен и т. п. Что же здесь трудного и почему товарищи писатели не пишут о таком герое?» Так приблизительно говорил он. А мне кажется, что вопрос здесь гораздо шире и глубже, чем эти товарищи думают... Можно написать человека, героя, честного, сильного, решительного, но зритель может его не любить...

По рецепту героя создавать нельзя. Сколько бы писатель ни приписал своему герою хороших качеств, если только он не сумел его показать как живого человека, со всеми его страстями, все равно он не будет пользоваться любовью, и писатель неминуемо услышит от зрителя: «Герой немного ходульный, схематичный, неживой какой-то»...

Не надо создавать героев неполнокровных, которые неубедительны, которые говорят только лозунгами и цитатами. Надо создавать живых людей, полнокровных, со всеми их кипучими страстями».

Интересные мысли о создании образа положительного героя высказала В. Инбер:

«Несколько слов о положительном герое. Почему он нам не удается? Мне пришла в голову следующая мысль. Я вообще не знаю в мировой литературе положительного героя, задуманного как такового. Наоборот, мы знаем много противоположных примеров. У Диккенса Пиквик был задуман как отрицательный герой. Он смешон, глуп и туп в первых главах, и он хорошеет с каждым абзацем.

Дон-Кихот был задуман как пародия, как отрицательный тип. И тоже превратился в положительного в процессе писания романа. Мне кажется, что это происходит потому, что писатели прошлого не боялись недо-

статков своих героев. Они их снабжали всеми человеческими качествами. Они их любили и возвышали силой своей любви до положительного образа. Мы же, снабжая положительного героя заранее заготовленными добродетелями, получаем «Роботов».

Больше всего мы должны бояться абстрактности и схематичности. Это две наши самые страшные болезни».

При обсуждении проблем социалистического реализма неизбежно встал перед съездом и вопрос об отношении советской литературы к зарубежной литературе, к литературе и искусству Запада. Самое существенное, что здесь следует отметить, это выступления ряда делегатов съезда против пренебрежительного отношения к зарубежной литературе, чванства и зазнайства, замкнутости и невежества.

М. Кольцов придал вопросу об отношении к зарубежной литературе и искусству практический характер—прежде чем судить о них, надо их знать.

«Я полагаю, что наш съезд должен стать поворотным пунктом отношения советской критики, советских писателей, советского читателя и издателей к международной литературе. И понимаю это, во-первых, чисто практически».

Нельзя, товарищи, судить и рядить о западной литературе, не имея ее попросту на руках. У нас очень много на протяжении 15 лет говорят и спорят о Чарли Чаплине. Одни увлекаются им. Другие — против Чарли Чаплина. Есть такие, которые сначала им увлекались, а теперь против него. Есть такие, которые были против Чаплина, а сейчас увлекаются им. И ко всему этому одна маленькая деталь: за все 15 лет ни одной картины с участием Чарли Чаплина в СССР не демонстрировалось».

О том же самом говорил и С. Третьяков: «Слово о Джойсе. Спор о нем горячий. Одни защищают, другие хаюг. Вишневский говорит — замечательно. Радек возражает—гниль».

Спорить — спорят, а кто эту книгу читал? Ведь она не переведена, не напечатана.

Диагноз ставится втемную. Так врачи, говорят, осматривали больных султанш через посредников, не имея права ни пощупать пульс, ни взглянуть на больную во избежание соблазна».

Вывод можно сформулировать словами Л. Кассиля: «Нам надо в литературе, не

забывая о том, что у нас другой план, другой идейный знак, другая направленность, серьезно учиться у зарубежья и гораздо внимательнее относиться к западной литературе».

IV

Глубокое обсуждение на съезде вопросов литературы было, конечно, несовместимо с каким-либо самодовольством или самохвальством и само собою исключало их. Делегаты съезда гордились успехами молодой советской литературы и подвергали серьезной критике ее недостатки. «Главные достижения наши не позади, а впереди». «Наши лучшие произведения еще не написаны». «Не нужно нам от съезда одного подсчета наших успехов»,— вторя друг другу, говорили на съезде К. Тренев, Л. Славин, В. Шкловский. Это был голос всего съезда. Повышение художественного уровня литературы, художественного мастерства съезд определил в качестве важнейшей задачи советских писателей.

Горький в своем докладе и заключительном слове говорил о недостатках советской литературы весьма сурово. В общем, по его мнению, советские писатели все еще плохо видят и изображают действительность и наша проза и поэзия, при всех успехах, содержат в себе «весьма изрядное количество пустоцвета, мякины и соломы». Призыв Горького к самокритике был горячо поддержан. Федин и Бабель говорили об интеллектуальности литературы («мы слишком хорошо знаем такие эпопеи, смысл которых короче воробьиного носа»; «без высоких мыслей, без философии нет литературы. Довольно теней на стекле!»), М. Шагинян — о композиции романов («наша «болезнь продолжений» вовсе не вызвана необходимостью — она доказывает лишь неумение кончать, неумение строить целую форму»), А. Толстой и В. Лидин о языке («борьба за качество — это борьба против серой, штампованной литературы... здесь тематика не спасет»), Н. Тихонов о молодых поэтах, которые «страшно быстро начинают любить аплодисменты и сами начинают напрашиваться на них, не замечая, что их стих становится все слабее и что они уже принадлежат эстраде больше, чем поэзии». Каждый делегат съезда в той или иной мере касался вопроса о художественном качестве литературы и не было ни одной стороны профессионального мастерства, ко-

торой они не затронули бы в своих выступлениях.

Дружно критиковалось на съезде отношение к художественному творчеству как к словесной игре или литературным упражнениям, где, по словам Н. Тихонова, «обигрывается слово ради слова, метафора влечет метафору» и где немалую роль играет «разгоряченное самолюбие автора». Вызывала протест и подмена подлинного поэтического чувства и естественной простоты поэтического языка искусственными образами. «Усложненный эпитет, накладывание образа на образ,— говорил А. Толстой,— очень широко распространенное явление в советской литературе. «Перед ним змеилась пыльная дорога серым ковром». Или: «Ива свесила плакучие ветви вопросительными знаками»... Этокое стремление писать «поэтично», не доверяя простым, так сказать «подлым», предметам в их собственной поэтичности... Начинаящий писатель и в самом деле начинает думать, что просто ничего нельзя говорить... И получается: «город вздыбился», «железные ночи ломались», «завод протянул руку рывком виадука».

Конечно, делегаты съезда указывали и на те очевидные положительные изменения художественного порядка, которые произошли в советской литературе в процессе ее развития. Л. Леонов так характеризовал художественные искания двадцатых годов: «Нас привлекала тогда необычность материала, юношеское наше воображение поражали и пленяли иногда грозные, иногда бесформенные, но всегда величественные нагромождения извергнутой лавы и могучее клубление сил, запертых в глубине жизни. Эта необычность материала зачастую прикрывала нашу литературную беспомощность. Мы все проходили тогда еще только через орнаментальную прозу, вычурную словесную вязь, как ребята, радуясь дару повторять громовые слова взрослых».

О некоторых уходящих в прошлое особенностях литературы двадцатых годов остро говорил И. Лежнев. В частности, он отметил свойственное иным молодым писателям того времени (считавшим себя новаторами) увлечение формалистскими теориями «делания вещи». «Отсюда также необычайный расцвет анекдотизма в тогдашней литературе,— сказал Лежнев.— Чем диковинней и неожиданней сюжетные ходы, тем считалось лучше... Находились даже охотники канонизировать разорванность и ма-

нерность пильняковского письма как стиль, подлинно соответствующий революционной эпохе».

Но какие бы сдвиги ни происходили в советской литературе, как бы значительны ни были ее достижения, все равно оснований для самодовольства не было. И прямо-таки вреден был встречавшийся в печати и докладах «пафос количества», то есть посторонные перечисления написанных книг без требовательного учета их качества, так сказать, «валовой» подход к литературной «продукции». «Ценность искусства измеряется не количеством, а качеством»,— заявил Горький. «Художественное творчество не похоже на стройку металлургического комбината»,— сказал Эренбург.— Мы слышим цифры: у нас столько-то писателей, и эти столько-то писателей написали столько-то книг. Так можно говсрить о тоннах чугуна, а не о романах. Для статистики «Война и мир»— всего-навсего одна единица (*смех, аплодисменты*).

Очень сильное впечатление на делегатов съезда произвело сообщение директора Госиздата Н. Накорякова о том, что из большого количества книг, изданных за 1929—1931 годы, лишь двадцать пять процентов достойны переиздания. «Вы понимаете,— сказал он,— сколько же мы издавали лишнего, сколько лишних затрат сделали мы не только материальных, но и духовных затрат нашего народа, наших творцов социализма, которые читали серую, плохую, халтурную книгу». Горький в заключительном слове дважды обращал внимание делегатов съезда на сообщение Накорякова «о бесплодной, убыточной трате народных средств на производство книжного брака. За этот брак,— добавил он,— мы должны отвечать коллективно».

Энергично критикуя недостатки советской литературы, делегаты съезда были не столь единодушны в решении вопроса о том, каким образом повысить ее уровень и качество, или, иначе говоря, как надо писать. Здесь было ясно только одно (и об этом говорили Н. Асеев и С. Кирсанов), что нельзя «огмахнуться от проблемы разбора формальных моментов» и кричать: «Держи формалистов!», как только кто-нибудь заговорит «о проблеме формы, о метафорах, о рифме или эпитете». Это было ясно всем. Дальше начинались разногласия.

И. Эренбург поставил вопрос. «Как же нам надо писать?»— утврждал, что фор-

мы классического романа и всей сюжетной прозы устарели, оправдывал «необщедоступное» искусство, говорил о том, что массы не доросли до восприятия сложной поэзии Пастернака и Маяковского, и резко отрицательно отзывался о передвижниках.

С ответом Эренбурга на вопрос: «Как же нам надо писать?» — не согласились многие делегаты съезда. «Я думаю,—сказал Бруно Ясенский,— что для нашей литературы, страдающей бессюжетностью и отсутствием четкого композиционного костяка, призыв Эренбурга к пренебрежению сюжетом вреден и опасен».

По поводу защиты Эренбургом сложности и «необщедоступности» искусства очень серьезно возразил ему Егеше Чаренц. «Давайте признаемся,— говорил он,— что, справедливо негодуя на левых вульгаризаторов, мы, советские, слегка эстетствующие писатели, при всем том сознаем, что наше сегодняшнее «высокое» искусство не адекватно массовой психологии наилучшей части человечества не столь по своей тематике, сколь своими ассоциациями, образами и т. д., т. е. творческим методом.

Слова Эренбурга о сложности Б. Пастернака и некультурности масс сегодня должны звучать для нас как известный анахронизм.

Я очень люблю Б. Пастернака — некоторыми чертами своего творчества сам я схож с ним, но при всем том чувствую, что наша «сложность» — отчасти «интеллигентская» сложность, которую мы должны преодолеть; что завтрашний культурно выросший пролетариат вряд ли будет видеть и чувствовать мир сквозь призму наших «сложных» ассоциаций, т. е. через самый основной аппарат нашего сегодняшнего сложного искусства (*аплодисменты*).

Вопросы художественного качества были поставлены и в докладе Н. Бухарина «О поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР». Однако у многих делегатов съезда этот доклад встретил принципиальные возражения. Дело в том, что в нем была дана несправедливая оценка творчеству ряда поэтов. Особенно критиковали Бухарина за то, что он объявил устаревшей поэзию Д. Бедного, свел к элементарной агитке послеоктябрьское творчество Маяковского и выдвинул на передний план со-

ветской литературы, как образец, Пастернака и Сельвинского, приглушив свойственные их творчеству противоречия.

Съезд встречал аплодисментами горячие слова в защиту Маяковского и выступления, утверждавшие значение политической лирики. «...Особенность нашей поэзии,— говорил С. Кирсанов,— именно в том, что многое, почти все, что совершается у нас на глазах, и все, что совершается революционными рабочими за рубежом, есть изумительнейший материал для самой замечательной личной и в то же время политической лирики. Разве не подлинно лирические строки Маяковского в его поэме «Ленин», разве не подлинная лирика в «Гренаде» Светлова?»

Так и в спорах о мастерстве, о недостатках нашей литературы, о том, как писать, съезд писателей утверждал социалистический реализм и народность литературы.

* * *

Первого сентября 1934 года Первый съезд советских писателей закончил свою работу. По словам Горького, до съезда и в начале его некоторые литераторы говорили: «Зачем он? Поговорим, разоидемся, и все останется таким, как было». На съезде таких людей справедливо назвали равнодушными. Закрывая съезд, Горький подчеркнул, что работа съезда оказалась «значительной и разнобразной» и имела «глубокий смысл».

«Наш съезд,— сказал Горький,— работал на высоких нотах искреннего увлечения искусством нашим и под лозунгом: возвысить качество работы!.. Нам нельзя ни на минуту забывать, что о нас думает, слушая нас, весь мир трудового народа, что мы работаем пред читателем и зрителем, какого еще не было за всю историю человечества».

Согласно принятому на съезде Уставу Союза советских писателей следующий съезд писателей должен был состояться через три года. В 1937 году съезд писателей не состоялся. Советские писатели собрались на свой Второй съезд только через двадцать лет — в 1954 году. Но Первый съезд писателей, разумеется, не прошел бесследно. Мимо идей Первого съезда не пройдет, несомненно, и предстоящий Четвертый съезд писателей Советского Союза.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Турнов. В поисках «юбиляра». — **Л. Левицкий.** Третий века работы. — **В. Кардин.** Надо ли просить извинения? — **И. Левидова.** Карсон Маккаллере и ее последняя книга.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Монгайт. История и прогресс. — **Ф. Новиков.** Строит Куба. — **Ю. Сулин.** Издан впервые.

Литература и искусство

В ПОИСКАХ «ЮБИЛЯРА»

Ираклий Абашидзе. По следам Руставели. Перевод с грузинского Александра Межирова. «Литература да хеловнеба». Тбилиси. 1966. 72 стр.

«Не к лицу тебе, мастер, забвень!» — восклицал поэт Симон Чиковани, обращаясь к строителю удивительного грузинского города Вардзия.

Как понятна эта тяга разглядеть и увековечить лица безвестных мастеров, чьи творения и поныне украшают нашу землю! Глядя на прекрасные пропорции деревянных церквей и каменных зданий, на краски древних икон и фресок, временами испытываешь такое ощущение, как будто ты вот-вот различишь черты автора, отразившиеся в его создании, как в зеркале. И все же они остаются неузнаваемыми, загадочными.

Такова судьба и некоторых знаменитых писателей, чьи имена знает каждый мало-мальски грамотный человек, но чья жизнь едва известна даже знатокам.

В исторической дали казалось, бесследно затерялись сведения о конце жизни автора «Витязя в тигровой шкуре». Как и герой его поэмы могучий Тариэл, он покинул Грузию, но — в отличие от счастливого исхода книги — сгинул где-то на чужбине, вдали от родины и своей любимой.

Поиски его следов долгое время были

безуспешны. История как будто хотела снова в чем-то повторить сюжет «Витязя в тигровой шкуре» и ждала некоего Автандила, который бы пустился на поиски гайнственного богатыря слова.

Впрочем, внешне все выглядело куда прозаичнее, чем в стихах Руставели: поэт Ираклий Абашидзе не седлал норовистых скакунов, а мирно занимал самолетное кресло, отправляясь то в Индию, то в Палестину, не вступал в кровопролитные битвы с недругами (разве что в словесно-дипломатические, когда недружелюбие и равнодушие хотели преградить ему доступ в места, где, по слухам, протекали последние годы Шота) и даже, вооружившись тряпками, вместе с двумя грузинскими учеными, на диво монастырским слугам, отмывал черную краску, закрывавшую фреску с изображением автора «Витязя».

Можно представить себе волнение поэта, когда перед ним открылся облик поседевшего Руставели, чьи уста уже не могли развиться страстным и бурным «тариеловским» рассказом о своей любви и странствиях!

С этим молчанием поэт не мог примириться. Ему хотелось услышать живой, задумчивый, страдающий голос Руставели.

И этот голос раздался.

Сначала — робко, когда «в глухой пустыне» Индии, где, быть может, тоже побывал Руставели, Ираклий Абашидзе обращался к своему предшественнику с вопросами, гадая о причинах, по которым поэт покинул родину. Тогда голос Руставели ронял самые скупые ответы:

Ну так, может, ненависть слепая,
в жажде уничтожить все и вся,
кралась, ни на шаг не отступая,
за тобой по следу колеся?
Не она ли в очаге гудела
и, тебя обуглив дочерна,
выгнала из отчего предела?

Голос Руставели: — Не она.

Что же обрекло на отлученье
от родных нагорий и лугов,
явным сделав тайное мученье?

Голос Руставели: — Что? Любовь...

Или это сам Абашидзе отвечал на свои же вопросы?

Во всяком случае то были еще редкие капли — не то роса, которой суждено вскоре высохнуть, не то трудно пробивавшийся наружу из глубы источник.

Уже в открывающем книгу цпкле «В знойной Индии» «руставелевская тема» своеобразно преобразует стихи о зарубежных впечатлениях, придавая им внутреннее единство и избавляя от банальности, которой в последние годы окрасился этот род поэзии под пером иных авторов.

Поэт как бы повторял вероятный путь странствий своего предшественника, представлял себе, что и как видел он тогда, какой издали представлялась ему родная Грузия.

Тут было еще больше стремления услышать голос Руставели, желания доискаться, — так, наверное, постепенно «вживается в образ» будущей роли актер, пока не обретет полной свободы поведения и естественности интонаций.

В цикле же «Палестина, Палестина!..» И. Абашидзе отваживается воссоздать в стихе драму поэта-скитальца, как бы поведенную им самим, подводющим горестный и гордый итог пережитому и передуманному. Семь монологов вложены поэтом в уста Руставели — о боге (так, как он его,

вероятно, понимал), о родине, о тучах, сгущающихся над нею, о любви, о грузинской речи («Голос в белой келье», «Голос у стен Крестного монастыря», «Голос в Оливковом саду»).

И. Абашидзе избегал наивного «подтягивания» героя к нашему времени, стремления снабдить его парадным костюмом не по росту и безупречным мировоззрением не по веку.

Ираклию Абашидзе был интересен и дорог истинный Руставели. Он совсем не для того смывал с его портрета черную краску забвения, чтобы заменить ее краской модернизации и мнимого «осовременивания».

Ведь можно было «не согласиться» с голосом Руставели, твердившим, что виной его скитаний любовь, и, снисходительно выслушав его «с высоты нынешнего мировоззрения», отыскать в его поведении мотивы, выглядящие куда более «гражданственно» и «прогрессивно».

Ираклий Абашидзе предпочел иной путь. Он оказался бережен и совеслив даже в самой форме своего повествования о великом поэте. «Голос...» — то есть то, что послышалось поэту, и так, как ему послышалось. Ираклий Абашидзе не скрывает определенной субъективности своего истолкования давних мыслей и чувств автора «Витязя». Есть ли у современного поэта право на такое истолкование?

Не только есть, но в этом — лишнее доказательство жизненности творений и заветов Руставели.

В стихах Абашидзе Руставели, узнав о смерти царицы Тamar, которую он любил, говорит:

В моих горах отголосили вьюги,
сгорели грозы.

Но всем строем своей книги Ираклий Абашидзе опровергает эту горькую эпитафию.

Что из того, что Тamar умерла, а в бога, с которым вел разговор Руставели в своей палестинской келье, мы не верим? Разве Руставели любил и славил в Тamar только ее одну, а в бога — только верховного пастыря христиан? Не была ли его вера верой в великое богатство мира и в венец его — человека? Не навязывая герою собственного атеизма, Ираклий Абашидзе подозревает, что под видом молитв в палестинской келье шел важнейший философский диспут:

Ты поклоненья требовал слепого,
 коленопреклоненья одного,
 но только мысли, воплощенной в Слово,
 я поклонялся, веря в естество.
 ...я желал
 раскрепощенный разум,
 освобожденные мысли
 обрести.
 ...Избави бог, чтоб жизнь меня карала
 за это вот желание мое!

(«Голос у стен Крестного монастыря»)

Это довольно воинственный символ веры. Он похож на подписание временного союза с богом, причем последний признается лишь на определенных условиях, словно конституционный монарх, уже не обладающий абсолютной властью.

Был ли таков Руставели в действительности? Трудно безапелляционно ответить на этот вопрос.

И все же думается, гипотеза И. Абашидзе об истинном, исторически-объективном пафосе веры Руставели во всяком случае правомерна. Освобождаясь от религиозно-культовой оболочки, «бог» в восприятии Руставели, каким показал его И. Абашидзе, приобретает черты морального, гуманистического начала. Если этот «бог» гневается на человека, то по причинам особого свойства:

...тебе,
 учитель мой,
 всеблагод и справедливый,
 слишком робкими порой
 кажутся мои порывы...
 Робость...

Вот вина моя
 перед богом и законом,
 и рассказываю я
 в прегрешенье
 несвершенном.

(«Голос в Крестном монастыре»)

В этих «молитвенных» обращениях к богу так страстно воспета смелость человеческих чувств и разума, что образ палестинского затворника вступает в круг живейших проблем современности. Характерны размышления, которые вызвала книга И. Абашидзе у грузинского критика Георгия Маргвелашвили:

«Вера твоя не должна застыть, окаменеть, превратиться в стоящую вне тебя или над тобой святыню, требующую идолопоклонства. Она всегда должна быть с тобой, в тебе, обновляясь, как любовь, как чудотворство любви и познания, как органическая жизнь твоего разума и сердца... И вместе

с тем твое страстное желание видеть свою цель и свой идеал всегда живыми глазами, не подернутыми пеленой равнодушия и не ослепленными вспышками фанатизма,—вовсе не равнозначно ереси, отступничеству или колебаниям, наоборот, это свидетельство твоей полной самоотдачи, твоего полного слияния с ними, твоей действительной веры в них, твоего высокого к ним уважения».

Не отречение от «мирских соблазнов» во имя надрывной и вымученной веры звучит в голосе умирающего Руставели, а признание в любви ко всему земному — к родине, к женщине, к родному языку.

Грузинскому языку посвящено много проникновенных строк и в поэзии и в прозе. Достаточно вспомнить «Грузинский язык» Георгия Леонидзе или лирические отступления в романе К. Гамсахурдиа «Похищение луны». Не Ираклий Абашидзе открыл эту тему, но написанное им по достоинству входит в этот славный ряд:

На могиле плита,
 как слезами,
 тобой залита,
 ты звучишь по ночам
 над младенческим сном колыбели.

Есть пленительное соответствие между этим трогательным прощанием и вымышленным, но кажущимся столь вероятным свидетельством очевидца последних минут Руставели:

...ветвь синюю
 оливы
 принесли мы:
 вот Картли,
 вот Месхети,
 Артапудж.

Пусть эта ветвь,
 как весть
 долины отчей,
 целебная,
 падет к тебе на грудь.

(«Неизвестная надпись на грузинском пергаменте Палестины»)

Ветвь знакомого с детства дерева готова упасть поэту на грудь, как рыдающая о нем женщина... Звук грузинской речи ласкает его слух. И при этом картина смерти лишена умиротворяющей интонации, в ней по-прежнему ощущается беспокойный, неустрашимый дух мыслителя. Даже наивные свидетели кончины Руставели смутно по-

нимают это, видя его устремленные куда-то вдаль пытливые, прищуренные глаза:

С кем спорил он?
С кем затевал беседу?
Не сомневался.
Веровал.
Аминь.

Робким душам боязно заглянуть туда, куда смотрит Руставели. Им проще полагать, что он просто веровал, не сомневаясь.

Ну что ж, он и впрямь не сомневался — в своем праве быть человеком, веровал в это!

В том, что мы, русские читатели, услышали этот страстный голос, эту поэтическую импровизацию Ираклия Абашидзе, — большая заслуга Александра Межирова, осуществившего перевод книги.

Благодаря этому мы встретились накануне годовщины Руставели не с прежними условно-поэтическими его портретами, а с живым человеком, которого как-то даже язык не поворачивается назвать скучным словом «юбиляр».

А. ТУРКОВ.

★

ТРЕТЬ ВЕКА РАБОТЫ

Библиотека поэта. Аннотированная библиография (1933—1965). Общий план. «Советский писатель». М.—Л. 1965. 308 стр.

В отличие от экономики цифры в литературе мало что доказывают. Что там ни говори, а с точки зрения статистики «Капитанская дочка» Пушкина и роман Фаддея Булгарина «Иван Выжигин» — равные единицы учета. Но если цифры не в силах раскрыть природу и характер литературы, они наглядно передают размах издательского дела. За тридцать два года существования «Библиотеки поэта» в двух изданиях Большой серии и в трех изданиях Малой серии вышло 414 книг общим тиражом в 8 148 300 экземпляров!

Но не только эти красноречивые цифры, а и многие другие ценнейшие сведения можно почерпнуть в аннотированной библиографии «Библиотеки поэта». Она является своеобразной лощей, помогающей читателям — собирателям поэтических книг ориентироваться в обширном море сборников, вышедших в «Библиотеке поэта». Справочник позволяет воочию увидеть и по достоинству оценить, что сделано исследователями русской поэзии, группирующимися вокруг этого замечательного издания.

«Библиотека поэта» возникла, как известно, по инициативе А. М. Горького. В специальной статье, посвященной задачам начинающегося издания, он писал:

«История роста, развития русской поэзии XIX века, начиная, скажем, от Державина до Некрасова, причины ее снижения и упадка от Некрасова до Надсона, причины формального возрождения стиха в самом конце XIX века и в начале XX века, резкого разноречия поэзии с действительно-

стью до 1905—6 годов и вся последующая линия развития поэзии — все это мало известно, плохо понято или совсем не известно нашей молодежи и молодым поэтам нашим. «Библиотека поэта» ставит целью своей познакомить молодежь с историей русской поэзии и дать начинающим поэтам материал для технической учебы».

Таким образом, «Библиотека поэта», по мысли Горького, должна была вобрать в себя стихотворное наследие не только великих русских поэтов, ставших вехой в движении нашей отечественной культуры, но и сравнительно малоизвестных авторов, каждый из которых внес определенный вклад в развитие русской поэзии и в совершенствование русского стиха.

Это было нелегким делом. Необходимо было собрать как можно полнее стихотворные произведения, рассеянные по архивам, полузабытым журналам и альманахам, тщательно выверить тексты и освободить их от бесчисленных цензурных и иных искажений, проследить разнообразие обстоятельств, вызвавшие их появление на свет, изучить жизненный и творческий путь их авторов. Порой исследователям пришлось идти по целине — к их услугам не было почти никаких подсобных и вспомогательных материалов. Для того, чтобы представить себе, какую огромную работу пришлось проделать коллективу сотрудников «Библиотеки поэта», достаточно обратиться к таким книгам, как «Поэты-радищевцы», «Поэзия декабристов», «Поэты

кружка Н. В. Станкевича», «Поэты-петрашевцы», «Поэты «Искры», «Вольная русская поэзия второй половины XIX века», «У истоков русской пролетарской поэзии», «М. Горький и поэты «Знания», «Революционная поэзия (1890—1917)». И если эти трудности были успешно преодолены, если вышедшие книги отличаются добротностью и строгой научностью, то в этом немалая заслуга коллектива литературоведов, которые были привлечены к этому сложному и ответственному делу. Достаточно вспомнить, что в подготовке сборников народного творчества и большого числа поэтических книг принимали деятельное участие такие ученые, как М. Азадовский, Н. Андреев, В. Гиппиус, Г. Гуковский, В. Десницкий, Н. Мордовченко, А. Орлов, Б. Томашевский, Ю. Тынянов, Б. Эйхенбаум.

Стремясь к максимальной широте и полноте охвата памятников русской поэзии, «Библиотека поэта» с первых дней своего существования включила в орбиту своего внимания поэтов разных направлений и стилистических принципов. В ней нашлось место не только Рылееву и Кюхельбекеру, Курочкину и Минаеву, но и Хомякову и Шевыреву, Случевскому и Фофанову; не только традиционному реалисту Ивану Бунину, но и экспериментатору Андрею Белому. В 1939 году «Библиотека поэта», помимо русских авторов, начинает издавать стихотворные произведения поэтов других народов нашей страны. За прошедшее с тех пор время вышли в свет коллективные сборники «Грузинские романтики», «Белорусские поэты (XIX и начала XX в.)», «Литовские поэты XIX века», «Эстонские поэты XIX в.», «Дагестанские лирики», «Поэты Азербайджана», а также книги Низами, Сабира, Навои, Махтумкули, Саят-Новы, И. Котляревского, К. Донелайтиса, Т. Шевченко, Л. Украинки, Қ. Хетагурова, Д. Гуррамышвили, А. Церетели, О. Туманяна, А. Акопяна, В.-Пшавела, Г. Тукая, Я. Купалы, Я. Коласа, С. Стальского, Я. Райниса, Т. Табидзе.

Принципиальной победой создателей «Библиотеки поэта» было то, что им удалось найти тип изданий Большой и Малой серий. В Большой серии поэт представлен полным или почти полным собранием своих стихотворных произведений. Каждой из книг предпослана обстоятельная вступительная статья, в которой излагается жизненный путь автора и раскрывается обще-

ственное значение и поэтическое своеобразие его творчества. Здесь мы находим черновики и варианты написанных произведений — и это позволяет нам заглянуть в творческую лабораторию поэта; здесь мы узнаем о творческой истории той или иной вещи. Одним словом, тома Большой серии — это издания, близкие к академическим, рассчитанные на специалистов. Иначе выглядят томики Малой серии. Они представляют собой сокращенные варианты книг Большой серии, нечто вроде избранного из них. Есть вступительные статьи и комментарии, но удельный вес их меньше и написаны они популярнее — по крайней мере такими они должны быть в идеале. Книжки Малой серии адресованы любителям стихов. Вряд ли есть надобность доказывать, что при том внимании, каким пользуется сегодня поэзия у читателей, число их с каждым днем растет.

Удачи, упущения и промахи вступительных статей и комментариев к томам «Библиотеки поэта» тесно связаны с общим состоянием науки о литературе и этапами ее развития. Так, стремление к фактической достоверности и полноте, широта взгляда, умение за частными явлениями видеть их общие закономерности — все эти качества, присущие лучшим нашим литературоведческим работам, проявились во вступительных статьях и комментариях. Вместе с тем некоторые из них, особенно это относится к первому изданию (оно выходило с 1933 по 1953 год), несут на себе следы вульгарного социологизма, недостаточного умения писать о поэзии как о поэзии, раскрывать все богатство и разнообразие поэтической ткани, хотя сразу же нужно оговориться: немало вступительных статей могут считаться образцовыми, настолько умно, дельно, тонко они написаны.

Есть еще одна «болезнь», дающая знать о себе в работе «Библиотеки поэта». Состоит она в том, что история близкого нам времени изучена несравненно слабее, чем далекое прошлое. Как ни затруднительно знакомство с документами и памятниками, скажем, восемнадцатого века, поэзия того времени исследована и описана гораздо лучше, чем стихотворное наследие двадцатого столетия.

Правда, в самое последнее время в этом направлении кое-что сделано. Изданы «Пролетарские поэты первых лет Советской эпохи», «Поэты «Сатирикона», книги сти-

хов Саши Черного, В. Маяковского, С. Есенина, Демьяна Бедного, Э. Багрицкого, В. Луговского, Б. Пастернака, Н. Заболоцкого, М. Цветаевой, В. Саянова. Но это только первые шаги.

Аннотированная библиография «Библиотеки поэта» не только рассказывает об уже вышедших книгах, но и знакомит нас с планами редакции на ближайшие годы. В издательском плане в Большой серии значатся книги В. Хлебникова, О. Мандельштама, П. Васильева, К. Бальмонта, Ф. Соллогуба, В. Каменского, М. Светлова, Н. Асеева, Б. Корнилова. Хорошо, что эти книги будут изданы, потому что невозможно представить себе картину русской поэзии двадцатого века как без Асеева и Светлова, так и без Хлебникова и Мандельштама. (Когда, кстати сказать, будет напечатан том стихов О. Мандельштама, станет очевидным, насколько не правы те, кто, следуя предрассудкам, а не фактам, зачисляет этого значительного поэта по ведомству декаданса.) Хорошо, что выйдут в свет книги поэтов, хотя и гораздо менее крупных и значительных, но тем не менее оставивших свой след. Я имею в виду прежде всего одного из самых модных и шумных поэтов начала нашего века — Игоря Северянина.

Редакция «Библиотеки поэта» намерена выпустить в Малой серии коллективный сборник «Поэты начала XX века», в который намечается включить таких разных и разнозначных авторов, как Вяч. Иванов, М. Волошин, М. Кузмин, Н. Гумилев, В. Ходасевич, Н. Клюев. Правильно, что вспомнили эти имена. Ведь с каждым из них связаны какие-то существенные явления поэзии двадцатого века. Вероятно, есть резон выпустить сборники «Поэты-

символисты», «Поэты-акмеисты», наподобие сборника «Поэты-футуристы», запланированного в предстоящих изданиях. Особенно следует сказать о Владиславе Ходасевиче, чей путь, как известно, не был ни прямым, ни гладким. Надо ли напоминать, что создатель «Библиотеки поэта» называл его одним из самых значительных поэтов нашего века? Вообще издание книги поэта в Большой или Малой серии — это не венчание его лавровым венком и не причисление к сонму великих, а признание реального его места в истории русской поэзии.

Спорным представляется мне намерение редакции «Библиотеки поэта» выпускать тома ныне живущих поэтов. Очень верно написал об этом ленинградский литературовед В. Холшевников в первом номере журнала «Вопросы литературы» за этот год. Включение стихотворных произведений наших современников в «Библиотеку поэта» неминуемо разрушает профиль издания — издания историко-литературного.

Если сегодняшний читатель может обозреть русскую поэзию в главных этапах ее развития, то в этом заслуга «Библиотеки поэта», ставшей серией популярной, серией массовой, вышедшей далеко за те рамки, которые треть века тому назад были ей поставлены. Когда же будут восполнены пробелы, когда появятся на свет книги многих других поэтов девятнадцатого и двадцатого веков, перед нами будет полный и исчерпывающий свод русской поэзии. И тогда мы увидим, что наша отечественная поэзия еще богаче и разнообразнее, чем это кажется самым восторженным ее ценителям.

Л. ЛЕВИЦКИЙ.



НАДО ЛИ ПРОСИТЬ ИЗВИНЕНИЯ?

И. Велембовская. Ларион и Варвара. Повесть. «Знамя», № 3, 1966.

Если бегло — в двух словах — пересказать историю Лариона и Варвары, некоторые читатели, вероятно, выразят свое резкое недовольство героиней повести: как жена фронтовика изменила мужу, сошлась с кем-то в тылу?..

А между тем И. Велембовская берет под защиту свою Варвару. И всю повесть она

строит как развернутое доказательство ее невиновности, вернее — неподсудности.

В этом отношении «Ларион и Варвара» — произведение традиционное. Испокон веков приходилось литературе защищать «незаконную», запретную любовь — от сословных предрассудков и мещанских пересудов, от устоявшихся воззрений и нормативного хан-

жества. Бесконечно разнообразны всплывающие в памяти примеры, но защита всякий почти раз сводится к одному — раскрывается величие, красота, неотвратимость чувства.

Любовь Лариона и Варвары тоже запретная. Против нее и сама атмосфера военных лет, и мнение окружающих, и тяжкий быт уральского поселка, работающего на фронт.

Не от легкого баловства, даже не от тоски приходит к Варе любовь. Ни о чем таком она давно уж не помышляет, обремененная заботами по дому, нелегким трудом и хлопотливыми обязанностями бригадира в горняцком цеху.

Писательница приметлива к мелочам, памятлива на житейские детали горестных лет. Надо беречь спички — и Вара с ведром бежит к соседям за горячими углями для печки. А вместо мыла в ход идет густой щелок. А в Варварин день бесценный подарок от подружки — полстакана соли-каменки. Невзгод много, их — хочешь не хочешь — надо преодолевать. И Варвара преодолевает — без жалоб, молча, веря: такова ее доля в завтрашней победе.

Любовь приходит к Варваре вслед за жалостью, состраданием. «Он не выглядел доходягой и все же был очень худ, но той суровой худобой, когда трудовому человеку перепадает хлеба ровно столько, сколько нужно, чтобы не потерять себя, не протянуть руки и не взять чужого».

Так воспринимает Варвара Лариона, когда он впервые появляется перед ней, чтобы помочь вывезти из лесу дрова. Она замечает искалеченную правую руку Лариона: тот потерял пальцы на лесопогрузке. В первую же непонятно тревожную встречу Варвара узнает: он — сын сосланного кулака, вырос на чужой стороне. Она не задумывается, справедливо это или нет. Она его жалеет. В меру самолюбивый Ларион меньше всего рассчитывает на такое сострадание, но дает для него достаточно поводов.

А потом Варвара видит Лариона в работе, в цеху, не привыкшего прятаться за чужую спину, настойчивого, немногословного. Бабушка жалость умножается на уважение к достоинству, уменью, трудолюбию, к тому, что называют самостоятельностью.

На первых страницах повести Ларион не столько выявляется сам, сколько благоприятствует выявлению Варвары, натуры более деятельной и свободной. Он, собствен-

но, и останется пассивным началом в этой горькой даже в счастливые мгновения истории. Не его тут главное слово. Он вообще не приучен брать решения на себя. Его дело — исполнять, повиноваться. «Ларион по годами выработанной привычке хотел смолчать», — замечает писательница.

Он не то чтобы пришибленный, но скованный, держащийся на обочине человек. И притом очень правильными. Он говорит о себе безупречно правильными, почти газетными словами, какими обычно говорят о других, — и о своем кулацком происхождении, и о своей ненависти к немцам. В этой подчеркнутой правильности — неосознанная, вероятно, надежда сравняться со всеми.

Лишь дни безоглядной любви уравнивают знатного бригадира Варвару и кулацкого сына Лариона. Но и такие подобные минутам дни не рассеивают щемящего чувства зыбкости их счастья. Слишком многое против него. Оно обречено.

Но писательница не оставляет намерения во что бы то ни стало защитить Лариона и Варвару. Каждый абзац, каждая страница доказывают: это оправданная, выстраданная любовь, истоки ее — чистые.

И. Велембовская взялась за трудную тему, взялась серьезно, обстоятельно. Она понимает всю сложность, даже драматичность ситуации, лежащей в основе повести.

Но вместо того, чтобы глубоко вникнуть в эту сложность, показать силу, неотвратимость чувств героев, художественно проанализировать их, заставить читателей задуматься над ними, писательница упрощает и облегчает свою задачу. Она выискивает «смягчающие вину» обстоятельства.

Одно из обстоятельств такого рода связано с Павлом, мужем Варвары. Он, как выясняется, зло обижал свою молодую жену. Оскорбил, когда она родила ему дочь, а не сына, а потом и вовсе изменил с какой-то бабенкой. Да и другие человеческие свойства мужа Варвары весьма сомнительны. Как только не юлил лихой, задиристый Пашка, порывая избегать фронта!

Главка, посвященная Павлу, идет вслед за первым знакомством Варвары и Лариона. Варвара сразу поняла: Ларион не таков, как Павел. «Пашка-то ведь ей никогда помощником не был». И немного погодя: «Было в этом человеке какое-то терпение к судьбе, угадывалась доброты. А у Пашки ничего этого не было. Тот все хотел взять у жизни срыву, без труда, без всякой оглядки».

Из сопоставления с несомненностью явствует: Ларион гораздо лучше Павла. И это его преимущество должно послужить не последним доводом в оправдании «незаконной» Вариной любви. Любовь Варвары становится как бы расплатой за Павлову измену.

Далее в повести рассказывается, как уже после возвращения Павла с фронта в общезжитие нагрянули его родичи и дружки прочувствовать Лариона. Дело вероятное. Однако выясняется — у этих дружков и родственников, Мишки Жданова и Витьки Попова, у самих-то рыльце в пушку: Мишка всю войну ошивался по магазинам да базам, а Витька после госпиталя жил с какой-то солдаткой, пока его терпеливо ожидала жена...

Даже упорство, с каким автор неоднократно напоминает о Варваринной трудовой славе, о Ларионовой иступленности в работе, выполняет все ту же роль — оправдания, моральной реабилитации героев.

Когда натыкаешься на подобную нарочитость, когда чувствуешь, как режет слух извинительная интонация, — появляется желание упрекнуть автора в перестраховке, в художественном упрощении. Но что-то и удерживает. Вероятно, память, боязнь писательскую беду счесть виной и судить только лишь как за вину.

Тема, избранная И. Велембовской, заставляет вспомнить о другом произведении.

В рассказе «Семья Иванова» (1946) А. Платонов одним из первых — если не первым — изобразил нелегкую человеческую драму в обыкновенной семье, пережившей войну. Ему не было свойственно что-либо сглаживать или не замечать: повествуя о людях, внешне малопримечательных, он

глубоко вникал в напряженные драматические ситуации.

Неоднократно перепечатанный в посмертных сборниках А. Платонова под названием «Возвращение», рассказ этот был некогда аттестован как клеветнический («Так обнажается гнуснейшая клевета на советских людей, на советскую семью, лежащая в основе рассказа»; «Рассказ, клеветующий на нашу жизнь, на наших людей, на советскую семью» и т. д.).

И в наши дни эта тема — быт, жизнь военных лет, сложности личных отношений в такую пору — нет-нет да и попадет под огульный критический огонь.

Нетрудно представить себе, что и повесть И. Велембовской может вызвать критические пассажи, подобные приведенным выше. Так и слышится: передовая работница — гордость завода — изменила мужу-фронтовику, да еще с кулацким отпрыском? Женщины в горячем цеху, на лесоповале? Стахановцы и их семьи голодают? А ведь советский человек в самые трудные дни...

Да, и в самые трудные дни советский человек был способен и на безграничный, равный подвигу труд, и на аскетическое самоограничение, и на безоглядную душевную щедрость, — изображение этого как раз и составляет силу повести И. Велембовской.

Но и в самые трудные, и не в самые трудные дни каждый из нас берет в руки книгу с надеждой — она верна прожитому и пережитому всеми нами, ее автор, стремясь к правдивому и глубокому постижению жизни, не оглядывается извинительно по сторонам, не ищет перестраховочных ограждений.

В. КАРДИН.



КАРСОН МАККАЛЛЕРС И ЕЕ ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА

К. Маккаллерс. Часы без стрелок. Роман. Перевод с английского Е. Голышевой. «Молодая гвардия». М. 1966. 271 стр.

Литература Юга — «государство в государстве» национальной литературы США. Книгу истинного южанина легко узнать: краски там гуще, тени глубже, линии резче и причудливей. Жестокость и юмор, грубая заземленность и поэтическая фантазмагория, простодушие фольклора и

психологическая изощренность — многое свилось в тугой клубок в этой яркой, взрывчатой, таящей ослепительные неожиданности традиции, в общем очень молодой, ровеснице Фолкнера и Томаса Вулфа, но в отдаленных истоках своих связанной с романтически-гротескной стихией Эдгара По.

Карсон Маккаллерс занимает в ряду современных южан (отчасти уже известных русским читателям — Уильям Фолкнер, Трумэн Капоте, Фланнери О'Коннор) особое место, хотя критики часто сравнивали ее с этими писателями, как, впрочем, и со многими другими, начиная с Флобера. Особенность Карсон Маккаллерс, представляется мне, состоит в том, что в отличие от других южан это художник задумчивый, негромкий, строго ограничивающий себя кругом своих определенных тем и повторяющихся мотивов. Это, однако, не камерность: в пределах своего художественного и жизненного опыта Маккаллерс «роет» глубоко, вглядывается пристально и мыслит бескомпромиссно.

Творчество Карсон Маккаллерс всегда вызывало споры. И даже сейчас, когда репутация ее уже установилась и прилагательные в превосходной степени прочно прижились на суперобложках ее книг, есть критики, совершенно не принимающие мир, творимый этой писательницей: «Странный, яростный ландшафт Карсон Маккаллерс», «Мир, населенный растерянными, заблудшими, обездоленными, демоничными...» Но, как бы ни относиться к нему, этот мир уже существует, он стал частицей духовной жизни людей, открывших для себя ее творчество.

Нет ничего удивительного в том, что издательство «Молодая гвардия» решило опубликовать перевод «Часов без стрелок» — последнего романа К. Маккаллерс, законченного ею в 1961 году, после десяти лет работы, прерывавшейся долгими и жестокими болезнями (сейчас писательница — инвалид, почти не поднимается с постели, но продолжает литературный труд). Начатый в пятидесятых годах, когда только еще возникали на американском Юге очаги движения за гражданское равноправие негров, и опубликованный в эру многотысячных походов, подлинных сражений за демократию, — роман этот интересен и сам по себе, и как веха писательского пути К. Маккаллерс. И все-таки жаль, что первая встреча с этим художником не произошла на страницах ее самого первого и, по мнению многих, самого значительного произведения — романа «Сердце — одинокий охотник», с которым в 1941 году двадцатидвухлетняя южанка, недавно приехавшая в Нью-Йорк, сразу

шагнула в большую американскую прозу XX века. Это была книга несовершенная — быть может, несколько перегруженная, кое-где композиционно рыхловатая, но поистине захватывающая своим пронзительным, суровым лиризмом, силой и точностью психологического воображения автора. Его умением, не нарушая единства замысла, изображать повседневную жизнь во всех ее конкретных, осязаемых подробностях.

Действие этой книги происходит в неназванном промышленном городке штата Джорджия (в таком же городке — Колумбусе — родилась и выросла Карсон Смит — будущая Маккаллерс) в самом конце 1930-х годов. Послекризисная депрессия наложила свое грязно-серое клеймо на жизнь обитателей городских окраин — рабочих, мелких мастеровых, негритянской бедноты. В Европе идет война, и, хотя почти никто из обывателей особо над этим не размышляет, смутная угроза висит над городом. Незатишающаяся расовая вражда потихоньку клочечет у самой поверхности, изредка прорываясь безобразными кровавыми стычками. Все это — не фон книги, а ее плоть и атмосфера, однако сердцевина романа в ином. Маккаллерс назвала его первоначально «Немой»; заглавие «Сердце — одинокий охотник», звучащее само по себе слегка манерно, дали ему издатели (по всей вероятности, по строке из стихотворения забытого сейчас поэта начала века Ф. Маклеода «Одинокий охотник»). И заглавие оказалось очень точным — книга именно об этом. В ней несколько главных персонажей: четырнадцатилетняя Мик Келли; старый негритянский врач Коупленд; Джейк Блунт — полуспившийся бродяга, самостоятельный агитатор-социалист; Бифф Бреннан — хозяин ресторанчика «Кафе Нью-Йорк». И каждый из них бьется в клетке своего духовного одиночества, отчаянно и растерянно ищет пути к людям, к смыслу и полноте существования. У Мик, дочери многодетного, еле сводящего концы с концами часовщика, пока что есть свое прибежище, ревниво скрываемое от всех, — напряженный и прекрасный мир музыки, которую она слушает под чужими окнами и пытается сочинять сама, не зная нот. (К. Маккаллерс готовилась стать пианисткой, музыка играет особую роль в ее книгах, вплоть до последней.) Доктор Коупленд и Джейк Блунт страстно ненавидят социаль-

ное зло, одержимы стремлением помочь своим обездоленным собратьям. Но оба они трагически одиноки в городе и — столь близкие между собой по взглядам — относятся друг к другу со слепой и резкой антипатией. Бифф Бреннан, более созерцательный по характеру «наблюдатель жизни», без всякой выгоды для себя держит всю ночь открытым свое заведение; у него нет ни одной близкой души, и ему хочется, хоть каким-нибудь способом, быть в гуще людского существования... И вот оказывается, что эта группа разнокалиберных и разобщенных существ, не сговариваясь, сосредоточила свои симпатии, доверие, свою потребность высказаться и посоветоваться — на глухонемом Джоне Сингере, который в одно весеннее утро появился в «Кафе Нью-Йорк» и стал его ежедневным посетителем. Это гравер, служащий в ювелирной мастерской, всегда подтянутый, спокойный, благожелательный; он легко читает по губам и скупно отвечает собеседникам — жестами или парой слов, написанных на листке блокнота. В течение года с небольшим он становится поверенным, старшим другом, чуть не учителем жизни для Мик, Блунта, Коупленда и Бреннана. Но вот однажды Сингер уехал из города на несколько дней. Вернувшись, он унес из мастерской хозяйский револьвер, пришел в свою комнату и выстрелил себе в сердце. Смерть его была страшным и совершенно неожиданным ударом для окружающих. Но читателя она не удивляет, потому что читатель с первых же строк узнает предысторию и тайну Джона Сингера. Совсем он не мудрец, не учитель жизни; он и сам не знает, почему так тянутся к нему эти люди, он и понимает то далеко не все, что ему рассказывают, да и не слишком этим интересуется.

У Сингера есть свой жизненный центр — это его друг, тоже глухонемой, грек Антонапулос, с которым он прожил рядом десять лет, пока не пришлось отправить его в другой город, в психиатрическую лечебницу для хроников: Антонапулос был слабоумен, и болезнь его прогрессировала. Но Сингеру этот буддообразный, лениво ухмыляющийся грек казался воплощением мудрости и снисходительной доброты; только с ним он делился своими мыслями и впечатлениями. А после отъезда Антонапулоса облик его окончательно отлился в памяти

Сингера в совершенные формы. Посещения друга, отправка посылки этому обжоре и сластене были единственными радостями глухонемого гравера. И когда Антонапулос умер, оказалось, что Сингеру нечем и незачем больше жить.

После самоубийства Сингера его «кружок» чувствует себя осиротевшим и преданным. Все разбредаются в разные стороны. Для Мик эта первая потеря совпала с резким жизненным переделом. Детство кончилось, Мик — продавщица в универмаге, и музыка, звучавшая в ней, как будто бы умолкла...

В этой внешне бесформенной, плотно насыщенной бытом книге нетрудно прощупать костяк, симметрию внутреннего замысла. Мы видим шестерых персонажей, связанных, а вернее разбеденных, сложными отношениями, «общий знаменатель» которых — душевная изоляция, неспособность человека пробиться сквозь толщу, отделяющую его от другого или других людей, неизбежность человеческого одиночества. Роман «Сердце — одинокий охотник», как все произведения Маккаллера, существует в двух органично слитных планах: психологического и социального реализма и — аллегории, притчи. Аллегоричность книги подчеркнута целым рядом приемов: это и сказовые повторы, и роль чисел, и нарочитая «закругленность» сюжетных ситуаций, что дало пищу для множества толкований романа — религиозных, мифологических, фрейдистских, политических, — в большей своей части весьма натянутых. Ближе всего к истине, очевидно, моральное истолкование романа. Человек пытается любовью спастись от одиночества. Но любовь не просто слепа, она почти всегда направлена на объект, который по природе своей не может дать любящему счастье и гармонию. Любовь не пробивается сквозь стены, но своим присутствием она помогает личности обрести себя и ощутить, хотя бы ненадолго, подлинную полноту бытия. Герчайшая ирония заключена в том, что одинокие, заблудшие, растерянные идут с грузом своих страданий и мыслей к глухому и немому, равнодушному. Еще ироничнее, что этот избранник, который кажется им столь прозорливым и сострадательным, всего себя посвятил вымышленному существу, созданному собственным его одиночеством, а в реально-

сти — просто-напросто отталкивающему идиоту. В мире царит хаос, и такой же хаос властвует: в человеческих душах.

И все же вопреки всему над зловещим, над уныло-повседневным, над нелепым, задыхающимся в тисках своих извечных недоумений, своей фатальной разобщенности миром встает вечная и необратимая сила добра — любовь, самоотверженность, стремление к красоте, стремление приблизиться, хотя бы на единый миг, к постижению смысла человеческого существования Карсон Маккаллерс сумела рассказать об этом с удивительным обаянием убежденности, без грана сентиментальности или риторики. Вот почему, хотя многое изменилось с тех пор в социальном облике Америки, первая ее книга живет и сейчас, вот почему она не растворилась в великом множестве «черных» романов и драм, утверждающих вселенскую абсурдность бытия. Собственно говоря, все дальнейшее творчество Маккаллера развивалось как исследование этой коренной для писательницы темы, которую она варьирует в немногих своих книгах, опубликованных с тех пор, — двух коротких романах, повести, сборнике новелл. Ее тянет к натурам необычным, гротескным, не укладывающимся в понятие «нормы».

В самом завершенном произведении Маккаллера, в повести «Баллада о печальном кафе», три героя скованы, словно каторжники, что работают на дорогах Джорджии близ безымянного городка, места действия повести, одной цепью — непонимания, любви и ненависти. Мисс Эмилия Иванс, лавочница, местная богачка, владелица самого большого дома в городе, — существо мужеподобного вида, мужского склада характера и привычек. Предмет ее поздней, всепоглощающей привязанности — кузен Лаймон, хлипкий, капризный, коварный горбун. Объект восхищения и преданности кузена Лаймона — Мервин Мэси, бездельник, вор, хулиган, тюремная птаха. Когда-то он женился на мисс Эмили, в которую был пылко и робко влюблен, что на некоторое время исправило его натуру. Однако брак продолжался всего десять дней и был лишь формальным: мисс Эмилия с позором выгнала из дому незадачливого супруга, который поклялся отомстить ей, и жестокая месть в конце концов осуществилась с помощью кузена Лаймона и некоторых сверхъестественных сил. Эту жутковатую

«готическую»¹ историю писательница развертывает, как старую сказку, — эпично, плавно. собранно и как-то удивительно музыкально. Но в странной сказке о фантастических причудах человеческого сердца речь идет не о тридевятом царстве. Происходит все это в очень достоверно, хотя и скупо изображенном городке американского Юга нашего времени, где героиня гонит виски на продажу, ведет мелкие, но упорные тяжбы с окрестными фермерами, где «в августовский полдень дорога пустынная, бела от пыли и небо над ней блестит как стекло. Ничто не движется, не слышно детских голосов, одно лишь гудение фабрики... Делать в городе абсолютно нечего. Обойдешь кругом фабричный пруд, ткнешь ногой гнилой пень, пораскинешь мозгами, к чему бы приспособить старое колесо от фургона, валяющееся на дороге возле церкви. Душа загнивает от скуки. С таким же успехом можно дойти до шоссе Форксфолл и послушать песни каторжников из кандалной бригады».

Если приходишь к последней книге Карсон Маккаллера так, как шла она сама, по следам прежних ее книг, то и читается эта вещь иначе. Узнаешь знакомое и видишь новое, оцениваешь находки и отмечаешь потери, а в этом романе есть, на мой взгляд, и то и другое.

Когда-то, посылая в издательство первую главу и подробный пересказ сюжета романа, который тогда еще назывался «Немой», Маккаллера писала: «Форма романа контрапунктна. Подобно голосу в фуге, каждый из главных персонажей — самостоятельная тема, но характер его обретает большую полноту по контрасту и в переплетении с другими характерами, изображенными в книге».

В «Часах без стрелок», как верно подмечено в послесловии М. Марецкой, история каждого из четырех героев могла бы быть рассказана отдельно, но именно в своих взаимосвязях и отталкивании, «в переплетении» они раскрывают и обретают себя, прибавим — в той мере, в какой это им дано автором. Снова, как во всех книгах Маккаллера, реалистические приметы социального уклада, времени (действие романа относится к 1953 году), быта, тонкие психологи-

¹ Популярный в американской критике термин, аналогия со старинным жанром «романа ужасов», зародившимся в Англии.

ческие построения служат домом для моральной притчи. Старый судья, уже комичный, но еще опасный в своей воинственности обломок южного конфедератизма, ретроград и расист, любит своего внука Джестера, любит нежно, жалко и беспомощно. Джестер поглощен бурным чувством к Шерману Пью, «голубоглазому негру», а Шерман, несуразный юнец, подкидыш, развязность и ребячливое бахвальство которого — лишь дымовая завеса сиротливости и душевной неприкаянности, — издевается над Джестером и вкладывает все свое сердце в безнадежные поиски несуществующей матери. Жена умирающего от лейкемии аптекаря Мелона полна любви и жалости к нему, но это чувство внушает ему отвращение, и лишь перед лицом смерти, совершив свой единственный в жизни скромный моральный и гражданский подвиг — отказавшись на сборище городских погромщиков бросить бомбу в дом Шермана, — он обретает давно забытую близость с женой. Все это ситуации, органичные для Маккаллера: человеческое одиночество, заблудившаяся и отчаявшаяся любовь. Не случайный гость в этой книге и музыка. Джестер и Шерман крепко связаны музыкой, несмотря на непрерывную словесную, да и не только словесную, свою дуэль. Есть, однако, в книге нечто совсем новое, хотя и не чужеродное всему творчеству писательницы: впервые политическая, гражданская тема становится основой действия, его драматической пружиной. Ничего неожиданного в этом нет, — Маккаллерс, художник на редкость чуткий к страданиям человека, к унижению его достоинства, с глубоким сочувствием изобразила еще в первой своей книге и самоотверженного негритянского врача, в самом точном смысле этого слова отдающего жизнь своему народу, и его дочь Поршию с ее забавно торжественной речью и умным сердцем. Но не одно лишь сочувствие определяет позицию Карсон Маккаллера в тех трагедийных, исторического масштаба событиях, которые вот уже несколько лет сотрясают ее родной Юг, да и всю страну. Острое чувство справедливости и ясный, не отягощенный предрассудками взгляд на будущее присущи Маккаллерс, — и в «Часах без стрелок» она попыталась рассказать притчу не только о вечных исканиях человеческого сердца, но и о тех силах, которые олицетворяют сейчас положение вещей на американ

ском Юге. Судья Клэйн — символ охолтелой, но исторически уже обреченной реакции; аптекарь Мелон — плоть от плоти великого множества «нейтральных», в основе своей порядочных и миролюбивых, но инертных и не свободных от предрассудков (вспомним его подспудный антисемитизм) обывателей, которые хотели бы остаться в сторонке и все же рано или поздно вынуждены действовать. Сэмми Лэнк, добровольный убийца Шермана, действует (было бы натяжкой прибавить «и мыслит»), как положено представителю «белой голи», той самой невежественной, тупой, обозленной бедностью и вымещающей эту злобу на «выскачках-черномазах» толпы, без которой не обходится, да и не может обойтись ни один антинегритянский погром. И наконец Джестер и Шерман — юность и будущность нации. Шерман намечен очень любопытно. Это ни в коей мере не стереотип «хорошего негра», к которому любят обращаться белые либералы со времен Гарриет Бичер Стоу. И совсем не стилизованно-примитивное, чувственное существо, дрейфующее по многим книгам писателей «южной школы». В Шермане есть характерные черты американского подростка 1950-х годов, столь пронизательно уловленные Дж. Д. Сэлинджером. Но это смятение чувств и настороженная недоверчивость разума, пробивающего свою скорлупу, у «голубоглазого негра», естественно, отягощено грузом, который ему суждено нести с самого рождения и который удесятерит присущее ему дерзкое непокорство, — бременем расовой дискриминации. А Джестер? Джестер вновь вызывает в памяти и Мик Келли, и девочек-подростков из других произведений Маккаллера, хотя он старше, он умеет водить самолет, и он — юноша со своими мужскими проблемами. Это натура как будто бы хрупкая, ранимая, рефлектирующая, но ядро в нем крепкое и здоровое и голова работает в нужном направлении. На Джестера писательница возлагает большие надежды, и за его будущее она спокойна: он пойдет не за дедом, а за отцом — прогрессивным адвокатом, трагически погибшим в тридцатые годы в неравной схватке с законами расистского Юга.

Все это очень ясно читателю, ясно с самого начала, и в этой ясности, на мой взгляд, — уязвимость нового произведения Карсон Маккаллера. Оно задумано очень объемно, и ждешь, что замысел этот посте-

пенно обрстет густой шумящей листвою, приобретет глубину и эпичность, которая покоряет в романе «Сердце — одинокий охотник». Здесь же обнаженность общественных конфликтов, почти конспективная иногда сжатость, пунктирная наметка психологической жизни героев создают впечатление чего-то внешне «закругленного» и внутренне незавершенного, это скорее силуэт дерева, четкий переплет ветвей с едва наметившимися почками. Может быть, объяснение в том, что Карсон Маккаллерс было физически тяжело писать эту книгу; когда узнаешь, сколько бед обрушилось на нее в последнее десятилетие, то понимаешь, что работала она героически. Книга ее талантлива, как бы строго ее ни судить, — в каждом образе есть свои удачи, свои интуитивные озарения, которыми так богато ее творчество. Особенно интересно, тонко, целостно дана в романе линия Мелона. В его процессе «душевного освоения» идеи смерти и позднего прихода к переоценке ценностей своей обрывающейся жизни нельзя не уловить отзвук толстовской «Смерти Ивана Ильича», — Толстой и Достоевский, разумеется, много значили в формировании индивидуальности писательницы. И кажется мне, что есть что-то чеховское в том, как она описывает хотя бы Мелона, узнающего от врача страшную правду о своей болезни. («И когда он сел, приглаживая редкие жесткие волосы, решительно прижав верхней губой дрожащую нижнюю и поглядывая лихорадочно блестящими испуганными глазами, у него уже был кроткий, отрешенный вид неизлечимого больного.») Но все эти литературные ассоциации не разрушают ощущения художественной самобытности Карсон Маккаллерс; все, что происходит с Мелоном, задевает за живое, трогает, все это — по-настоящему серьезно.

Интонация Маккаллерс, отчетливо свое-

образная, выдержанная с начала и до конца, присутствует и в этой книге. Интонация эта не всегда сохранилась в переводе, который, надо сказать, неровен — рядом с удачными местами, где воссозданы и смысл, и дух, и ритм (пример — приведенная выше цитата), нередко встречается огрубление, вольный (в негативном смысле слова) пересказ фразы, неточно переданные оттенки и даже — что удивляет у такого опытного переводчика, как Е. М. Голышева, — иногда ошибки, неверно прочитанные места оригинала. Но главное — в разрушении интонации, всегда плавной в оригинале, хотя каждое действующее лицо имеет свою «партию», и в смазывании оттенков. У такой писательницы, как Маккаллерс, с ее особой музыкальностью и отработанной лексической точностью, замена слов «произнес едва слышно» словами «едва промямлил» невозможна.

В послесловии М. Марецкой радуется явная увлеченность автора книгой и творчеством Маккаллерс. Справедливо говорится в нем о ее гуманизме, внимании к людям, о прямоте и бескомпромиссности ее гражданских позиций. Но, как представляется мне, художественному облику Маккаллерс приданы здесь черты, в действительности ей несвойственные: некая пантеистическая мажорность («Любая ее строка — гимн жизни»), благостная сентиментальность, — говоря о просветлении «чертового сердца одинокой мисс Эмили», полюбившей горбуна, автор не упоминает о жестоком и гротескном финале этой истории, а именно он определяет общее звучание «Баллады о печальном кафе».

Как бы то ни было, очень хорошо, что «Часы без стрелок» появились на русском языке. Хотелось бы, чтобы знакомство наших читателей с Карсон Маккаллерс продолжилось.

И. ЛЕВИДОВА.

★

Политика и наука

ИСТОРИЯ И ПРОГРЕСС

Н. И. Конрад. Запад и Восток. Статьи. «Наука». М. 1966. 519 стр.

Автор книги «Запад и Восток» Н. И. Конрад — выдающийся советский востоковед, историк, филолог и лингвист, семидесятипятилетие которого было недавно отмечено. В книге собраны некоторые его работы,

затрагивающие общие вопросы исторической науки и литературоведения. Несмотря на чрезвычайное разнообразие тем, рассматриваемых в отдельных статьях (назовем, к примеру, «Полибий и Сыма Цянь», «Хань

Юй и начало китайского Ренессанса», «Шекспир и его эпоха», «Толстой в Японии»), все они объединены историко-философской концепцией автора и потому представляют частями единого целого.

Это книга «о смысле истории», и хотя только одна статья прямо так и названа — через всю книгу красной нитью проходит идея о значении для истории человечества порожденных мыслью этнических категорий, а в их составе — важнейшей по своему общественному значению категории гуманизма. Это книга о единстве человеческого рода, реальном вопреки традиционному делению на Запад и Восток, о непрерывающейся духовной традиции от глубокой древности до наших дней. Написать такую книгу мог только ученый, обладающий огромной эрудицией, научной смелостью и склонностью к синтезу исторических явлений. В наши дни, когда так много говорят о кризисе исторической науки, появление книги Н. И. Конрада — радостное событие.

Историческая наука в XX веке сильно скомпрометирована в глазах современников. Неверие в законы истории, а следовательно, в самую возможность существования истории как науки, с одной стороны, конъюнктура (то есть нарушение исторической правды во имя политической целесообразности) и догматизм, с другой стороны, породили такое количество неполноценных исторических работ, что для читающей публики стал неинтересен самый предмет исследования. Приходится доказывать, что история — это наука, что уроки истории могли бы быть весьма полезны для человечества и что если отдельные люди и целые народы пренебрегают уроками истории, то это беда человечества, а не вина истории. И все же невозможно себе представить, чтобы в наш век, век величайших потрясений, можно было пренебречь наукой, занимающейся осмыслением общественного развития и его перспектив, наукой, лежащей в основе всех гуманитарных наук.

Не описание событий, а осмысление их, поиск общих законов исторической жизни, размышления о смысле и пользе истории являются предметом философии истории. Среди многочисленных исследований по философии истории наибольшее впечатление в XX веке произвели труды О. Шпенглера и А. Тойнби, весьма пессимистически оценивающих свою эпоху и представляющих историю человечества как историю отдельных

цивилизаций, каждая из которых (по Тойнби) переживает определенные стадии внутреннего развития: зарождение, рост, наделом, разложение и гибель. Хотя Н. И. Конрад лишь вскользь упоминает А. Тойнби, вся его книга — это по сути как бы полемика с этим кумиром современной западной историографии. Концепции локальных цивилизаций противостоит концепция единства человеческой истории, эсхатологическим настроениям, порожденным остротой переживаемого нами исторического момента, противостоит оптимистическая вера в прогрессивное развитие исторической деятельности человека, стремление «видеть в гуманизме то великое начало человеческой деятельности, которое вело человека до сих пор по пути прогресса». Но полемика с Тойнби — ни в коей мере не задача автора. Он выше этой цели, его задача не возражать видимым или невидимым оппонентам, а самому попытаться понять смысл истории. И не случайно работу «О смысле истории» он поместил в конце книги, а не в начале ее. Это как бы итог всех предшествующих исследований Н. И. Конрада.

Идея единства человеческого рода не нова. Ее предложили эволюционисты прошлого века. Она была развита марксистской наукой. Но никогда еще историк не обладал такой суммой знаний для доказательства этой идеи, как во второй половине XX века, ибо материал наших знаний о прошлом человечества непрерывно возрастает в количестве и улучшается в качестве.

Применение в широком масштабе сравнительно-исторического анализа позволило автору собрать и исследовать большое количество «фактов, свидетельствующих», — как он подчеркивает, — что история человечества есть история именно всего человечества, а не отдельных изолированных народов и стран, что понять исторический процесс можно, только обращаясь к истории человечества».

Книга Н. И. Конрада пропагандирует идеи интернационализма в самом высоком понимании этого слова. Уважение к истории каждого народа и осуждение национального чванства непосредственно и естественно вытекают из признания единства человеческого рода.

«Народов искони передовых и искони отсталых нет; все большие цивилизованные народы Востока и Запада имели в своей истории полосы и стремительного движения

вперед, и движения замедленного, а то и вовсе приостанавливающегося, что приводило к временному отставанию. И ни у кого нет права считать себя народом особым, превосходящим всех других. Каждая нация должна обладать чувством собственного достоинства, но мания величия у нации столь же ложна, вредна и просто смешна, как и мания величия у отдельного человека.

Казалось бы, никакого открытия в этом утверждении нет. Сколько раз мы его слышали даже в тех случаях, когда оно служило всего лишь прикрытием для прямо противоположных действий. Но в рецензируемой книге это утверждение — не проходная фраза; оно является одним из краеугольных камней концепции автора, и многие страницы посвящены доказательству справедливости этого тезиса, так же как и другого, сформулированного автором при помощи цитаты из книги Г. Брандеса: «Гений народа, хотя бы и богато одаренного, должен черпать свое вдохновение во всемирно-человеческом опыте. Предоставленный самому себе, он, этот гений, чахнет; лишь близость и дружество с гениями других наций дают ему вечно юную силу».

Идея единства человеческой истории находит свое продолжение в признании стадийности развития. Рассуждая о возникновении и развитии сходных историко-культурных явлений у разных народов, в частности однородных литературных явлений, Н. И. Конрад пишет: «Решающее условие возникновения однотипных литератур — вступление разных народов на одну и ту же ступень общественно-исторического и культурного развития и близость форм, в которых это развитие проявляется. Общие условия, создающиеся в общественной жизни и культуре разных народов на ранней стадии феодализма, бывают часто очень близки по существу и даже по форме, поэтому нет ничего удивительного в том, что также и очень многое в литературе оказывается близким».

Признание стадийности общественного развития — отнюдь не новость для советской историографии. Скорее можно говорить о забвении этого положения в последнее время, но на признании этого положения Н. И. Конрадом основано доказательство того, что через эпоху Ренессанса прошли не только народы Европы, но и народы всего мира.

Тема Ренессанса — одна из центральных тем книги. «Если не называть Ренессансом

всякую эпоху, когда наблюдается особо яркий расцвет науки, культуры и особенно искусства, литературы и философии, а связывать этот расцвет с определенным этапом общей истории данной страны, то Ренессанс как эпоха становится строго историческим явлением, занимающим в общей истории данной страны свое специфическое место. Понимание же этого места и содержания самого явления достигается изучением Ренессанса во всех странах, где он был. Эпоха Ренессанса окажется тогда не исторической случайностью, каковой она в аспекте всемирной истории должна быть признана, если считать, что она была только в истории Европы, а исторической закономерностью».

Разные народы переживали Ренессанс в разное время. Для Китая это VIII—XV века, для Италии — XIV—XVI века, для народов Средней Азии и Ирана — IX—XIII века. Здесь нельзя говорить о влиянии или заимствовании; названные культурно-исторические области не были связаны в это время между собой, и черты, характеризующие эпоху Возрождения, появились в каждой стране совершенно независимо.

Каковы же общие черты этой эпохи? Прежде всего — движение общественной мысли, получившее название гуманизма. «В основе этого движения лежало стремление видеть в человеке высшую ценность, само же это стремление исхоило из признания автономности человеческой личности, независимой от чего бы то ни было, кроме собственной природы с ее законами...»

В оформлении основных концепций гуманизма огромную роль сыграло то, что гуманисты отвергали «средневековье», а опору для себя искали в «древности». Они отвергали все, что мешало духовной свободе человека, а главным препятствием для этой свободы был тогда догматизм как принцип отношения к истине и схоластика как метод познания истины. Именно то, что в мировоззрении «средневековья» появились непреложные догмы, определило отрицательное отношение к нему мыслителей эпохи Возрождения. И далее Н. И. Конрад объясняет, почему так опасен был догматизм. «Всякому учению — религиозному и философскому, если оно не идет вслед за временем, не развивается, не пополняется новыми чертами, угрожают две опасности: догматизм, т. е. превращение свободной творческой мысли в догму, и скепсис, т. е. появление сомнения

в ценности данного учения вообще. Скепсис может привести к плохому — к нигилизму, интеллектуальному и моральному, может привести и к хорошему — к плодотворной переоценке ценностей. Догматизм же останавливает всякое движение, а это значит — самое возможность прогресса».

Ошибочно представление, что гуманизм появился на свет только в эпоху Ренессанса. Гуманизм существовал и в древности, и в средние века. О гуманизме времен Ренессанса Н. И. Конрад говорит только как об одном исторически определенном облике этого вечного спутника человека.

Было бы несправедливо утверждать, что Н. И. Конрад идеализирует ренессансный гуманизм. Он говорит о том, что «путь, по которому пошел ренессансный гуманизм, привел его к краху, как категорию не только интеллектуальную, но и моральную». И все же вопрос о том, как антропологический гуманизм превратился в практический девиз «все дозволено», о том, как часто не гуманны были сами гуманисты, заслуживал большего внимания, чем то, которое уделено ему в книге. Интерпретируя творчество китайского поэта и мыслителя VIII века Хань Юя, с именем которого автор книги связывает начало китайского Ренессанса, и комментируя трактат Хань Юя «О пути», Н. И. Конрад не дает оценки того, как Хань Юй относится к своим противникам. Между тем программой Хань Юя было запретить их учения и даже сжечь книги. «Если не ставить препятствия учению Лао-цзы и Будды, наше учение не распространится». А сколько подобных утверждений можно встретить в программах европейских гуманистов! Ведь это они, гордецы, смотрели на других свысока, потому что считали себя носителями непреложной истины. Нетерпимость интеллигенции (а интеллигенция была главной движущей силой Ренессанса) — одно из тех «зол мира», за которые человечеству приходится платить дорогой ценой. Оно расчищает путь тирании, способствует утверждению самовластия.

Вопрос о гуманизме — составная часть историко-философской концепции Н. И. Конрада. Дав обзор шеститысячелетней (письменной) истории человечества, Н. И. Конрад показывает, что исторический процесс имеет свою географическую направленность — постепенное расширение пространства деятельности человека, свою экономи-

ческую направленность — развитие хозяйства, техники, организации труда, и свою познавательную направленность — развитие науки, искусства и т. д. Признавая факт неуклонного развития человечества во всех аспектах его существования, автор ставит вопрос: что же, это и есть прогресс?

«Ответ на этот вопрос целиком зависит от того, что считать прогрессом... Замена раскаленных щипцов электрическим током при пытках стала возможной благодаря огромному развитию науки и техники, благодаря великому открытию электричества. Значит, и это — прогресс? А страдания, горе, преступления, человеконенавистничество, которыми заполнена вся история человечества с самого начала и которые все время в разных формах, масштабах все время повторяются, — свидетельства прогресса?»

Постановка этого вопроса Н. И. Конрадом чрезвычайно важна, в особенности в связи с положением, создавшимся в советской историографии и отраженным в работах многих писателей и искусствоведов: историческая прогрессивность понимается в том смысле, что явление, закономерное на определенном историческом этапе, рассматривается как справедливое. Таким образом, и кровавые события Варфоломеевской ночи могут быть оценены положительно, и Чингисхан и Иван Грозный становятся прогрессивными деятелями.

Отвечая на вопрос, что считать прогрессом, Н. И. Конрад пишет: «...Для определения подлинно прогрессивного есть критерий, выработанный самой историей. Критерий этот — гуманизм в двояком аспекте: как обозначение специфических свойств человеческой природы и как оценка этих свойств в смысле высшего разумного и вместе с тем этического начала человеческого поведения и всей общественной жизни.

В свете этого положения можно иначе отнестись ко всякому мрачному в истории — к тому океану горя и страданий, в который было ввергнуто и продолжает быть ввернутым человечество. Все это было и есть, но поистине великим достижением человечества и, пожалуй, наивысшим достижением прогресса было то, что люди распознали это, назвали зло злом, насилие насилием, преступление преступлением». Манера выражаться Н. И. Конрада может показаться несколько старомодной. «Борьба добра и зла», «совесть» как движущие исторический

прогресс силы, «совесть», воспринимаемая не как стершийся штамп газетных заголовков, а как некая реальность — образ и выражение высшего этического начала в человеке... Неужели в XX веке мы еще не обладаем более определенными понятиями? Обладает, и Н. И. Конрад говорит о том же в терминах нашего времени. «Важнейший источник зла — эксплуатация человека человеком и обращение к войне как к способу разрешения конфликтов». Борьба за уничтожение такой эксплуатации, подчеркивает он, за устранение войн и составляет главное содержание гуманизма нашего времени. В этой фразе уже содержится важнейший итог изучения прошлого — программа на будущее. Автор видит еще одну важнейшую задачу наших дней «во включении природы не просто в сферу человеческой жизни, но в сферу гуманизма, иначе говоря, в самой решительной гуманизации всей науки о природе. Без этого наша власть над силами природы станет нашим прокля-

тием: она выхолостит из человека его человеческое начало». Та же мысль сейчас высказывается во всем мире многими учеными, которыми, по словам Франка, овладевает «беспокойство по поводу великой угрозы глубокого разрыва между успехами в науке и нашим непониманием человеческих проблем, или, другими словами, разрыва между естественными и гуманитарными науками».

Книга Н. И. Конрада — одна из тех книг, которые возвращают, казалось бы, утраченное достоинство гуманитарным наукам и свидетельствуют о том, как важна и актуальна наука истории в самом широком смысле, и история культуры, и история литературы, и история философии. Но, кроме того, это еще книга о нормах человеческого поведения, о великой перспективности мышления, книга гуманистической веры в человека.

А. МОНГАЙТ,

доктор исторических наук.

★

СТРОИТ КУБА

Н. Филиповская. Архитектура революционной Кубы. Стройиздат. М. 1965. 126 стр.

Архитектура — лицо страны. В ней как в капле воды отражаются социальные сдвиги в обществе, его устремления и идеалы. И подобно тому, как о прошлом народа рассказывают архитектурные памятники, о его настоящем говорит то, что создается сегодня. История Кубы — это церкви, монастыри и дворцы — монументальные следы испанского владычества. Недавнее прошлое Кубы — фешенебельные отели для богатых туристов, ультрамодернистские виллы аристократических районов, репрезентативные правительственные здания и трущобы, лагучи, боно (хижины из пальмовых листьев).

Победившая кубинская революция столкнулась с крайней нищетой, с жилищным голодом, с отсутствием школ, больниц, рабочих клубов.

Массовое строительство в городах и сельской местности стало одной из основных забот народной власти. И всего лишь за семь лет существования молодое государство, отмечает Н. Филиповская, «сумело не только выработать идеи и задачи развития новой архитектуры, но и добиться

удивительных успехов в их реализации». Ее книга посвящена обзору современной кубинской архитектуры, в которой массовое строительство, удовлетворяя насущные потребности общества, поднимается до уровня высокохудожественных ансамблей и комплексов.

В чем же секрет этого успеха? Ведь у кубинских архитекторов не было опыта такого строительства, а вместо разработанных норм «была только революционная интуиция, а вернее сказать, даже мечта создателей новой жизни». Однако, как бы ни была высока мечта, она не станет прекрасной действительностью, если не будет опираться на высокое профессиональное мастерство зодчего и строителя. Анализируя конкретные примеры, автор показывает, как проявляется это мастерство. В композиции, в незначительных на первый взгляд деталях, в великолепном исполнении сооружений.

Такой пример — жилой массив Гавана-дель-Эсте, застроенный группами четырехэтажных домов и несколькими одиннадцатизэтажными галереями жилыми зданиями

ми. Всего лишь три или четыре варианта решений жилых секций, но «по мере того, как идешь от одной жилой группы к другой, из одного двора в другой, перед глазами последовательно раскрываются непохожие друг на друга композиционно по-разному задуманные пространства». Архитектуру домов обогащает пластика глубоких лоджий, энергично выступающих балконов, выносных лестниц. Небольшие по размерам общественные здания микрорайона играют активную роль в композиции. Для них характерны выразительные силуэты покрытий, яркое цветовое решение.

Высоко оценивая творчество кубинских зодчих, автор подчеркивает, что «в их работах остро чувствуется умение пользоваться буквально всей палитрой архитектурных средств, с самого начала продумывать и построение форм, и цветовое решение... Чистые, мягкие пастельные тона больших плоскостей стен и густые, сочные краски деталей зданий и малых форм сочетаются в единое гармоническое целое». Большое внимание уделяется благоустройству и озеленению. Здесь много изобретательности и выдумки, придающей «неповторимость и своеобразие каждому уголку застройки». То, что находится непосредственно перед глазами человека, и то, что можно назвать «архитектурой земли», в немалой степени определяет впечатление — «яркие краски плескательного бассейна в одном месте; извивающиеся дорожки, выполненные из отдельных круглых или прямоугольных бетонных плиток, причудливо брошенных в густой ковер зелени газона, — в другом месте; густые группы кустов, гибкие стволы молодых пальм, цветные скамейки и фонарные столбы — все это по-разному организует пространство внутри каждой группы домов».

Все это отлично выполнено. И понятно, что ко всему этому созданному для народа богатству бережно относится и само население.

Характеризуя застройку жилых районов в других городах, Н. Филиповская отмечает, что она «осуществляется на таком же высоком уровне, как и в Гаване». Иными словами, здесь нет контраста между столицей и провинцией. Более того, эстетические начала стали характерными и для сельского строительства на Кубе.

Два поселка — Эрманос-Сайнс и Лос-Пи-

нос — построены из однотипных домов, «конструируемых к тому же по существу чуть ли не из двух всего элементов — стойки каркаса и плиты заполнения». И тем не менее каждый из них имеет индивидуальный облик, определенный оригинальным решением генерального плана, различной компоновкой общественных и школьных зданий. Внешний облик сельских домов «пластичен и живописен сочетанием своих объемов, их моделировкой, игрой светотени».

И здесь кубинский архитектор умело применяет цвет, тщательно прорисовывает детали благоустройства, а строитель великолепно выполняет замысел зодчего. «Достаточно сказать, что, например, в полированную поверхность монолитных бетонных полов террас многих сельских жилых домов можно смотреться, как в зеркало».

В книге дается детальный анализ новых школ. Отдавая должное мастерству архитекторов, автор подчеркивает, что «красота школьных зданий воспитывает в кубинской молодежи любовь к своей школе. Это выражается в той чистоте, в которой школьники содержат здание и территорию, в той тщательности, с которой они ухаживают за зелеными насаждениями и цветами».

Большой интерес представляют курортные сооружения, которыми особенно гордятся кубинские архитекторы. Здания туристских центров и пансионатов отличаются эффектными формами, оригинальными конструкциями перекрытий, смелостью решений. «Стандартных рецептов композиции в этих комплексах нет, и скорее всего следует сказать именно о разнообразии и индивидуальности приемов застройки каждого курорта».

Может сложиться впечатление, что удачи кубинских зодчих объясняются невысокой еще степенью индустриализации, освобождающей архитектора от необходимости повторения конструктивных элементов или типов зданий. Однако это не так. Застройка района Гавана-дель-Эсте и новые поселки показывают, что именно в условиях типизации создаются выразительные ансамбли.

Могут сказать, что вообще легче строить в условиях кубинского климата, где и окна-то не остекляют, а только лишь закрывают деревянными поворачивающимися

жалюзи, где архитектуре помогают резкие светотени, синее небо и пышная растительность. Но разве так уж часто в щедром климате вырастают красивые города? Встречаем же мы и под жарким солнцем, среди субтропической зелени унылую, однообразную архитектуру.

Видно, причины творческих удач кубинских архитекторов кроются в чем-то ином. Можно отдать должное архитектурному факультету Гаванского университета, создавшему свою национальную школу зодчества. Можно, как это и делает Н. Филиповская, подчеркнуть «ведущее место архитекторов Кубы не только в проектировании, но и в сфере строительства. Автор проекта — архитектор — по существу является главным лицом, ответственным за качество и добротность сооружений», он руководит строительством. И это, разумеется, очень важный фактор. Говоря о достоинствах кубинской архитектуры, о ее простоте, легкости, живописности, автор книги замечает: «Вероятно, она сложилась и под влиянием жизнерадостного, открытого характера самого кубинского народа». Наверное, и это имеет значение. Но главная причина успеха состоит, видимо, в том, что, решая в трудных условиях жилищную проблему, строя столь необходимые неграмотной в недавнем прошлом стране школы, и те, кто выступал в качестве заказчика, и те, кто создавал проекты, и те, кто осуществлял строительство в натуре, стремились к одной общей цели — к тому, чтобы новая архитектура, создаваемая для народа, была прекрасной. Такова одна из главных задач строительства.

Но в этом общем стремлении и руководители государства, и архитекторы столкнулись вскоре с неизбежным в условиях слаборазвитой страны противоречием. Возникали великолепные поселки, прекрасные школы, красивые курорты, но все это создавалось «в удивительном контрасте с огромной массой нищенских пальмовых хижин». Надо было строить еще больше, быстрее, экономичнее. Возник разрыв между мечтой о прекрасной архитектуре для народа и реальной действительностью, ре-

альными возможностями. Возник вопрос: как же строить дальше?

Куба переходит теперь к более экономичному проектированию, но «без снижения требований к комфорту и эстетическим качествам застройки». Выступая перед VII конгрессом Международного союза архитекторов, проходившим в Гаване в октябре 1963 года, рассказав о трудностях и задачах строительства на Кубе, Фидель Кастро сказал: «Ни на минуту мы не отказываемся от эстетического минимума, который, как мы считаем, должно иметь жилище. Почему? Потому что, если мы не будем об этом заботиться и настроим много-много домов, очень быстро решив жилищную проблему, не обращая внимания на ее художественную сторону, то, когда мы достигнем более высокого уровня, большего экономического развития и оглянемся назад, мы скажем: хорошо, что же мы будем делать со всеми этими домами, которые теперь не отвечают нашим требованиям?.. Мы уверены, что в нашей стране существуют условия благоприятные для того, чтобы не только поддерживать уровень, который мы достигли на сегодняшний день, но и двигать вперед и развивать нашу архитектуру».

Эта уверенность и мастерство зодчих — залог дальнейшего успешного развития кубинской архитектуры.

Работа Н. Филиповской по сути дела — первая попытка дать обзор новой кубинской архитектуры, и с этой задачей автор успешно справился. В книге приведено множество цифр, показывающих масштабы строительства, большое число документальных фотоснимков лучших сооружений и комплексов. Странно только, что автор, столь высоко и по справедливости оценивающий творчество своих кубинских коллег, не назвал нам ни одного имени создателей этих сооружений.

Книга эта, полезная для архитекторов, представит интерес и для широкого читателя. Вместе с тем она убеждает в том, что архитектура Кубы заслуживает дальнейшего обстоятельного изучения.

Ф. НОВИКОВ.

ИЗДАН ВПЕРВЫЕ

Краткий словарь по этике. Под общей редакцией О. Г. Дробницкого, И. С. Кона. Политиздат. М. 1965. 543 стр.

Уже по тому, как быстро эта книжка исчезла с полок книжных магазинов, можно судить, насколько она была нужна и насколько возрос интерес общественности к этическим знаниям. Моральные проблемы волнуют сейчас не только специалистов — сфера нравственных отношений стала предметом пристального интереса значительного круга читателей.

В этой связи издание этического словаря — явление радующее. Он будет полезен слушателям этических факультетов университетов марксизма-ленинизма, агитаторам, пропагандистам, студентам, изучающим этику, лекторам-общественникам, так как в ранее издававшихся философских словарях этика была представлена явно недостаточно.

Редакторам словаря удалось в сравнительно небольшом формате книги втиснуть довольно большой объем информации. Читатель найдет в книжке объяснение более двухсот семидесяти терминов, охватывающих общие проблемы этики, основные стороны морали, соотношение морали с другими формами общественного сознания, проблемы коммунистической нравственности, критику домарксистских и современных буржуазных этических учений. Большинство статей написано на высоком научно-теоретическом уровне.

Из каких элементов складываются моральная деятельность, моральные отношения и моральное сознание? Каковы связи и взаимодействие морали с другими общественными институтами — искусством, наукой, правом, политикой, религией? Словарь обстоятельно отвечает на эти и многие другие вопросы.

Очень хорошо дана критика зарубежных этических направлений. Характерная черта этой критики — ее деловой тон, научность, глубина, стремление разобраться в сути понятий в отличие от этакой «клеящейся» критики, когда подчас вместо серьезного анализа каких-либо теорий на них небрежно наклеивался ярлык «ненаучности» или «лженауки» и читатель оставался в неведении относительно содержания основных идей той или иной научной школы или направления. Авторы статей в словаре о зарубежных этических школах тщательно и доказательно, насколько это позволяет объем

статей, анализируют направления этих школ, показывают ошибки и заблуждения буржуазных мыслителей.

Читая словарь, еще раз убеждаешься в справедливости утверждения, что недостатки бывают иногда продолжением достоинств. Большой объем научной информации и высокий научно-теоретический уровень — эти, несомненно, положительные качества издания породили, как это ни странно, два очень серьезных, на наш взгляд, недостатка — беглость и сложность изложения материала.

Первый недостаток снижает ценность словаря в глазах специалистов, которые располагают значительным количеством научной литературы — учебниками, сборниками и монографиями. Разумеется, объем статей словаря меньше, чем соответствующие разделы учебников по этике, не говоря уже о книгах, где рассматриваются отдельные проблемы этики. Видимо, для специалистов нужно более обстоятельное издание, наподобие «Философской энциклопедии».

Второй недостаток — сложный и специфический язык — ставит в затруднительное положение тот самый широкий круг читателей словаря, на который, как это видно из редакционного предисловия, он также рассчитан.

С этими читателями авторы статей говорят таким языком и употребляют такое количество специальных терминов, будто предполагают в нем эрудита-философа. Не лучше ли было бы за счет сокращения количества слов, получивших объяснение в словаре, сделать его более популярным, доступным? Ведь есть в нем статьи, несущие очень небольшую научную информацию. А некоторые просто повторяют друг друга. Так, термин «почин», по существу синоним «инициативы», можно было бы вполне разъяснить в статье «Инициатива», а не занимать на него более страницы. В словаре последовательно разъясняются понятия «деятельность моральная», «действие моральное», «деяние», которые легко можно было бы объединить в одну статью без ненужных повторений. Разъяснение понятия «истина и нравственность» мало что добавляет к тому, что сказано в статьях «Сознание моральное», «Мораль», «Этика», а также на тех страницах

словаря, где критикуются буржуазные этические системы.

Некоторым этическим понятиям дается несколько спорная трактовка, которая может запутать читателя. Например, в статье «Добро» говорится: «Вместе со своей противоположностью — злом добро является наиболее обобщенной формой разграничения и противопоставления нравственного и безнравственного, имеющего положительное и отрицательное моральное значение, того, что отвечает содержанию требований нравственности, и того, что противоречит им». Иными словами, то, что нравственно — то добро, что безнравственно — то зло. Таким образом, зло категорически отождествляется с безнравственным. В приведенной формулировке не учтено, что зло отражает и такие явления, которые подлежат положительной нравственной оценке. Например, война, в которой советский народ сражался против гитлеровских захватчиков, велась во имя великих гуманных целей, но она была вместе с тем и величайшим бедствием, злом. В другом случае зло оказываются такие явления, которые вообще не подлежат нравственной оценке, например болезни, пожары, землетрясения и т. д.

Некоторые статьи словаря, связанные по смыслу, иногда недостаточно четко объединены методологически. Например, аморализм определяется как «моральный принцип, обосновывающий нигилистическое отношение к общественным, и в первую очередь к общечеловеческим, нормам морали и провозглашающий безнравственность законным способом поведения личности». Далее указывается, что формы проявления аморализ-

ма различны, что, в частности, к ним относятся цинизм и человеконенавистничество. В статье «Человеконенавистничество» обнаруживаем, что это не форма проявления аморализма, а «один из принципов аморализма». Выясняем далее, что цинизм определяется как «моральное качество» личности, имеющее определенную характеристику. Таким образом, аморализм и человеконенавистничество определены друг через друга, то есть совершен «круг» в определении, а цинизм оказывается вообще не связанным с ранее данным определением аморализма. Несколько туманно и противоречиво дано в словаре определение долга.

Перечень недостатков словаря, как и перечень его достоинств, можно было бы продолжить. Но дело не в том, чтобы перечислить все хорошее и неудавшееся в книге, — это предмет разговора более обстоятельного и специального, да это и не так-то просто, поскольку среди советских этиков по поводу многих понятий еще не достигнуто единство мнений. Этика как наука развивается. Научные положения, которые вчера казались совершенными, подвергаются сегодня критике, уточняются и дополняются.

Становление науки, объектом которой является мораль, происходит в сложных жизненных ситуациях. Проблемы, которые ставит перед нами жизнь, многообразны, и разрешать их, не располагая теоретическими знаниями, нелегко. И бесспорно, впервые изданный словарь по этике, хотя и не лишенный недостатков, поможет делу нравственного воспитания и самовоспитания.

Ю. СУЛИН.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

ИВАН КОЗЛОВ. Ни время, ни рас-
стояние. «Молодая гвардия». М. 1966.
318 стр.

«Пристально смотрел я в лицо Владими-
ра Ильича, но если бы меня спросили,
какой у него нос, губы, цвет усов и бороды,
я ответил бы: не знаю. Все это жило вме-
сте, неотделимо друг от друга. На его лице
ни разу не появилось малейшей гримасы
или мины, но оно было очень подвижным,
неуловимо подвижным, ни на секунду не
оставаясь застывшим или безразличным...»

Только один раз Иван Козлов видел Вла-
димира Ильича Ленина, но весь путь моло-
дого революционера — на царской каторге,
в суровой ссылке, в эмиграции — был оза-
рен мыслью о Ленине, его идеями, его
борьбой.

Закованные в кандалы, подвергавшиеся
неслыханным унижениям и лишениям, боль-
шевики ни на день не прекращали борьбы
с самодержавным деспотизмом за свободу
и коммунистическое будущее своей родины.
В каторжных централах, даже в карцерах
они упорно учились марксизму.

Два человека оказали в годы тюремных
«университетов» решающее влияние на
окончательное превращение молодого чело-
века в закаленного профессионального ре-
волюционера: будущий полководец Крас-
ной Армии М. В. Фрунзе и один из буду-
щих руководителей Коммунистической пар-
тии Литвы В. С. Мицкевич-Капсукас. Стра-
ницы книги, посвященные светлым образам
этих замечательных большевиков, несом-
ненно лучшие в книге.

Ученик оказался достойным своих заме-
чательных учителей. В биографии Ивана
Андреевича Козлова не только семь под-
полтий, тюрьмы, каторга, побеги из ссылок,
но и доблестный труд в советское время,
и героический подвиг в годы Великой Оте-
чественной войны. Широко известна книга
И. А. Козлова «В крымском подполье». Вы-
шедшая затем повесть «Жизнь в борь-
бе» — первая книга трилогии о жизненном
пути большевика ленинской гвардии. «Ни
время, ни расстояние» — вторая книга этой
трилогии.

Л. Давыдова.

ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ. Дневник
заключенного. Письма. «Молодая гвардия».
М. 1966. 336 стр.

И замечательный «Дневник заключен-
ного», и письма Феликса Эдмундовича Дзер-
жинского публиковались раньше. Печата-
лись и рассказы Юрия Германа о Дзержин-
ском, так же как и воспоминания о нем
П. Д. Малькова, Бориса Баркова, Ф. Т. Фо-
мина. Но сейчас, собранные воедино в срав-
нительно небольшой книге с предисловием
жены и друга Феликса Эдмундовича —
Софьи Сигизмундовны, они производят осо-
бенно сильное впечатление. Со страниц
книги встает не только «железный Феликс»,
каким он и был в действительности, но и
человек редкостной душевной нежности,
чуткости, поразительного понимания близ-
ких и далеких людей, каким он тоже был.

«Жизнь отняла у меня в борьбе одно за
другим почти все, что я вынес из дома, из
семьи, со школьной скамьи, и осталась во
мне лишь одна пружина воли, которая тол-
кает меня с неумолимой силой...» Это «же-
лезный Феликс», рыцарь революционного де-
ла, посвятивший этому делу всю свою без-
остатка жизнь. «...я думаю, что с обст-
венных детей я не мог бы любить больше, чем
несобственных...» И это тоже он, гроза
контрреволюции, защитивший своим крылом
в годы разрухи сырых и обиженных судьбой
беспризорных ребят. «Ибо «я», — как пишет
он, — не может жить, если оно не включает
в себя всего остального мира и людей. Та-
ково это «я»...»

Удивительны эти дневниковые записи и
письма. Они порождают углубленные и бес-
покойные размышления о судьбе истинного
революционера. Помешанные в книге фото-
графии помогают этому размышлению. Мы
видим на них Дзержинского с детства и
почти до последних дней его героической
жизни. Ребенок, юноша, отдавший рево-
люции, большевик, идущий по крестному
пути революционера («Почти четверть своей
жизни, — пишет Софья Сигизмундовна, —
одиннадцать лет, он провел в царских тюрь-
мах, в ссылках, на каторге»). И вот суровое
лицо человека, безмерно усталое и твердо
решительное на фотографии 1926 года, сня-
той незадолго до схватки с оппозиционера-
ми, до речи на Пленуме ЦК, после кото-
рой Дзержинский тут же скончался от раз-
рыва сердца.

Книга эта — исторический документ большой эмоциональной силы.

И. К.

★

А. Н. КУРСКОВ. Живые радары. «Наука и техника». Минск. 1966. 92 стр.

Многообразен мир крылатых зверьков — летучих мышей. Их насчитывается около тысячи видов. За последнее десятилетие эти необычные животные привлекают все большее внимание ученых — не только зоологов но и радиоспециалистов, авиационных конструкторов, физиков, биоников. Связан это с открытием у летучих мышей примечательной особенности — пользоваться при полетах акустическим радаром. В полете они издают ультразвук с частотой пятьдесят тысяч колебаний в секунду. Ухо зверька фиксирует отражение звука от находящегося впереди предмета или живого организма. По промежутку времени от момента, когда звук издан летучей мышью, до момента, когда до нее донеслось эхо, зверек способен определить расстояние до препятствия на пути полета. Точность этого природного эхолокатора, который в состоянии запеленговать даже микроскопически малый предмет (0,1 миллиметра), еще не превзойдена в технике.

Бионики изучают не только устройство навигационного прибора летучих мышей, но и противолокационную защиту их жертв. Сравнительно недавно установлено, например, что некоторые ночные бабочки, которыми питаются летучие мыши, способны нервными волокнами улавливать ультразвуковые сигналы летучих мышей и на расстоянии тридцати метров определять направление их полета. Это позволяет им спасаться резким изменением направления. Но любопытно при этом, что если враг находится очень близко от бабочки (несколько метров), то из-за слишком насыщенного звукового режима ее нервные волокна плохо информируют бабочку о направлении полета летучей мыши. В этих случаях, пытаясь уйти от опасности, бабочка делает беспорядочные резкие повороты и пикирует.

В наше время, когда одновременно работает множество мешающих друг другу радиостанций, порой трудно выделить в эфире даже мощные сигналы. Вот почему радиоспециалистов так заинтересовал замечательный природный аппарат летучих мышей, позволяющий им среди хаоса звуков улавливать собственные слабые сигналы.

Не только о «технических» особенностях живых радаров узнает читатель из этой книги. В доступной форме автор сообщает много полезных сведений о биологии всего отряда рукокрылых, среди которых особенно велики летучие лисицы и собаки; размах их крыльев достигает полутора метров. Читатель узнает о существовании в Центральной и Южной Америке группы летучих мышей-вампиров, питающихся

кровью птиц и млекопитающих, а иногда нападающих даже на спящих людей. Большинство типов летучих мышей приносит немалую пользу человеку, уничтожая лесных и сельскохозяйственных вредителей, а также насекомых — носителей опасных инфекций.

С. Смуглый.

★

ИЗОБРЕТЕНИЕ РАДИО. А. С. Попов. Документы и материалы. Под редакцией академика А. И. Берга. «Наука». М. 1966. 284 стр.

Составители сборника «Изобретение радио» рассказывают нам о величайшем открытии века языком документов, который принято называть «сухим». Однако сборник красноречиво свидетельствует о несостоятельности такого эпитета: книга передает захватывающую «драму идей» и читается с неослабевающим интересом.

Сборнику предпослана биография А. С. Попова. В число документов включен также ряд работ изобретателя радио, в частности его памятная статья опубликованная в январском номере «Журнала русского физико-химического общества» (ЖРФХО) за 1896 год. Эту статью А. С. Попов заканчивает словами: «В заключение могу выразить надежду, что мой прибор при дальнейшем усовершенствовании его может быть применен к передаче сигналов на расстояния при помощи быстрых электрических колебаний, как только будет найден источник таких колебаний, обладающий достаточной энергией». (Грозоотметчик Попова принимал сигналы от такого сильного естественного «передатчика», каким является молния.)

Чтение этой статьи снова возвращает читателя к старой теме: знал ли Маркони о Попове или же тут имело место простое совпадение назревших, подготовленных всем развитием науки и техники идей? Во всяком случае «Журнал русского физико-химического общества» был авторитетным научным органом, его широко читали и за границей. Как бы то ни было, практически полная идентичность приведенных в сборнике схем приемника Маркони и приемника-грозоотметчика Попова обращает на себя внимание. Но даже если Маркони и не знал о работах Попова в момент разработки своей аппаратуры (ее схема с лета 1896 года по июль 1897 года держалась им в секрете и не публиковалась) и пришел к ней, как это принято говорить, «позже, но независимо», то, узнав о работах Попова, он должен был бы разделить с ним славу первооткрывателя.

В этой связи хочется подчеркнуть, что для всех представленных в сборнике статей А. С. Попова характерна исключительная объективность и даже щепетильность: в них органически присутствует преэминентность научных достижений, эстафетный характер открытия А. С. Попова замыкает ряд, входящий к именам прославленных ученых

прошлого века — Фарадея, Максвелла и Герца и ученых-изобретателей, его современников, — Бранли и Лоджа, которые были непосредственными предшественниками Попова и своими исследованиями стимулировали его работы. Поэтому особый интерес представляют свидетельства именно этих двух ученых о роли Попова. Бранли, изобретатель когерера, пишет в 1898 году во Французское физическое общество: «Телеграфия без проводов возникла в действительности из опытов Попова» — и добавляет: «...Я отнюдь не отвергаю большого интереса опытов Маркони». О том же он и Лодж писали позднее, в 1908 году, в специальную комиссию, назначенную физическим отделом Русского физико-химического общества для решения вопроса о приоритете в изобретении радио. К этому следует добавить, что Маркони было отказано в выдаче патента на его прибор не только в России, но и в Германии и Франции.

Достоинство сборника «Изобретение радио» — в богатстве представленного в нем материала и в его объективности, столь необходимой в такого рода вопросах.

В. Френкель.

★

БАГИШ ОВСЕПЯН. Сеятели не вернулись. Роман. Перевод с армянского Сюзанны Гуллакян. «Советский писатель». М. 1965. 311 стр.

Из книг, посвященных Отечественной войне, которые вышли за последнее время в Армении, одна из наиболее интересных — роман Багиша Овсепяна «Сеятели не вернулись». Книга эта автобиографична и написана как бы ретроспективно: через двадцать лет после войны автор ее — ныне уже зрелый писатель — старается рассказать о мужестве, о страданиях и радостях мальчишки-солдата, каким он сам был в начале сороковых годов.

В книге всего три главы: «Бой первый», «Бой второй», «Бой последний». Автор не стремится включить в них всю массу событий, которые происходили даже на том узком участке фронта, где находился его герой. Содержание этих глав можно кратко выразить эпитафой, взятым из Гераклита, который сам автор предпослал своей книге: «Я вопрошал и исследовал самого себя».

Герой романа сержант Сасуня — командир пулеметного отделения. В его отделе люди разных национальностей: русский, армянин, грузин, узбек, но ни один из этих двадцатилетних парней «не знает точно, что такое война». Им известно лишь, что «на войне люди убивают друг друга», и потому «страх за свою жизнь уже подстерегает» их.

Перелом в сознании Сасуняна происходит после гибели друга детских лет — Мгера. Молодой сержант выводит из окружения свое отделение, но из шести человек остаются в живых лишь трое... Во второй бой идет уже не прежний мальчик в форме сержанта, а бывалый солдат, живущий только

одной думой — отомстить врагу за погибших. «Мы хороним наших бойцов, хороним наших командиров и не чувствуем, что с каждым из них хороним частицу нашего страха и превращаемся постепенно в настоящих воинов».

Главы «Бой второй» и «Бой последний» — рассказ о боевых подвигах сержанта Сасуняна и его нового друга — храброго Конкина. Они бесстрашно бьются, но и в поверженном враге Сасунян не разучился видеть человека. Слепая, животная ненависть куда ему. Вместе с боевым опытом растет его жизненный опыт и, главное, крепнет его вера в окончательную победу над фашистами.

Книга Багиша Овсепяна — это не только рассказ о возмужании солдата сердца. Это своего рода реквием по всем тем чудесным людям, с которыми встретился на фронте сержант Сасунян: это они помогли ему познать самого себя, помогли выстоять, вместе с ним защитили отечество.

Л. Фейгина.

★

И. А. БЕРНШТЕЙН. Литература социалистической Чехословакии. «Советский писатель». М. 1965. 246 стр.

Замысел этой книги, впервые в нашем литературоведении анализирующей сложные явления современной литературы Чехословакии, достоин всяческого уважения. При этом мимо внимания автора не прошло ни одно характерное явление литературы Чехословакии за последние двадцать лет.

Острота постановки проблем заставляет нас сразу же окунуться в атмосферу литературных поисков, споров, дискуссий, характерных для сегодняшнего дня литературной жизни Чехословакии. Интересно, что в итоге нескольких дискуссий о социалистическом реализме, проведенных там, сторонники различных «концепций» пришли к выводу, что поиск, эксперимент не только оправданы, но и необходимы для дальнейшего развития искусства, для его обогащения.

И. Бернштейн, введя нас в существо дискуссий, показывает, как этот «полемический климат» вызвал к жизни творческую активность писателей Чехословакии. Появляется целый ряд произведений талантливых авторов с очень разной индивидуальностью. Выступает с оригинальной повестью «Золотой ранет» Ф. Грубин, роман Л. Фукса «Пан Теодор Мундшток» отличает тонкое изображение внутреннего мира человека и т. д.

Новое, характерное для литературы Чехословакии автор видит и в поисках новых выразительных средств, жанров, и в интеллектуальной направленности искусства, и, главное, в проблематике современных произведений. В драматургии, поэзии, прозе все чаще слышен протест против психологии человека — «винтика» в огромной машине истории. Мироощущение героев все явствен-

нее пронизывает чувство ответственности за настоящее и будущее.

В книге «Литература социалистической Чехословакии» мы найдем отражение таких современных проблем, которые выходят за рамки только чешской и словацкой литературы. Например, проблема реализма, жизненности жанра романа, театра абсурда и многие другие. Об этом спорили и ожесточенно спорят сегодня на Западе. Какую же позицию занимает автор? К чести И. А. Бернштейн следует сказать, что она не выступает в роли бесстрастного свидетеля. Она полемизирует, отстаивает принципы реализма. И, что особенно важно, делает это тактично и аргументированно. Точка зрения автора отчетливо проступает в книге, что, впрочем, не мешает И. А. Бернштейн заставить и читателя самого размышлять над судьбами литературы XX века, определить свое отношение к той или иной проблеме. Эта книга, нужная как специалистам, так и самым широким читательским кругам,—серьезный вклад в наше литературоведение.

И. Чернявская.

★

А. ЗАПАДОВ. Забытая слава. Историческая повесть. «Советский писатель». М. 1965. 352 стр.

Это повесть о Сумарокове. Она вышла из печати более года назад и все еще не оценена нашей критикой. Жаль. Книга заслуживает внимания уже по одному тому, что содержательна и написана умно, талантливо, с превосходным знанием предмета. В сущности, героем повести является не только поэт Сумароков, но сам восемнадцатый век России послепетровского периода. Автор книги, известный литературовед-исследователь, впервые выступил как писатель-беллетрист. Очевидно, он почувствовал потребность выйти в характеристике своего героя за пределы изучения его произведений и обратиться непосредственно к личности Сумарокова как человека и гражданина своей эпохи. И автор достиг поставленной цели. Но прежде всего хочется отметить, что книгу А. Западава просто интересно и приятно читать. Приятателен самый ее язык, органически вобравший своеобразие и богатство русской разговорной речи того времени. Кроме десятилетиями накопленных автором знаний, здесь проявилось и то особенное чувство языка, которое выдает и опытного исследователя, и чуткого художника.

Но дело не только в языке, а в том, с какой осязаемой конкретностью предстают перед читателем книги все главные события времени: казнь Волынского, низвержение Бирона Минихом, а Миниха — Гринштейном, дворцовые перевороты, смены императриц и их фаворитов. В изображении всего этого видно свободное владение громадным материалом эпохи. С какой естественностью, скажем, введена в повествование Екатерина Вторая. Сначала она, дочь бедного ангальтербстского принца, появляется на представлении сумароковского «Гамлета» в свите

Елизаветы Петровны, а затем вскоре вступает на русский престол. Однако мощный рывок в преобразовании русской государственности, предпринятый Петром Великим, оказывается ей не под силу, что особенно разительно обнаруживается в истории с законодательной комиссией по сочинению Нового уложения. В речах народных депутатов Григория Коробина, Ивана Жеребцова и других с беспощадностью обнажилось истинное положение народа. Первые глухие толчки назревающего пугачевского восстания слышны стали передовым чутким умам России. Это кульминация общественных идей времени и вместе с тем идейная вершина повести А. Западава.

На большом историческом фоне личность героя книги поэта Сумарокова не только не теряется, а, наоборот, приобретает черты исторической конкретности, подлинности. Весь его путь — выход из шляхетского кадетского корпуса, служба у Миниха, Головкина, Разумовского, руководство театром при дворе императрицы,—все его надежды и разочарования приобретают особый смысл на широком историческом фоне повести.

Временами автор меняет перо художника-беллетриста на привычное ему перо исследователя. Тогда в повести появляются главы, более уместные в сборнике статей или лекций. Но это легко устранимо.

Ник. Жданов.

★

ВОЛЬФРАМ ГРАЛЛЕРТ. Путешествие без виз. Книга о почте и филателии. Сокращенный перевод с немецкого А. Качинского. «Связь». М. 1966. 319 стр.

По жанру эта книга приближается к исследованию, в котором автор показал умение оперировать богатым фактическим материалом по истории почты и филателии.

«Без почты... мосты между городами, странами и континентами были бы разрушены», — замечает автор. Ежедневно почте доверяются миллионы корреспонденций, и ни один из отправителей не задумывается о том, почему его письмо беспрепятственно пересекает реки, горные вершины, океаны и государственные границы, «путешествует без виз».

Вольфрам Граллерт очень живо и занимательно рассказывает о рождении почты в разных странах, о своеобразных способах ее доставки: санная и пчелиная почта, подводная и воздушная почта, почта на волах, верблюдах и ракетах.

Познакомив читателя с историей возникновения самого слова «почта» и появления первого конверта, автор ведет читателя к «почтовым империям», к появлению Всемирного почтового союза. Мы узнаем о марках-дипломатах, о бизнесе на филателии, о сенсационных филателистических аукционах (на одном из них редкий конверт с двумя драгоценными марками был продан за 78 400 долларов) и даже... о «марочных войнах».

«...Почтовая марка сверкает самыми различными красками и ежедневно меняет свой «наряд» — пишет автор. — Ее «гардероб» включает все, начиная от роскошного праздничного платья до скромной рабочей одежды. Она выступает в тысячах обликов. Бесконечное разнообразие — вот что привлекло миллионы людей, заставило их увидеть в марке нечто большее, чем простой кусочек раскрашенной бумаги».

По марке, замечает автор, можно узнать кое-что такое, чего не найдешь в иной энциклопедии. Здесь и история рабочего движения, и борьба за мир, и народное искусство, и знаменитые деятели литературы, живописи, музыканты...

Книга Граллерта получила широкое распространение в Германской Демократической Республике и за короткое время выдержала три издания. Несомненно, она найдет немало почитателей и среди широкого круга советских людей.

В. Мазур.

★

ДНЕВНИК АЛЕКСАНДРА ЧИЧЕРИНА. 1812—1813. Перевод с французского. «Наука». М. 1966. 280 стр.

«Дневник А. В. Чичерина — замечательная находка», — пишет в предисловии к этой книге доктор исторических наук Л. Г. Бескровный. Тому, что знакомство с этим интереснейшим свидетельством умонастроений и жизни России времен Отечественной войны 1812 года стало возможно, читатель обязан журналистке С. Г. Энгель, которая обнаружила дневник и оценила его значение.

Полтора века пролежала, не привлекая внимания ее владельцев, эта толстая тетрадь в сафьяновом переплете. Страницы ее густо исписаны бисерным почерком, покрыты не утратившими свежести красок акварельными рисунками. Записи, сделанные по-французски, было нелегко прочесть и перевести: чернила вывели основательно. Эту работу проделала М. И. Перпер. Ничего, кроме имени на тетради, об авторе дневника известно не было. Постепенно, в кропотливых разысканиях С. Г. Энгель удалось установить обстоятельства жизни и смерти Александра Чичерина. И вот в сентябре 1962 года в «Новом мире» впервые увидела свет первая часть «Дневника», относящаяся к 1812 году. А теперь «Дневник» вышел полностью, с прибавлением писем Чичерина, разысканных той же С. Г. Энгель.

Юный офицер — ему было всего девятнадцать лет, когда он начал вести свой дневник, — писал для себя обо всем, что видел и чувствовал во время кампании 1812—1813 годов. Это честное и безыскусственное свидетельство эпохи раскрывает не только глубинную и зрелость мышления самого автора, но и многих его друзей-однополчан. Это были молодые офицеры-дворяне, которые еще в те годы осознали несправедливость деспотического самодержавного строя России, которые терзались, видя мучительное, унижающее человеческое достоинство суще-

ствование закрепощенного народа. Они собирались в походной палатке Чичерина и обсуждали, «вели великий спор», размышляли над «проклятыми вопросами» настоящего и будущего своей родины. Среди них были Якушкин, Муравьев-Апостол, Трубецкой — будущие декабристы.

Чичерин высоко ценил и любил русский народ, крепостных крестьян, противопоставлял их «жадным и корыстным помещикам», которые, «проливая неискренние слезы и рассуждая о патриотизме... верности отечеству предпочли удовлетворение своего корыстолюбия». «Я прохожу сейчас прекрасный курс морали... Придя в деревню, я теперь иду сначала в избу самого старого из крестьян, он указывает мне самых бедных, самых разоренных, — и это у них я прохожу курс морали, у них учусь любить отечество».

Стоит ли говорить, насколько ценны свидетельства Чичерина для историков войны 1812 года — тут и настроения лучшей части офицерства, и описания картин войны, и суждения о военных планах, отражавшие точку зрения кутузовского штаба, и отношение армии к самому Кутузову.

Но «Дневник Чичерина» — еще и удивительный человеческий документ. Читая его с волнением, поражаюсь уму и обширности знаний этого замечательного юноши, его совершенно современным высказываниям о воспитании, о взаимоотношениях родителей и детей, о роли наук. И написано все это талантливым литературным пером. Нет сомнения, что 16 августа 1813 года Россия потеряла не только замечательного своего гражданина и храброго воина, но и одаренного писателя. Прочитать чичеринский дневник интересно и полезно каждому.

Л. Лерер.

★

ИСИКАВА ТАКУБОКУ. Лирика. Перевод с японского Веры Марковой. «Художественная литература». М. 1966. 178 стр.

Когда поэт находит настоящие слова о самых простых чувствах и вещах — о любви и смерти, счастье и одиночестве, о друзьях и врагах, то есть о том, чем живет каждый из нас, — эти слова принимаешь за свои собственные, и уже не имеет значения, когда жил поэт, где его родина. Он стал для тебя близким и дорогим.

Исикава Такубоку умер в 1912 году, совсем молодым, но успел написать стихи, которые принесли ему мировую известность.

Есть поэтическая родственность у него с нашим Есениным. Недаром через всю свою жизнь он пронес любовь к России. Городской житель, узнавший «черную ночь Токио», он никогда не мог забыть родной деревни. Для нее он находил нежнейшие слова и образы.

Вы перед глазами у меня,
Берега далекой Китаками.
Где так мягко ивы зеленеют,
Словно говорят мне:
«Плачь!»

Эти стихи знают все японские школьники. Сам поэт прибегал к памяти о родной деревне как к источнику чистоты и правильности восприятия.

Он говорил о ней, что она

...Как золото,
В сердце сняет,
Чиста,
Не покидая меня.

При всей непосредственности его миро-восприятия, Такубоку поэт мысли. Он сам называл себя «пленником мысли». При этом для него существовало самое качество мыслей («светлы и верны»). Они не отвлечены. Они питаются живой связью с природой.

Начало осени
Как свежая вода.
Омывшись в ней,
Все мысли
Обновятся.

Но они же требуют общения с людьми:

Если б друга найти,
Чтоб все ему рассказать.

Таким другом стал для поэта читатель, полюбивший Такубоку за его умную доброту, широту идей, веру в будущее и умение за малым различать большое.

Вера Маркова с любовью и талантом перевела Такубоку и в своем предисловии много объяснила в его творчестве. Напомним, что первые переводы стихов Такубоку — А. Глускиной и В. Марковой — появились у нас в 1954 году («Японская поэзия», издательство «Художественная литература»).

Надежда Павлович.

★

ЮРИЙ МАНН. О гротеске в литературе. «Советский писатель». М. 1966. 182 стр.

Если мы вслед за автором отправимся на поиски примеров гротеска в литературе, то рискуем заблудиться в необъятном лесу книг и героев. Ловишь себя на мысли: «А вообще существовала ли большая литература без гротеска?» Да, к примеру, «в литературе критического реализма XIX века гротескная линия развивалась наряду с негротескной», — отвечает Ю. Манн. Выяснению своеобразия гротеска в ряду различных способов художественной типизации посвящена его книга.

Справедливо утверждая, что гротеск порожден стремлением к крайнему обобщению, исследователь ставит интересный вопрос о «диапазоне обобщаемого в гротеске явления». В ходе этих рассуждений отлично показано, что «странное» в гротеске в значительной мере обусловлено «странностью» предмета изображения и критическим отношением к нему. Но наряду с этой социальной предпосылкой возникновения и применения гротеска есть еще и собственно художественная: гротескные формы — обычная реакция на натуралистическое «правдоподобие» в искусстве.

Ю. Манн ведет разговор о сущности гротескного принципа отражения жизни, о функции фантастики и преувеличения, о специфике комического в гротеске. Очень важна для понимания авторской концепции глава «Гротеск и аллегория», в которой весьма убедительно доказывается, что гротеск враждебен аллегории, так как аллегория однозначна, а гротеск многозначен.

За примерами Ю. Манн нередко обращается к произведениям мировой классики (Рабле, Свифт, Гоголь, Бюхнер, Щедрин). Так, во второй главе содержится отличный анализ гоголевского «Носа». И все же критик преодолевает искушение ограничиться кругом канонических примеров и часто обращается к новейшему времени, вскрывая «усложнение» гротеска в искусстве XX века на материале произведений Маяковского, Пирранделло, Шварца, Эренбурга, Ануйя, Брехта, Ионеско и других.

Хотя книга названа «О гротеске в литературе», ее автор обращается и к фактам смежных искусств: живописи, графики, кино, театра. Это часто необходимо для постановки серьезных проблем.

Не все одинаково удачно в книге Ю. Манна. Иногда автору изменяет привычка точно выражать свою мысль: в частности, употребляя традиционные формулы «модернистское искусство», «буржуазные писатели», он не называет конкретных явлений, обозначенных данными формулами. Но, несмотря на это, несомненен интерес, вызываемый этой книгой.

М. Соколянский.

Одесса.

★

С. ВАРШАВСКИЙ, Б. РЕСТ. Подвиг Эрмитажа. «Советский художник». Л.—М. 1966. 192 стр.

В мировой истории нет, вероятно, подвига более удивительного, чем подвиг ленинградцев в Великой Отечественной войне. Вместе с бойцами в нем участвовало все население города, который Гитлер хотел стереть с лица земли, участвовали и сотрудники Эрмитажа: прах многих из них — молодых аспирантов и старушек смотрительниц залов, рядовых работников и ученых с мировым именем — покоится в братских могилах на Пискаревском кладбище.

Основные сокровища Эрмитажа были эвакуированы в первые же дни войны. Однако все время блокады музей жил творческой напряженной жизнью. В октябре 1941 года праздновалось в Эрмитаже восьмисотлетие Низами Ганджевии, а в декабре того же страшного года — пятисотлетие Алишера Навои. Поэт Всеволод Рождественский так рассказывает об этом декабрьском торжественном собрании:

«Академик И. А. Орбели, директор Эрмитажа, занял председательское место. Скинув подобие какого-то верхнего, сильно обтрепанного одеяния, он остался в одном ватнике и шарфе... Он говорил: «...Уже один этот факт существования поэта в Ленинграде,

осажденном, обреченном на страдания голода и стужи, в городе, который враги считают уже мертвым и обескровленным, еще раз свидетельствует о мужественном духе нашего народа, о его несломленной воле, о вечно живом гуманном сердце советской науки!..»

В эту минуту мощный глухой удар, заставивший содрогнуться воздух и задрезжать стекла, ухнул где-то, казалось, совсем близко. Все бросились к окнам...

— Спокойно, товарищи,— произнес, почти не повышая голоса, Орбели и предложил перейти в бомбоубежище. Но все снова заняли свои места...»

Заседание продолжалось, но когда оно кончилось, сотрудник Эрмитажа, известный переводчик Навои Н. Ф. Лебедев уже не в силах был подняться с места. Он умер несколько дней спустя от истощения. «Когда он медленно умирал на своей койке в бомбоубежище,— вспоминает нынешний директор Эрмитажа Б. Б. Пиотровский,— то, несмотря на физическую слабость, делился планами своих будущих работ и декламировал свои переводы и стихи».

Десятого марта 1942 года профессор А. Н. Кубе, старейший по стажу научный работник Эрмитажа и крупнейший в Союзе специалист по прикладному искусству эпохи средневековья и Возрождения, скончался от дистрофии на койке под Павильонным залом. В книге «Подвиг Эрмитажа» читаем: «Бригада по захоронению прибыла в Эрмитаж спустя месяц после смерти Кубе. На

грузовик, остановившийся в эрмитажном дворе возле морга, переложили сорок шесть обледенелых тел и отвезли на пустырь городской окраины у станции Пискаревка».

И вот в эти самые дни и годы Б. Б. Пиотровским был написан в обледенелом Эрмитаже капитальный труд «История и культура Урарту», удостоенный впоследствии Государственной премии.

С. Варшавский и Б. Рест совершили большое и благородное дело. Они собрали обширную документацию об Эрмитаже в годы блокады и значительно дополнили ее записью воспоминаний уцелевших его сотрудников. Героическая эпопея музея прослежена авторами изо дня в день. Свидетельства и факты, ими сообщаемые, столь красноречивы, подчас столь потрясающи, что даже «красивость» беллетристических фиоритур, которыми авторы сочли нужным поразбавить свой рассказ, да повторные подчеркивания значительности событий, не нуждающихся ни в каких дополнительных разъяснениях, в конечном счете не ослабляют того глубокого впечатления, которое оставляет чтение их книги.

Книга «Подвиг Эрмитажа» прекрасно оформлена, снабжена многочисленными иллюстрациями, среди которых особенно ценны для нас зарисовки академика архитектуры А. С. Никольского, запечатлевшего с натуры творческую работу и жизнь на краю смерти в эрмитажных бомбоубежищах.

Л. Любимов.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

Заявление Правительства СССР об основных вопросах внутренней и внешней политики. Выступление Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина на первой сессии Верховного Совета СССР седьмого созыва 3 августа 1966 г. 32 стр. Цена 3 к.

Документы Совещания Политического консультативного комитета государств — участников Варшавского договора. Бухарест. 4—6 июня 1966 года. 30 стр. Цена 3 к.

Международные политические, экономические и общественные организации. Словарь-справочник. 271 стр. Цена 53 к.

А. Полторацкий. Законы материалистической диалектики. 48 стр. Цена 5 к.

Приветствия XXIII съезду КПСС. 407 стр. Цена 66 к.

П. Рогачев, М. Свердлин. Роль народных масс и личности в истории. 55 стр. Цена 5 к.

Хрестоматия по истории КПСС. 423 стр. Цена 69 к.

Хрестоматия по основам политических знаний. 408 стр. Цена 69 к.

А. Чкнаверянц. Категории материалистической диалектики. 51 стр. Цена 5 к.

В. Яковенко. На оккупированной земле. 303 стр. Цена 46 к.

А. Яковлев. Цель жизни (Записки авиаконструктора). 544 стр. Цена 1 р. 40 к.

«МЫСЛЬ»

Д. Адамсон. Рожденная свободной. Перевод с английского. 391 стр. Цена 1 р. 86 к.

Н. Андрианов, Р. Лопаткин, В. Павлюк. Особенности современного религиозного сознания. 247 стр. Цена 78 к.

Я. Аскин. Проблема времени. 200 стр. Цена 63 к.

А. Берченко. Воспитательная роль советского права. 79 стр. Цена 13 к.

И. Бич. За аравийской чадрой. Перевод с датского. 167 стр. Цена 56 к.

П. Виноградская. Женни Маркс. 359 стр. Цена 64 к.

В. Гойло. Теоретическое оправдание безработицы. Буржуазные теории занятости. 125 стр. Цена 39 к.

Н. Дворянов, В. Дворянов. В тылу Колчака. 261 стр. Цена 41 к.

М. Диканский, В. Шильдеркрут. Международные монополии. 271 стр. Цена 1 р. 1 к.

А. Ефимов, П. Поздников. Научные основы партийной пропаганды. 176 стр. Цена 56 к.

Ю. Иванов. Золотая «Корифена». 175 стр. Цена 37 к.

Р. Итс. Стрелы Немой скалы. 112 стр. Цена 22 к.

Р. Кент. Плавание к югу от Магелланова пролива. Перевод с английского. 247 стр. Цена 82 к.

Д. Майкл. Семья Майклов в Африке. Перевод с английского. 197 стр. Цена 74 к.

В. Патрушев. Время как экономическая категория. 237 стр. Цена 83 к.

Л. Пентюхов, В. Ефремов. Ленинские принципы управления хозяйством. 198 стр. Цена 40 к.

Против реформизма, за единство рабочего движения. 502 стр. Цена 1 р. 71 к.

Б. Тартаковский. Ф. Энгельс — советник и учитель международного пролетариата. 343 стр. Цена 1 р. 8 к.

Г. Теряев. Высшая фаза коммунизма. 103 стр. Цена 14 к.

Г. Шарапов. Критика антикоммунизма по аграрному вопросу. 398 стр. Цена 1 р. 36 к.

«ЭКОНОМИКА»

М. Башин. Планирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 215 стр. Цена 56 к.

С. Думлер. Автоматизированные системы управления промышленным предприятием. 61 стр. Цена 11 к.

Н. Калиновский. Районные различия реальной заработной платы рабочих и служащих. 112 стр. Цена 38 к.

В. Кряжев. Вне рабочее время и сфера обслуживания. 114 стр. Цена 46 к.

И. Осипов, И. Фурман. Изобретательство и рационализация в торговле. 104 стр. Цена 29 к.

Т. Рябушкин. Темпы и пропорции развития народного хозяйства социалистических стран. 164 стр. Цена 81 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Л. Бать, М. Кошчанов, Айбек. Критико-биографический очерк. 236 стр. Цена 44 к.

Д. Брегова. Человек добр. Повести. 312 стр. Цена 42 к.

Л. Гурунц. Карабах, край родной (Карабахские тетради). 308 стр. Цена 44 к.

В. Илус. Твоя собственная жизнь. Роман. Перевод с эстонского. 252 стр. Цена 56 к.

Ф. Кравченко. Побратимы. Две повести. 336 стр. Цена 60 к.

Р. Лунгу. Марцишоры. Повести и рассказы. Перевод с молдавского. 208 стр. Цена 30 к.

Поэты «Сатирикона» («Библиотека поэта»). 364 стр. Цена 75 к.

В. Спаре. Если ты человек. Повести и рассказы. Перевод с латышского. 432 стр. Цена 62 к.

В. Финк. Молдавская расподия. Правдивая повесть в трех частях с прологом и эпилогом. 224 стр. Цена 58 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Кольцов. Сочинения. 464 стр. Цена 82 к.

Д. Кэри. Из любви к ближнему. Роман. Перевод с английского. 412 стр. Цена 1 р. 34 к.

Я. Кярнер. Женщина из бедного мира (Рассказ Лилли Нийтмаа). Роман. Перевод с эстонского. 239 стр. Цена 39 к.

А. Моруа. Превратности любви. Семейный круг. Романы. Перевод с французского. 448 стр. Цена 1 р. 38 к.

Н. Сидоренко. Сердце помнит. Стихотворения. 224 стр. Цена 49 к.

Артур ван Схендел. Клипер «Иоганна-Мария». Повесть. Перевод с голландского. 176 стр. Цена 38 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Алый парус. Сборник. 192 стр. Цена 49 к.
Л. Архипова. Из волны карнавала (Очерки о Кубе). 208 стр. Цена 31 к.
И. Заянчковский. Враги наших врагов. 272 стр. Цена 60 к.
Ю. Казанов. Двое в декабре. Рассказы. 270 стр. Цена 62 к.
Г. Караев, А. Потресов. Загадка Чудского озера. Повесть. 256 стр. Цена 81 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

М. Гершензон. Робин Гуд. 159 стр. Цена 33 к.
К. Домбровский. Остров неопытных физиков. Повесть. 192 стр. Цена 45 к.
Ю. Сальников. Пусть не близка награда (Из дневника учительницы). 135 стр. Цена 31 к.
В. Сансонов. Повесть о юнгах. Дальний поход. Повести. 208 стр. Цена 45 к.
З. Фазин, Э. Блон. Терек в огне. Повесть (О С. М. Кирове). 304 стр. Цена 55 к.

«НАУКА»

В. Воронцов, Л. Люфанов. В сокровищнице земных недр. 192 стр. Цена 32 к.
М. Грабарь-Пассен. Античные сюжеты и формы в западноевропейской литературе. 319 стр. Цена 1 р. 14 к.
К. Давлетов. Фольклор как вид искусства. 365 стр. Цена 1 р. 13 к.
М. Казанин. В штабе Блюхера. Воспоминания о Китайской революции 1925—1927 гг. 167 стр. Цена 44 к.
Л. Коган. Крепостные вольнодумцы (XIX век). 306 стр. Цена 1 р. 22 к.
Культура античного мира. Сборник статей. 299 стр. Цена 1 р. 51 к.
И. Лебедев. Экономика и политика Австралии после второй мировой войны. 222 стр. Цена 71 к.
З. Майяни. Этрусски начинают говорить. Перевод с французского. 335 стр. Цена 1 р. 32 к.

В. Массон. Страна тысячи городов (Об археологических исследованиях в среднеазиатских республиках). 148 стр. Цена 63 к.

Г. Настев, Р. Койнов. Мозг и сознание. Перевод с болгарского. 92 стр. Цена 19 к.
Л. Орбели. Воспоминания. 122 стр. Цена 55 к.

Б. Романов. Люди и нравы Древней Руси. Историко-бытовые очерки XI—XIII вв. 240 стр. Цена 83 к.

И. Рубанова. Польское кино. Фильмы о войне и оккупации. 210 стр. Цена 94 к.

Социалистический реализм и художественное развитие человечества. 563 стр. Цена 2 р. 50 к.

С. Струмилин. Очерки экономической истории России и СССР. 514 стр. Цена 3 р. 7 к.

В. Турова. Современная французская графика. Плакат. Карикатура. 220 стр. Цена 1 р. 4 к.

А. Формозов. Памятники первобытного искусства на территории СССР. 127 стр. Цена 24 к.

Л. Хомич. Ненцы. Историко-этнографические очерки. 329 стр. Цена 1 р. 55 к.

А. Шептулин. Основные законы диалектики. 184 стр. Цена 59 к.

«ПРОГРЕСС»

Ж. Амаду. Пастыри ночи. Роман. Перевод с португальского. 328 стр. Цена 1 р. 9 к.

У. Аши. Боль снегов. Новелла. Перевод с хинди. 127 стр. Цена 25 к.

Н. Гильен. Новые стихи. Перевод с испанского. 120 стр. Цена 24 к.

Р. и М. Зейдевиц. Дама с горностаем. Как гитлеровцы грабили художественные сокровища Европы. Перевод с немецкого. 223 стр. Цена 79 к.

А. Ивасани. История японского кино. Перевод с японского. 319 стр. Цена 1 р. 62 к.

Г. Караславов. Чистые сердца. Роман. Перевод с болгарского. 399 стр. Цена 1 р. 32 к.

Молодые поэты Румынии. Перевод с румынского. 167 стр. Цена 38 к.

К. Сандель. У пыльного шоссе. Сборник рассказов. Перевод с норвежского. 239 стр. Цена 50 к.

Ф. Фонер. Джек Лондон — американский бунтарь. Перевод с английского. 237 стр. Цена 83 к.

Б. Фрей. Матросы из Котора. Эпизод из истории революционного 1918 г. Перевод с немецкого. 168 стр. Цена 55 к.

Д. Чивер. Ангел на мосту. Рассказы. Перевод с английского. 263 стр. Цена 88 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин**

Редакция Малый Путинковский пер. д. 1/2. Тел. К 9-81-77.
 Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 24/VIII 1966 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 15/X 1966 г.
 Формат бумаги 70 × 108^{1/8} 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)
 А 10137. Зак. 2828. Тираж 140.300.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

«НОВЫЙ МИР» В 1967 ГОДУ

В 1967 году редакция журнала «Новый мир» предполагает опубликовать среди других разнообразных материалов имеющиеся в ее портфеле или близкие к завершению и предназначенные для «Нового мира» произведения:

- роман **Ф. Абрамова** «Две зимы и три лета» — о северной деревне послевоенных лет;
- новый роман **Г. Бакланова**;
- «Плотницкие рассказы» **В. Белова**;
- повесть **Г. Бёля** «Конец служебной командировки»;
- повесть **В. Быкова** «Атака на рассвете»;
- книгу очерков **Р. Гамзатова** «Мой Дагестан»;
- повесть **Е. Герасимова** «Путешествие в Спас на Песках»;
- новую повесть **Х. Гойтисоло**;
- «Деревенский дневник» **Ефима Дороша** (заключительные главы);
- роман **С. Залыгина** «Соленая падь» — о годах гражданской войны;
- повесть **Фазиля Искандера** «Сандро из Чегема»;
- новый цикл рассказов **В. Некрасова**;
- роман **А. Рыбакова** «Дети Арбата»;
- повесть **В. Семина** «Исполнение надежд»;
- пьесу **Г. Троепольского** «Гнилой король»;
- роман **Уоррена Р. П.** «Вся королевская рать».

В 1967 году в связи с близящимся пятидесятилетием советской власти редакция журнала особое внимание уделит произведениям историко-революционной темы. Готовятся к публикации:

«Зимний перевал» — большая работа **Е. Драбкиной** о последних годах жизни В. И. Ленина; воспоминания одного из организаторов советской промышленности Героя Социалистического Труда, члена-корреспондента АН СССР **В. С. Емельянова**; Главного маршала авиации **А. А. Новикова**; участника боев в Испании **А. Эйнера** и другие работы этого жанра.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

	12 мес.	6 мес.	3 мес.
Без переплета	8 р. 40 к.	4 р. 20 к.	2 р. 10 к.
В переплете	10 р. 80 к.	5 р. 40 к.	2 р. 70 к.

Подписка на «Новый мир» принимается во всех отделах и агентствах «Союзпечати», в отделениях связи и общественными распространителями печати без всяких ограничений.

О всех случаях отказа в оформлении подписки просим сообщать в редакцию журнала.